



Межрегиональные
исследования
в общественных на-
уках

Министерство
образования и науки
Российской Федерации

«**ИНО**ЦЕНТР
(Информация. Наука.
Образование)»

Институт имени
Кеннана Центра
Вудро Вильсона
(США)

Корпорация Карнеги
в Нью-Йорке (США)

Фонд Джона Д.
и Кэтрин Т. МакАртуров
(США)



Данное издание осуществлено в рамках программы «Межрегиональные исследования в общественных науках», реализуемой совместно Министерством образования и науки РФ, «ИНОЦЕНТРОм (Информация. Наука. Образование.)» и Институтом имени Кеннана Центра Вудро Вильсона при поддержке Корпорации Карнеги в Нью-Йорке (США) и Фонда Джона Д. и Кэтрин Т. МакАртуров (США). Точка зрения, отраженная в данном издании, может не совпадать с точкой зрения доноров и организаторов Программы.

Научный Совет

- | | |
|--|--|
| Барановский Владимир Георгиевич | — доктор исторических наук, член-корреспондент РАН |
| Дробижева Леокадия Михайловна | — доктор исторических наук, профессор |
| Каменский Александр Борисович | — доктор исторических наук, профессор |
| Мельвиль Андрей Юрьевич | — доктор философских наук, профессор, заслуженный деятель науки РФ |
| Михеев Василий Васильевич | — доктор экономических наук, член-корреспондент РАН |
| Федотова Валентина Гавриловна | — доктор философских наук, профессор |
| Шестопал Елена Борисовна | — доктор философских наук, профессор |
| Юревич Андрей Владиславович | — доктор психологических наук |

З О Л О Т А Я К О Л Л Е К Ц И Я

И. Т. ВЕПРЕВА

**ЯЗЫКОВАЯ РЕФЛЕКСИЯ
В ПОСТСОВЕТСКУЮ ЭПОХУ**

МОСКВА
ОЛМА-ПРЕСС
2005

УДК 802.0
ББК Ш100.26
В 305

*Печатается по решению Совета научных кураторов программы
«Межрегиональные исследования в общественных науках»*

Научный редактор *Н. А. Купина*, доктор филологических наук, профессор

Рецензенты:

кафедра стилистики и русского языка факультета журналистики Уральского государственного университета им. А. М. Горького (зав. кафедрой *Э. А. Лазарева*, доктор филологических наук, профессор);

М. Ю. Федосюк, доктор филологических наук, профессор Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова

В оформлении использован фрагмент плаката
российского дизайнера Алексея Логвина «Жизнь удалась!»

Книга распространяется бесплатно

Вепрева И. Т.

В 305 Языковая рефлексия в постсоветскую эпоху. — М.: ОЛМА-ПРЕСС, 2005. — 384 с. — (Золотая коллекция).

ISBN 5-224-05307-2

В монографии исследуются проблемы языковой рефлексии. В качестве основной единицы исследования метаязыкового дискурса предлагается рефлексив, который является маркером толерантного когнитивно-речевого взаимодействия. Для понимания природы гетерогенного корпуса метаязыковых высказываний разработана типология критериев коммуникативного и концептуального напряжения.

Коммуникативные и концептуальные рефлексивы в современной речи выступают как чуткие индикаторы социальных и языковых процессов, происходящих в постсоветской России, позволяющие сделать лингвоментальный срез современной эпохи.

Книга предназначена для широкого круга лингвистов, культурологов, социологов и всех, кто интересуется проблемами языка, общества, культуры.

**УДК 802.0
ББК Ш100.26**

ISBN 5-224-05307-2

© Вепрева И. Т., 2002
© АНО «ИНО-Центр (Информация. Наука. Образование)», 2005

ОГЛАВЛЕНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	7
ГЛАВА 1. Метаязыковое сознание и рефлексивы	
Постановка вопроса	30
Языковое и метаязыковое сознание в психолингвистическом и когнитивном аспектах	30
Соотношение мышления и сознания	31
Вербальность/невербальность сознания	32
Процесс порождения речи	39
Структура языкового сознания	43
Метаязыковое сознание в социолингвистическом аспекте. Соотношение синхронии и диахронии	57
Метатекст и рефлексив: терминологические ряды и типология	72
Обоснование ключевого термина	72
Речевая организация рефлексива	79
Речевой портрет адресанта метаязыкового дискурса	87
Типология рефлексивов: общие подходы	100
Выводы	115
ГЛАВА 2. Коммуникативные рефлексивы	
Постановка вопроса	117
Коммуникативное взаимодействие адресанта и адресата	118
Критерии коммуникативного напряжения	124
Динамический критерий	124
Стилистический критерий	147
Деривационный критерий	167
Личностный критерий	181
Выводы	193

ГЛАВА 3. Концептуальные рефлексивы и социально-культурные доминанты	
Постановка вопроса	195
О базовых терминах «концепт», «стереотип», «менталитет»	197
Критерии концептуального напряжения в проекции на социокультурное пространство	204
Динамический и деривационный критерии	204
Ксеноразличительный (социальный) и личностный критерии. Идентификация современного российского общества	277
Выводы	314
ЗАКЛЮЧЕНИЕ	317
Список цитируемой литературы	322

ВВЕДЕНИЕ

Наступление нового тысячелетия совпало в России со сменой социальных и экономических моделей поведения. Бурные социально-политические процессы последнего десятилетия XX века коррелируют с активизацией социальной парадигмы языка. Если лингвистика середины XX века отражала соссюррианскую идею языка как «самодовлеющей сущности», изолированной от носителя языка, то теперь всеми учеными высказывается мысль об антропоцентрическом устройстве языка [см., например: Караулов, 1987; Роль человеческого фактора..., 1988; Трубачев, 1991, 156—157 и др.], о его «субъективности» [Бенвенист, 1974, 293], о том, что «язык создан по мерке человека» [Степанов, 1974, 15], который «главное действующее лицо в... языке» [Золотова, 2001, 108], и в соответствии с человеческим фактором и должен изучаться. Кроме того, в последние десятилетия отмечается тенденция к усилению связи лингвистики с другими науками, которую Е. С. Кубрякова назвала «экспансионизмом» современной лингвистики [см.: Кубрякова, 1995, 278]. Вновь науки из замкнутых, одноаспектных стремятся к взаимодействию и комплексности. Системные выходы на «чужую территорию» отличают развитие лингвистики на рубеже веков [см. об этом: Фрумкина, 1984, 7].

Реформирование российской экономики, кардинальные изменения в политической жизни общества в последние десятилетия стимулировали активное переустройство в системе современного лексикона. Существенные сдвиги в словарном составе языка, интенсивность его пополнения усиливают социальную значимость метаязыковой функции языка. Для обеспечения успешной коммуникации в условиях языковой динамики говорящий эксплицитно оценивает происходящие изменения. Языковая личность в речемыслительной деятельности, направленной на «ословливание» мира, реагирует, распознает и фиксирует вербально

те продуктивные характеристики слова, которые актуальны для адекватного обозначения замысла говорящего, его речевой деятельности.

Интенсивные процессы в обществе и языке обостряют языковую рефлексию носителя языка. Современная речь изобилует рефлексивами, относительно законченными метаязыковыми высказываниями, содержащими комментарий к употребляемому слову или выражению. Высказывания-рефлексивы погружены в определенный общекультурный, конкретно-ситуативный, собственно лингвистический контекст и описывают некоторое положение вещей.

Актуальность изучения рефлексивов определяется спецификой самого объекта, адекватно отражающего целесообразность ведущего принципа современной лингвистики — ее антропологического начала, фиксирующего поворот от изучения речи человека «к изучению говорящего человека» [Жельвис, 1997а, 5], к обращению пристального внимания к языковой личности. «Языковая личность трактуется не как часть многогранного понимания личности, а как вид полноценного представления личности, вмещающей в себя и психический, и социальный, и этический, и другие компоненты, но преломленные через ее язык, ее дискурс» [Караулов, 1989, 7].

Современная «экстралингвистическая реальность определяет основной набор лексико-фразеологических доминант» [Мокиенко, 1998, 39], быстрая смещаемость которых создает впечатление их резкой изменчивости и недолговечности. Языковое самосознание чутко реагирует на активную смену опорных звеньев лексикона, поэтому закономерно повышение частотности рефлексивов в переломные годы истории общества. Отсюда и возрастание исследовательского интереса к проблеме речевой рефлексии, выступающей как часть культурного и компонент национального самосознания.

Корпус рефлексивов, помимо своих первичных, коммуникативных, функций (временная характеристика слов, оценка фактов речи, стилистическая критика «уместности — неуместности» и т. д.), выполняет еще одну функцию, отражая эволюцию ценностной системы языковой личности, мировоззренческие установки в социально неоднородном обществе. Последнее позволяет говорить о вторичной функции рефлексивов — концептуальной, в частности, социально-оценочной. Социально-оценочные

метаязыковые высказывания дают возможность охарактеризовать психологическое состояние общества на данный момент, его социокультурные настроения. Рефлексивы, в целом отражая сознание языковой личности, реализуют свой потенциал в тех активных зонах языкового сознания, которые так или иначе связаны с социально-психологической ориентацией человека в современном мире.

Выбор в качестве нашего **объекта исследования** корпуса метаязыковых высказываний дает возможность, во-первых, создать на основе данных речевых употреблений лингвоментальный срез эпохи в переломный период; во-вторых, отметить «болевы́е точки» современных языковых процессов, на которые реагирует языковая личность; в-третьих, определить круг языковых явлений, которые подвергаются рефлексивному осмыслению.

Материалом для анализа послужили выборки из публицистических текстов российских средств массовой информации, в том числе Интернет-журналистики, с 1995 по 2002 год (включительно). Источники материала — прежде всего центральные газеты и журналы, рассчитанные на широкий круг читателей (сплошная выборка рефлексивов за указанный период из «Аргументов и фактов», «Комсомольской правды», «МК-Урал»), многочисленные номера местных газет, газет оппозиционной прессы (с 1991 года). Использованы публикации газетных и журнальных изданий разных жанров. Автором проводились записи устной речи теле- и радиоведущих, участников теле-, радиодialogов и полилогов, теле-, радиоинтервьюируемых, публичных выступлений общественных деятелей, ученых, политиков, разговорных dialogов. Для сопоставительного анализа использовались иллюстративные материалы «Словаря перестройки» [1992], произведения публицистики по проблемам современности.

Метаязыковое сознание носителя русского литературного языка выступает как объект исследования для ряда научных дисциплин. **Предмет исследования** зависит от конкретной точки зрения на объект, изучение которого актуально на пересечении социальных, психологических и когнитивных дисциплин. В данной книге осуществляется трехэтапное исследование объекта.

На первом этапе исследования метаязыковое сознание рассматривается как компонент языкового сознания, а рефлексия — как особый речемыслительный механизм, вербальной формой которо-

го является рефлексив. Показаны возможности аспектной интерпретации метаязыковых высказываний. Так, психолингвистика и когнитология изучают метаязыковое сознание через речемыслительную деятельность индивида; социолингвистическое направление, развивая плодотворную идею взаимодействия внутренних и внешних факторов, выделяет метаязыковое сознание в качестве ключевой переменной, влияющей на языковое развитие, рассматривает рефлексив как экспликатор социальных параметров текущей языковой жизни; лингвистика подходит к рефлексивам как к вербализованной речевой материи метаязыкового сознания. Предпринимается попытка определения рефлексива как элемента понятийного терминологического ряда, выделяются в общем виде два основных типа рефлексивов: коммуникативные и концептуальные.

На втором этапе исследования для специального рассмотрения выделяются коммуникативные рефлексивы, извлеченные из текстовых источников, образующие в совокупности открытый дискурсивный ряд особого типа, выступающие как единицы речевого взаимодействия адресанта и адресата, как результат речевой деятельности говорящего.

На третьем этапе исследования рассматриваются концептуальные рефлексивы, позволяющие проследить динамику концептуального видения носителя языка, формирование новых концептов современной России, а в отраженном виде — психологическое состояние общества в определенный период времени.

Этапы исследования определили композиционную структуру книги.

Активизация вербализованной метаязыковой деятельности современного говорящего обусловлена, как было отмечено, в первую очередь бурными социально-экономическими преобразованиями, происходящими в России после 1985 года. Прежде чем переходить к проблеме отражения общественных изменений в метаязыковом сознании, считаем необходимым обратиться к характеристике социальных факторов, определивших развитие современного русского языка.

На наш взгляд, трудно не согласиться с Л. П. Крысиным, утверждающим, что, «к сожалению, пока не сложилась традиция конкретного анализа социальных условий языковых изменений. Часто делаются самые общие утверждения... о явлениях, опреде-

ленным образом влияющих на характер изменений в языке, и такие общие утверждения считаются вполне достаточными» [Крысин, 1989, 80]. Поэтому дадим характеристику тому периоду социальных катаклизмов, которые привели к инновационным языковым сдвигам, определяющим активизацию метаязыкового сознания.

Реформы России продолжаются второе десятилетие. Шесть с половиной из них в составе Советского Союза (а в конце этого периода — и в борьбе с ним), остальные — вполне самостоятельно. Обновление экономических основ, а вместе с ним и политического устройства и духовной жизни общества началось с середины 80-х годов. Историки отмечают несколько дат, которые можно назвать отправными в социально-экономических преобразованиях в России: в марте 1985 года Генеральным секретарем ЦК КПСС стал М. С. Горбачев, который на апрельском Пленуме ЦК КПСС 1985 года изложил стратегический замысел обширных реформ [см.: Согрин, 1994, 8; Орлов, Георгиев, Георгиева и др., 2000, 452]. Символом горбачевского курса стало слово «перестройка». Главным рычагом преобразований должно было стать ускорение социально-экономического развития страны. Экономика СССР к тому времени представляла собой закосневшую систему. Темпы ее роста неуклонно двигались к нулю. Добиться повышения эффективности экономики было невозможно из-за крайне высокой инерционности системы, обусловленной централизованным планированием. Поэтому, чтобы что-то изменить в сложной и громоздкой плановой системе, необходимо было не экономическое, а политическое решение. Такое решение было принято и получило название перестройки. Экономическое осмысление концепции перестройки базировалось на понятии «ускорение». Оно предусматривало резкое увеличение темпов роста капитальных вложений в машиностроение, которому предстояло обновить основные фонды и обеспечить на этих новых фондах экономический прорыв. Кроме того, ускорение предполагало сдерживание потребления, а также осознанное увеличение дефицита бюджета. С дефицитом все получилось в полном соответствии с замыслом: всего за три года он вырос более чем в 4 раза, а вот со всем остальным оказалось гораздо сложнее. Во-первых, одновременно с перестройкой и ускорением случилась черновыльская катастрофа, а затем спи-

такое землетрясение, на устранение последствий которых было истрачено колоссальное количество средств. Во-вторых, был принят Закон о предприятии (1987), изменивший порядок расходования прибыли. На этом фоне к перестройке и ускорению прибавился сначала лозунг о социальной направленности экономики, а затем и о социально ориентированном рыночном хозяйстве.

Макроэкономический итог этого этапа перестройки поначалу казался позитивным. Увеличение бюджетного дефицита расширило совокупный спрос — как инвестиционный (со стороны государства), так и потребительский — что, в свою очередь, сообщило некий импульс промышленности. В результате в 1989 году был достигнут максимальный объем выпуска промышленной продукции за всю историю России.

Популярности начатых реформ способствовало и то, что советские люди заждались перемен: их не было уже в течение двадцати лет. «Горбачев же сразу предложил дюжину реформ, а его возраст и энергия внушали веру, что обещания будут воплощены в жизнь» [Согрин, 1994, 19—20]. Предложенный им курс соответствовал ожиданиям общества, его интеллектуальному уровню и менталитету. Некоторые идеи и реформы Генерального секретаря, позже оцененные как умеренные и ортодоксальные, воспринимались в те годы как революционные. К таковым в первую очередь относились идеи гласности и нового политического мышления [см. об этом: Горбачев, 1988].

Новая идеология и стратегия реформ была впервые изложена Горбачевым на январском пленуме ЦК КПСС в 1987 году. Затем они последовательно развивались на протяжении полутора лет, а кульминацией нового реформаторского курса стала XIX партийная конференция, состоявшаяся летом 1988 года. Политическая основа реформаторского курса к этому времени претерпевает серьезные изменения. Если раньше нужно было ускорять советский социализм, то теперь у социалистической модели были обнаружены серьезные недостатки. Усилия были направлены на создание новой модели социализма, ключом к пониманию которой стала всеохватывающая демократизация. Под прицел критики попала обширная часть партийно-государственного и хозяйственного аппарата, обозначенная общим понятием «бюрократия», или, по определению экономиста Г. Попова, «командно-административная

система». Новый стратегический подход предполагал, что без основательной очистительной работы и всесторонней демократизации общества радикальные экономические реформы не смогут осуществиться. В соответствии с этой логикой развивался новый этап перестройки. Он стал будоражающим периодом гласности, периодом активного взлета газет и журналов, книжного бума, критики «деформаций социализма» в экономике, политике, духовной сфере. Перестроечная публицистика постепенно приобрела собственную инерцию, и ей становилось тесно в рамках социалистического демократизма. Именно к этому периоду относится первый всплеск вербализации метаязыкового сознания.

В 1988 году в идеологию перестройки были включены и некоторые основополагающие либерально-демократические принципы, которые прежде относились к буржуазной демократии, — разделение властей, парламентаризм, правовое государство, естественные неотъемлемые гражданские и политические права человека. XIX партконференция завершилась триумфом для Горбачева и его соратников. Ее резолюции, наносившие удар по советскому тоталитаризму, создавали надежду и основу для запуска демократических механизмов в экономике.

Начало перестройки, ослабление и дальнейший крах советской системы вызвали в СССР взлет оптимизма и надежд на лучшее будущее. События, происходившие в России во второй половине 80-х годов XX века, всколыхнули практически все общество, породили вначале самые радужные надежды.

У политической позиции Горбачева оказались оппоненты как «слева», так и «справа». Реальная опасность «слева» обозначилась уже осенью 1987 года, когда с острой критикой реформаторского курса выступил первый секретарь Московского горкома КПСС Б. Н. Ельцин. Расстановка политических сил в стране стала меняться с осени 1988 года. Единый лагерь сторонников перестройки стал раскалываться: в нем выделилось радикальное крыло, быстро набравшее силу и объединившееся после Первого съезда народных депутатов СССР (май 1989) в Межрегиональную группу депутатов. С выходом радикалов в 1990 году из КПСС закончился первый период российского демократического движения, основанного на идеале социализма «с человеческим лицом». На смену пришел новый, антикоммунистический период. С января 1991 года началась официальная регистрация политических партий

и организаций. Антикоммунистический синдром, прочно укрепившийся в массовом сознании в течение двух-трех лет, стал одним из главных факторов, определивших поведение российских избирателей в июньской кампании 1991 года, когда одновременно с избранием президентом Российской Федерации Ельцина в Москве и Ленинграде были выбраны мэрами два известных радикальных лидера Г. Попов и А. Собчак. Радикализм в России достиг пика политического влияния. Эра Горбачева отходила в прошлое.

В консервативной оппозиции новому курсу Горбачева «справа» обозначились два течения — национально-патриотическое, отстаивавшее идею «русской исключительности», и ортодоксально-коммунистическое. Крайним выражением национал-патриотизма стала деятельность общества «Память», в котором совмещались разные тенденции, от монархической до авторитарно-сталинской. Ортодоксально-коммунистическое движение бросило вызов Горбачеву уже в марте 1988 года в связи с публикацией в газете «Советская Россия» статьи Н. Андреевой «Не могу поступиться принципами». Организационное оформление этого направления произошло в первой половине 1990 года. Российские консерваторы решили обойти партийных реформаторов следующим образом: поскольку оттеснить Горбачева и горбачевцев от руководства КПСС оказалось невозможным, они выступили с инициативой создания Российской коммунистической партии, в будущем предполагая превратить ее в оплот консерватизма. После политических успехов Ельцина и радикалов Горбачев был не в состоянии им противостоять. Неспособность Генерального секретаря КПСС отстаивать интересы собственной партии заставила ее консервативную часть пойти на самостоятельные защитные действия. В августе, после того как Горбачев уехал на отдых в Крым, консервативные руководители СССР приступили к подготовке заговора, направленного на пресечение реформ, восстановление в полном объеме власти центра и КПСС. Путч начался 19 августа 1991 года и продолжался три дня. Среди главных причин скорого краха путча на первом месте оказалась неспособность ГКЧП реалистически оценить возможную реакцию на его действия большинства российского населения, которое решительно не приняло заговор и заняло сторону российского правительства. Исход схватки между ГКЧП и российскими властями решился 20 августа, когда Ельцин и его окружение пресекли попытки захвата Белого дома путчис-

тами, переломили ход событий в свою пользу и взяли под контроль всю ситуацию в России. С 22 августа Ельцин и российские радикалы стали пожинать плоды своей политической победы. Начался обвальный распад государственно-партийных структур, цементирующих СССР. Во время встречи в Белоруссии 8 декабря 1991 года лидеры трех славянских республик заключили сепаратное межгосударственное соглашение, в котором заявили об образовании Содружества Независимых Государств (СНГ), а 21 декабря на встрече в Алма-Ате одиннадцать бывших советских республик (а теперь независимых государств) объявили о создании Содружества по преимуществу с координационными функциями. Заключительный абзац алма-атинской декларации звучал так: «С образованием Содружества Независимых Государств Союз Советских Социалистических Республик прекращает свое существование». Роспуск СССР — результат воздействия суммы субъективных и объективных факторов. Признавая значение субъективных факторов, просчетов и амбиций тех или иных лидеров в процессе распада СССР, нельзя сбрасывать со счетов объективные причины, одна из которых носит универсальный характер: мировая практика свидетельствует, что многонациональные государства, подобные СССР, рано или поздно разрушались. Крушение СССР подвело черту под горбачевским периодом современной отечественной истории.

«Анализируя причины неудачи перестройки... можно условно разделить их на две группы: объективную (системную) и субъективную» [Миронов, 1998, 292—293]. Объективной основой можно назвать принципиальную невозможность глобального реформирования социалистической экономики в советском варианте, огромный слой бюрократии оказался не в состоянии управлять в новой экономической ситуации. Реформаторское движение не имело широкой социальной базы, у реформы не было массового субъекта в различных ее концепциях — квалифицированного рабочего класса, мелкого или крупного собственника. Эти факторы дополнялись и целым рядом субъективных причин, порожденных половинчатостью горбачевских реформ и непоследовательностью в процессе их осуществления.

Психологическая ситуация в стране очень изменилась после 1989 года. «Резко возрос страх перед будущим» [Матвеева, Шляехтох, 2000, 775]. Психологическое состояние общества нашло

свое отражение в метаязыковом сознании. Главной причиной роста катастрофизма было большое число негативных событий, которые имели место после 1989 года и которые породили неверие и разочарование. В 1990—1991 годах развернулся «парад суверенитетов», начались забастовки, стала нарастать общая политическая напряженность, в результате «павловского» обмена денег возник ажиотажный спрос, полностью разбалансировавший потребительский рынок. В 1991 году начался промышленный спад, продолжающийся и по сей день.

Отметим наиболее крупные меры, предусмотренные в плане экономических реформ, обнародованных в конце октября 1991 года на Съезде народных депутатов России самим президентом Ельциным. Первая крупная мера — разовое введение свободных цен с января 1992 года. Она должна была определить рыночную стоимость товаров и запустить механизм конкуренции между предприятиями. Вторая мера — либерализация торговли — должна была ускорить товарооборот. Третья мера — широкая приватизация жилья и предприятий — должна была превратить массы населения в собственников. Авторами радикальных реформ являлись ведущие министры нового российского правительства, экономисты-рыночники: Е. Гайдар, А. Шохин, А. Чубайс. Премьер-министр нового правительства Е. Гайдар уже в теоретических разработках 1990 — начала 1991 года зарекомендовал себя сторонником «шокотерапии», которая представляла собой политику быстрого перехода от командно-административной к рыночной экономике и радикальные методы борьбы с инфляцией и бюджетным дефицитом.

Но уже первая радикальная реформа — отпуск в начале января цен — привела к драматическим результатам: большинство населения оказалось за чертой бедности. Самый острый пик страха в России приходится на январь — февраль 1992 года, когда катастрофа казалась неминуемой, боялись голода и полного краха всего. Проведенная либерализация цен с неизбежностью привела к гиперинфляции, создав мощнейший источник перераспределения богатств. Новые проблемы раскололи прежнее реформаторское большинство: половина его перешла в 1992 году в ряды противников правительственной политики, объединившись с консерваторами образца 1990—1991 годов и составив большинство уже с ними. Президент Ельцин твердо встал на сторону Гайдара. Это

привело к противостоянию между президентом и законодательной властью, которая приобрела своего лидера в лице спикера Верховного Совета Р. Хасбулатова. Главная схватка между ответственными реформаторами и их оппонентами состоялась на Седьмом съезде народных депутатов, который состоялся в начале декабря, когда стали известны итоги экономического развития России за год. Лобовое столкновение президента и Съезда разрешилось компромиссом: российское правительство было поручено сформировать новому премьер-министру В. С. Черномырдину. Реформы, связанные с именем Гайдара, продолжались ровно год. Фактически к концу 1992 года обнаружил свой утопизм и потерпел поражение стратегический замысел радикального движения 1989—1991 годов, который предполагал проведение быстрых и масштабных рыночных реформ без ухудшения положения народных масс и быстрое и безболезненное создание демократического общества.

Лагерь демократов все более раскалывался, к концу 1992 года его большинство находилось в оппозиции к правительству. В России практически не осталось ни одной политической партии, поддерживающей курс правительства. Но в действительности оппозиция партий не создавала серьезных проблем для правительства в силу слабости российских партий. Кроме партий, другим каналом выражения оппозиционных настроений являлись средства массовой информации. Особенно пресса утвердилась в качестве центра гласности, выражающего недовольство правительственной политикой. Главным мотивом массовой оппозиции стал морально-нравственный протест. Перерождение новой власти, новой политической элиты повергло российскую общественность в состояние шока. Другим мотивом недовольства стало свертывание социальных программ, возникновение и быстрое нарастание в стране социальных контрастов. Главным организованным центром оппозиции стали российский Съезд народных депутатов и Верховный Совет.

1993 год начался с изложения правительством основных стратегических позиций, при этом состояние российской экономики определялось как катастрофическое. Приоритеты правительственной политики по преимуществу повторяли гайдаровские подходы. Главными среди них объявлялись укрепление рубля, финансовая стабилизация и борьба с инфляцией. Лечение экономических болезней России предполагалось решать в рамках монетаристского

подхода. Разногласие по вопросу о социально-экономическом и политическом курсе России явилось главной причиной конфликта между исполнительной и законодательной властями, определившей развитие российской политики в 1993 году и завершившейся кровавой схваткой между ними в начале октября.

Драматическая развязка конфликта между исполнительной и законодательной властями сопровождалась активными шагами российского президента по закреплению своей победы. Серией указов президент России фактически повсеместно прекратил деятельность органов советской власти. Место прежней государственности должна была занять новая система, принципы которой закреплялись в проекте новой Конституции. В декабре одновременно с выборами в новый орган государственной власти — Федеральное собрание Российской Федерации, состоящий из двух палат: Совета Федерации и Государственной думы, на проведенном референдуме 12 декабря был одобрен проект новой российской Конституции. Состав Госдумы как первого, так и второго (1995) созывов предопределил острый характер межпартийной борьбы по всем рассматриваемым в ней внутриполитическим вопросам. В частности, оппозиционные правительству силы пытались выступить единым фронтом на выборах президента летом 1996 года.

К 1994 году процесс российской модернизации вновь столкнулся с необходимостью смены ориентиров и выбора новой модели. Наибольшую популярность приобрели две концепции. Одна обозначается как консервативный либерализм и основывается на идее поэтапного и эволюционного освоения уже воспринятых российским обществом образцов гражданского общества, рынка, частной собственности, разделения властей. Другую концепцию можно определить как национал-государственную, которая объявляет приоритетным национальный интерес, восстановление России в качестве мощной державы на мировой арене. Кроме того, политической элитой было осознано, что проведение рыночных реформ «сверху» настолько неэффективно, что угрожает потерей власти. В этой связи широкий отклик в общественном мнении нашла концепция «реального федерализма», расширения социальных-экономических и политических прав российских регионов.

В период 1993 (после октября) — 1996 годов наблюдалась постепенная адаптация населения к новой ситуации. В 1996—1998 годах — новый взлет страхов, связанный с обострением эко-

номического кризиса в стране, массовыми невыплатами зарплат и массовыми уклонениями от уплаты налогов. Стали нарастать страхи экономического характера. «Глубинные и противоречивые процессы в социально-экономической сфере при депрессивном состоянии производства и недостаточной компетентности руководства привели в августе 1998 г. к финансовому кризису» [Орлов и др., 2000, 475]. Коллапс банковской системы, который начался 17 августа и вызвал отставку правительства С. Кириенко, затянулся на многие месяцы и потряс все отрасли народного хозяйства. В политической жизни также отчетливо проявлялся кризис власти. Участились кадровые перестановки в правительстве. С апреля 1998 года по март 2000 года на должности председателя правительства РФ сменились 5 человек: С. В. Кириенко, В. С. Черномырдин, Е. М. Примаков, С. В. Степашин, В. В. Путин.

В декабре 1999 года состоялись очередные выборы в Государственную думу, 31 декабря 1999 года о своем досрочном уходе в отставку объявил первый президент РФ Б. Н. Ельцин. Временно исполняющим президентские обязанности он назначил В. В. Путина, главу правительства. На выборах 26 марта 2000 года В. В. Путин был избран президентом Российской Федерации. Смена руководства страны завершила определенный этап в жизни постсоветской России, стала рубежом в ее общественно-политическом и экономическом развитии.

Обзор социального контекста новейшей истории России позволяет выделить два социолингвистически значимых периода — перестроечный (с 1985 до 1991) и постперестроечный (с 1991 до наших дней). Все узловое изменения социальной жизни сказались на языковом существовании общества и получили отражение в обыденном метаязыковом сознании.

НОВАЯ РЕАЛЬНОСТЬ КАК ИСТОЧНИК АКТИВНЫХ ЯЗЫКОВЫХ ПРОЦЕССОВ В СОВРЕМЕННОМ РУССКОМ ЯЗЫКЕ

Коренные преобразования общественно-экономической жизни России сказались на состоянии и функционировании современного языка, явились основной причиной активных процессов,

происходящих в русском языке и общественном языковом сознании. Современные русисты обратили внимание на эти процессы. Появляется ряд монографических работ, посвященных изучению текущей языковой жизни общества на рубеже веков [см., например: Дуличенко, 1994; Костомаров, 1999; Русский язык конца XX столетия, 1996; Русский язык в контексте культуры, 1999; Русский язык сегодня, 2000; Культурно-речевая ситуация в современной России, 2000; Стернин, 1998; Ферм, 1994; Шапошников, 1998], проходят научные конференции, посвященные данной проблеме. Например, международные и всероссийские конференции на рубеже веков: «Активные языковые процессы конца XX века» (Москва, февраль 2000), «Культурно-речевая ситуация в современной России» (Екатеринбург, март 2000), «Русский язык на рубеже столетий» (Санкт-Петербург, октябрь 2000), «Русский язык: исторические судьбы и современность» (Москва, март 2001), «Русский язык в современной социокультурной ситуации» (Воронеж, апрель 2001).

Общее мнение сводится к тому, что современные изменения в языке обусловлены прежде всего социальными причинами, а именно социально-экономическими потрясениями, происходящими в России в последние полтора десятилетия, хотя «новые источники внешних воздействий на систему усиливали действие ее собственных динамических тенденций, ускоряли их развитие» [Колесов, 1999, 33]. В такие периоды «стихийное, неуправляемое начало» в языке одерживает победу над нормативным, поэтому актуальные языковые тенденции «как бы вырываются наружу» [Гловинская, 1996, 237—238]. Современное языковое состояние было охарактеризовано как динамическая синхрония, «интенсивная динамизация» [Мокиенко, 1998, 38], как «ускоренный переход к некоему новому эволюционному этапу, который связан с новшествами» [Костомаров, 1999, 290], как синхронный срез с высокодинамичным типом эволюции языка, который «характеризуется сравнительно быстрыми сдвигами в функционировании конкурирующих единиц (в течение 10—12 лет) и высоким коэффициентом роста, характеризующим темпы изменений» [Граудина, 1996, 413].

Дискуссионной является проблема, которая была сформулирована еще в конце перестройки в 1991 году на конференции, организованной Институтом русского языка Академии наук СССР

«Русский язык и современность. Проблемы и перспективы развития русистики», — произошла ли перестройка языковой системы или же наблюдаемые изменения касаются только функционирования языка. Доклад Ю. Н. Караулова и материалы почтовой дискуссии, в которой приняли участие крупные ученые страны [см.: Караулов, 1991], были осмыслены и прокомментированы в более поздних работах лингвистов [см., например: Костомаров, 1999; Земская, 1996; Кестер-Тома, 1998]. В последнее десятилетие активные языковые процессы не ослабили свою динамику, поэтому исследователи по-прежнему обращаются к этому вопросу.

В своих рассуждениях ученые чаще всего приходят к выводу, что социально-экономические события в России «привнесли существенные изменения, в первую очередь, в функционирование русского языка» (Витт) [цит. по: Кестер-Тома, 1998, 9]. Хотя, как пишет В. Г. Костомаров, приходится «сомневаться в том, что все происходящее проходит мимолетно, никак не затрагивая систему русского языка» [Костомаров, 1999, 293]. Исследователь приходит к выводу о заметном сдвиге в соотношении нейтральных и маркированных средств выражения. Эти сдвиги в «устоявшемся балансе центра и периферии» явно относятся к системе, а не к функционированию языка. Все системные изменения начинаются в речи, и некоторые особенности современной речи можно понимать как потенции будущего изменения языка. Наметившиеся изменения можно углядеть «только в пространстве большого времени» [Колесов, 1999, 16]. В. В. Колесов в этой связи отмечает: система языка сжимается и упрощается, тогда как функции ее единиц расширяются. В последних работах намечается тенденция к выводам интегративного характера, устремленность к всестороннему охвату проблемы. В частности, Е. А. Земская пишет: «Что происходит с русским языком в конце XX столетия? Оценивая состояние языка, необходимо разграничивать три вида процессов: 1) в условиях функционирования языка, 2) в построении текста, 3) в системе языка» [Земская, 2000, 31]. Монография «Русский язык конца XX столетия (1985—1995)» [1996] — результат такого комплексного описания. Первая часть работы посвящена активным процессам, происходящим в сфере языка, во второй части рассматриваются проблемы коммуникативно-прагматического характера.

Изучение активных языковых процессов происходит в тесной связи с уровневой характеристикой языковых изменений. Не уг-

лубляясь в теоретическое осмысление проблемы изменений в языке или речи, ученые обращаются к конкретному анализу употребления единиц отдельных уровней. Поуровневое описание языковых изменений, безусловно, дает возможность фундаментально исследовать активные процессы в современной лингвосфере. «Динамизация языковой системы, как показывает их диагностика, коснулась практически всех ее уровней, хотя, естественно, каждый уровень имеет в этом отношении свою специфику и свой масштаб динамичности» [Мокиенко, 1998, 38].

Впечатление языковой «революции» у современника возникает на фоне скачкообразного развития словаря, бурного притока новых слов. К описанию изменений в лексической семантике, к динамическим явлениям в словаре обращаются О. П. Ермакова [1996, 2000], А. Д. Дуличенко [1993], Г. Н. Скляревская [1996, 2001], К. Ласорса-Сьедина [2000], Э. А. Столярова [2000] и др. Описаны языковые изменения на фонетическом уровне [см.: Воронцова, 1996; Шапошников, 1998], словообразовательные инновации [Земская, 1992, 1996; Николина, 1998], активные процессы в грамматике и синтаксисе [Гловинская, 1996, 1998; Ильина, 1996; Норман, 1998].

Следующий аспект исследования активных процессов в языке можно назвать коммуникативно-прагматическим. В поле зрения ученых попадают изменения, связанные с функционированием языка в речи, изучается специфика слова и текста различной функциональной направленности [см., например: Богданов, 2001; Золотова, Онипенко, Сидорова, 1998; Иссерс, 1999; Мартьянова, 2001; Русский язык в его функционировании, 1993; Текст: стереотип и творчество, 1998; Седов, 1998; Федосюк, 1998 и др.]. Активные процессы в языке исследуются в рамках теории речевых жанров [см. содержательный обзор в работах: Федосюк, 1997; Жанры речи, 1997, 1999]. Одно из важных достоинств указанного — выработанные им объективные методы, позволяющие объяснить многие особенности функционирования языка в речи [см.: Федосюк, 2000, 261].

Еще один аспект современных исследований — это социолингвистический взгляд на языковые изменения с целью установления причинно-следственных связей между языковыми и социальными изменениями, поиски коррелятивных отношений между языком и социальной средой [Беликов, Крысин, 2001;

Крысин, 1996, 2000а, 2001б, 2001в; Михальченко, 1999; Стернин, 1998, 2000а, 2000б; Социальная лингвистика в Российской Федерации, 1998]. Так, например, политическая свобода, свобода слова, отмена политической цензуры проявились в активизации политического дискурса, развитии полемических форм диалога, возрастании роли устной речи, изменениях в языке публицистики, проникновении в публичную речь большого объема сниженной и маргинальной лексики. Политический плюрализм приводит к структурной перестройке политического лексикона [см. об этом: Воробьева, 2000; Шейгал, 2000], к расширению границ речевой свободы, к использованию манипулятивных приемов в публичной речи [см.: Купина, 2000, 99—101]. Развитие рыночной экономики активизирует процесс заимствования экономической терминологии [см.: Китайгородская, 1996; Комлев, 1992а], способствует восстановлению историзмов, формирует рекламный язык [см., например: Кохтев, 1991а, 1991б, 1991в; Кривоносов, 2001; Морозова, 2001; Седакова, 1997; Толкунова, 1998; Чередниченко, 1999а, 1999б]. Открытость российского общества является одной из причин активного вхождения в современный лексикон иноязычной лексики [см., например: Складневская, 2001, 178—180]. Нестабильность в политическом и экономическом положении страны, социальная, политическая и имущественная поляризация общества современной России привели к агрессивности общения, которая проявляется в росте удельного веса конфликтного общения, повышении доли оценочной лексики в речевом потоке, увеличении количества грубых и нецензурных выражений [см.: Жельвис, 1997а, 1997б, 1999; Шалина, 1998; Лингвокультурологические проблемы толерантности, 2001]. Техническое перевооружение быта стимулирует широкое распространение английских заимствований, уменьшение объема письма и чтения, ведет к ослаблению навыков понимания и интерпретации письменного текста. Смена общественно-политической парадигмы привела к смене коммуникативной парадигмы, которая проявляется в «орализации, диалогизации, плюрализации, персонификации общения» [Стернин, 2000а, 13].

Особый — культурно-речевой, оценочный взгляд на изменения, происходящие в родном языке, достаточно типичен для современного общества. На упомянутой выше научной конференции 1991 года обсуждалось современное состояние языка, ана-

лизировались активные процессы в современном языке с оценочной точки зрения (приводят ли эти изменения к порче языка?). В ходе подготовки конференции Н. Ю. Шведова высказала мысль о том, что функционирование русского языка в современных условиях ведет к большому количеству «отрицательного» языкового материала, что вызывает беспокойство о состоянии языка. В этом контексте состояние языка воспринималось как болезненное, удручающее, тревожное. Результаты почтовой дискуссии показали, что русисты оптимистично смотрят на изменения в языке, связывая их прежде всего с процессом функционирования, а не с перестройкой самой языковой системы. Подобная поляризация взглядов — оптимистическая, оценочно-нейтральная, аналитически беспристрастная точка зрения, с одной стороны, и пессимистическая, оценочно-окрашенная (безусловно, с пейоративной окраской), субъективная, с другой стороны, присутствует в потоке работ, посвященных текущей языковой жизни. Тревожная озабоченность филологов по поводу низкой языковой компетенции современных носителей языка вполне объяснима и уместна, но степень агрессивности некоторых лингвистических работ иногда выходит за рамки допустимого, особенно когда авторы не разграничивают две ипостаси языка — язык-систему и язык-способность. Приведем в качестве примера достаточно развернутую цитату, свидетельствующую о крайне негативном оценивании культурно-речевого состояния современной России: «В настоящее время все большее число специалистов в области языкознания, культурологии, этнопсихологии бьют тревогу по поводу распада русского языка: в утрате языкового эталона как основы этнокультуры проявляется болезнь русской души. Наглядным воплощением духовной заразы, поразившей телесный лик русского языка, служит массовое распространение в разговорном обиходе нецензурных выражений, насыщение речи жаргоном криминальных слоев общества. Сатанинское зло этих вирусов человеческой свободы во всей полноте обнажилось в трагическом изломе русской истории 1917 года. Деграция языка — симптом крайнего духовного оскудения народа, его нравственного разложения. Для спасения последнего оплота «русской души» сегодня требуются экстраординарные меры — духовная реанимация умирающего этнического организма, беспощадная борьба с безумием «русской речи» [Гореликов, Лисицына, 1999, 22—23].

Подобные односторонние оценки современной речи, относящиеся к аспекту экологии языка, отдельными вкраплениями включаются и в работы других исследователей. Эмоциональны труды А. Д. Дуличенко. Например, его статья об активном пополнении словарного запаса современного языка носит негативно-оценочное название «От агрессии слов к ономастическому перевороту. (Заметки о русском языке перестроечного времени)» [Дуличенко, 1993, 277]. Тревожно-оценочно звучат слова В. В. Колесова: «...наше время, трудно сказать какое: *время язычества* или *языческое безвременье* (курсив автора. — *И. В.*)» [Колесов, 1999, 3]. Экологический взгляд на язык характерен для трудов А. П. Сковородникова [1993], А. Д. Васильева [2000], в работах которых выражены умеренно пуристические оценки языковой ситуации в современной России. Наряду с озабоченностью ученых современным языковым состоянием присутствует и оптимистический взгляд на происходящее в русском языке. «Я считаю, что происходит не порча языка, а его раскрепощение. Раскрепощение, высокая экспрессивность, возможность свободно выражать свои мысли и чувства, игры с языком и при помощи языка — вот что характерно для русского языка нашего времени», — пишет Е. А. Земская [Земская, 2000, 46]. «Мне думается, что все сказанное о резком падении уровня речевой культуры — правда. Но это не вся правда. На самом деле общая картина речевой практики русского общества иная. Она не хуже, не лучше, она просто имеет другие очертания», — продолжает мысль Е. А. Земской и В. И. Коньков [Коньков, 2001, 44]. Г. Н. Складаревская развивает положения, приведенные выше: «Процессы, происходящие в русском языке на рубеже веков, только на первый взгляд производят впечатление языковых катаклизмов — в действительности они реализуют гибкость и жизнеспособность современной языковой системы, в них больше закономерного, чем случайного и больше вселяющего надежду, чем катастрофического» [Складаревская, 2001, 202]. Таким образом, один и тот же факт текущей языковой жизни может получать в лингвистической литературе разную оценочную интерпретацию, ср.: стилистический полифонизм современного дискурса может определяться, с одной стороны, как лингвистическая мозаика [Земская, 1997, 1999], с другой стороны, как стилевой винегрет [Аннушкин, 2000, 14].

РЕЧЕВОЕ ПОВЕДЕНИЕ НОСИТЕЛЯ СОВРЕМЕННОГО РУССКОГО ЯЗЫКА

Характеристика активных языковых процессов была бы неполной без анализа изменений, происходящих в современной речевой коммуникации. Демократизация российского общества, гласность обусловили появление «концептуальной, оценочной и языковой свободы» [Стернин, 2000, 16]. Многоаспектный фактор свободы стимулировал усиление личностного начала, особенно в публичной речи [см.: Панов, 1988; Земская, 1996; Кормилицына, 2000a], коммуникативного права говорящего на открытое самовыражение, на «возможность подвергать индивидуально-субъективным оценкам любой предмет речи и компонент коммуникативного акта» [Матвеева, 2000, 50]. Инфантилизм сознания советского человека, порождавший «инфантилизм высказывания» [Капанадзе, 1997, 48], сменился особой экспрессивностью публицистического текста, который открыто проясняет позицию автора, субъективную оценку говорящего.

В связи с происходящими изменениями в политической и экономической жизни общества пересматриваются и сложившиеся представления человека о мире. Обновление концептуального мира носителя языка, концептуализация знаний о преобразующемся мире при представлении их в языковой форме сопровождается оценочной интерпретацией языкового знака, которая проявляется в феномене метаязыкового комментирования, в обостренной рефлексии носителя языка. Языковая картина мира связана с ценностной ориентированностью человека в окружающей жизни. Для того чтобы познать объект, человек делает его до некоторой степени субъективным [Солганик, 1981, 73], так полнее и глубже постигаются свойства объекта. Субъективность предполагает превалирование коннотативного компонента в слове над денотативным. Особенно богатой сферой коннотативного значения обладают те понятия, которые жизненно необходимы человеку, на освоение которых он тратит усилия. В экспрессивных контекстах употребления слова реализуется принцип ценностной ориентации человека в мире. Языковая личность с помощью интроспекции стремится разобраться в обстоятельствах появления и функционирования слова, дать ему оценку, осмыслить по-новому

значения слов, реализуя функцию «сверх того», передавая с помощью метаязыкового комментария «информацию не о мире вообще, а о человеке» [Мурзин, 1998б, 11] в процессе его самовыражения.

Исследовательский интерес к изучению метаязыкового обыденного сознания отмечен давно и определяется разными задачами. Так, С. И. Карцевский связывает активность метавысказываний с «социально-политическим сдвигом», «новыми фактами жизни», которые определяли «исключительно эмоциональное к ним отношение со стороны по-новому дифференцированного общества» [Карцевский, 2000, 277], В. В. Виноградов считает, что анализ личных или общественно-групповых оценок разнообразных речевых явлений необходим для изучения «всей полноты современной речевой жизни» [Виноградов, 1964, 9]. При этом «разная степень авторитетности информантов не имеет значения, так как речь идет не о результате лингвистического анализа, а просто о содержании сознания любого носителя языка» [Винокур, 1959, 423].

Без учета языкового сознания рядового носителя языка картина языковой жизни социума будет неполной, «обыденное сознание — это не сознание второго сорта» [Голев, 2000, 41]. В свое время Хомский настаивал на том, что данными для лингвистики должны являться интуитивные суждения о языке, и теория языка должна быть построена так, чтобы истолковать эти подсознательные суждения [цит. по: Лабов, 1975а, 100]. Исследователи должны понимать, что «народная точка зрения, взятая сама по себе, есть часть социолингвистической ситуации и заслуживает самостоятельного рассмотрения» [Брайт, 1975, 37]. При эмпирическом изучении процесса языковых изменений одной из проблем является проблема оценки, решение которой состоит в нахождении субъективных коррелятов объективных изменений в языке. Такими коррелятами, по мнению У. Лабова, являются неосознанные субъективные реакции информантов на различные значения языковой переменной [Лабов, 1975б, 202]. Вербализованная рефлексивная реакция наших современников на активные языковые процессы является «поучительным материалом по истории зарождения вольномыслия» [Хлебда, 1999, 65].

В отечественной лингвистике обыденные представления о языке — это прежде всего предмет диалектологических изысканий [см., например: Блинова, 1973, 1984, 1989; Ростова, 2000; Люти-

кова, 1999; Лукьянова, 1986; Никитина, 1989, 1993 и др.], которые посвящены изучению речи «людей устной культуры с необученным языковым сознанием, малограмотных носителей традиционного слоя диалекта» [Ростова, 2000, 48]. Действительно, в народных говорах заключен значительный пласт представлений народной культуры о языке и речевой деятельности. Параллельно с исследованием диалектного материала лингвисты обращаются к обыденному сознанию «так называемых средних носителей русского языка» [Кестер-Тома, 1998, 8], обычного человека — «наивного лингвиста» [Норман, 1994, 5], «природного лингвиста» [Виноградов, 1995, 34], носителей живой современной речи [Костомаров, Шварцкопф, 1966; Шварцкопф, 1970, 1971, 1988, 1996; Булыгина, Шмелев, 1998; Шмелева, 1999; Вепрева, 1997, 1998, 2000в; Шаймиев, 1999; Кормилицына, 1998], писательскому метаязыковому сознанию [Ляпон, 1989, 1992, 1995, 1998], к обыденному сознанию нелингвистов, представителей разных нефилологических специальностей — юристов [Лебедева, 2000; Голев, 2000; Осипов, 2000], журналистов [Васильев, 2000; Вепрева, 2000а, 2000б], политиков [Шейгал, 2000]. Безусловный научный интерес представляет развитие метаязыковых способностей у детей [см.: Тульviste, 1990; Clark, 1978; Slobin, 1978; Marshall, Morton, 1978; Karmiloff-Smith, 1986].

В лингвистике проблема традиционного донаучного знания языка была поставлена на обсуждение в работе Хенигсвальда, по которой развернулась дискуссия на конференции в 1964 году в Калифорнийском университете UCLA (University of California, Los Angeles). Социолингвистический аспект проблемы заключался в выяснении различий между тем, как люди используют язык, и тем, что они думают о своем языковом поведении и языковом поведении других. Эта последняя сфера интересов была названа «народной лингвистикой» (folk-linguistics) [Hoenigswald, 1966]. Обыденное языковое сознание изучалось на материале бесписьменных языков Азии, Африки и Америки [см. об этом: Albert, 1964; Bricher, 1974; Fox, 1974; Jackson, 1974; Keenan, 1974; Stress, 1974; Bauman, 1975; Scribner, Gole, 1978].

Другой аспект исследований, связанный с донаучными знаниями о языке, относится к составлению тезаурусов, синонимические схемы которых выводятся из анализа лексики данного языка. Такие схемы отражают наивную картину мира. Так, разрабатывая

систему понятий для такого словаря, Р. Халлиг и В. Вартбург поставили перед собой цель отразить в ней «то представление о мире, которое характерно для среднего интеллигентного носителя языка и основано на донаучных общих понятиях, предоставляемых в его распоряжение языком» [Hallig, Wartburg, 1952]. Это представление о мире они назвали «наивным реализмом» [цит. по: Кобозева, 2000, 131]. Многие лингвисты проблему разработки метатекста связывают с именем А. Вежбицкой, либо с ее *lingua mentalis*, воплощающими понятийную основу «наивной картины мира» [Вежбицка, 1983], либо с анализом метатекста как речевого явления [Вежбицка, 1978].

Было бы наивно предполагать, что опора только на метаязыковой комментарий может реконструировать картину мира человека, воссоздать исторически меняющееся мировоззрение языкового коллектива, хотя особенностью метаязыкового знания является то, что оно входит одновременно в языковое и когнитивное сознание индивида. Эксплицитное их проявление прямо связано с развитием когнитивного сознания. Помимо этого языкового феномена, как, впрочем, и всего языка в целом, в культуре существует много других кодов, несущих в себе такого рода свидетельства. Однако данные языковые факты обязательно необходимо учитывать. Современная речевая действительность открывает уникальные возможности комплексного анализа метаязыкового дискурса, позволяющего рассмотреть вербализованные продукты речемышлительной деятельности как социокультурно значимую речевую деятельность, как феномен коммуникативной и концептуальной деятельности русской языковой личности на рубеже веков.

ГЛАВА 1

МЕТАЯЗЫКОВОЕ СОЗНАНИЕ И РЕФЛЕКСИВЫ

ПОСТАНОВКА ВОПРОСА

Изучение метаязыкового высказывания как экспликатора социальных и ментальных параметров текущей языковой жизни заставляет обращаться к исследованиям многих смежных дисциплин — социологии, психолингвистики, этнолингвистики, когнитологии и других антропологически ориентированных дисциплин. Таким образом, метаязыковой комментарий попадает в фокус междисциплинарных исследований. В структуре «всеобъемлющей триады «социология — психология — филология»» [Винокур, 1993, 5] психологический аспект проблемы занимает едва ли не главное место, так как феномен языкового сознания является частью общей проблемы «язык и мышление». Кроме того, метаязыковой материал является ярким свидетельством русского языкового самосознания на рубеже веков, позволяет реконструировать мировоззренческие установки личности, психологическое состояние общества в разные временные периоды (перестройка и постперестройка), включается в исследовательское поле социолингвистических работ в связи с социальной обусловленностью речевого поведения современного носителя языка.

В этой главе, отражающей первый этап исследования, дается аналитический обзор разных подходов к характеристике метаязыкового сознания, разрабатывается терминологический аппарат исследования, включающий мотивировку выбора термина «рефлексив» и обоснование типологии рефлексивов.

ЯЗЫКОВОЕ И МЕТАЯЗЫКОВОЕ СОЗНАНИЕ В ПСИХОЛИНГВИСТИЧЕСКОМ И КОГНИТИВНОМ АСПЕКТАХ

Проблема соотношения языка и мышления могла бы быть отнесена к разряду традиционных проблем, если бы не рассматривалась по мере получения новых фактов каждый раз под новым уг-

лом зрения. В связи с этим необходимо отметить, что в современной науке оказалась сильной тенденция к интегрированию результатов многих научных направлений, связанных с изучением различных аспектов функционирования человека в природе и обществе. В частности, произошла переориентация психолингвистики, ее переход на позиции когнитивной науки [о путях развития психолингвистики см.: Залевская, 1998]. Психолингвистика на современном этапе развития понимается как наука интегративного типа, одно «из направлений когнитивного подхода, объединяющего усилия специалистов (с фундаментальной подготовкой) из разных областей знаний, изучающих человека» [см.: Там же, 92]. В число актуальных направлений психолингвистических изысканий нового типа входит разработка психолингвистической теории знания, которая включает рассмотрение проблем языкового сознания, языковой личности и картины мира. Лингвистика, рассматривающая язык как условно самостоятельный объект, взаимосвязь которого с сознанием можно было учитывать по мере необходимости для понимания отдельных языковых явлений, напрямую обратилась к результатам психолингвистических исследований, которые рассматривают язык в тесной взаимосвязи с сознанием и миром. Поэтому результаты исследования метаязыковых высказываний в лингвистическом аспекте могут быть рассмотрены как гипотеза, обеспечивающая концептуальную связанность лингвистических и психолингвистических представлений о процессах, протекающих в языковом сознании в ходе когнитивной и коммуникативной деятельности.

Определим круг проблем, к решению которых обращаются исследователи, работающие в области современной психолингвистики и когнитологии и которые важны для исследования метаязыкового сознания.

Соотношение мышления и сознания

К разряду вечных проблем относится проблема соотношения мышления и сознания [о попытках упорядочить терминологические мнения в различных публикациях см.: КСКТ, 1996; Языковое сознание..., 1988; Язык и сознание..., 1993; Язык, сознание, коммуникация, 1999; Почепцов, 1990]. В современной литературе чаще всего понятие «мышление» отождествляется с понятием «сознание»

[см., например: Почепцов, 1990; Ейгер, 1990; Фесенко, 1999 и др.]. Е. С. Кубрякова признает, «что для подобного неразличения существует немало оснований как потому, что содержание указанных понятий частично пересекается и налагается друг на друга, так и потому, что жесткое их противопоставление отчасти невозможно, отчасти же оно лишено особого значения» [КСКТ, 1996, 176]. Оба термина обозначают формы высшей нервной деятельности, а именно психические, ментальные системы и когнитивные способности человека, эти формы связаны с активной познавательной деятельностью и восприятием мира. Часто к оппозиции *сознание — мышление* присоединяют третий член — *язык*, и тогда все указанные феномены выступают как одна нерасчлененная сущность, образующая ментально-лингвальный комплекс, который определяется как «функционирующая на основе человеческого мозга самоорганизующаяся информационная система» [Морковкин, Морковкина, 1994, 44].

Специальные работы устанавливают соотношение когнитивных категорий. Так, психо- и нейролингвистика доказывают, что в генетическом плане понятие «мышление» шире, чем понятие «сознание» [Портнов, 1988, 6—7; Ерахтин, 1989, 42—43]. Сознание «представляет собой определенное состояние человека» [КСКТ, 1989, 176] и развивается под влиянием мышления. Сознание, таким образом, представляется как одна из форм мышления, как фиксированное знание, «рефлексия субъектом действительности, своей деятельности, самого себя» [Леонтьев, 1975, 13]. Если сознание воспринимается как образ определенных объектов, мышление может выступать как процесс или деятельность, посредством которого этот образ получается, т. е. как познание [Леонтьев, 1972, 278].

Вербальность/невербальность сознания

Данная проблема выявляет дихотомию «традиционная точка зрения — современная точка зрения». Традиционной точкой зрения является вербалистский подход к сознанию. Согласно данному подходу, сознание «всегда протекает в вербальных формах, даже если оно достигает высокого уровня абстракции» [Верещагин, Костомаров, 1983, 16], «формы языка необходимо сопутствуют мышлению от начальной фазы зарождения мысли до момента отчуждения и передачи слушателю» [Кацнельсон, 1984, 4], сознание как высшая, поня-

тийная ступень мышления формируется только на базе языка [см.: Серебренников, 1988, 174—175; Колшанский, 1990, 25—27]. отождествление членов триады «действительность — мышление — язык» имеет длительную традицию, подобный подход отличает работы Гумбольдта, Потебни, Хайдеггера, Гадамера. Приведем характерные утверждения: «...Язык — это не просто средство взаимопонимания, но слепок с мировоззрения и духа говорящего» [Гумбольдт, 1985, 397]; «Слово... служит опорой врожденному человеку устремления обнять многое одним нераздельным порывом мысли» [Потебня, 1960, 122]; «...На языке основано и в нем выражается то, что для человека вообще есть мир... тут — бытие мира есть бытие языковое» [Гадамер, 1988, 512]; «Язык — дом бытия» [Хайдеггер, 1993, 272].

Многие современные лингвисты полагают, что теория о неразрывном единстве языка и мышления — «вчерашний день языкознания» [Кривоносов, 1992, 79], и часто связывают этот подход с философскими догмами диалектического материализма, так как единство языка и мышления обычно формулировалось в качестве категориального философского принципа в советской философии: «Тождество языка и сознания проявляется в тождестве содержания сознания и языка; содержание сознания как отображения объективного мира есть вместе с тем и содержание (семантика) языка» [Маркарян, 1987, 31]. Способом существования сознания при этом выступают семантические категории языка, а само сочетание «языковое сознание» представляется как образец речевой избыточности. Кроме того, что сакральный тезис о связи между языком и мышлением в научном обиходе функционировал как идеологическая установка, в советской науке отрицалась реальность идеального. Примитивная трактовка идеального заставляла изучать вербальное мышление «не только потому, что это проще, чем изучать невербальное мышление, но и потому, что оно важнее, «ценнее»» [Фрумкина, 1989, 61]. Расширение нашего знания приводит к представлению о том, «что мысль не менее реальна, чем хлеб, только модус существования этой реальности — иной» [Фрумкина, 1990, 185]. Современная естественная наука возвращается на новом витке развития к квантово-механистическому осмыслению сознания, надеясь построить в будущем сверхъединую теорию поля, объединяющую оба мира — физический и семантический [Налимов, 1994, 57]. Современные исследования нейропсихологов строятся на прямом экспериментальном анализе структур

и функций мозговых отделов, ответственных за язык, с помощью томографов; учеными проводится генетический анализ на молекулярном уровне [см.: Лалаянц, Милованова, 1992]. Общепринятым становится подход, при котором считается, что «успешное моделирование языка возможно только в более широком контексте моделирования сознания» [Петров, 1988, 45].

Тем не менее до сих пор в лингвистике существуют работы, по-разному интерпретирующие соотношение обсуждаемых понятий. Так, в частности, Н. Ф. Алефиренко, обращаясь к методологическим проблемам взаимодействия мышления и сознания, отмечает, что понятие «мышление» шире, чем понятие «сознание», и в отличие от сознания не обязательно вербально и располагает такими формами отражения действительности, которые не подвергаются кодированию средствами языковой семантики (по Б. А. Серебренникову, существует образное, практическое, авербально-понятийное и редуцированное мышление) [Алефиренко, 1994, 6; о различных типах и уровнях мышления см. также: Горелов, Седов, 1997, 13; Корнилов, 1999, 118–120]. В связи с данными рассуждениями можно вспомнить поздние работы И. А. Бодуэна де Куртенэ, в которых ученый, наряду с языковым мышлением, рассматривает «мышление вообще», «мышление языковедное или лингвистическое» [Бодуэн де Куртенэ, 1963, 288], «математическое мышление» [Там же, 312].

В ряде работ термины «сознание» и «языковое сознание» не разграничиваются лишь потому [см.: Красных, 1988; Тарасов, 1993], что для лингвиста «языковое сознание не может быть объектом анализа в момент протекания процессов, его реализующих, оно может быть исследовано только как продукт прошедшей, бывшей деятельности» [Красных, 1998, 22]. К этой точке зрения близок один из авторов активной грамматики («от значения к форме») А. Мустайоки: «Лингвист-исследователь не может определить семантические категории на основе ситуаций действительности. Собственно говоря, он сравнительно беспомощен в своей работе, поскольку необходимые для применения этой модели семантические категории находятся в «черном ящике», в который нет прямого доступа. У лингвиста нет другого выхода, чем постараться определить их на основе того, какое выражение они получают в разных языках. Из этого следует, что состав семантических категорий и их взаимные отношения невозможно фиксировать с полной точностью и окончательностью» [Мустайоки, 1999, 233].

Исследование вербализированной метаязыковой деятельности языковой личности позволяет «заглянуть» в «черный ящик» сознания, реконструировать различные этапы речемыслительного процесса.

Таким образом, вопрос о «вербальности» сознания и мышления не находит в современной литературе однозначного решения. И это вполне объяснимо, поскольку роль языка в ментальности человека безусловно уникальна. «Утратив в определенный возрастной период свою «долингвистическую (доязыковую) невинность», человек уже не может полностью отвлечься от языка, даже когда реально им не пользуется. Участие языка в последнем случае заключается в потенциальной коммуницируемости когнитивного опыта» [Касевич, 1990, 24—25]. А. Потенбня приводит аргумент в защиту безусловной связи языка и мышления: «...человек... в одно почти неделимое мгновение может без слов передумать весьма многое. Но язык не отнимает у человека этой способности, а напротив... усиливает ее» [Потенбня, 1960, 122].

Сторонники антивербалистского подхода утверждают, что мысль присутствует в сознании человека и в довербальной форме, высказывают предположения, что сознание шире и богаче языковой семантики, что существует особый универсальный язык мысли, имеющий невербальную природу и единый для всех, мышление протекает у всех людей в одной и той же форме, а затем подвергается или не подвергается вербализации. Этот «язык мысли» в советской психолингвистике описан Н. И. Жинкиным как универсальный предметный код (УПК) [Жинкин, 1982]. Д. Б. Гудков находит параллели теории Н. И. Жинкина в подходе к языку мысли в концепции Дж. Фодора, который пишет о языке врожденных когнитивных примитивов, единых для всех языков [см.: Гудков, 1999, 11]. Таким образом, возникает вопрос о возможности считать когнитивные процессы универсальными, «хотя убедительных доказательств их истинности в настоящее время нет» [Почепцов, 1990, 113]. Ряд ученых утверждает, что существует национальная специфика мышления, которая производна не от языка, а от реальной национальной действительности, национальных условий, национальных традиций [Стернин, Быкова, 1998, 66]. Компромиссную позицию занимают исследователи, считающие базовый компонент мышления, в который входит совокупность ментальных универсалий с единым логико-понятийным ядром, интернациональным, а конкретная реализация этой основы каж-

дым этносом осуществляется по-своему, и неповторимость «предопределена прежде всего сферой внелогического восприятия действительности: эмоции и оценки, их характер и глубина, факторы, их определяющие, — все это своеобразно, неповторимо» [Корнилов, 1999, 122]. Ученые, разграничивающие сознание и языковую семантику, работают в рамках концепции удвоения мира, поскольку язык, моделируя мир в языковом сознании, создает особый национально-субъективный образ мира как часть более широкого обыденного сознания, что позволяет разграничить концептуальное и языковое сознание. Преломленное через призму языка дополнительное видение мира получило в лингвистике наименование «языковой картины мира» [см., например: Арутюнова 1987, 1998; Апресян, 1995; Бляхер, Вольтинская, 1983; Борщев, 1996; Брутян, 1976; Булыгина, Шмелев, 1997; Данилевская, 2000; Евтушенко, 2001; Завальников, 2000; Изотов, 2001; Комлев, 1981; Корнилов, 1994, 1995, 1999; Кошарная, 1999; Миронова, 2001; Невойт, 2001; Отражение..., 1999; Панова, 2001; Пищальникова, 2000; Роль человеческого фактора..., 1988; Урысон, 1994; Холличер, 1966, 1971; Яковлева, 1994; Яценко, 1983 и др.]. Истоки концепции «языковой картины мира» можно найти в философско-лингвистических работах В. фон Гумбольдта. Именно Гумбольдт утверждал, что представления человека о мире зависят от того языка, которым он пользуется: «...язык — это мир, лежащий между миром внешних явлений и внутренним миром человека» [Гумбольдт, 1984, 304]. Открытие феномена картины мира, по мнению современных лингвистов, «стало основным теоретическим достижением Гумбольдта» [Радченко, 2001, 96]; «Вперед к Гумбольдту!» — парадоксальный призыв, звучащий в одной из известных работ [Фрумкина, 1995, 105]. Идея мировидения, которую язык навязывает мышлению, в XX веке получит название гипотезы Сэпира-Уорфа, или гипотезы лингвистической относительности, а в конце XX века выявление языковой картины мира «станет одной из главных целей семантического описания языков» [Кобозева, 2000, 23].

Оперативной содержательной единицей языка мозга, всей картины мира, отраженной в человеческой психике, в когнитивной науке был назван концепт, который «понимается как глобальная мыслительная единица, представляющая собой квант структурированного знания» [Попова, Стернин, 1999, 4], идеальная сущность, которая формируется в сознании человека; при этом язык

может являться одним из способов формирования концептов в сознании человека. В современной лингвистике происходит пересмотр логико-рационалистической трактовки лексического значения, ставшей привычной и традиционной [обзор современных концепций лексической семантики см.: Залевская 1998б, 1999; Михайлова 1998]. Для эффективного формирования концепта, для полноты его формирования, кроме языка, «необходимо привлечение чувственного опыта, необходима предметная деятельность с тем или иным предметом или явлением» [Попова, Стернин, 1999, 4]. Концепт рождается как единица УПК, которая остается его ядром и впоследствии насыщается слоями концептуальных признаков. Доступ к концепту обеспечивается через средства языка, через слово, которое своим значением представляет лишь часть концепта и позволяет выделить общенациональные, групповые и индивидуальные концептуальные признаки. «Именно через анализ слова мы получаем доступ к сфере идеального в языке, «улавливаем» концепты» [Бабушкин, 1996, 30]. В этом А. Вежбицкая видит цель семантики: выявить структуру мысли, скрытую за внешней формой языка [Вежбицка, 1983, 225]. Эти рассуждения связаны с концептами как со сложившимися дискретными единицами (ментальными образами) коллективного сознания. Мы можем оперировать нефиксированными в языке мыслями, и сознание может работать над формированием нового концепта долгие годы. Вербализация концепта одновременно включает и метаязыковую способность носителя языка, поскольку она направлена на познание языка как элемента действительного мира.

Совокупность концептов представляет собой упорядоченное объединение. Наиболее полное описание концептуальной системы в логико-философской постановке было дано в работах Р. И. Павилениса. В соответствии с его теорией, концептуальная система отражает познавательный опыт человека как на доязыковом уровне, так и на языковом и не сводится к какой-то бы ни было лингвистической сущности [Павиленис, 1983, 12]. Когнитивные идеи получили свое развитие также в когнитивной психологии [Величковский, 1982], психолингвистике [Залевская, 1990, 1992], языкознании.

В языкознании в рамках когнитивного подхода особую актуальность приобретают психологические аспекты рассмотрения соотношения языка и знания, которые предполагают включение в

сферу лингвистических исследований личности говорящего [см.: Караулов, 1987; Язык и личность, 1989; Норман, 1994; Гаспаров, 1996; Арутюнова, 1998; Карасик, 1992 и др.], использование понятий коммуникативной стратегии текста, изучение прагматического компонента значения слова и т. д. Включение личности говорящего в лингвистическое исследование привело к теоретическому осмыслению этнопсихологических факторов как составляющих культурного компонента языка. Культурно-антропологический взгляд на язык восходит к трудам В. фон Гумбольдта, Э. Кассирера, Р. Барта, Э. Сепира [см., например: Гумбольдт, 1984; Сепир, 1993; Барт, 1994]. В когнитивном ключе ставится задача выявления культурных концептов, отражающих особенности менталитета народа, проводится сопоставительное и контрастивное описание языковых картин мира [Вежбицкая, 1986; Булыгина, Шмелев, 1991; Кубрякова, 1991; Пеньковский, 1991; Логический анализ языка, 1991, 1992, 1999; Контрастивное описание, 1994; Апресян, 1995; Контрастивные исследования, 1996; Гаспаров, 1996; Петренко, 1997; Степанов, 1997, 2001; Воркачев, 1998; Берестнев, 1999; Березович, 1999]. Культурологическая интерпретация языка позволила определить концепт как «сгусток культуры в сознании человека» [Степанов, 1997, 40], включить в структуру концепта все, что делает его фактом культуры: внутреннюю форму, историю слова, современные ассоциации, оценки и т. д.

Концептуальный подход к языку мысли разрушил традиционный взгляд на иерархическую лестницу форм познания (ощущения — восприятия — представления — понятия) — от чувственного к рациональному, к понятию как к высшей форме познания. Когнитивные исследования доказали, что понятие не является конструктом с четко ограниченным объемом и содержанием, «в научный оборот была введена идея «нечетких понятий» [Бабушкин, 1996, 12]. При характеристике структур сознания в когнитивной лингвистике, наряду с терминами «понятие», широкое распространение получили термины «фрейм», «скрипт», «сценарий», «схема» и т. д.

Вопрос о «вербальности» сознания является весьма актуальным в современной психолингвистике, поскольку он выводит исследователя на проблему процесса порождения и понимания речи, на программирование процессов вербализации.

Процесс порождения речи

Проблема процесса порождения речи непосредственно связана с исследованием метаязыкового сознания, поскольку механизм порождения метаязыковых высказываний принципиально не отличается от механизма речепорождения любого высказывания. Исследование данного механизма проясняет во многом сущность возникновения коммуникативных рефлексивов (см. главу 2), которые в свою очередь помогают осмыслить многие вопросы речепроизводства.

«Реальный процесс „превращения“ мысли в суждение по-прежнему остается загадкой» [Кубрякова, 1991, 51]. Эти процессы не доступны прямому наблюдению, судить о них можно только по конечным или промежуточным продуктам. Это могут быть тексты, содержащие разного типа ошибки, анализ которых дает возможность говорить ученым о том или ином сбое в речемыслительном процессе; наблюдения за развитием речи у детей; наблюдения в условиях патологии речи, а также различные экспериментальные процедуры. В ряду отечественных исследований интерес представляют, например, анализ письменных работ студентов [Красиков, 1990], анализ речевых ошибок в сочетании с записями на магнитофон [Ейгер, 1989; 1990]; оригинальна методика прослеживания особенностей речемыслительного процесса в условиях продуцирования речи на иностранном языке А. А. Пойменовой [1999]. Исследование процесса речепроизводства, как пишет А. А. Залевская, «это разработка гипотез о ходе названного процесса, его моделирование на основании получаемых из разных источников данных» [Залевская, 1999, 206].

К проблеме того, как осуществляется переработка представлений о действительности, закрепление, накопление и хранение сведений о мире посредством языковых единиц, обращаются прежде всего психолингвисты. Авторы обзоров освещают известные в науке модели речемыслительного процесса И. А. Зимней [1985], Т. В. Ахутиной [1989], А. А. Леонтьева [1969] и др. Последователи Н. Хомского работают в русле идей трансформационной порождающей грамматики. Языковеды обращаются к лингвистическим основам речевой деятельности в аспекте номинативного компонента языка [см.: Кубрякова, 1986; 1991]. Современные исследования структуры речепорождающего процесса опираются на работы советской психологической школы, ибо в идеях прошло-

го обнаруживаются до сих пор не актуализировавшиеся рациональные положения. Поэтому современные работы определяются не дистанцированием от предшественников, а «поиском своего места в богатом контексте накопленного «старой» наукой» [Кузнецов, 2000, 12]. Проблемы порождения и восприятия речи, рассматриваемые как конструктивная деятельность субъекта, которую данный субъект осуществляет на основе имеющихся у него знаний, теоретически были обоснованы в работах Л. С. Выготского, А. Н. Леонтьева, А. Р. Лурии, Н. И. Жинкина и отражают целостную традицию, получившую развитие как в чисто лингвистических работах, так и в работах по теории речевой деятельности и психолингвистике [см.: Выготский, 1982; А. Н. Леонтьев, 1965; Лурия, 1998; Жинкин, 1982; А. А. Леонтьев, 1969; Залевская, 1981, 1982, 1988, 1990, 1992, 1999; Кубрякова, 1991; Сорокин, Тарасов, Шахнарович, 1979; Сорокин, 1985; Сахарный, 1989; Соколов, 1968; Лосев, 1982; Жоль, 1990 и др.].

Покажем одну из интегративных моделей порождения речи, описанную Е. С. Кубряковой в коллективной монографии «Человеческий фактор в языке. Язык и порождение речи» [1991]. Основополагающей для авторов явилась мысль Л. С. Выготского о том, что общее движение речедетельностного процесса происходит в несколько этапов: от мотива, порождающего мысль, — к оформлению этой мысли во внутреннем, а затем и во внешнем слове. Поэтому в полном цикле процесса порождения речи выделяется несколько превербальных стадий, прежде всего мотивационно-побудительная и мыслеформирующая. Далее идут стадии смешанные вербально-авербальные и завершают процесс собственно вербальные стадии. Строгая последовательность стадий возможна лишь в гипотетическом научном описании; фактически, как пишет Е. С. Кубрякова, стадии могут накладываться, «наплывать» друг на друга, нарушать обычный порядок следования. Кроме того, речевая деятельность может стать объектом сознательно-метаязыкового контроля со стороны говорящего и менять свои формы. Наличие мотивационной фазы отмечается во всех существующих моделях порождения речи, хотя эту психологическую сторону речевой деятельности трудно соотнести с конкретными языковыми фактами. На современном этапе лингвистических исследований мотивационно-побудительный этап на уровне замысла в процессе порождения речи определяется в качестве одной из

универсальных текстоструктурирующих категорий разговорного диалога [см.: Борисова, 2001, 319].

Каждое речевое высказывание является следствием реализации интенции говорящего. Именно она выступает в качестве вектора, определяющего настрой речевого акта. В модели порождения речи вслед за мотивационной стадией выделяется стадия замысла речи, которая связывается с предметным содержанием высказывания. Иногда мотив речи и замысел не противопоставляются и воспринимаются как сложное коммуникативно-прагматическое целое. Процесс мышления на стадии идей и замыслов имеет невербальный характер. Так, Е. С. Кубрякова считает, что единицами мыслительной деятельности на этой стадии являются энграммы, следы человеческого опыта, возникшие «как следствие отражения мира и деятельности по его познанию в человеческой голове, прежде всего образами вещей и предметов, людей и других живых существ, представлениями и т. п.» [Кубрякова, 1991, 51]. Дальнейшее развитие речедейятельностного процесса зависит от характера дальнейшей человеческой деятельности. Человеку не обязательно переходить к вербальным формам мышления при создании музыкального произведения или чертежа. Для конструирования речевого высказывания необходима реорганизация невербальных концептов, для которой вводится понятие внутренней речи или промежуточного языка. С нее начинается стадия речевого мышления, обязательная для порождения речи, идет процесс «ословливания» мысли. Е. С. Кубрякова по-новому интерпретирует идеи Л. С. Выготского, выдвинувшего понятие «внутреннего слова», являющегося языковым аналогом мысли во внутренней речи. Для Выготского внутреннее слово является носителем скорее личностных смыслов, чем языковых системных значений: слово «как бы вбирает в себя смысл предыдущих и последующих слов, расширяя почти безгранично рамки своего значения» [Выготский, 1982, 350]. Это условная номинация всей описываемой ситуации. При этом этап внутренней речи понимается Л. С. Выготским не как процесс «надевания речи на готовую мысль», а перестраивание, формирование мысли при превращении ее в вербальную форму. Отсюда знаменитая фраза Л. С. Выготского: «Мысль не выражается, а совершается в слове» [Выготский, 1982, 307], восходящая к не менее известному высказыванию А. А. Потебни: «Язык есть средство не выражать уже готовую мысль, а создавать ее» [Потеб-

ня, 1976, 120]. Этап промежуточного языка может быть соотнесен с идеями Н. И. Жинкина о предметно-схемном коде, который исследователь употреблял для обозначения внутренней речи (сам Н. И. Жинкин употреблял разные терминологические обозначения для языка мысли [см. об этом: Караулов, 1987, 184–210]). Жинкин писал: «Предметно-схемный код может быть охарактеризован некоторыми общими чертами. Во-первых, это код непронизосимый, в нем отсутствуют материальные признаки слов натурального языка. Здесь нет последовательности знаков, а есть изображения, которые могут образовать или цепь или какую-то группировку. ... Мысль в ее содержательном составе всегда пробивается в язык, перестраивает его и побуждает к развитию. Это продолжается непрерывно, так как содержание мысли больше, чем шаблонно-узуальные возможности языка. Именно поэтому зарождение мысли осуществляется в предметно-изобразительном коде» [Жинкин, 1998, 158–159]. Дальнейший переход к внешнему высказыванию включает явление пропозиционализации, то есть осознания тех ролей, которые играют в описываемой ситуации обозначенные предметы. Говорящий с лингвистической точки зрения выбирает определенную схему синтаксического целого. Весь описанный процесс вербализации происходит в режиме внутреннего контроля, функция которого решить, подходит ли слово во внутренней речи для продвижения его во внешнюю. Далее происходит семантическое согласование линейного расположения слов в предложении и самих используемых слов. На этапе создания речевого высказывания выделяются четыре модуля, или внутренних механизма, речи, ответственных за следующие компоненты: 1) номинативный компонент в порождении речи, 2) синтаксический и трансфрагментический, 3) морфологический, 4) озвучивание речи. Особую роль Е. С. Кубрякова отводит номинации и синтаксированию.

Таким образом, различные модели порождения речи позволяют сделать вывод о том, что мыслительная деятельность может протекать в разных кодах, которые часто представляются как уровни сознания либо как вербальные или невербальные формы мышления. Эти модели связаны еще с одним аспектом исследования порождения речи — с проблемой внутреннего лексикона человека. Решение этой проблемы должно способствовать ответу на вопрос, в каком виде существуют для человека знания языка. Способ фиксации знаний носит двухслойный характер (невербальный характер

носит язык «мозга», *lingua mentalis*, другой слой знаний формирует внутренний лексикон, вербализованные знания, в последний включаются метаязыковые знания о языке и его единицах).

Знание мира и знание языка оказываются частью единой концептуальной системы. Внутренний лексикон — этоместилище знаний, в котором концепты получили языковое выражение в виде конвенциональной единицы, прежде всего в виде слова. Обычная метафора для характеристики организации внутреннего лексикона человека — вербальная сеть, выступающая в качестве психолингвистического коррелята психологического понятия «память» [см., например: Норман, 1974, 367—419]. Продолжая развивать метафорический образ вербальной сети, ученые представляют сеть не в виде плоскости, а в виде многомерного вербального пространства в силу богатства и сложности внутреннего лексикона [см.: Волков, 1993, 34—35]. Феномен многомерности вербального пространства объясняется в первую очередь многоуровневой структурой языкового сознания.

Структура языкового сознания

Факт многомерности, многослойности, модулярности языкового сознания является общим в работах, посвященных когнитивным проблемам. Многомерность сознания исследуется в разных аспектах его существования и функционирования. Среди них выделим те, которые важны нам в аспекте соотношения языкового и метаязыкового сознания.

Структура языкового сознания по характеру отражаемой информации. При определении компонентного состава языкового сознания ученые пытаются представить весь ансамбль когнитивно-эмотивных и аксиологических структур в виде схемы, которая могла бы наглядно упорядочить составляющие этого сложного феномена. Основными составляющими языкового сознания являются четыре компонента: сенсорно-рецептивный, логико-понятийный, эмоционально-оценочный, ценностно-нравственный [Корнилов, 1999, 169]. Компоненты человеческого «я» находят свое соответствие в аспектах, семантических слоях (по Б. Ю. Городецкому), типах информации (по И. М. Кобозевой), конституирующих значение слова, которые представляют собой результат работы ком-

понентов языкового сознания. Строение слова рассматривается как структура, изоморфная устройству системы сознания. Именно слово принимает непосредственное участие во всех основных процессах психического отражения. Традиционно выделяются денотативный, сигнификативный, коннотативный аспекты лексической семантики, получаемые в современной лингвистике различную интерпретацию с безусловно авторской расстановкой акцентов [см. обзор данного вопроса в работах: Кобозева, 2000, 43—63; Михайлова, 1998, 58—86].

Компоненты языкового сознания реализуют себя через конкретные проявления в процессе функционирования. Отсюда стремление исследователей к выявлению функций языкового сознания. Функции языка также изоморфны функциям языкового сознания. Подход к языку как к социальной семиотической системе позволяет выделить 73 функции языка (о перечне этих функций см.: Демьянков, 2000, 66—103]. Вместе с тем «чем больше количество функций, тем все менее прозрачным становится основание классификации, которое иногда может даже ускользать от читателя» [Демьянков, 2000, 103]. К традиционным языковым функциям относят коммуникативную, когнитивную, эмоциональную, метаязыковую. Среди вторичных функций указывают экспрессивную, референциальную, фатическую, поэтическую, суггестивно-магическую [Мурзин, 1998а, 108], креативную [Норман, 1997, 166] и т. д. Метаязыковая функция языка как одна из базисных функций речевой коммуникации для разъяснения кода (*message about code*) была выделена Р. Якобсоном [Якобсон, 1975, 203]. Концепция языковых функций Р. Якобсона опиралась на принципиальную структуру коммуникативного акта и была предназначена для выполнения логико-аналитической работы по описанию модели естественного языка.

Функции языкового сознания осуществляются через механизмы, на основе которых реализуются функции самого языка. В работе Г. В. Ейгера [1990] детально представлен перечень различных функций языкового сознания. Автор выделяет пять функций сознания, которые оказываются релевантными и для метаязыкового сознания. У языкового и метаязыкового сознания наблюдаются одноименные функции, поскольку в обычных условиях оба механизма тесно взаимодействуют и действуют синхронно. Метаязыковая деятельность является обязательным компонентом язы-

ковой способности носителя языка. «Рефлексия — универсальный признак собственно человеческого мышледействования, она течет непрерывно, она «размазана по всем тарелкам», но по воле человека она останавливается (фиксируется) и объективируется, превращаясь в другие организованности (инобытия, ипостаси)» [Богин, 1998, 63]. Отметим эти функции. **О т р а ж а т е л ь н а я** функция создает языковую картину мира; **о ц е н о ч н а я** функция получает различные аспекты преломления в зависимости от отношения к таким языковым фактам, как нормативный (ортологический), функционально-стилистический, эстетический, этический, вероятностный, темпоральный, ксеноразличительный и социальный; **о р и е н т и р о в о ч н о - с е л е к т и в н а я** функция обеспечивает выбор языковых средств в соответствии с коммуникативным заданием и ситуацией при порождении высказывания и переход от поверхностных структур к глубинным, к замыслу при восприятии высказывания; **и н т е р п р е т а ц и о н н а я** функция проявляется прежде всего в метаязыковых высказываниях; **р е г у л я т и в н о - у п р а в л я ю щ а я** функция выступает в виде механизма обратной связи с двумя каналами — контрольно-управляющим (контроль за речевыми операциями) и оценочно-регулятивным (оценка высказывания с точки зрения соответствия действующим нормам) [см.: Ейгер, 1990, 23—41].

Уровневая структура сознания и бессознательного. Структура психики человека в психологических исследованиях представляется в виде двух отдельных, независимо функционирующих интеллектов — сознательного, осознаваемого и бессознательного. Идея представить эти две силы чем-то цельным, заключенным в оболочку, выдвигалась древними алхимиками в теории «небесного яйца», в XX веке развитие этой концепции можно найти в работах итальянского психотерапевта Р. Ассаджиоли, из отечественных ученых созвучные идеи высказывает В. В. Налимов [см. обзор теорий: Бреслав 2000, 42—59]. Внутреннее содержимое гипотетического «яйца» состоит из нескольких слоев, которые называются «бессознательное», «предсознание» и «сознание». Они окружены оболочкой и погружены во внешнюю среду — «сверхсознание», или «высшее бессознательное».

Самой архаичной частью психики является бессознательное. На уровне бессознательного воспринимаются простейшие и осново-

полагающие элементы бытия, поэтому, по мнению ученых, бессознательное является единым для всего человечества. «Мы многие вещи делаем бессознательно, не умея объяснить того, как именно мы это делаем: ходим, едим или, скажем, сворачиваем кулек из листа бумаги. Одним из таких неосознанных умений является и умение говорить» [Фрумкина и др., 1990, 91]. Бессознательное по своим масштабам превосходит все части психики и занимает основную часть объема. Проблема соотношения осознаваемого и неосознаваемого является в психологии одной из важнейших, она претерпела ряд конструктивных изменений. Если при зарождении научной психологии бессознательному отводилась периферийная роль второстепенного, состоящего в основном из инстинктов компонента психики при главенствующей роли сознания, то благодаря теории З. Фрейда выяснилось истинное величие и роль бессознательного: «З. Фрейд обосновал динамический характер человеческого «я», показав многомерность сознания: осознанное «я» восходит к его бессознательному, является его своеобразным продолжением» [Берестнев, 2001, 60]. З. Фрейд в одной из своих работ по этому поводу писал: «Сознательная умственная жизнь представляет собой лишь довольно незначительную часть бессознательной душевной жизни» [Фрейд, 1990, 6]. И. Г. Юнг, развивая идеи З. Фрейда, определил структуру бессознательного, включающего содержательную основу личного бессознательного (Тень и персону), и структуры, имеющие всеобщий характер — архетипы коллективного бессознательного [см. об этом: Овчаренко, 2000, 35].

Самой неопределенной и плохо изученной частью психической сферы, не имеющей общепринятого взгляда на ее структуру и функции, является среднее бессознательное. Отсюда терминологическая неупорядоченность этого понятия: «предсознание» (Фрейд), «предмышление» (Налимов), «подсознание», «среднее бессознательное» (Ассаджиоли). Подсознание выделяется как отдельная область психической сферы человека ввиду его особой функции — служить связующим звеном между сознанием и бессознательным. Именно в этом звене зарождается и развивается мыслительная деятельность, структурно неформленные архетипы бессознательного превращаются в конкретные образы. Здесь появляются личностные смыслы: «на подсознательном уровне мыслительной деятельности выполняется лишь «черновая работа»; когда же возникает необходимость в более сложных мыслитель-

ных операциях, «подсознание» не может с ними справиться, а потому и происходит объективация, осознание той информации, обработка которой без участия сознания оказывается невозможной» [Кармин, 1978, 96—97]. Кроме того, большая часть информации из внешнего мира запечатлевается в человеке, минуя его сознание. Неосознаваемая обработка информации происходит так, что субъекту становится известен только конечный ее результат, а «процесс переработки совершается частично или даже полностью неосознанным образом» [Прангишвили, Бассин, Шошин, 1984, 7].

Выделяется множество факторов, обуславливающих хранение основной части информации за порогом сознания. Во-первых, сознание не способно вместить целиком всю информацию, которая приобретается человеком в течение жизни, а подсознание — это зона, из которой достаточно легко ее извлечь. Во-вторых, большой объем эмоционально значимой информации человек получает в первые месяцы своего существования до формирования сознания, и эта информация хранится у человека в бессознательном. В-третьих, «из сознания устраняется информация о структуре действий, ставших автоматическими» [Лебедева, 1999, 137]. В-четвертых, подсознание выполняет защитную функцию в том случае, когда сознание человека еще не готово к восприятию того, что может его разрушить. «Оно защищает человечество, приоткрывая тайны мира настолько, насколько сознание человека способно его постичь» [Панасюк, 1999, 264].

Разработка проблемы сознания и отношения между сознанием и осознанием, между мышлением и речью привела к необходимости постановки вопроса о роли между бессознательным, речью и сознанием [Бессознательное, 1978; Бессознательное, 1985; Язык и сознание..., 1993 и др.]. Языковедческая проблематика сознания и бессознательного имеет свои истоки в работах российских классиков — лингвистов XIX века: Бодуэн де Куртенэ и Крушевский писали о том, что «сознание и воля человека оказывают на развитие языка весьма мало влияния» [цит. по: Якобсон, 1978, 156]. В работах ученых прослеживается использование общей метафоры: уподобление сознания огоньку, освещающему отдельные стадии психического процесса (Б. де Куртенэ) и «светлой точке сознания» (Д. Н. Овсяннико-Куликовский).

Психологи развивают учение о соотношении сознания и бессознательного. По сути дела, Л. С. Выготский, рисуя путь от мыс-

ли к слову, вырабатывает схему строения не только сознания, но и подсознания, указывает на последовательность расположения речевых планов, когда движение идет от «...мотива, порождающего какую-то мысль, к оформлению самой мысли, к опосредованию ее во внутреннем слове, затем — в значениях внешних слов и, наконец, в словах» [Выготский, 1982, 358]. Недоступная, невербализованная информация закрыта для личности, осознание «возникает только через обозначение словом, через наименование» [Уфимцева, 1997, 21]. Безусловно, критерии выявления различных уровней сознательного и бессознательного лингвисты пытаются выявить на основе языковых данных. Так, Л. О. Чернейко главным признаком сознания считает возможность его языковой экспликации; сферу подсознания составляет то, что «индивидуум знает из своего уникального опыта, но не может эксплицировать, передать другому», сферу сверхсознания — «то, что знает социум, эксплицирует, но не может верифицировать» [Чернейко, 1998, 181].

Сочетание сознательных и бессознательных факторов лежит и в основе понятия установки, которая в трудах Д. Н. Узнадзе понимается как конкретное состояние целостного субъекта, его модус, готовность к совершению определенной деятельности, предваряющая начало речи и актуализирующая средства, необходимые для речи на определенном языке [Узнадзе, 1999, 245—256]. «Языковая установка принципиально неосознаваема» [Имедадзе, 1978, 222], хотя в двухуровневой структуре установки уровень объективации — это уровень актуально презентированных в сознании языковых форм и отношений. Таким образом, отстаивается методологическая необходимость систематического сопоставления коррелятивных понятий сознания и бессознательного, ввиду того, что «понятие бессознательного лишено смысла, если брать его независимо от понятия сознания, и наоборот» [Шерозия, 1973, 446].

Языковое чутье, чувство языка в аспекте сознания — бессознательного рассматривается как словесный инстинкт и противопоставлено осознанному знанию [см.: Рамишвили, 1978, 199; Левина, 1978, 249]. Психологи ссылаются на известное выражение Гумбольдта, назвавшего языковое чувство «инстинктообразным предчувствием всей системы языка». Чувство языка большинством лингвистов трактуется как «некая сумма знаний о языке, полученная в результате бессознательного обобщения многочисленных актов речи» [Ейгер, 1990, 11]. При этом Р. Якобсон подчеркивает

особую значимость метаязыковых операций, которые, составляя важную и неотъемлемую часть нашей речевой деятельности, вносят «осознание речевых компонентов и их отношений. Активная роль метаязыковой функции... остается в силе на всю нашу жизнь, сохраняя за всей нашей речевой деятельностью неустанные колебания между бессознательностью и сознанием» [Якобсон, 1978, 163—164].

Учет роли языкового сознания в организации речевой деятельности в аспекте соотношения сферы сознательного и бессознательного приводит ученых к выявлению механизма автоматического, неосознанного контроля, регулирования речи и уровня сознательного, контролируемого речевого поведения. Безусловно непосредственное участие сознания при построении речи в соответствии с существующими социально обусловленными языковыми нормами, интенциями говорящего, ситуацией общения. В то же время простота и легкость, с которой в норме протекает речевая деятельность, приобретенные в детстве навыки практического владения языком говорят о том, что во многом речевая деятельность обусловлена сферой подсознательного. Сознание не противостоит неосознаваемым процессам, включая их в свое функционирование, «всякое осознанное содержание обычно включает в себя не до конца и не полностью осознанные зависимости и соотношения, т. е. имеет место непрерывность осознанного и неосознанного как одно из фундаментальных свойств психического как процесса» [Залевская, 1999, 35].

Соотношение сознательного и бессознательного проявляет себя на разных этапах материализации замысла говорящего. Первый этап речевой деятельности носит стихийный, неосознанный характер, когда говорящий занимается формулированием мысли и одновременно «формулирует ее средствами языка» (Выготский). Второй этап речевого оформления замысла характеризуется сознательной коррекцией авторского формулирования последнего, «если стихийный процесс не обеспечил этой точности» [Минеева, 2001, 26], сознательными интеллектуальными усилиями по преодолению автоматизма речевых действий, «по преодолению инертности всего нашего речемыслительного механизма, нашей привычки думать и высказываться «по линии наименьшего сопротивления»» [Хлеба, 1999, 63].

Следует подчеркнуть, что во всех психолингвистических исследованиях учитывается постоянное действие многоэтапного (мно-

гоуровневого) контроля как одного из основополагающих принципов функционирования речевого механизма человека: на каждом уровне порождения речевого высказывания «существует свой контроль и, кроме того, общий контроль всего высказывания в целом» [Красиков, 1980, 124]. Эту же мысль высказывают Laver [1973], Сливницкий [1983], Ейгер [1990], Баранов [1993]. Общий контроль, или, по Налимову, «вероятностно-структурированный фильтр», по сути дела, представляет собой языковое самосознание, рефлексию, определяемую «личностным интеллектуальным и духовным состоянием человека» [Налимов, 1994, 47], его развитыми способностями управлять своим речевым поведением. По Ж. Пиаже, осознание действия за счет рефлексивных механизмов идет от его периферии к центру, «от анализа результата действия и его соответствия поставленной цели, далее к исследованию внутреннего механизма действия» [Аносова, 1988, 14].

В модели порождения речевого высказывания А. Н. Леонтьева, в дальнейшем уточненной А. А. Леонтьевым, выделено четыре уровня осознаваемости в речи: 1) уровень актуального сознания (предмет осознания связан с целью деятельности, находится в поле внимания на уровне связной речи); 2) уровень сознательного контроля (предмет непосредственно не осознается, но может быть осознан, соответствует словесно-предметному уровню); 3) уровень бессознательного контроля (предмет осознания соотносится с имеющимся в памяти эталоном без участия сознательного внимания, соответствует формальному уровню языковой способности); 4) уровень неосознанности (соответствует слоговому уровню). «При этом операции, являющиеся по происхождению бессознательными, могут в дальнейшем (обязательно через ступень актуального сознания!) подвергаться сознательному контролю» [А. А. Леонтьев, 1965, 123]. Безусловно, механизмом, выполняющим функцию контроля, является установка, по Узнадзе, которая принципиально не осознается, «хотя установочно функционирующая форма речи в определенных условиях может стать и предметом осознания и произвольного регулирования» [Имедадзе, 1978, 220].

С этой моделью хорошо согласуется разграничение механизмов когнитивного и коммуникативного контроля [см.: Залевская, 1988], «которые трактуются как взаимодействующие и функционирующие на разных уровнях реализации речемыслительной дея-

тельности человека» [Залевская, 1999, 57]. В этом же ряду — модель продуцирования речи Вилема Ливелта [см.: Levelt, 1993], который считает полезным разграничивать контролируруемую и автоматическую процедуры: порождение сообщения и мониторинг (доступ говорящего к своей внутренней речи) описываются как контролируемая деятельность, а грамматическое кодирование, кодирование формы и артикулирование трактуются как в большей мере автоматизированные (они близки к рефлексам, требуют мало внимания и могут протекать параллельно). Таким образом, регуляции подлежат все составляющие структурной организации базовой системы психики при взаимодействии ее сенсорного, перцептивного и речемыслительного уровней.

Вербализованные метаязыковые высказывания — это продукт осознанной метаязыковой деятельности, контролирующей используемые языковые средства.

Языковое и метаязыковое сознание в аспекте индивидуального и всеобщего. Сознание, языковое прежде всего, является достоянием индивида, поэтому неизменно поднимаются вопросы о соотношении субъективного и объективного, индивидуального и всеобщего в структуре сознания. Традиционно языковое и метаязыковое сознание делят на индивидуальное, групповое и общественное, коллективное. Реальная оппозиция «индивидуальное — всеобщее (социальное)» может быть представлена в виде диалектического единства: «с помощью языка человек выражает свой внутренний мир, делая его интерличностным явлением. Язык является важным средством приобщения индивида к общественному опыту» [Ростова, 2000, 168]. Всеобщее (коллективное) знание всегда имеет индивидуальную форму проявления.

В аспекте данной оппозиции неизбежно должны быть затронуты вопросы о языковой личности и языковой способности. Проблема языковой личности (коррелирующие понятия: «говорящий», «субъект речевого общения», «коммуникант», «индивид») — одна из актуальных проблем современной антропоцентрической лингвистики. Не приводя многочисленных определений языковой личности, имплицитно представленных уже в работах Г. Штейнталя, В. Вундта и А. А. Шахматова (как отмечает Г. И. Богин [1984]) и активно обсуждаемых в современных исследованиях (критический анализ понятия языковой личности осуществлен

в работе А. В. Пузырева [1998]), назовем трех авторов, стоящих у истоков современной разработки данной проблемы. Прежде всего это В. В. Виноградов, который ввел данный термин в научный оборот [см.: Виноградов, 1927; 1930]; Г. И. Богин, разработавший модель языковой личности в лингводидактическом аспекте и установивший уровни и компоненты речевой способности, понимал под языковой личностью человека, рассматриваемого «с точки зрения его готовности производить речевые поступки, создавать и принимать произведения речи» [Богин, 1984, 1], и, наконец, Ю. Н. Караулов [1987], концепция языковой личности которого является сегодня наиболее известной. Ю. Н. Караулов, предлагая свою модель языковой личности, учитывает философский и психологический аспекты моделирования с разграничением языка, интеллекта, действительности, а также семантического, когнитивного и прагматического уровней и соответствующего выделения трех уровней структуры языковой личности (вербально-семантического, тезаурусного, мотивационного). Современные концепции языковой личности — это чаще всего по сути видоизмененные трактовки составляющих «по Караулову» (так, например, интересным представляется направление исследований в сторону вариантного, речевого представления языковой личности и включение в научный обиход понятия «речевая личность» [см.: Клобукова, 1995, 322—323; Прохоров, 1997, 58—59; Красных, 1998, 17]).

В современных исследованиях осуществлен учет постоянных и переменных характеристик языковой личности. Приведем перечень составляющих языковой личности, представленный в работе А. Н. Ростовской [2000]. К постоянным характеристикам языковой личности отнесены признаки, обусловленные психолого-физиологическими и биологическими особенностями: пол, возраст, тип темперамента, когнитивный стиль мышления; признаки, обусловленные принадлежностью к типу речевой культуры, степенью креативности. Переменные характеристики языковой личности определяются конкретными обстоятельствами речевого действия: социально-ранговыми отношениями и психофизиологическими факторами в определенной ситуации (психическое состояние, уровень аффектации, состояние здоровья и др.) [см.: Ростова, 2000, 10—15].

Языковая/речевая способность рассматривается обычно в соотношении с языковой личностью как реальный физиолого-психо-

социальный феномен [о трактовке языковой способности как речевого механизма см.: А. А. Леонтьев, 1965; 1969б; 1997], отражающий способ хранения языка в сознании и в то же время способ «реализации отраженных сознанием элементов системы языка» [Шахнарович, 1995, 214]. К признакам языковой способности относятся: 1) готовность субъекта к использованию языка в своей деятельности [Богин, 1975, 3]; 2) двойная (природная и социальная) обусловленность [Божович, 1997, 34]; 3) структурная организованность, коррелирующая с системой языка; 4) репрезентация компонентов структуры в ассоциативно-вербальной сети [Караулов, 1995, 8]; 5) представленность языкового сознания в качестве компонента языковой способности.

Состав базы знаний в структуре языкового сознания. Метаязыковое сознание как компонент языкового. Выделение в языковом сознании уровня скрытого осознания и уровня явных высказываний, которые фиксируют факты осмысления языковых закономерностей, логически вводит в круг исследования проблему знаний, когнитивных образований, «относящихся к итогам познавательной деятельности человека и результатам осмысленного им предметного опыта» [КСКТ, 1996, 28]. К знаниям относится набор сведений, отложившихся в сознании. Знания классифицируются в современных когнитивных и психолингвистических исследованиях по самым разным основаниям. В самом общем виде знание принято делить на научное и ненаучное (обыденное, житейское). Отсюда идет деление понятий «научная картина мира» и «наивная картина мира» [Корнилов, 1999; Кобозева, 2000, 125–131]. По признаку содержания выделяют знания энциклопедические (знания о мире) и языковые. Каждый тип знаний детализируется. Так, языковые знания включают знание языка — грамматики и лексической семантики, знания об употреблении языка; знание принципов речевого общения. К внеязыковым знаниям относятся знания о контексте и ситуации, знания об адресате и общефоновые знания (то есть знания о мире — событиях, состояниях, действиях и процессах) [см.: Герасимов, Петров, 1988, 7].

Расчлененность знаний по предметным областям позволяет выделить в языковом сознании особый круг знаний о языке как объекте познания. Эта область рационально-логического языкового сознания, «направленная на отражение языка-объекта как эле-

мента действительного мира, называется метаязыковым сознанием» [Ростова, 2000, 45], «языковым самосознанием» [Никитина, 1989, 34; Хлебда, 1999, 62], «метаязыковыми знаниями» [Ейгер, 1990], «языковой рефлексией», «метаязыковой деятельностью» [Гаспаров, 1996, 17].

Вся «совокупность знаний, представлений, суждений о языке, элементах его структуры, их функциональных особенностях, о нормах произношения, словоупотребления и т. д.» [Блинова, 1989, 122], часто определяемая в рамках термина «языковое сознание» [Белобородов, 1987], или «чутье языка народом» (Бодуэн де Куртенэ), или «лингвистический инстинкт, языковое чутье» (Л. В. Щерба), «обыкновенный здравый смысл» (Г. Гегель), «народное сознание» (Ф. Энгельс), представленная в виде явных высказываний, в виде показаний языкового сознания, реализующего интерпретационную функцию, понимается как метаязыковое сознание. Таким образом, метаязыковое сознание является компонентом языкового сознания, манифестирующим рациональное понимание языка и его интерпретацию. В широком плане метаязыковое сознание включает и «бессознательное, и сознательное знание о языке и глубинных процессах речевой деятельности» [Сорокин, Узилевский, 1988, 166]. Феномены метаязыкового сознания различаются по объекту осознания (какие именно элементы речи осознаются) и по уровню осознания («от автоматической регуляции речи до четких высказываний о языке» [Тульвисте, 1988, 179–180]). В узком плане неосознанный уровень знаний людей о своей речи, ее единицах отождествляется с понятием «языкового чутья», которое связывается больше «с нерасчлененным переживанием, чем с сознательной логической операцией» [Левина, 1978, 249], рассматривается на стыке чувства и знания как проявление интуитивного владения языком. Физиологической основой языкового чутья считаются динамические стереотипы, объединенные в функциональный комплекс, характерной чертой которого является автоматизированность [Ейгер, 1990, 10]. Большинство авторов языковое чутье рассматривается как некая сумма знаний о языке, полученная в результате бессознательного обобщения многочисленных актов речи. Но как только возникает препятствие в речевом механизме и механизм начинает осуществлять контроль и регуляцию речевой деятельности, эти знания о языке получают свою вербальную экспликацию, и это проявление

ние языковой рефлексии и принято называть метаязыковым действием: «многие «метаязыковые» высказывания носителей языка могут рассматриваться как экспликация их языковой интуиции» [Булыгина, Шмелев, 2000, 14]. Эта осознанная экспликация языкового чутья от простейших рассуждений о языке «до сколь угодно сложных концептуальных построений» [Гаспаров, 1996, 17] присуща всем без исключения говорящим; различие — лишь в количественном и качественном отношениях. Исследователи склонны предпочитать в качестве свидетельств наличия метаязыковых способностей подобные вербальные объяснения. Особенно ярко деление на эксплицитированный и имплицитный виды метаязыкового сознания прослеживается в работах, посвященных детской речи и развитию у детей метаязыковых способностей, поскольку именно «метаязыковые способности являются факторами, оказывающими влияние на развитие логического мышления» [Тульviste, 1990, 121].

Метаязыковое сознание как форма общественного сознания существует на двух уровнях: уровне теоретически систематизированного сознания, представленного системой научных понятий, теоретических суждений и концепций, входящих в область лингвистической науки, и уровне обыденного сознания в форме массовых эмпирических знаний и представлений, полученных в результате практически-духовного освоения действительности. Теоретическое и обыденное метаязыковое сознание отражает одну и ту же языковую действительность, но отражает по-разному и функционирует в разных сферах деятельности. Научные знания — это результат профессиональной познавательной деятельности, а обыденные знания формируются в повседневной речевой практике и представляют собой донаучный взгляд на язык. Безусловно, обыденные метаязыковые знания дополняются отдельными научными сведениями в рамках школьного и вузовского (непрофессионального) образования, языковой политики общества, но эти знания не имеют системного характера. Например, наивность представлений о языке участников последней орфографической дискуссии (2000—2001) «еще раз обнаружила недостатки школьного преподавания русского языка» [Булатова и др., 2001, 9].

В современной науке обыденное сознание становится предметом внимания гуманитарных наук, так как они имеют непосредственное отношение к человеческому мировоззрению. Процесс

осмысления обыденного сознания в научных исследованиях носит неоднозначный характер. С одной стороны, ученые отмечают несистематичность, неполноценность обыденного сознания в силу неглубокого проникновения в существо отражаемых процессов, некритичности в отношении собственных продуктов, эмоциональности и пристрастности, мешающих объективной оценке происходящего [см.: Кузьмина, 1978, 192]. Кроме здравого смысла, в обыденном сознании существуют такие установки, которые связаны с отрицательной стороной личности, — слухи, сплетни, предрассудки и т. п. [см.: Чурилов, 2000, 3]. С этих позиций обыденное сознание является непреходящим объектом критики ученых. С другой стороны, по мере развития науки обыденное сознание наделяется достоинством некоторой беспредельности и широты, так как находится в живом контакте с миром, на стороне непосредственного переживания усматривается подлинность и достоверность. Поэтому обыденное сознание становится объектом специального научного анализа. В работах лингвистического направления фигурируют обе точки зрения по поводу метаязыкового обыденного сознания. Прежде всего подчеркивается архаическая наивность и мифологичность метаязыкового мышления (орудийный подход к языку, неприятие саморазвития и самоизменения языка, воспринимаемые как порча и искажение, стихийный антиисторизм, литературоцентризм, орфографоцентризм, канонизация отдельных лингвистических феноменов и разделов в ущерб признания других, более значимых, и др.) [Лебедева, 2000, 56—57]. А. А. Леонтьев писал о смещении точек зрения рядового носителя языка («Смит») и лингвиста («Джон»). Ученые тем не менее сходятся во мнении, что эти точки зрения целесообразно соотнести друг с другом, так как «иногда неискушенные носители языка поражают точностью своих метаязыковых комментариев — настолько, что «стихийная лингвистика» оказывается чрезвычайно близка „научной лингвистике“» [Булыгина, Шмелев, 2000, 14].

Ранее мы очертили круг проблем, которые разрабатывают современные лингвисты, исследующие факты метаязыковой деятельности. Несмотря на фрагментарность и мозаичность обыденных метаязыковых знаний, эти знания представляют собой упорядоченную систему, обслуживающую нужды повседневного языкового существования человека. Наше исследование — это осмысление метаязыкового материала, который включает комментарий по

поводу определенного круга языковых явлений, а кроме того, в нем содержатся яркие свидетельства русского языкового самосознания на рубеже веков. Мы стремимся прийти к обобщениям лингвокультурологического характера, выявить черты лингвоментального портрета носителя современного русского языка. Все это заставляет рассмотреть языковое и метаязыковое сознание в социолингвистическом аспекте.

МЕТАЯЗЫКОВОЕ СОЗНАНИЕ В СОЦИОЛИНГВИСТИЧЕСКОМ АСПЕКТЕ. СООТНОШЕНИЕ СИНХРОНИИ И ДИАХРОНИИ

Мы являемся свидетелями возрождения интереса к проблемам соотношений языка и общества, языка и истории, языка и культуры, языка и этноса и т. д. и вычленения специальных аспектов лингвистических исследований, которые являются предметом социальной лингвистики. Как отдельное направление языкознания, социальная лингвистика изучает «общественную обусловленность возникновения, развития и функционирования языка, воздействие общества на язык и языка на общество» [Бондалетов, 1987, 10], непосредственно выходит «в практику общественной жизни» [Солнцев, 1999, 13]. Разграничение социального и структурного аспектов языка является достижением науки XX века и связано с именем Ф. де Соссюра, который сформулировал это разграничение в виде антиномии внешней и внутренней лингвистики. Обзоры социологического языкознания XX века, приводимые в специальных работах по социолингвистике [см., например: Чемоданов, 1975; Никольский, 1976; Бондалетов, 1987; Крысин, 1989], обнаруживают параллельное развитие основных направлений социальной лингвистики в различных странах, что «свидетельствует о некоем единстве в разработке этого аспекта языкознания» [Чемоданов, 1975, 27].

Специальные труды, посвященные социолингвистике [см.: Аврорин, 1975; Беликов, Крысин, 2001; Белл, 1980; Бондалетов, 1987; Дешериев, 1977; Журавлев, 1982; Крысин, 1989; Мечковская, 1994; Никольский, 1976; Теоретические проблемы социальной лингвистики, 1981; Швейцер 1976 и др.], очерчивают основные, неодно-

значно решаемые проблемы данной дисциплины, которые напрямую связаны также с изучением языкового и метаязыкового сознания. К ним относятся прежде всего несовпадение объема предметной области социальной лингвистики и связанный с этим вопрос о дифференциации самой социолингвистики.

Несовпадение объема предметной области социальной лингвистики связано с различием в авторском видении проблем, которые могут относиться к вопросам социальной обусловленности языка. К традиционной точке зрения относится узкое понимание социолингвистики, в основе которого лежат два взаимосвязанных круга проблем: во-первых, социальная дифференциация языка общества «на определенной ступени его исторического развития (у данного общественного коллектива в данную историческую эпоху)» [Жирмунский, 1969, 14]; во-вторых, развитие языка как социального явления.

Социальная дифференциация языка понимается как изучение особенностей языка, распадающегося «по вертикальным и горизонтальным наслоениям» [Бодуэн де Куртенэ, 1908, 161]. Идея горизонтального наслоения касается изучения крестьянских диалектов, а вертикальное членение языка относится к изучению особенностей языка разных социальных и возрастных групп говорящих. «По сути, это лингвистическая социология, т. е. изучение социальной структуры общества, но с добавлением к известным социологическим параметрам (социальное положение, образование, доходы, характер досуга, политические предпочтения и т. д.) различий по языку» [Мечковская, 1994, 5]. Л. П. Крысин в своей монографии «Социолингвистические аспекты изучения современного русского языка» [1989], ссылаясь на давнюю традицию изучения вопроса социальной дифференциации языка, называя имена таких зарубежных представителей социологических школ в языкознании, как А. Мейе, Ш. Балли, Ж. Вандриес, А. Сешез (французская социологическая школа), В. Матезиус, Б. Гавранек (Чехословакия), Э. Сепир (США), Дж. Ферс (Англия), подчеркивая вклад в изучение этой проблемы советских ученых — Е. Д. Поливанова, А. М. Селищева, Р. О. Шор, Л. П. Якубинского, Б. А. Ларина, В. М. Жирмунского, Н. М. Карийского, М. Н. Петерсона, В. В. Виноградова, Г. О. Винокура, М. М. Бахтина и других, отмечает следующие особенности разработки этой проблемы на современном этапе.

1. Отказ от «прямолинейного взгляда на дифференциацию в связи с социальным расслоением общества» [Крысин, 1989, 9], который проявлялся в вульгарно-социологическом подходе к интерпретации социально-языковых связей. С современной точки зрения отношения между структурой общества и социальной структурой языка имеют сложный характер. В работах последних лет большое внимание уделяется изучению прагматики употребления языковых единиц, которые носят ярко выраженный социальный характер. Социолингвистический подход к типам отношений между коммуникантами, условиям общения, к социальным ролям, к обстановке, в которой осуществляется общение, во многом совпадает с изучением принципа использования языковых единиц говорящим, объединяющего многие темы, которые изучались ранее не только в социолингвистике, но и в теории коммуникации, стилистике, психолингвистике, риторике, и ставшего главным объектом исследования лингвопрагматики (термин, родившись в работе Ч. Морриса в 1938 году [Morris, 1947], получил в дальнейших работах этого направления различные именованья: «лингвистика речи», «лингвистика языкового общения», «коммуникативная лингвистика», «прагмалингвистика»). Определению объекта и задач прагматики посвящены работы многих ведущих зарубежных (Дж. Оллер, Р. Монтегю, Р. Сталнакер, Ч. Филлмор) и российских (Ю. С. Степанов, Н. Д. Арутюнова, Е. В. Падучева, О. Г. Почепцов, Сусов, Г. В. Колшанский и др.) представителей современной лингвистики. Как составная часть лингвопрагматики сформировалась теория речевых актов Дж. Остина и теория речевых жанров М. М. Бахтина. Появляются работы, в которых проблема социальной дифференциации языка связывается с нетрадиционными для социолингвистики характеристиками говорящих. Например, усилился интерес к тендерной тематике [см., например: Hertzler, 1965; Lakoff, 1973; Brauwer et al., 1978; Smith, 1979 и др.; см. также обзор литературы по проблеме «пол и язык»: Земская, Китайгородская, Розанова, 1993].

2. До середины 60-х годов в конкретных социолингвистических исследованиях преобладал умозрительный подход к языковым фактам, который зачастую декларировал полную изоморфность структуры языка и социальной структуры общества. В последние десятилетия исследования опираются на значительный по объему языковой и социальный материал, который продемонстрировал

ущербность теории изоморфизма. «Даже в тех случаях, когда социальные факторы выступают в качестве детерминантов речевого поведения, между этими факторами, с одной стороны, и обуславливаемой ими языковой неоднородностью, с другой, не наблюдается взаимно-однозначного соответствия» [Крысин, 1989, 13]. На характер речевой коммуникации в неоднородной человеческой среде, как утверждает этот же автор, могут влиять три типа факторов — языковые, социальные и ситуативные [см.: Крысин, 2000, 7].

Широкое понимание проблем социальной дифференциации языка увязывается с общей проблемой варьирования средств языка. Поэтому выделяемые причины варьирования носят как внутриязыковой, так и социальный характер. Истоки данного социостилистического аспекта заложены в трудах В. В. Виноградова, для лингвистической концепции которого был характерен социально-стилистический анализ языка [см. об этом: Виноградов, 1935; 1938; 1965]. Продолжение идей В. В. Виноградова мы встречаем и в работах Б. Н. Головина, который, выделяя семь плоскостей социальной дифференциации языка, считал, что социолингвистика в широком смысле «должна объять всю систему «плоскостных» членений языка, всю систему его вариантов, обусловленных влиянием общества» [Березин, Головин, 1979, 60]. В этом ракурсе предмет социолингвистики видится в ситуациях выбора говорящими того или иного варианта языка. «В языковом общении постоянно возможны варианты: в условиях двуязычия в зависимости от ситуации говорящие выбирают тот или иной язык; выбрав язык, люди стоят перед выбором того или иного варианта речи: говорить ли на литературном языке или на диалекте, предпочесть книжную форму речи или разговорную, употребить официальный термин или его просторечный синоним... Варианты любого ранга — начиная от конкурирующих языков до вариантов нормативного произношения — называют *социолингвистической переменной* (курсив автора. — *И. В.*); это своего рода единица анализа в тех социолингвистических исследованиях, где социальные аспекты языка понимаются именно как социально обусловленное варьирование языка» [Мечковская, 1994, 5]. В целом ряде работ современных исследователей функционально-стилистическая варьированность языковых образований рассматривается как один из видов социальной дифференциации языка [см.: Винокур, 1974; Швейцер, 1983]. Таким образом, все современные функциональные ис-

следования неизбежно становятся социолингвистическими и характеризуются детальной проработкой языкового материала, обращением к периферийным и мелким участкам языковых образований.

За широкую предметную область социолингвистики ратуют все крупные русские ученые, специализирующиеся в этом направлении: В. Д. Бондалетов, Ю. Д. Дешериев, Л. Б. Никольский, Н. Б. Мечковская, В. Ю. Михальченко, А. Д. Швейцер и др., хотя ядром этой области у них могут быть разные явления. Еще большим диапазоном в объеме и интерпретации предметной области отличается зарубежная лингвистика. Так, У. Лабов готов считать самый термин «социолингвистика» избыточным, поскольку он охватывает все содержание языка как формы общественного поведения и, следовательно, совпадает с понятием лингвистики в целом [Лабов, 1975, 96]. С этим взглядом коррелирует точка зрения Н. Б. Мечковской, которая предмет социальной лингвистики понимает широко, как «все виды взаимоотношений между языком и обществом (язык и культура, язык и история, язык и этнос, и церковь, и школа, и политика, и массовая коммуникация, и т. д.)» [Мечковская, 1994, 5].

Изучение метаязыкового обыденного сознания, субъективной оценки говорящего в процессе его самовыражения находится в исследовательской сфере широкого понимания социолингвистики и может быть представлено как диагностика социальной дифференциации современного общества на социально-экономическом переломе, как анализ личных и общественно-групповых социокультурных оценок. Интерес к изучению взаимосвязи языкового сознания и социальных факторов возникал на разных этапах развития социолингвистики. Современная социолингвистика в этом вопросе опирается на работы ученых XIX века — А. Х. Востокова, Ф. И. Буслаева, И. И. Срезневского, А. А. Потебни. На рубеже XIX—XX веков особо значимыми для социальной лингвистики оказались работы И. А. Бодуэна де Куртенэ, который проявлял интерес к социолингвистической проблематике в своих теоретических разработках: в частности, он обращал внимание на роль социальных факторов в изменении языка [о содержательной оценке наследия Бодуэна де Куртенэ см.: Magdan, 1984; Крысин, 2000]. Проблема связи развития языка и общества, роли языкового и метаязыкового сознания в оценке социальных явлений

получила новый виток развития в 20-е годы XX века в работах В. Н. Волошина, Н. М. Карийского, Р. О. Шора, Б. А. Ларина, М. Н. Петерсона и др. Социологизация языка в эти годы объясняется многими факторами [см. об этом: Яхнов, 1998, 17–18]. Главной причиной обращения ученых к проблеме «язык и общество» являются существенные изменения в русском литературном языке пореволюционной эпохи, особенно его лексического состава. С. И. Карцевский в своей работе 1923 года «Язык, война и революция» так пишет об этом времени: «Социально-политический сдвиг, коренная ломка быта, новые факты жизни и исключительно эмоциональное к ним отношение со стороны по-новому дифференцированного общества — все это оставило глубокий след на русском языке, точнее, на нашем словаре. Языковых новшеств накопилось так много, что некоторые наблюдатели уже говорят о «революции в языке». Мы предпринимаем здесь попытку разобраться в этих новшествах и определить их значение для всей системы русского языка» [Карцевский, 2000, 217]. Он перечисляет имена ученых, к чьим работам прибегает наряду со своими личными наблюдениями, — Р. Якобсона, А. Баранникова, А. Мазона, А. М. Селищева, Е. Ремкель, В. Шкловского, А. Г. Горнфельда [см.: Там же, 218].

Содержательный обзор истории советской социолингвистики содержится во многих современных работах [см., например: Баранникова, 1970; Крысин, 1989; Бондалетов, 1987; Никольский, 1976; Яхнов, 1998; Михальченко, 1999 и др.]. Во всех обзорных работах особое место отводится трудам Е. Д. Поливанова, который в 20-е годы прошлого столетия осуществил теоретическое обоснование проблемы «взаимодействия между языком и говорящим с точки зрения их социальной значимости» [Яхнов, 1998, 17]. Никто из советских лингвистов того времени не придавал столь большого значения социальной стороне языка [см.: Крысин, 1989, 21], никто не мог создать такую социолингвистическую концепцию языковой эволюции, которая предвосхитила многие современные теоретические наработки в области социолингвистики. В работах Е. Д. Поливанова представлены теоретические положения, следование которым позволило найти подходы к решению многих проблем. Так, например, Поливанов предостерегал от акцентирования социальных факторов, от попыток объяснить все изменения в языке воздействием социально-экономических сил.

В языке, писал ученый, действуют и внутренние законы, «устанавливаемые для языка вне времени и пространства» [Поливанов, 1928, 175].

Опуская дальнейшие этапы развития советской социалингвистики (см. о них в указанных выше работах), обратимся к монографической работе «Русский язык и советское общество», выполненной коллективом авторов под руководством М. В. Панова [РЯ и СО, 1968], который стоял у истоков московской школы функциональной социалингвистики [см.: Земская, Крысин, 1998]. Концепция, изложенная в работе, отражает принципиально новый подход к проблеме взаимодействия языка и общества, она преодолевает разрыв между структурным и социальным подходом к исследованию языка, является надежной теоретической базой для изучения метаязыкового сознания в социальном аспекте. Кроме признания общественной сути языка, в работе показано понимание особенностей языковой системы, способной развиваться без воздействия факторов внешнего порядка. (Эта идея получает гипертрофированное развитие в работах, пафос которых заключается в доказательстве того, что язык может изменяться под воздействием внутренних стимулов, никак не обусловленных влиянием внешних факторов [см.: Серебренников, 1967].) «Динамическая, исторически изменчивая система языка подчинена основному закону диалектики — закону единства противоположностей» [РЯ и СО, 1968, кн. 1, 23], который определяет саморазвитие языка. Эти противоположности были названы языковыми антиномиями, присущими самому объекту. Каждое разрешение этих антиномий является постоянным стимулом внутреннего развития языка. Авторы называют наиболее важные из них. К ним относятся следующие: антиномия говорящего и слушающего, узуса и возможностей языковой системы, кода и текста, регулярности и экспрессивности; антиномия, обусловленная асимметричностью языкового знака. Работы более позднего периода дополняют выделенные антиномии рядом других внутренних причин языковых изменений. Например, одним из важных противоречий является противоречие между сохранением языка в состоянии коммуникативной пригодности и стремлением языка выразить все более адекватно содержание мышления [см.: Общее языкознание, 1970, 254]. (Об этом признаке принципиальной неустойчивости языка, о развитии языка благодаря смене его состояний пишет и М. В. Панов:

«Быть непрерывно изменчивым, чтобы сохранить постоянство» [Панов, 1990, 447]). Р. А. Будагов выделяет антиномию смешанного характера, обусловленную взаимодействием внутренних и внешних факторов развития языка — противоречие между потребностями говорящих к адекватному выражению и состоянием языка [Будагов, 1977, 235].

Хотя авторы «Русского языка и советского общества» ориентируются прежде всего на изучение внутреннего аспекта языковых изменений, но они указывают, что внутренние антиномии не абсолютно безразличны к социальным условиям. Внутренние факторы взаимодействуют с внешними. Возможны следующие случаи взаимодействия: 1) определенная тенденция может разрешить антиномию, но она очень слаба, хотя и отвечает внутренним потенциалам системы; новые социальные условия усиливают эту тенденцию; 2) новые общественные условия выступают ускорителями языковых процессов, внутренне обусловленных; 3) воздействие социальных факторов задерживает, тормозит развитие определенных тенденций. Таким образом, социальные факторы «понимаются как условия, способствующие (или, напротив, препятствующие) появлению той или иной внутренней закономерности языка» [Крысин, 1989, 26]. При этом к внешним условиям развития языка относят «изменение круга носителей языка, распространение просвещения, территориальные перемещения народных масс, создание новой государственности, по-новому влияющей на некоторые сферы языка, развитие науки» [РЯ и СО, 1968, 34—35]. Современные социолингвисты развивают плодотворную идею взаимодействия внутренних и внешних факторов, выделяя понятие этнолингвистической переменной, под которой понимается совокупность внешних факторов, влияющих на развитие языка [Михальченко, 1999, 27]. Варианты языкового развития будут определяться выдвиганием на роль ключевой одной из переменных. Например, ключевой переменной на сегодняшний день называют психологическое отношение к языку — «ценностные ориентации носителей языка, их предпочтения, языковое сознание» [Там же].

К середине 1980-х годов, к моменту перестройки, социолингвистика представляла собой разработанную научную дисциплину с фундаментальными теоретическими исследованиями и разнообразными конкретными разработками. С 1989 года начинается но-

вый этап развития социолингвистики, который был назван в литературе социолингвистикой «без комплексов» [Яхнов, 1998, 19], а знаковой в этом отношении работой явилась монография Л. П. Крысина «Социолингвистические аспекты современного русского языка» [1989], пафосом которой является «антиидеологизация и разрушение запретов» [Яхнов, 1998, 19]. Круг работ, связанных с продуктивным изучением социальных парадигм говорящих, в течение последующих лет расширился.

Рассматривая диапазон современных предметных областей русской социолингвистики, выделим ряд направлений, получивших интенсивное развитие в последнее десятилетие:

1. Описание разговорной речи как одного из субвариантов, заслуживающего серьезного научного рассмотрения. После 1920-х годов изучение живой разговорной речи оказалось актуальным в последней четверти нашего столетия. После постановки предельно широкого состава теоретических проблем московской школой (см. серию монографий «Русская разговорная речь», 1973—1983) [Земская, Крысин, 1998, 3—5] к этим проблемам обращаются ученые Саратова, Перми, Н. Новгорода, Ижевска, Элисты, Томска, Воронежа, Екатеринбурга и др. Методика сбора, обработки живой речи горожан и результаты лингвокультурологической интерпретации разговорного текста отражены в серии публикаций. Укажем последние из них: «Русская разговорная речь как явление городской культуры» [1996], «Разновидности городской устной речи» [1988], «Речь москвичей. Коммуникативно-культурологический аспект» М. В. Китайгородской и Н. Н. Розановой [1998], «Лингвистическая ретроспектива, современность и перспектива города и деревни» [1999], «Вопросы стилистики» [1999], «Язык и социальная среда» [2000], работа Н. А. Прокуровской [1996] и другие работы, посвященные исследованию живой речи современного города.

2. Анализ тоталитарного языка. К новому направлению социолингвистики можно отнести работы, изучающие тоталитарный язык советской эпохи [см.: Ермоленко, 1995; Купина, 1995; Кронзауз, 1994; Левин, 1998; Норман, 1995; Романенко, 2000; Данилов, 2001], в которых исследуются проблемы идеологической рефлексии в связи с воздействием государственной идеологии на язык.

3. Описание современного состояния языка, изучение языковых изменений на современном этапе. Русский язык, испытываю-

щий на себе влияние бурных социально-экономических преобразований, происходящих в России после 1985 года, привлекает к себе внимание многих исследователей. Ученые пытаются выяснить специфические особенности современного функционирования языка, выявляют общие тенденции развития языка на рубеже веков. Перестройка послужила импульсом для кардинальных изменений в языке, а социолингвистика отозвалась активным изучением фактического материала, ученые ищут теоретическую опору для объяснений в общих концепциях языкового развития. История повторяется: как и в послереволюционные 20-е годы, современные лингвисты имеют уникальную возможность наблюдать и исследовать язык в пору его грандиозных, как кажется современникам, изменений: «все естественные процессы в нем ускорены и рассогласованы, обнаруживаются скрытые механизмы, действие языковых моделей обнажено, в массовом языковом сознании наблюдаемые языковые процессы и факты оцениваются как разрушительные и гибельные для языка. Такая динамика и такое напряжение всех языковых процессов производят впечатление языкового хаоса, хотя в действительности дают драгоценный и редкий материал для лингвистических открытий» [Скляревская, 1996, 463].

Результаты исследований в рамках данных направлений специфически преломляются на уровне теоретического изучения метаязыкового обыденного сознания: уровень обыденного сознания материализуется обычно средствами разговорной речи, отражает активные процессы, происходящие в современном русском языке, а также ценностную трансформацию мировоззренческих установок, сформировавшихся прежде всего в рамках тоталитарного мышления.

Соотношение синхронии и диахронии. Метаязыковое сознание как особый предмет социолингвистики остро реагирует как на динамику социальной жизни, так и на активные языковые процессы, поэтому в рамках данного исследования важно рассмотреть проблему соотношения диахронии и синхронии, которая отражает еще один круг вопросов социолингвистики — процесса социального развития языка. «Социолингвистика обречена на поиски, новые исследования, поскольку объект ее изучения — постоянно меняющаяся жизнь в динамичном социуме» [Михальченко, 1999, 28]. Социально обусловленные закономерности развития языка

традиционно относят к проблематике диахронной социолингвистики по аналогии с расчленением общей лингвистики на синхронную и диахронную. Осмысление связей и различий между социальной дифференциацией и социальными условиями, в которых развивается язык, долгое время зависело от концепции Ф. де Соссюра, его учения о синхронии и диахронии. Категорическое разграничение синхронии и диахронии соответствовало, по словам Ф. де Соссюра, противопоставлению оси одновременности и оси последовательности, «состояния языка» и «фазы эволюции», статики и динамики, языка и речи, системности и бессистемности [см.: Соссюр, 1977, 113—127]. В лингвистике XX века термины «синхрония» и «диахрония» прочно вошли в научный обиход, но ученые видоизменили и уточнили понимание и применение этих терминов. Синхроническая точка зрения на язык как на статическое явление «давно себя дискредитировала» [Колесов, 1999, 7], поскольку «диалектическое противоборство тенденций развития языковой системы не позволяет ей достичь абсолютной устойчивости» [Булыгина, Крылов, 1990, 453], поэтому и в синхронном аспекте надо искать и динамику, и статику: «к статике относится сеть таксономических отношений языка, а к динамике — сеть глубинных отношений, связанных с законами порождения единиц языка всех рангов» [Шаумян, 1965, 15]; «...язык представляет собой целостное единство устойчивого и подвижного, стабильного и меняющегося, статики и динамики» [Сепир, 1993, 229], «...синхроническое и диахроническое — лишь разные стороны одного и того же исторического процесса» [Виноградов, 1995, 14]. Динамика в языковой системе проявляется не только в результатах преобразований, «но и в их протекании, в ходе подготовки изменения и его распространения» [Кубрякова, 1968, 120]. Принцип системности языка позволяет ученым по-иному соотнести диахронию и синхронию, они представляют систему языка как «динамически устойчивый феномен, имеющий устойчивое ядро и подвижную периферийную зону» [Клименко, 1991, 105].

Во многих работах диахронный и синхронный подходы к языку являются не взаимоисключающими осями, а лишь дополняющими друг друга при рассмотрении одного и того же явления. «Так, синхронное описание того или иного состояния языка нередко реализуется не в виде какого-то моментального фотографического снимка, а, соотносясь с более или менее продолжитель-

ным периодом развития, учитывает и факты языковой эволюции» [Климов, 1973, 113], при этом верхняя и нижняя временные границы зависят от исследователя: выделяется изучение языка как в диахронии, так и в микродиахронии, «т. е. в синхронной диахронии — в процессе функционирования языка на данном синхронном уровне» [Черемисина, 1989, 9], как в индивидуальной (связанной с возрастными особенностями человека), так и в социальной (связанной с принадлежностью человека к определенной эпохе) диахронии [см.: Феллер, 1991, 24–25]. Диахронический подход получает в литературе расширительное толкование, предлагается вместо традиционной оппозиции ввести триахроническую структуру — настоящее, прошлое, будущее [см.: Левинтова, 1991; Кретов, 2000]. Отражение вектора времени от настоящего к будущему легло в основание подхода, названного «динамической синхронией», «призванного установить те живые процессы в современном языке, которые отражают его развитие от настоящего к будущему» [Волков, 1993, 235].

«Синхронию и диахронию следует уподоблять не моментальному снимку, а киноплёнке, на которой можно запечатлеть и покой, и движение» [Кубрякова, 1968, 122]. «Функционирование языка и его развитие предполагают друг друга: развивается язык функционирующий, функционирует язык развивающийся» [Головин, 1979, 261]. Эти рассуждения особенно актуальны для «проведения синхронного анализа динамики явлений» [Hymes, 1964, 451], происходящих в современном русском языке, ибо «механизм языковых изменений, первоначальные причины изменений лучше всего поддаются анализу в том случае, если рассматривать языковые изменения в процессе их осуществления» [Лабов, 1975, 201]. Социальная дифференциация проявляется на том или ином синхронном срезе, который является результатом развития языка, обусловленного социальными факторами, и не может носить строго синхронический характер, поскольку «всякая синхрония в языке существует только как условно ограниченный момент развития и соответственно должна рассматриваться как синхрония динамическая» [Грамматика современного русского литературного языка, 1970, 4]. Таким образом, обзор современных работ показывает, что ученые стремятся интерпретировать содержание терминов «синхрония» и «диахрония» с точки зрения осознаваемого «единства временного потока» [Васильев, 1997, 17], видя в их жестком разграничении

малопродуктивное упрощение сложных динамических процессов, в современном языкознании укрепляется тенденция «к объединению синхронного описания с историческим» [Иванов, 1990, 620]. Особенно непримиримыми противниками дихотомии «синхрония — диахрония» являются историки языка, называя ее «обременительной», «ригористической», «великой ересью XX века» [Трубачев, 2001, 21—22].

Кроме того, обращение на современном этапе к фактам диахронии в рамках синхронных исследований определяется «установкой на объяснительность» [Зализняк, 2001, 14], типичной для современной научной парадигмы, которая снимает запрет на использование данных истории языка при синхронном анализе. Ученые, занимающиеся изучением синхронной семантики, обращаются к культурной памяти слова, которая влияет на его употребление [см., например: Яковлева, 1998; Костомаров, Бурвикова, 2000], ибо языковая картина мира представляет собой «синхронное соединение разновременных восприятий и толкований» [Варбот, 2001, 40].

С другой стороны, существуют и сторонники четкого разграничения синхронии и диахронии, процедурного подхода к языковым явлениям, под которым понимается фиксация отдельных дискретных состояний мира, которые связаны между собой временной последовательностью [см.: Сергеев, 1999, 24]. М. В. Панов, изучая основные закономерности изменения русской фонетической системы, пишет: «Все попытки представить дело так, будто синхрония непременно должна быть «подпорчена» диахронией, основаны на том, что разграничение того и другого — дело сложное, непривычное, трудное для мысли. Возражатели вовсе не преодолели идею разграничения синхронического и диахронического аспекта в языке: они не дошли до нее» [Панов, 1990, 12]. М. В. Панов также ссылается на позицию В. Н. Сидорова, у которого не находили сочувствия попытки отказаться от разграничения синхронии и диахронии путем динамического понимания синхронии. В связи с этими рассуждениями вспоминается рефлексив Андрея Платонова: «Какое хорошее и неясное слово — *текущий момент* (курсив автора. — *И. В.*). Момент, а течет: представить нельзя!». Соглашаясь, что синхрония связана с диахронией, М. В. Панов определяет эту связь следующим образом: «...зная сегодняшнее состояние того или иного языкового яруса, зная законы изменения языковых целостностей, можно предсказать, что это

состояние М перейдет в другое, например М1 или М2 (обычно «формулы перехода» допускают несколько возможностей языковых изменений). Одна система устремлена к другой, предполагает вероятность определенных перемен» [Панов, 1990, 12]. Эти системы непрерывны, текучи, борьба протекает ежедневно и ежечасно, и системы не сменяют друг друга, «как солдаты на карауле». Но такой непрерывный характер носят изменения в речи, а развитие языка носит дискретный характер. Описывая историю того или иного языкового яруса, надо учитывать эту двусторонность процесса. Число дискретных шагов-изменений можно подсчитать, для этого нужна периодизация этого процесса. Таким образом, современные лингвисты, корректируя тезис Ф. де Соссюра об асистемности диахронии, представляющей собой историю превращений изолированных, отдельно взятых единиц языка, признают ее системный характер и рассматривают ее как «серию последовательных превращений систем, каждая из которых представлена определенным синхроническим срезом» [Апресян, 1995, 35]. Но при этом, по словам Ю. Н. Караулова, «...любая система никогда не меняется целиком, и переход от одной системы к другой по диахронической оси может соответствовать только переходу предшествующих явлений... к последующим, но никак не переходу от «архаической» к более «новой» системе. Архаических систем нет; в одной системе соседствуют архаические элементы и инновации» [Караулов, 1970, 70]. К этой точке зрения близка и позиция К. Г. Краснухина, который, отталкиваясь от положения, что любая взаимодействующая со средой система в любой момент не до конца стабильна, утверждает: «...синхронные изменения отличаются от диахронных тем, что регулярно осуществляются по готовым моделям. Диахрония начинается там, где эта регулярность утрачивается. Различие синхронии и диахронии — водораздел между восстанавливаемыми и невозстанавливаемыми языковыми изменениями» [Краснухин, 2000, 146], которые выявляются в разновременных репрезентациях одних и тех же языковых единиц.

Отдельного замечания требуют термины «развитие» и «эволюция», употребляющиеся для описания динамических процессов в языке. Обычно в работах, которые обращены к проблеме языковых изменений, эти два термина не дифференцируются и употребляются как синонимы. Это тождество подтверждают и словари, например: эволюция — «процесс постепенного непрерывного ко-

личественного изменения, подготавливающий качественные изменения; вообще развитие» [СОШ, 1999, 906]. Однако наряду с тождеством понятий существует и их дифференциация. Так, эволюция, понимаемая как постепенность, непрерывность изменений, может быть противопоставлена революционному, скачкообразному движению [Котурова, 1998, 10]. В одной из последних работ И. А. Стернин, анализируя современное состояние языка, также разграничивает эти понятия: «Эволюция отражает изменения, происходящие внутри языка по его собственным законам; развитие отражает приспособление языка к изменяющимся (под влиянием внешних факторов) условиям его функционирования» [Стернин, 2000, 70]. Динамика языка может представлять и трехчастную структуру: эволюция, развитие и совершенствование языка [см.: Рождественский, 2000, 223—239]. При этом развитие имеет ступенчатый характер и сводится к следующим основным формам: дивергенция и образование новых языков, усложнение системы языка, разделение литературного языка на функциональные подсистемы и рост словаря. Эволюция языка — это изменение без заметного количественного роста и качественного усложнения. Эволюция и развитие по-разному проявляются в разных областях системы языка. «Процессы развития касаются главным образом лексики, сфер общения, новых материалов и орудий речи; процессы эволюции касаются почти исключительно языкового строя» [Рождественский, 2000, 238]. Совершенствование языка, проявляясь в развитии языка, возникает, по Рождественскому, вследствие сознательного воздействия человека на язык. С другой стороны, в основе совершенствования лежит идея оценочного отношения к изменениям в языке, которая ведет свою историю от античности, Средних веков и эпохи Возрождения, когда зримые отклонения оценивались как порча языка. В современных работах прогресс в развитии языка связывается с развитием возможностей выразить новое содержание, совершенство языка — это «богатство словаря, функционально-стилистическая специализация языковых средств, углубленная семантическая дифференциация грамматических форм» [Мечковская, 1994, 184]. К этой точке зрения примыкает и Р. А. Будагов, утверждая, что процесс развития неотделим от процесса совершенствования при условии, «если развивается вся культура народа, говорящего на данном языке» [Будагов, 1977, 60].

Завершая обзор различных точек зрения на соотношение синхронии и диахронии, мы полагаем, что высокодинамический характер развития русского языка на современном этапе позволяет говорить о том, что изучение метаязыковой деятельности, фиксирующей синхронно-функциональное ощущение диахронных изменений, т. е. изменений в процессе их осуществления, относится к классу синхронных исследований диахронных языковых фактов.

Таким образом, общность социокультурного и языкового опыта говорящих в рамках одного временного периода создает определенную целостность и однородность знаний языкового коллектива, которые подвергаются рефлексивному осмыслению. Роль метаязыкового обыденного сознания исключительно велика, потому что осмыслению подвергаются наиболее значимые для данного синхронного среза и данной культурно-языковой общности как элементы речевой деятельности, так и ключевые концепты эпохи. Вербализация метаязыковой деятельности является одним из компонентов языковой ситуации. Обыденные представления «формируются и эксплицируются лишь будучи «растворенными» в практическом опыте, и эта нерасчлененность познавательного и практического определяет меру рациональной системности метаязыкового сознания» [Ростова, 2000, 51]. Задача лингвистов состоит в изучении закономерностей вербализации метаязыкового сознания и особенностей отраженного в нем объективного и универсального содержания.

МЕТАТЕКСТ И РЕФЛЕКСИВ: ТЕРМИНОЛОГИЧЕСКИЕ РЯДЫ И ТИПОЛОГИЯ

Обоснование ключевого термина

В фокусе внимания исследователей, изучающих метаязыковую деятельность говорящего, находится проблема «метатекста» и коррелятивных с этим термином понятий «метаязык», «метаречь», «метатеория», «метасемиоз», «метасредства», «металингвистика», «метакоммуникация», «метадискурс» и др. Остановимся на термине *м е т а я з ы к* в его отнесенности к другим терминам ряда.

В специальной литературе термин «метаязык» употребляется неоднозначно. Во-первых, традиционное использование термина «метаязык» соответствует философскому и логическому употреблению: «язык второго порядка», «по отношению к которому естественный человеческий язык выступает как “язык-объект”, т. е. как предмет языковедческого исследования» [ЛЭС, 1990, 297], как ЯЗЫК2, создаваемый через логико-аналитическую работу, как описательная модель языка [Залевская, 1999, 32]. В когнитивной лингвистике эта оппозиция определяется через термины и-язык и э-язык (*I-language, E-language*), введенные Н. Хомским для противопоставления интериоризированных данных о языке внешнему, экстериоризированному проявлению языка, т. е. «для противопоставления знаний о языке реальным формам его функционирования» [КСКТ, 1996, 30]. Согласно этому пониманию язык представляет собой объединение языка-объекта ЯЗЫК1 и метаязыка ЯЗЫК2, на котором мы говорим о ЯЗЫКЕ1.

Во-вторых, семантический метаязык противопоставляется языку-объекту как другая знаковая система, «позволяющая более непосредственно отразить структуру выражений объектного языка, тем самым выявляя, объективируя ее» [Кобозева, 2000, 266]. Построение такого универсального семантического метаязыка, например, предпринято А. Вежбицкой в виде словаря семантических примитивов, который к концу 90-х годов вырос до 60 единиц [см.: Wierzbicka, 1999]. Попытки создания «алфавитов человеческой мысли» [см.: Мельчук, 1974; Апресян, 1974; Апресян и др., 1978; Богуславский, 1980], кроме теоретического, носят прикладной характер: созданные метаязыки используются для автоматизированного анализа текстов на естественных языках.

Кроме неоднозначной интерпретации понятия «метаязык», остается открытым вопрос о соотношении терминов «метаязык» и «метатекст». Литературоведение оперирует понятием метатекста при характеристике зоны ассоциативных связей (подтекста) [Лотман, 1981]. При художественном переводе в качестве метатекста выступает переведенный художественный текст наряду с оригинальным [см.: Арнольд, 1974; Лилова, 1985; Комиссаров, 1973; Сорокин, Ярославцева, 1985, 118–122; Федоров, 1968; Шаховский, Сорокин, Томашева, 1998, 69–120]. В лингвистической практике сложилось представление о метатексте как результате метаязыковой деятельности говорящего, как речевом явлении в виде последова-

тельности «вербальных знаков, организующих цельное, связанное изложение определенной области научного знания» [Ростова, 2000, 52], как высказыванию о высказывании [Вежбицка, 1978, 404], тексте о тексте (*discourse about discourse*), как «вторичном тексте с вербализованным прагматическим содержанием» [Турунен, 1999, 311].

Если рассматривать термин «метатекст» с позиций лингвистики текста, следует признать его несостоятельность: в большинстве случаев мы не можем констатировать представленность в речевой структуре, обозначаемой как «метатекст» и взятой в изолированном от основного текста виде, универсальных текстовых категорий: целостности, связности, смысловой завершенности, относительной оформленности [см. об этом: Гиндин, 1977; Гальперин, 1981; Зарубина, 1981; Купина, 1983; Купина, Битенская, 1994, 214–233; Москальская, 1981; Николаева, 1978; Солганик, 1973]. В современной лингвистике в рамках теории речевой деятельности наряду с термином «текст» начинает употребляться термин «дискурс», многозначность которого говорит о том, что термин не устоялся в современном научном обиходе (см., например, развернутое сопоставление конкурирующих терминов «текст» и «дискурс» в монографии И. Н. Борисовой [2001, 175 — 188]). Авторы, пользующиеся данным термином, непременно уточняют его существенные признаки, указывая тот аспект терминологической семантики, который им важен. Возможность отнесения метаязыковой деятельности к дискурсивной, а не текстовой видится в такой существенной черте дискурса, как ослабление нормоцентрических требований к формам смысловой и структурной организации продуктов дискурсивной деятельности [Борисова, 2001, 186–187]. Исследователь дискурса оставляет показатели целостности и связности лингвистике текста и на первый план выдвигает анализ точки зрения адресанта, «предпочтения, оценки, эмоции говорящего по отношению к действительности и адресату» [Формановская, 2001, 19]. Продуктом коммуникации в рамках дискурсивного подхода может быть неканонический текст. Статус неканонического текста определяется не характером структуры текста, не его размерами, а его цельностью, т. е. «функционально-коммуникативной соотнесенностью текста с одним объектом, простым или сложным» [Сахарный, 1986, 92]. Данная цельность как инвариант содержания может быть реализована в текстах, различных по степени развернутости и структуры, — от канонических до «текстов-

примитивов» (Сахарный). Материал исследования позволяет говорить о дискурсивной природе метаязыковой деятельности, так как рефлексивы могут быть представлены в различных текстовых формах: 1) как канонический текст-рефлексив, отдельное речевое произведение; 2) как рефлексивы внутри целого текста: а) в виде авторского попутного замечания, словесной реплики, ремарки, комментирующих основной текст, б) в виде метаязыкового высказывания, 3) в виде цепочки взаимосвязанных высказываний — текстового фрагмента.

Объем метатекстовых конструкций, комментирующих основной текст, определяется по-разному. Существует широкое и узкое понимание «метатекста» [см.: Ростова, 2000, 53—55]. При широком подходе «метатекст» понимается как строевой компонент текста, выполняющий иллюкутивную функцию, связанную с «речевыми шагами говорящего по порождению текста» [см.: Шаймиев, 1999, 71], функцию координации адресата в речевом потоке [Кормилицына, Ерастова, 2000, 252], являющуюся отражением его речевого поведения [см.: Рябцева, 1994]. Основы широкого понимания заложены в работе А. Вежбицкой «Метатекст в тексте» [1978]. А. Вежбицка анализирует метатекстовые образования типа *В настоящем разделе я буду говорить о ..., Приведу пример..., повторяю, что...* и др. Для такого «метатекста» характерно ситуативно-прагматическое содержание. Исследователи, обращающиеся к данному типу метатекстов, анализируют функциональную нагрузку данных метаоператоров [см.: Шаймиев, 1999; Гак, 1994], устанавливают композиционно-синтаксические аспекты функционирования, выявляют соотношенность с различными элементами прагматического содержания [см.: Шаймиев, 1996], разрабатывают типологию метаконструкций с точки зрения клишированности и креативности [см.: Кормилицына, Ерастова, 2000] и лингводидактические задачи метатекстов [см.: Турунен, 1999]. Метатекстовые конструкции включают разнообразные способы проявления речевых тактик говорящего и слушающего, «метаорганизаторы высказывания» упорядочивают композицию текста, связывают компоненты текста, отражают стратегию автора при производстве текста.

Подобное понимание метатекста укладывается в трактовку языкового сознания как механизма организации речевого высказывания, поскольку дифференциальным признаком метатекста является «его ориентация на конкретную речевую ситуацию создания или/и восприятия конкретного текста» [Шаймиев, 1996, 80]. Ши-

рокое понимание природы метатекста позволяет расширить набор метаконструкций. Кроме «ленты с метатекстом» (А. Вежбицка), исследуются единицы с имплицитным метатекстовым содержанием, например различные языковые трансформации, которые позволяют выявить интенции и речевые тактики говорящего, — переносы, синонимические замены, парафразы, сравнения и др. [см.: Скат, 1990].

При узком понимании метатекстов к ним относят вербальную экспликацию по поводу лексической единицы, представляющую собой «разнообразный комментарий к выбору слова» [Норман, 1994, 40], развернутый носителями языка подчас до уровня суждения о языке [Булыгина, Шмелев, 2000, 11]. В данном понимании метатекст как результат осознания языковой действительности также является эксплицитным проявлением метаязыкового сознания. В этом отношении достаточно условно можно принять исследовательское толкование широкого и узкого понимания термина «метатекст» [Ростова, 2000, 52—55]. С одной стороны, процесс выбора слова, безусловно, представляет собой лишь один частный аспект речевой деятельности. С другой стороны, нерасчлененность для обыденного сознания языкового средства с тем, для чего оно используется, позволяет считать метаязыковые высказывания исследовательской базой для выявления мировоззренческих установок языковой личности, социокультурных умонастроений, психологического состояния человека и общества в целом. В данном случае «язык является средством выхода на образ мира» [Залевская, 1999, 36]. В условиях кардинальной смены социально-экономических устоев государства, когда интенсифицируется психическая и интеллектуальная деятельность индивида по обновлению и перестройке концептуального мира, метаязыковой комментарий по поводу актуальной лексической единицы дает возможность проследить проявления этих изменений.

Уточним используемый в данной работе термин «рефлексив»: рефлексив понимается нами как метаязыковой комментарий по поводу употребления актуальной лексической единицы.

Выбор особого термина продиктован, во-первых, разным содержанием терминов «метатекст»; во-вторых, обилием терминологических единиц, характеризующих метавысказывания по поводу слова. Термин «рефлексив» находится в одном ряду с

такими терминологическими единицами, как «оценка речи» [Шварцкопф, 1970], «контекст-мнение» [Лукиянова, 1986], «метаязыковые высказывания» [Булыгина, Шмелев, 2000], «словесное само моделирование» [Ляпон, 1989], «показания метаязыкового сознания» [Блинова, 1989], «метатекст» [Ростова, 2000]. На наш взгляд, в перечисленных выше терминах есть несколько недостатков: одни из них акцентируют лишь отдельные особенности метаязыковых высказываний, другие неудобны для использования в силу их громоздкости. Выбранный нами термин «рефлексив» подчеркивает главную, родовую черту метаязыковых образований — наличие языковой рефлексии, направленность языкового сознания на познание самого себя. Подобная трактовка рефлексии восходит к терминологическому толкованию Джона Локка. Рефлексия, с его точки зрения, это «особое оперирование субъекта с собственным сознанием, порождающее в результате идеи об этом сознании» [Лефевр, 1990, 25] сознательное отслеживание и анализ собственной мысли. Несмотря на видимую простоту термина «рефлексив», мы должны признать некоторые его недостатки. Рефлексив — не новый для лингвистики термин. Известно его традиционное использование в грамматике для обозначения кореферентных ситуаций и средств их выражения, например местоимений, которые ни в каком контексте не могут иметь независимую референцию, т. е. «референция рефлексива всегда совпадает с референцией некоторого антецедента» [Рудницкая, 2001, 83]. К рефлексивным средствам относятся местоимения *себя, сам*, возвратные глаголы [см.: Берестнев, 2001], возвратные конструкции, основанные на кореферентности подлежащего и дополнения, которые Т. Гивон называет «подлинными рефлексивами» [Givon, 1990, 628]; одним из средств модус-диктумной кореферентности является ряд рефлексивных лексем [см.: Ким, 1995], грамматические приемы, особым образом маркирующие субъектно-объектную кореферентность (у Л. Фальца они получают название рефлексивных стратегий [Faltz, 1985]).

Понятие метаязыковой (языковой, речевой) рефлексии завоевывает «права гражданства» по мере возрастающего интереса лингвистов к метаязыковой деятельности говорящих. Можно сослаться на ряд работ, в которых термин «рефлексив» активно используется по отношению к языковой рефлексии [Шмелева, 1999; Васильев, 2000; Кормилицына, 2000б; Шейгал, 2000 и др.].

Необходимо отметить, что наряду с выделенными аспектами понимания метаязыковой деятельности языковая рефлексия может трактоваться недифференцированно, как «рефлексия по отношению ко всему, что имеет какое-либо отношение к языку и его использованию» [Васильев, 2000, 31]. Такое понимание находим, например, у Б. М. Гаспарова [1996]; Е. И. Шейгал в классификационную схему рефлексивов включает и метаязыковой комментарий целого текста [Шейгал, 2000, 237].

Корпус исследуемых в данной работе рефлексивов позволяет выделить рефлексия по отношению к слову, словоформе, фразеологизму, высказыванию. Однако основной массив материала включает метаязыковую реакцию на слово. Наше обращение к языковой рефлексии прежде всего над словом обусловлено значимостью этого языкового феномена в системе языка и в концептуальной системе. Слово является основной единицей этих систем, роль слова признается все большим числом лингвистов, психологов и специалистов по психологии речи. По словам Г. Осгуда, все процессы речевой деятельности можно представить как протекающие между лексиконом и неким оперативным механизмом, выстраивающим слова и словоподобные единицы в последовательности.

На разных этапах развития лингвистики ученые разных направлений неизменно отмечали важную роль лексической единицы, значимость слова при функционировании. И. Б. Левонтина в книге «Язык о языке» [2000], посвященной исследованию метаязыка «естественной лингвистики», пишет: «Слово *слово* замечательно тем, что, будучи совершенно обычным, без всякого налета книжности, очень употребительным словом русского языка, оно в то же время чрезвычайно лингвистично — в том смысле, что содержание его отражает рефлексия языка над самим собой. Можно сказать, что концепт *слова* — это квинтэссенция «наивной лингвистики», то есть того представления о языке, которое человек не выучивает в школе, а неосознанно воспринимает из самого языка. Не случайно для лингвистики научной слово *слово* неудобно, и она зачастую стремится заменить его чем-то другим» [Левонтина, 2000, 290]. Как металингвистическое имя слово *слово* обладает самой высокой частотностью употребления. Его показатель — 1039 на один миллион словоупотреблений, при этом слово *язык* обладает меньшей частотностью, его

показатель — 204 словоупотребления на один миллион [см.: Арутюнова, 2000, 15].

Слова являются фундаментом для построения речи. Грамматика и словарь считаются главными компонентами любого языка. Именно слова являются манифестаторами, с помощью которых передается необходимая информация, слово является наиболее «осознаваемой оперативной единицей в потоке речи» [Кубрякова, 1991, 100]. Именно слово соединяет в себе два уровня сознания — вербальное и невербальное — и может «удержать» кусочек знания. Оно выполняет в этом случае важную функцию — служит средством доступа к той информации, которая содержится в памяти человека. «Слово выступает как тело знака для концепта, как носитель определенного кванта информации» [Там же, 103].

Таким образом, выстраивая терминологический ряд единиц, используемых в работе, мы выделяем особый открытый тип метаязыкового дискурса, единицей которого является метаязыковое высказывание, названное нами рефлексивом, которое фокусирует свое внимание на семантически и аксиологически значимых языковых единицах, попадающих в поле метаязыкового сознания.

Речевая организация рефлексива

Современный метаязыковой дискурс представляет собой сложное многомерное образование, составные элементы которого получают различное языковое оформление. Определимся в общих закономерностях построения рефлексивов, которые не имеют жестко организованной формы и обычно достаточно вариативны. Речевая организация рефлексива представляет собой «скорее систему возможных предпочтений, чем строгих предписаний» [Ростова, 2000, 60]. Объединяет всю совокупность рефлексивов общность объекта — рефлексия носителя языка по поводу своего лексикона, разнообразная лингвистическая информация о слове. Способность языка к автореференции в контексте манифестируется рядом формальных показателей — дискурсивных маркеров, метаоператоров. Формальным сигналом к определению рефлексива служит прежде всего наличие в анализируемом отрезке метаоператора, к которому относится лексическая единица «слово», а также наиболее частотные «ре-

чевые слова» (В. Г. Гак), глаголы и существительные, обозначающие речевые действия: *речь, имя, говорить, называть, подбирать, понимать, употреблять, использовать* и др. К речевым глаголам относятся не только глаголы речевой деятельности, а, шире, глаголы подполя интеллектуальной деятельности [см.: Лексико-семантические группы русских глаголов, 1988, 47–55], куда входят слова, относящиеся к сфере знания, мышления, понимания, поскольку эти сферы в совокупности с речью «суть этапы единого мыслительно-речевого процесса, этапы взаимосвязанные и постоянно переходящие друг в друга» [Гак, 1994, 10], а также глаголы подполей других видов деятельности, употребляющихся в переносном значении в сочетании с лексической единицей «слово». Конструкции, в которых языковой объект имеет референцию к самому себе, «принято называть автонимным употреблением языкового знака» [Шмелев, 1996, 171]. В рефлексивах автонимным статусом характеризуются лексические единицы, стоящие в позиции несогласованного приложения при родовом обозначении: *Слово «тайна» имеет только один эпитет: «коммерческая»* (АИФ, 2002, янв.); *Ненавижу это слово «сенсация»* (КП, 1999, дек.); *Как угодно можно относиться к слову «перестройка», но она меня действительно перестроила* (ОРТ, Доброе утро, 29.03.02.) и т. д. Однако во многих контекстах не всегда четко обеспечивается автонимное понимание имени, способ определения метаязыковой конструкции может зависеть от целого ряда факторов, и прежде всего от функционального типа рефлексива и коммуникативного модуса говорящего [Рябцева, 1994]. Типологии рефлексивов мы уделим особое внимание в следующем подразделе, поэтому здесь остановимся на специфике способов выражения отношения говорящего к употребляемому слову.

Коммуникативный модус говорящего варьируется. Во-первых, субъект речи может комментировать слово или его употребление в данном контексте, сообщая о нем какую-либо информацию — данный тип рефлексива можно назвать метаязыковым комментарием, который по своей природе эпистемичен, пополняет информационный фонд адресата: *Слово «авоська» впервые прозвучало со сцены именно из уст Райкина. Вообще-то этот монолог написал Владимир Поляков, но в народ слово вошло с легкой руки Аркадия Исааковича* (Телемир, 2001, март); *Термин «раскрутка»*

чаще всего, кажется, эксплуатируют в шоу-бизнесе. Но любим он и в политике (В каждый дом, 2000, янв.); Мы привыкли к слову «имидж» и даже примерно знаем, что оно означает. Кстати, с английского «имидж» переводится как «образ» (Наша газета, 2001, нояб.).

Во-вторых, говорящий может выразить к слову свое отношение. Рефлексивы данного типа оцениваются как аксиологические высказывания с преобладанием рациональной или эмоциональной реакции, направленной на собственное отношение к слову, но апеллирующей к мнению адресата. Этот тип оценочных метавысказываний при сопоставлении с простым комментированием мы можем назвать *м е т а я з ы к о в о й* *и н т е р п р е т а ц и е й*, поскольку говорящий, помимо эксплицитной языковой информации, поставляемой через текст, вербализует также интерпретирующее, или «глубинное», понимание лексической единицы, которое возможно при наложении языковой информации на другие типы информации — «психологические, социальные, нормативные, морально-этические и т. п.» [см.: Кобозева, Лауфер, 1994, 64]. В данном контексте интерпретация определяется как оценочное метаязыковое действие говорящего, как его «аутодиалог, разговор с самим собой» [Кухаренко, 1979, 83], поскольку в субъективном понимании «слиты воедино два компонента — чисто интерпретационный и оценочный» [Нахратова, 1990, 9]. Например: *И на протяжении всей его карьеры, если можно назвать его певческий путь таким противным словом, он оставался человеком* (ОРТ, Юбилейный концерт Л. Лещенко, 01.02.02); *Слово «мода» я не люблю. Лучше быть стильным* (ОТР, Ночная смена, 10.01.02); *Года четыре назад от одного слова «национализация» российских предпринимателей бросало в дрожь. Вообще-то слова «национализация» бояться нечего: во всех странах с рыночной экономикой есть законы, при определенных обстоятельствах допускающие превращение частной собственности в государственную* (МК-Урал, 2002, янв.). Выражая языковую информацию опосредованно, через специальные маркированные формы, говорящий помещает себя «на некоторой дистанции от того, что он говорит» [Майсак, Татевосов, 2000, 79]. Он расщепляет себя некоторым образом на два индивида, его «самосознание диалогизируется» [Бахтин, 1963, 297], и эта операция, дистанцируя говорящего от его собственного дискурса, позволяет ему быть

интерпретатором собственного текста, постигающим и осознающим его¹.

Мы встречаемся чаще всего с оценочными сообщениями, чем с беспристрастным комментарием. Рациональная оценка обычно связана с выражением мнения говорящего-слушающего о пригодности, точности, верности языкового средства в данном высказывании. Отсюда разнообразные варианты выражения речевой критики: *правильно — неправильно, точно — неточно, верно — неверно* и т. д. Помимо них, существуют речевые стереотипы критики речи: *строго говоря; точнее говоря; грубо говоря; мягко говоря; одним словом; короче; не знаю, как выразиться; не нахожу слов; другого слова не подберешь; лучше сказать; если можно так выразиться*, которые носят характер попутных замечаний, коротких реплик. Концепт правильности имеет «своим источником нормативную оценку действия» [Арутюнова, 1993, 69], лежит в основе практического мировоззрения и оценивает любое целенаправленное действие. Самыми частотными и действенными операторами эмоциональной оценки являются глаголы *люблю — не люблю, нравится — не нравится*, «подсказывающие выбор лексических средств, грамматической модели, композиционный рисунок фразы, синтаксический строй» [Ляпон, 1989, 27].

Оценка привлекает большое внимание современных исследователей. Введенная в начале XX века в научный оборот Ш. Балли [1961] лингвистическая категория оценки свое настоящее развитие получает с середины 1950-х годов. Наиболее широкое понятие, которое охватывает всю сферу языковых явлений, связанных с оценкой, — это понятие категории модальности [см.: Виноградов, 1950; Ляпон, 1990]. Разграничение функционально-семантической категории модальности на объективную и субъективную дает возможность отнести круг проблем, связанных с категорией

¹ Широкое понимание интерпретации находит подтверждение в следующем высказывании Т. Винограда и Ф. Флореса: «Когда говорят об «интерпретации», скорее всего возникают ассоциации с художественными и литературными произведениями. Музыкант, литературный критик и обычный читатель стихов или романа — все они в некотором... смысле «интерпретируют» совокупность знаков на листе бумаги. ...Деятельность интерпретатора не ограничивается подобными ситуациями, а пронизывает всю нашу повседневную жизнь. Для осознания того, что значит думать, понимать и действовать, нам необходимо признать роль интерпретации» [Виноград, Флорес, 1996, 185].

оценки, к субъективной модальности. Последняя получает свое развитие в семасиологии [см., например: Арнольд, 1970; Л. М. Васильев, 1997; Стернин, 1985; Майданова, 1987, Телия, 1986; Вольф, 1985], в стилистике [Арнольд, 1981; Винокур, 1987; Капаназде, 1988; Япон, 1989, 1992, 2000; Петрищева, 1984], в лингвистической прагматике [см.: Трипольская, 1999; Вольф, 1985, 1989, 1996; Арутюнова, 1988, 1989; Телия, 1991a; Апресян, 1986; Скляревская, 1993, 1997; Графова, 1991; Маркелова, 1994, 1995, 1996; Чернейко, 1990, 1996]. На базе теории языковой оценки разрабатывается теория коннотации и коннотативная семантика [см. об этом: Телия, 1986; Шаховский, 1994; Апресян, 1995], разрабатывается перечень многочисленных компонентов семантики слова, в который вписывается трудноуловимый набор коннотативных элементов [см.: Апресян, 1986; Телия, 1991b]. В современной русской лингвистике предпринимаются попытки выстроить единую концепцию языковой экспрессивности на основе эмоциональной и социальной оценочности [см.: Маслова, 1991; Лукьянова, 1986; Матвеева, 1986; Стернин, 1983; Шаховский, 1983, 1987, 1997]. Исследователи обращаются к описанию специфики эмотивных и экспрессивных высказываний и аналогичного текста [см.: Гак, 1984, 1988, 1996; Вольф, 1996; Шаховский, Сорокин, Томашева, 1998; Пиотровская, 1993, 1995], исследованию категории оценки в рамках концепции характеризующей функции языкового знака [см.: Арутюнова, 1978, 334—340], в области лексикографических исследований [см.: Апресян, 1988; Скляревская, 1995, 1996; Трипольская, 1999].

Отталкиваясь от широкого понимания оценки как смысловой основы субъективной модальности [см.: Япон, 1990, 303—304], личностно-прагматической интерпретации обозначаемого, ученые связывают оценку с понятием ценностного отношения, с уровнями аксиологической шкалы «хорошо» — «плохо» [Выжлецов, 1996, 38—69]. «Обязательность выражения мнения говорящего в оценочном высказывании характеризует оценку как «суперсубъективную» категорию мышления и языка» [Маркелова, 1994, 13]. Многокомпонентная структура оценочной семантики определяет и многообразие видов оценки.

Есть все основания полагать, что всякая оценка является видом интеллектуальной деятельности, симультанно отражает в разных пропорциях эмоциональный и рациональный типы менталь-

ной деятельности человека, занимает важное место в процессе познания, так как мышление базируется на единстве познания окружающего мира и отношения к нему. Как пишет Е. М. Вольф, «сочетание двух состояний — эмоционального и ментального, мысли и эмоции, в один и тот же момент, при одном и том же субъекте не только вполне допустимо, но и широко встречается в текстах» [Вольф, 1996, 142].

Для нас представляет интерес проявление оценки в рефлексивных высказываниях. Подчеркнем, что лингвистическая интерпретация рефлексивов не исчерпывается вычленением какого-то одного языкового средства из поверхностной структуры текста. При анализе намечается некий набор разнообразных средств выражения.

Как мы уже отметили выше, самыми частотными и действенными операторами оценки являются глаголы *люблю — не люблю, нравится — не нравится*. Эти операторы относятся к предикатам сенсорно-вкусовой оценки, являющейся наиболее индивидуализированной. Н. Д. Арутюнова отмечает, что высказывания сенсорной оценки не имеют выраженного модуса. «Их не может вводить пропозициональная установка мнения. Не говорят: *Я думаю (считаю), что мне хорошо спалось (что я вкусно поел)*» [Арутюнова, 1988, 190]. Сенсорная оценка всегда истинна, так как она искренна. Она «имеет статус неопровержимой субъективной истины» [Там же, 191], поэтому не требует никаких мотивировок. Оценка «люблю — не люблю», обладая параметром субъективной истины, совмещает в себе эмотивное и рациональное начала, что способствует обостренному видению слова, активизации языковых способностей. Л. Н. Мурзин отмечал, что оператор «нравится — не нравится» выполняет в тексте эстетическую функцию, «которая связана с гармонией речи, языка. Это не информация, а ощущение, представление» [Мурзин, 1998б, 12].

«Эмоциональная активация является необходимым условием продуктивной, интеллектуальной деятельности» [Шаховский, 1988, 194]. Оценка функционирует на уровне обыденного сознания наряду и совместно с познанием, мысль в обыденном сознании не отчленена от эмоций. «В этом смысле оценка не просто акт выбора или реакция на ценность, она представляет собой реализацию *оценочной составляющей сознания* (курсив автора. — И. В.), которое само нужно рассматривать как единство и взаимодействие

познавательной и оценочной составляющих» [Выжлецов, 1996, 39]. Рефлексив, содержащий субъективную модальность, нацелен на оценочное или эмоциональное воздействие на адресата речи, глаголы *люблю — не люблю, нравится — не нравится* «репрезентируют расчет на согласие собеседника» [Маркелова, 1995, 71]. Оценочная субъективность является дополнительным аргументом в рефлексивном высказывании.

Сенсорные оценочные операторы информативно недостаточны, поэтому они всегда нуждаются в экспликации и конкретизации. Обычно в рефлексиве после общей сенсорной оценки идет содержательный комментарий, объясняющий оценку слова: *Мне не нравится определение «песенник» — похоже на «гусяр», Садко эдакий... Хотя поэт-песенник ближе к народу, чем просто поэт, и ответственности на нем больше* (АИФ, 1998, янв.); *Мне не нравится слово «парапсихология», оно неправильно для обозначения того, чем я занимаюсь* (МК-Урал, 1999, февр.); *Я не люблю слово «меценатство». Оно сильно напыщено* (ОРТ, Доброе утро, 27.10.98); *Я не очень люблю это слово «зомбирование», но если уж оно разошлось, то я не верю в зомбирование* (ОРТ, Час пик, 27.08.98). Содержательная часть высказывания является факультативной и, распространяя метавысказывание, включается в его состав. Именно поэтому границы рефлексива не всегда могут быть определены четко. При условии, что рефлексив задает самостоятельную тему внутри текста, эксплицируя ее в метаоператоре, его начало легко вычленяется. Нижняя граница бывает размытой или прерванной, «растворяется» в структуре основного текста [см.: Ростова, 2000, 64], обеспечивая естественность и незаметность перехода в основную ткань текста. Покажем факультативность определения нижней границы рефлексива на следующем примере: — *Вы выступате за то, чтобы однополым семьям разрешили усыновлять детей. Не слишком ли это смелый эксперимент? — Не знаю, уместно ли здесь слово «смелый»* (выделенный фрагмент составляет ядерную часть рефлексива; распространение ядерной части может составлять ближайшую и дальнейшую периферию метатекстового отрезка). *Мое понимание этой ситуации таково: чем меньше будет одиноких, несчастных детей, тем богаче общество* (ближайшая периферия). *Ребенок нуждается в заботе, в лекарствах, в хорошем питании, отдыхе, учебе. Если люди берут на себя обязательства дать все это маленькому мальчику или девочке, то почему нет?*

Зачем мы будем им препятствовать. Нам нужно думать о том, чтобы как можно меньше выросло озлобленных людей (дальнейшая периферия). Расширение рамок рефлексива зависит от исследовательских задач. Если исследователю важна аргументативная часть рефлексива, выявление в данном случае социальных установок говорящего, то должна учитываться дальнейшая периферия отрезка. При типологическом анализе метаоператоров достаточно объема ядерной части рефлексива.

Кроме нейтральных операторов оценки «люблю — не люблю», «нравится — не нравится», в рефлексивах присутствуют синонимические выражения отрицательной или положительной оценки, которые создают экспрессивные варианты метаязыкового фона, направленные на максимальное воздействие на слушающего, например: *ненавижу; мне глубоко противна формулировка; не подташничивает ли вас от этих слов; кого не бросает в дрожь; обожаю это слово* и т. д. Общеотрицательное варьирование оценки более разнообразно, поскольку «общеплохое предполагает наличие частноплохого» [Арутюнова, 1988, 82], рефлексивные контексты дают возможность наблюдать градационную конкретизацию общеотрицательной оценки.

Общие аксиологические значения могут быть представлены в рефлексивах прилагательными, характеризующими то или иное употребляемое слово, например: *хорошее, замечательное, прекрасное, плохое, отвратительное, дьяволоподобное*. Частнооценочные прилагательные связаны с разнообразными типами оценок, среди которых гедонистические по-прежнему стоят на первом месте: *гордое, здоровое, ласковое, сладкое, заветное, любимое, емкое, громкое, мягкое, теплое, корявенькое, неприятное, жесткое, горькое, соленое, дикое, нудное, оскорбительное, отвратительное, уничижительное, дурацкое* (слово).

В дальнейшем при конкретном анализе рефлексивов по мере необходимости мы будем обращаться к характеристике языковых средств, используемых говорящим для субъективной оценки употребляемого слова. Закljučая разговор о различных типах оценочности метаязыкового комментария, скажем, что различная степень интенсивности аксиологического утверждения скорее характеризует субъект оценки, чем ее объект [см.: Арутюнова, 1984, 9; Чернейко, 1990, 73], являясь одним из параметров языкового паспорта говорящего.

Речевой портрет адресанта метаязыкового дискурса

Мы исследуем рефлексивы, выбранные нами из публицистики. СМИ (печатные и электронные средства связи) на современном этапе демократического развития российского общества формируют общественное мнение при разнообразии взглядов на современные проблемы. За прошедшие десятилетия изменилась сама тематика обсуждаемых проблем, заставляющая вникать в суть новых явлений, которые не были раньше предметом общественного диалога, явлений, которые требуют новых наименований и оценок. Кроме того, как в политику и экономику, так и в СМИ пришли новые люди, по-новому обсуждающие старые и новые проблемы, по-новому использующие языковые средства. В условиях действия этих факторов отмечается усиление метаязыковой деятельности говорящего с телеэкрана, в радиоэфире, в живом публичном общении, а также пишущего на газетной полосе. В работах исследователей, посвященных метаязыковому сознанию носителей диалекта, отмечается противоположная точка зрения. Утверждается, что в диалектной среде в рамках живого непринужденного общения «метакоммуникация — явление довольно редкое» [Ростова, 2000, 57; см. об этом же: Коготкова, 1979; Калиткина, 1990]. Эту точку зрения опровергают исследования, описывающие лингвокреативный потенциал отдельных диалектоносителей, их развитую языковую рефлексивность [см.: Лютикова, 1999].

Современные СМИ — своеобразный полигон для раскованной, «незажатой» личности, находящейся в процессе самопознания. СМИ становятся способом формирования языкового сознания общества в целом, средством создания языковой картины мира. Корпус метаязыковых высказываний в публицистике позволяет создать «лингвоментальный „автопортрет“ россиян» (В. Хлебда), реализованный как когнитивная и коммуникативная стратегии говорящего. Метаязыковой дискурс дает материал для осмысления речевого портрета *Homo reflectens* — человека рефлексивного, языковой личности эпохи общественных и языковых перемен.

Среди разнообразных условий, которые влияют на характер коммуникативных намерений говорящего, выражающихся, в частности, в эпликации языкового сознания, можно выделить наиболее значимые, фокусирующиеся в самой характеристике понятия «говорящий» («адресант», «языковая личность», «индивид» и т. п.) и реализующиеся в его речевом поведении, которое определяется

«коммуникативной ситуацией... языковым и культурным статусом, социальной принадлежностью... психическим типом, мировоззрением, особенностями биографии и другими константными и переменными параметрами личности» [Никитина, 1989, 34].

Если обратиться к характеристике современного носителя литературного языка, то в первом приближении — это средняя языковая личность, речевое поведение которой свойственно повседневному языковому существованию человека в России [Караулов, 2001, 45]. Следующие параметры, включаемые обычно в языковой паспорт говорящего, конкретизируют, варьируют этот обобщенный облик. Во-первых, нельзя не согласиться с точкой зрения В. Хлебды, который считает, что «употребление метаязыка — удел отнюдь не всех. Метаязыком пользуются те, кто нуждается в сознательном оформлении своего говорения, кто чувствует потребность сообщить собеседнику, что отдает себе отчет в языковом статусе слагаемых своего высказывания» [Хлебда, 1999, 65].

Способность к языковой рефлексии определяется психологическим типом личности. С одной стороны, рефлексивный дискурс будет преобладать у эгоцентрической личности, личности-интроверта мыслительного типа [Юнг, 1997, 469], склонного к внутреннему процессу самооценки, настроенного порождать тексты, осложненные обоснованием своего словесного выбора. М. В. Ляпон попыталась сформулировать ключевые черты речевого почерка интроверсии М. Цветаевой, выявив на материале дневниковых записей цепочку закономерностей, иллюстрирующих речевое поведение писателя-интроверта [см.: Ляпон, 1989; 1992; 1995; 1998; 2000], очень метко назвав это поведение «блужданием вокруг денотата» [Ляпон, 1989, 25] в поисках формы, адекватной коммуникативному замыслу. Это состояние коррелирует с имплицитным оценочным предикатом мнения такого рода: «...Я выбираю данное слово, потому что считаю, что именно оно адекватно сущности обозначаемого»; либо «я пользуюсь данным словом, хотя сомневаюсь, что оно адекватно существу изображаемой картины мира»; либо «я нахожусь в состоянии поиска словесной формы, адекватной коммуникативной задаче», и т. п.» [Там же, 25—26]. С другой стороны, нельзя исключить наличие языковой рефлексии у экстраверта с его установкой на адресата. Экстраверт своим метаязыковым комментарием апеллирует к адресату, чтобы установить обратную связь; он всегда озабочен тем, чтобы его текст был понятен слушающему.

Следующие параметры портрета языковой личности — профессиональный и социальный статус, а также связанная с профессиональным статусом языковая и культурная компетенции. В нашем случае это прежде всего человек, владеющий навыками как устной, так и письменной публичной речи, ориентированной на массового адресата, — журналист, комментатор, телеведущий, политик, писатель, экономист, юрист, деятель искусства, общественный деятель, — одним словом, человек, занимающийся интеллектуальной деятельностью. В России таких людей привыкли причислять к интеллигенции. Смысловые параметры концептов «интеллигент», «интеллигенция» претерпевали изменения в отечественной культуре [см. об этом: Бельчиков, 1995; Интеллигенция и проблемы формирования гражданского общества в России, 2000; Российская интеллигенция: критика исторического опыта, 2001]. К реабилитации этих концептов в советской культуре обращались В. В. Виноградов, Д. С. Лихачев, Ю. С. Сорокин, Ю. С. Степанов и др.

Л. П. Крысин проводит разграничение понятий «интеллигенция» и «интеллигент». Интеллигенция — определенный социальный слой в структуре современного русского общества, а интеллигент — «это не просто, так сказать, один «квант» интеллигенции и даже не обязательно представитель этого социального слоя, а человек, обладающий большой внутренней культурой (высшее образование при этом может и отсутствовать)» [Крысин, 2001в, 92]. В русской культуре за понятием «интеллигент» закрепился мощный культурологический ореол: интеллигент — не просто образованный человек, «но личность с высоким моральным самосознанием и духовной культурой» [Зеленин, 1999, 27], «духовная элита общества» [Коган, Чернявская, 1996, 65]. Отстраняясь от разнонаправленной (позитивной и негативной) социальной коннотации понятия «интеллигент», оставляем в структуре лексического значения слова важный семантический компонент: интеллигент — это человек, обладающий «определенным уровнем образования и культуры и занятый умственным трудом» [Крысин, 2001в, 92], типичный представитель интеллигенции как социального слоя.

В социологии интеллигенция делится на две группы. Первая группа относится к интеллектуалам-лидерам, вырабатывающим идеи. Часть этих лидеров является «публичной элитой», выходящей на массу через средства массовой информации. Другая часть, называемая интеллектуалами, разрабатывает идеологию за письмен-

ным столом и передает ее властным структурам. Ко второй группе относится интеллигенция, называемая «социальной элитой». Она выполняет инструментальную функцию в обществе, это прежде всего инженеры, ученые, врачи, артисты, писатели. Их социальная функция — передавать повседневные образцы поведения и транслировать идеи лидеров, освещая их эмоционально [см.: Дробужева, 1996а, 251—252].

Для речевой деятельности интеллигента свойственна рефлексия и разномыслие, которые обостряются в постсоветский период как реакция на отторжение тоталитарных принципов мышления, одним из которых было единство семантической информации (пресловутый принцип демократического централизма). Внутри элиты существуют группы, которые имеют разные интересы. Особую часть элиты составляет «контрэлита» [Дробужева, 1996б, 4].

Естественно возникает вопрос, можно ли отнести уровень языкового сознания этих людей к обыденному типу мышления, как это принято делать при исследовании речи носителя диалекта, человека не владеющего такими полными знаниями о языке, какими владеет профессионально пишущий человек. Судя по речевой практике, мы имеем основание считать метаязыковые высказывания интеллигентов-нефилологов проявлением языкового обыденного сознания. Повседневное языковое существование говорит о невысоком уровне лингвистической культуры образованной части нашего общества. «Она весьма низка, даже в тех слоях (например, в журналистской среде), представители которых в силу своего образовательного и интеллектуального статуса должны иметь правильное представление о языке и нормах его использования в разных сферах общения» [Крысин, 2001а, 58]. Л. П. Крысин в качестве аргумента к своему утверждению приводит самый свежий пример — дискуссию в печати о предстоящей реформе русского языка. Специалисты-языковеды буквально скорбят по поводу лингвистически неточных рассуждений об изменениях в русской орфографии, предлагаемых Орфографической комиссией Академии наук, которые помешают журналисты на страницах различных газет и оглашают телекомментаторы на центральных каналах. Материалы этой дискуссии обнаруживают отличие научного и обыденного типов сознания. Так, Н. Д. Голев считает, что орфографоцентризм, под которым понимается отождествление языка и орфографии, является национальным свойством метаязы-

кового сознания русского языкового сообщества [Голев, 1997, 72]. Представление о русском языке через орфографию обострилось в советское время, когда письменное слово стало наиболее авторитетным, «благоговейно-почтительное отношение к печатному слову» [Панов, 1990, 87] распространилось прежде всего в среде тех, для кого грамотность была внове и ценилась высоко. Подобная склонность обыденного метаязыкового сознания к отождествлению языка с письмом у современных журналистов сыграла свою печальную роль. «И вот уже паническое настроение проникло в ряды читателей: писательница Татьяна Толстая, откликаясь на призыв газеты «Коммерсантъ» высказать свое мнение о подготавливаемых Академией наук изменениях в русском языке, советует Академию наук заколотить, а придурков-академиков заставить заниматься настоящим делом» [Крысин, 2001а, 58].

Ученые приходят к выводу, что метаязыковому мышлению образованной части современного общества (нелингвистов) свойственна «та же архаическая наивность и мифологичность, которая была характерна для Древнего мира и Средневековья, как европейского, так и восточного» [Лебедева, 2000, 56].

Низкий уровень языковой компетенции образованной части нашего общества проявляется в слабом владении литературными нормами (о разных типах речевых культур см.: Толстой, 1991; Гольдин, Сиротина, 1993). С одной стороны, активно развивающиеся процессы демократизации и либерализации в России дают простор для раскрытия коммуникативного потенциала говорящих; с другой стороны, снятие запретов, государственной цензуры привело к языковой распушенности, которая проявляется в публичной речи. Планка литературной нормативности использования языковых средств снизилась, со страниц газет и телеэкрана часто звучит далеко не образцовый русский язык. Причина слабой языковой подготовки журналистов видится в слабости школьного преподавания литературы и языка, в отсутствии определенной системы языковой подготовки кадров в государственных средствах массовой информации, в объективных изменениях языка XX—XXI веков [см.: Засурский, 2001, 8]. Культурный ракурс речевого портрета, языковых навыков современного носителя языка — это «окно лингвистики... в реальный мир сегодняшней жизни русской речи. Из этого окна, к сожалению, очень хорошо видны те речевые издержки, которые общество терпит сегодня из-за

несомненного снижения культурного и морально-нравственного уровня потенциальных носителей литературного языка» [Винокур, 1989, 366].

Перейдем к характеристике специфической коммуникативной ситуации, в рамках которой активизируется языковая рефлексия. Коммуникативная ситуация конституируется прежде всего экстралингвистическими факторами, которые определяют условия общения и текстообразования. Как мы отмечали выше, обострение личностного коммуникативного начала, усиление метаязыковой деятельности связано с революционной сменой социальной и экономической моделей в России в последние десятилетия XX века. Интенсивные процессы в политической и экономической жизни России, коррелируя с активизацией языковых процессов, находят свое отражение в смене концептуальных и коммуникативных стереотипов. Обновление концептуальной и языковой картин мира сопровождается феноменом метаязыкового комментирования.

В лингвистике существуют многоаспектные характеристики коммуникативных ситуаций, различная трактовка их параметров [см. обзор: Борисова, 2001, 48—65]. Обобщая имеющиеся интерпретации данного понятия, можем сказать, что коммуникативная ситуация включает весь комплекс факторов, которые оказывают влияние на характер протекания речевой деятельности. Считаем целесообразным выделить только те доминантные параметры коммуникативной ситуации, которые обладают особой значимостью при характеристике анализируемого явления: во-первых, принадлежность метаязыковых высказываний определенной сфере коммуникации; во-вторых, репертуар жанров, включающих рефлексивы; в-третьих, ролевые позиции коммуникантов; в-четвертых, тип речи (монолог, диалог, полилог); наконец, в-пятых, мотивационно-целевую ориентацию коммуникантов.

Как уже отмечалось, метаязыковая деятельность реализуется прежде всего в средствах массовой коммуникации. Наряду с традиционными печатными СМИ, в последние десятилетия главным каналом распространения социально значимой информации становятся электронные СМИ, к которым относится, кроме радио и телевидения, и Интернет-журналистика. Электронные СМИ имеют ряд специфических особенностей, которые позволяют электронной разновидности в еще большей степени, чем печатной, влиять на формирование языка миллионов масс людей, их сло-

варного запаса и языковых норм. К особенностям телевидения относятся «невозможность приостановить поток информации с целью осмыслить непонятное, переспросить неясное, выборочно получать лишь желательное из потока информации, вплоть до приемлемости или неприемлемости диктора или ведущего» [Ломко, 2001, 62]. Интернет, «икона» нового времени и «зеркало» современного развития [Вартанова, 2001, 14], сформировал стилевые признаки нового Net-мышления, напоминающего внутреннюю речь со специфическим темпоритмом, ассорти-композицией, свободой воли. Паутинотекст уподобляется стеллажу, с полки которого можно взять любой текст [см.: Пронина, 2001, 78].

Журналисты выступают в качестве посредников между специалистами в различных областях знания (общественной жизни) и массовой аудиторией непрофессионалов, поэтому именно журналисты часто способствуют формированию общественного мнения. В газетно-публицистическом подстиле литературного языка, например, различную степень включения метаязыковой информации определяют законы построения различных газетных жанров. Одна из главных функций газетного языка — это функция распространения информации о состоянии дел в стране и в мире. Сообщения о состоянии дел могут выступать в форме описаний, мнений и обобщений. Наряду с информативной потребностью в оперативном политэкономическом анализе возникает спрос на экспертную оценку ситуаций [Козлова, 2000, 5—7]. Российская аудитория привыкла ждать от СМИ не только информацию о фактах, но и рассуждения по поводу фактов [Устимова, 2000а, 20]. Выделение двух основных функций журналистики — информационной и ценностно-ориентирующей — предполагает их реализацию в самых разнообразных жанрах. Наибольшее количество рефлексивов встречается в проблемных аналитических статьях, в колонках комментаторов, в интервью с известными деятелями культуры, политиками, а в тележурналистике — в полемических жанрах (теледебатах, дискуссиях, ток-шоу), в аналитических авторских программах. Журналист в разных жанрах в зависимости от коммуникативной задачи выступает в разных ролях, начиная от ретранслятора («говорящей головы») до активной роли «охотника за информацией», участника ценностного диалога. Е. И. Шейгал в монографии «Семиотика политического дискурса» перечисляет функциональные варианты роли журналиста-медиатора: «собственно ретранслятор (озвучивает на-

прямую высказывания политика); рассказчик (высказывания политика передаются не напрямую, а в пересказе); конференсье (его функция сводится к представлению политика и темы, о которой тот собирается выступать); интервьюер (предоставляя слово политику, контролирует ход коммуникации, выражает свою точку зрения); псевдокомментатор (ангажированный журналист, который говорит «как бы от себя», но при этом озвучивает точку зрения определенного политика); комментатор (ближе всего стоит к роли самостоятельного агента политического дискурса, так как прежде всего выражает свою точку зрения, цитируя и пересказывая высказывания политиков)» [Шейгал, 2000, 62].

Г. Я. Солганик, определяя понятие «автор-публицист» и соотнося его с термином «языковая личность», свел все многообразие разновидностей категории автора в публицистическом тексте к двум типам, к двум граням — «человек социальный и человек частный» [Солганик, 2001, 83]. Полярные грани тесно взаимосвязаны и являются разными сторонами одной и той же языковой личности. Можно говорить лишь о преобладании той или иной грани. Человек социальный предполагает объективно-субъективное отношение к действительности, человек частный — субъективно-объективное. Совместное действие названных граней выражается в оценочном или безоценочном отношении к действительности, каждое из которых в сочетании с другими факторами формирует многообразные специализации авторов. Оценочное отношение выявляет тип пропагандиста (агитатора), полемиста, ирониста; безоценочное — репортера, летописца, художника, аналитика, исследователя.

М е т а я з ы к о в о е к о м м е н т и р о в а н и е характерно для большинства социальных ролей журналиста: комментатора, интервьюера, пропагандиста, полемиста, ирониста, аналитика, исследователя, поскольку в указанных коммуникативных условиях, помимо ретрансляции, журналист интерпретирует сообщение, выступая в роли соавтора. Рефлексив как психологический феномен нерасчлененно передает рациональный и эмоциональный уровни представления. Оценочная интерпретация, как правило, не бывает безэмоциональной, ученые отмечают взаимосвязь между основными компонентами социальных установок — когнитивным, ценностным и аффективным [см., например: Шейгал, 2000, 48—49; Дилигенский, 1996, 156—187; Водак, 1997, 79]. Эмоциональная

форма подачи информации является своеобразным фильтром «доверия», поскольку создает тот дополнительный фон, на котором выигрывает основная информация [см.: Андреева, 1998, 88]. Иногда проявление эмотивного начала в речи является немотивированным и приводит к рассогласованности, к несоответствию темы и сюжета тону и манере их воплощения, при этом экспрессивное (образно-выразительное) и эмотивное (экспрессия эмоции) смешиваются, «личные эмоции буквально «простегивают» речь ведущих и комментаторов, становясь как бы замещением форм выражения экспрессивности» [Колесов, 2001, 52].

Таким образом, фрагменты дискурса с метаязыковым комментарием как коммуникативный тип речи отнесем к и н ф о р м а т и в н о м у р е г и с т р у р е ч и, по Золотовой [Золотова, 1982], или к н а р р а т и в н о й с т р а т е г и и д и с к у р с и в н о г о п о в е д е н и я, к ее субъектно-аналитической разновидности [Седов, 1999, 21], предполагающей «не столько модель действительности, сколько субъективно-авторский комментарий к изображающим событиям и фактам. Это наиболее “прагматизированная” форма передачи информации, отражающая в своей структуре особенности авторского субъективного начала и максимально учитывающая потенциал перцепции, т. е. фактор адресованности речи» [Дементьев, Седов, 1998, 65—66].

Изменение методов и стилей журналистской деятельности привели к массовидному изменению профессионального мышления журналистов. Психологическая служба редакции газеты «Российские вести», в состав которой входили ученые, аспиранты и студенты факультета журналистики МГУ, в течение десяти лет (1989—1999) проводила психотехнический мониторинг по пяти параметрам базовых страт аудитории, психотехнический анализ публикаций ведущих журналистов [см. об этом: Пронин, 2001, 50—59]. Анализ накопленных данных показал, что в современной массовой коммуникации происходит тенденция сращения журналистики и психологии: например, появление новых жанров — фокусированного интервью, очерка на основе глубинного тестирования, обзора с психоаналитической проработкой символики и т. п. В журналистике складываются новые специализации и творческие амплуа, психологическая компонента которых составила синдром категорий сознания, свойственный разным типам постсоветского журналиста. На специальных сеансах фокус-групп читатели по-

этапно подбирали для каждого типосиндрома образное определение. Итоговая таблица результатов мониторинга позволяет представить многоаспектный психологический портрет журналиста, определяющий и его языковой паспорт.

№ п/п	Категория сознания	Типосиндром				
		1	2	3	4	5
		«Рыцарь гласности»	«Плюйбой»	«Пикейный жилет»	«Киллер»	«Сам себе имиджмейкер»
1	Целевая направленность	Духовное наставничество	Самоутверждение	Интеллектуальное доминирование	Расправа	Удержание власти
2	Декларируемая социальная роль	Просветитель	Народный трибун	Лукавый царедворец	Мститель	Духовный лидер
3	Адрес апеллирования	Угнетенное большинство	Протестный электорат	Элита общества	Особо важные персоны	«Народ»
4	Опорный коммуникативный прием	Публицистизм	Площадная риторика	Имитация общественного мнения	Утечка информации	Самореклама
5	Отношение к лицам, власть предрежающим	Конструктивное противоборство	Шантаж	Сговор	Вассальная преданность	Клановые связи

Данная типология коррелирует с семью моделями журналистики постсоветской России, предложенными Я. Н. Засурским [Засурский, 20016].

Различная интерпретация событий, особенно политических, создает совершенно разные реальности. Журналист как автор «считается выразителем коллективной точки зрения того издания,

в котором выступает» [Чепкина, 2000, 69], и обычно анонимен, но лучшие журналисты известны так же, как любые знаменитости из мира спорта, кино, шоу-бизнеса. Кроме журналистов, метаязыковая деятельность присуща тем политикам, общественным деятелям, которые участвуют в обсуждениях, дискуссиях, выступают с газетными публикациями. СМИ представляют собой «открытую площадку» для вовлечения людей, «для кристаллизации общественного мнения, с возможностью пройти стадии артикуляции, обмена, доказательства, экспертизы и выработки общей позиции» [Фомичева, 2001, 26]. Интеллигенция, являясь проводником идей лидеров-интеллектуалов, часто оказывается носителем политического начала, зависящего от требований текущего момента. Интеллигенты выступают в роли наивных политологов и социологов, для которых в качестве внеаучной опоры являются политические ценности [см.: Качанов, 2000, 135]. Контрэлита может разделять взгляды внеэлитных групп [см.: Дробижева, 1996б, 4].

Тип речи (монолог, диалог, полилог) по-разному определяет функциональную предназначенность рефлексивов. К жанрам, включающим рефлексивы, относятся, с одной стороны, аналитические и проблемные статьи и передачи монологического характера; с другой стороны, непринужденные беседы, интервью, теледебаты и другие диалоговые и полилоговые формы. На продуктивность диалоговых форм указывают не только лингвисты, но и литературоведы: «Если принять всерьез мысль Мориса Дрюона, бывшего министра культуры Франции, о том, что “каждая эпоха имеет свой жанр”, то придется признать, что мы живем в эпоху жанра интервью. Этот жанр как нельзя лучше удовлетворяет самолюбие спрашивающего и тщеславие отвечающего» [Полухина, 2000, 675].

Традиционный для журналистики «эффект присутствия» перерастает в «эффект участия» [Пронин, 2001, 54]. С одной стороны, журналисты активно используют интерактивные формы. С другой стороны, изменилось коммуникативное поведение аудитории. Человек не поглощает сведения, а оперирует с информацией, проявляя индивидуальную активность. «Он высоко ставит свои суждения и настаивает на том, чтобы их принимали в расчет. Люди дозваниваются в телестудию из Магадана или Норильска только затем, чтобы высказать “пару слов о Чернобырдине”. Готовы отвечать на самые бестактные вопросы репортеров. Идут на всяче-

ские ухищрения, чтобы попасть в массовку популярного ток-шоу» [Там же, 54].

Режим диалоговедения, складывающийся из замысла речевой партии и установки участников на тип коммуникативной активности, из распределения коммуникативной инициативы, из композиционно-содержательного аспекта речевого продукта [см.: Борисова, 2001, 239], позволяет определить, что основными для реализации метаязыковой функции говорящего являются и н ф о р м а т и в н ы е и о ц е н о ч н ы е диалогические жанры. Эти жанры реализуются в структуре нарративного диалога, в котором коммуникативным лидером является Слушатель-инициатор (журналист), направляющий нарративную активность Рассказчика, задающий вопросы, которые определяют темы речевой партии Рассказчика и жанры стимулированного нарратива — нарративно-го диалога-расспроса, переспроса, повтора, подхвата. «Нарративная речевая партия может быть квалифицирована как серия развернутых ответов Рассказчика на инициирующие вопросы Слушателя» [Там же, 260—261]. В рамках подобного диалога, в котором преобладающим является мнение рассказчика, теряется функция журналиста как «лидера мнений» [см.: Пронин, 2001, 79]. Монологические высказывания говорящего относятся к экспликативам, которые объединяются «интенцией говорящего высказать свое мнение» [Борисова, 2001, 293], в их эмоционально-экспрессивной разновидности, характерной для разговорной речи. В данных экспрессивных вердиктивах говорящий нередко подменяет логическую аргументацию эмоционально-окрашенным мнением или вкусовыми оценками, что позволяет В. В. Колесову говорить о подавлении в современной речи логического и поэтического мышления формами риторического, задача которого — «чисто рекламная: убедить, не доказывая» [Колесов, 2001, 54].

Метаязыковая деятельность позволяет выявить социально-ценностные ориентации носителя языка, их мировоззренческую неоднородность. Политическая и экономическая лексика, обозначающая идеологически маркированные концепты, по-разному понимается политическими и экономическими оппонентами и формирует разные тезаурусы носителей языка [см.: Какорина, 1996; Шейгал, 2000]. Социально-идеологическое расслоение общества в первом приближении двухчленно: 1) часть общества, признающая господствующие ценности государственной системы, в России эта часть

общества относит себя к демократической; 2) часть общества, критически относящаяся к господствующим ценностям, так называемые оппозиции, имеющие свою оппозиционную прессу и теле- и радиотрибуну. Наличие противоположных политических социолектов предполагает их внутреннюю дифференциацию и специализацию. Так, оппозиционное отношение к существующей власти часто перерождается в стремление культивировать свою этническую самобытность. Можно говорить о возрастании роли этнического фактора в формировании речевого портрета. Политизированная этничность части «творческой интеллигенции, искренне озабоченной судьбами и состоянием национальных культур и языков, части партноменклатуры, переметнувшейся из идеологии коммунизма к технологии национализма, представителей теневой экономики» [Губогло, Кожин, 2001, 34] является знаменем значительной части современной оппозиции и выполняет «функцию сопротивления правящему режиму» [Шейгал, 2000, 262], эксплицируемую в речевой, в том числе и метаязыковой, деятельности.

Одним из типобразующих признаков современных СМИ является также ценностная позиция издания, разделяемая журналистами, которые работают в этих изданиях. Оценки, дающиеся в изданиях разной политической ориентации, необходимы читателю для выбора издания, чтобы идентифицировать издание как «свое» или «чужое». «Оценка выполняет роль знакового символа, помогающего читателю отличить “единомышленников” от “инакомыслящих”» [Устимова, 2000а, 21]. На сегодняшний день выделяется три основных направления политической ориентации журналистов, разделяющих социальную позицию своего журнала. Направление определяется по признаку отношения к проводимому правительством курсу: «антиправительственные», критически относящиеся к курсу правительства, выступающие против него как минимум в двух-трех областях политической деятельности; так называемые «левые»; «нейтральные», которые максимум в одной сфере деятельности поддерживают или критикуют правительство («центристы», социал-демократы); «проправительственные», поддерживающие его как минимум в двух-трех областях политической деятельности («либералы», «правые») [Устимова, 2000б, 24]. При этом журналисты называют социально-политические ценности доминирующими в общей системе ценностей, признавая неестественность политизированности своего сознания.

Таким образом, метаязыковые высказывания современного носителя литературного языка в диалогической и монологической речи могут служить «яркими пятнами» лингвокультурологической диагностики [см.: Николаева, 1991, 73; Крысин, 2001, 92], позволяющими выявить уверенные штрихи социально-речевого портрета современной языковой личности. Систематизация повторяющихся, типовых оценок и суждений о слове — технологическая основа описания речевого лингвоментального портрета нашего современника.

Типология рефлексивов: общие подходы

Совместные усилия ученых разных направлений — психологии, социологии, когнитологии, этнографии, лингвистики [см. обзор: Прохоров, 1997, 69–118] — по выявлению роли сознания в организации человеческой деятельности привели к выводу: основу всякой деятельности, в том числе и речевой, составляет целая система стереотипов, которая позволяет нам жить в «режиме автопилота» [см.: Панасюк, 1999, 48]. Стереотипы сознания выступают как когнитивные пресуппозиции, реализующиеся в виде установок, включающих три компонента: когнитивный, эмоциональный и поведенческий. В широком смысле стереотип, по В. П. Гуревичу, понимается как «традиционный привычный канон мышления, воспроизведения и поведения» [цит. по: Коженевска-Берчиньска, 1996, 179], «суперустойчивое представление» о действительности с позиций обыденного сознания [см.: Прохоров, 1997, 73], впоследствии приобретающее статус «прецедента» [см.: Красных, 1998, 128].

Стереотипность речевой деятельности многопланова и формируется под влиянием ряда факторов, к которым, в частности, относится «социальный характер коммуникативной деятельности (повторяемость речевых ситуаций) и влияние традиции (конвенциональность)» [Котюрова, 1998, 5]. Стереотипы сознания прежде всего упрощают, облегчают общение, делая его более надежным, обеспечивая взаимопонимание. В межличностном общении стереотипы не осознаются и являются предсознательными представлениями. Они регулируют процесс общения на основе сходных обобщенных представлений о внеречевой действительности. Как обязательный компонент языковой способности метаязыковое сознание также обыч-

но протекает на бессознательном уровне и обеспечивает автоматизм речевой деятельности, при этом выполняя функцию контроля, функцию проверки «настроенности» коммуникантов на одну волну [см.: Архипов, 2001, 50]. Сам механизм языкового контроля — это «механизм сличения и оценки соответствия значения и/или формы данной языковой структуры эталону в языковой памяти индивида и замыслу в целом» [Ейгер, 1990, 10], а также коррекция реализации в случае расхождения с эталоном [см.: Красиков, 1990, 41].

Однако «при взаимодействии людей с различиями по полу, возрасту, национальности, религии, культурному уровню, социальному слою стереотипы становятся психологическими барьерами в межличностном общении» [Овдиева, 1997, 17]. Употребление языка осуществляется на различном мотивационном фоне, в котором отражаются индивидуальные намерения и цели [см.: Петров, 1988, 44], при этом может возникнуть коммуникативный диссонанс. Коммуникативные трудности мобилизуют бессознательную избыточность метаязыковой способности, которая прорывается в сознание, и в этом случае мы имеем дело с экспликацией метаязыкового сознания в речи. Рефлексивы представляют собой вербализацию сознательных интеллектуальных усилий по преодолению автоматизма речевых действий.

Выясняя причины вербализации метаязыкового сознания, мы пришли к выводу, что рефлексивы по линии связи с коммуникацией выступают как маркеры речевого толерантного взаимодействия, речевой координации говорящего и слушающего. Любое коммуникативное взаимодействие речевых партнеров подчинено доминирующей коммуникативной цели — установлению обратной связи и понимания между адресантом и адресатом. При вербализации содержания говорящий всегда оценивает состояние ума адресата в текущий момент и его рабочие возможности в данной конкретной ситуации, он «должен как бы „завернуть“ передаваемое содержание эффективным образом, чтобы адресат мог легко его усвоить» [Чейф, 2001, 7]. Создавая текст, говорящий бессознательно связывает его создание с определенным ожиданием понимания, им руководит постоянный страх не быть понятым (о страхе как фоновой способности человека, проявляющейся в виде самозащитной и социально ориентирующей реакции, см.: [Красиков, 328—362]). При этом вербализация метаязыкового сознания выступает как речеповеденческая адаптационная технология, ко-

торая оптимизирует речевое общение в сторону снижения риска не быть востребованным, снятия напряжения, осознается как операция интерпретирующего типа [Демьянков, 1989, 30]. Например: *Сейчас в большой России, я не люблю слово «провинция», существует огромная жажда, тяга к прекрасному* (РТР, Зеркало, 09.03.02). Вербализованный метаязыковой комментарий коррелирует с имплицитным предикатом мнения, обращенным к потенциальному собеседнику: «Я выбираю словосочетание *большая Россия*, потому что не люблю общепринятого слова *провинция*, которое имеет для меня отрицательную коннотацию, поэтому я выбираю форму, которая, на мой взгляд, адекватно отражает коммуникативную задачу, хотя сомневаюсь, будет ли она понятна слушающему без моей метаязыковой подсказки». Таким образом, вербализованный рефлексив осуществляет посредническую функцию между разными «системами видения объекта» [Борисова, 2001, 255]. Говорящий, включая рефлексив в свое дискурсивное пространство, ориентируется на слушающего, учитывая потенциальные возможности адресата понять смысл сказанного.

Цель первого этапа исследования — с одной стороны, выявить очаги речевого напряжения в дискурсивном пространстве, которые требуют особой языковой бдительности говорящего, его «осознаваемой селекции» [Норман, 1989, 14] средствами вербализованных метатекстов; с другой стороны, определить функциональный потенциал речевого напряжения, который может стать основой типологии рефлексивов.

Мы полагаем, что типология рефлексивов зависит от особенностей метаязыковых знаний, которые одновременно входят в языковое и когнитивное сознание индивида (см. об этом у Е. М. Вольф: «Нецелесообразно жесткое противопоставление знания о языке знаниям о мире, между ними не существует четкой границы, и они во многих случаях взаимопроницаемы: представление о «картине мира» в оценочных стереотипах органически входит в модальную рамку оценки» [Вольф, 1985, 203]). Думается, что когнитивное состояние индивида и акт употребления лексической единицы в контексте связаны между собой, совместно работают для объяснения общего феномена порождения и понимания языковых высказываний говорящего/пишущего «со всеми его интенциями, знаниями, установками, личностным опытом и всей его погруженностью в совершаемый им когнитивно-коммуникативный процесс» [Кубрякова, 2000, 15].

Мы выделяем два функциональных типа рефлексивов: 1) рефлексивы, реагирующие на коммуникативное напряжение и осуществляющие контроль на речепорождающем уровне; 2) рефлексивы, реагирующие на концептуальное напряжение в речемыслительной деятельности и возникающие на уровне превербального этапа формирования речевого высказывания. Схема имеет измерение в глубину: на поверхностном уровне мы выделяем метаречевые высказывания, на глубинном — метаконцептуальные, метатезаурусные. Можно говорить о двух достаточно автономных механизмах контроля «за реализацией семантической (смысловой) единицы (1-й механизм) и за реализацией конкретно-словных (2-й механизм) единиц» [Красиков, 1989, 43], которые сопровождают два крупных этапа порождения: иницирующий этап развертывания смысловой единицы и следующий за ним во времени этап словного развертывания. Данная классификация может быть поддержана работами А. А. Залевской, Ю. С. Степанова, Р. М. Фрумкиной, Г. В. Ейгера и других ученых, которые в том или ином аспекте развивали мысль о неразрывности процедур добывания знаний и операций с ними, о потенциальной коммуницируемости когнитивного опыта. Рефлексивы обоих типов фиксируют «„следы“ деятельности мозга» [Кубрякова, 1986, 143] на первоначальных этапах формирования речевых высказываний, а «без предположений о сути этих превербальных этапов реконструкция речевой деятельности представляется неполной» [Там же].

Обычно рефлексив выступает как опережающая реакция говорящего, для которого важна «адаптация начала к концу» [Меликишвили, 2001, 56]. Феномен «заглядывания вперед», или «экстраполяция будущего» [Бернштейн, 1966, 280], был сформулирован в психолингвистической модели порождения речевого высказывания Н. А. Бернштейна, который опирался на идею опережающего отражения действительности П. К. Анохина. Образ потребного будущего Н. А. Бернштейна применительно к процессу порождения речи трансформировался в принцип «вероятностного прогнозирования» на основе прошлого опыта. Потенциальная сила напряжения, отрицательное метазнание, основанное на речевых ошибках прошлого опыта, заставляют говорящего мысленно прикидывать, моделировать последствия возможного сбоя (в этом суть механизма вероятностного прогнозирования), при этом происходит мобилизация бессознательной метаязыковой способ-

ности, которая прорывается в сознание в виде проективной рефлексивной реакции. Рефлективы как упреждающая реакция, как метациензоры выполняют «свою работу до того, как действительно возникнут проблемы, которые они призваны устранить» [Минский, 1988, 288]. Так ведет себя дисциплинированное мышление, в основе которого лежит навык, единство автоматизма и сознательности [Пассов, 1989, 33]. Коммуникативные сбои возникают при ослаблении языкового контроля, и тогда метаязыковой комментарий как постреакция позволяет говорящему исправить ошибку.

Обратимся к выявлению факторов, которые обуславливают данное напряжение и определяются по линии связи метаязыкового сознания с мышлением, отражающим как языковую реальность, так и свойства самих объектов действительности. Выделенные факторы используются в качестве критериев общей типологии рефлексивов.

В основе автоматизма речевой деятельности лежит стандарт, соответствие норме, «низкий уровень напряженности» [Пассов, 1989, 32]. По образному выражению В. Леви, «речь автоматизируется наподобие ходьбы» [Леви, 1967, 172] (см. об этом же у У. Марутаны: «Говорение, ходьба и игра на музыкальном инструменте различаются между собой не природой координированных нейронных процессов, которыми они специфицируются, а подобластями взаимодействий, в которых они приобретают свою значимость» [Марутана, 1996, 122]), и сознательное, принудительное управление тем и другим с целью придания нужного направления наступает, когда развертывающаяся ситуация создает подходящие моменты. При речемыслительной деятельности сигналом к растормаживанию автоматизма речи является отступление от стандарта. Человек острее реагирует на те участки, где проявляется отход от языковой нормы, где сильнее ощущается языковая индивидуальность коммуниканта.

Отметим факторы напряжения, приводящие к нарушению автоматизма порождения речи. Их определение связано с разграничением нормативных и ненормативных речевых зон (данный подход, в частности, использовал Л. Н. Мурзин для разграничения речевого приема и ошибки [см.: Мурзин, 1989]). Нормативным является такое употребление языкового знака, при котором он может быть адекватно и единообразно понят коммуникативным

партнером, норма в языке выполняет «охранную функцию» [Телия, 1996, 225]. Критерий оценки нормативности языкового выражения — это прежде всего его способность обеспечивать понимание при коммуникации. В свете всего изложенного ненорма выступает как основание для выделения критериев напряжения, поскольку невозможность быть понятым вообще или понятым правильно большинством носителей языка — основная характеристика, которая дается учеными языковым аномалиям [Черненко, 2001, 27]. Мы выделили четыре основных критерия.

1. **Динамический критерий.** Суть его заключается в следующем: норма предполагает наличие частотности, повторяемости. Употребление новой, незнакомой лексической единицы создает напряжение. В перестроечное и постперестроечное время впечатление революционных изменений в языке было связано прежде всего с фактором интенсивного пополнения лексики. Процесс расширения лексического состава языка А. Дуличенко обозначен как «лексический натиск», «агрессия слов» [Дуличенко, 1993, 211]. Этот процесс нарушает стабильность языковой лексической системы, приводит к рассогласованию элементов на отдельных ее участках. Парадигматическое рассогласование проявляется в процессе речепорождения, и в этом случае метаязыковой комментарий по поводу нового слова выступает как механизм защиты, фиксируя внимание слушающего, создавая эффект предсказуемости ввода в текст лексической инновации, восстанавливая информативную устойчивость текста, которая нарушается за счет появления новой лексической единицы, например: *С легкой руки «кремлеведов» или «кремлесидельцев» был даже введен новый термин — управляемая демократия. По-моему, я теперь начал понимать, что он означает* (МК-Урал, 2000, сент.); *Я очень рад, что наконец-то появилась альтернатива. Теперь, когда в новостях говорят о Кавказе, чаще употребляют выражение «лицо славянской внешности»* (В. Кикабидзе. Я покупаю, 2000, дек.); *Триллионер... Этого слова пока еще нет даже в самом полном словаре английского или русского языка* (МК-Урал, 2000, нояб.).

Динамический критерий выделения рефлексивов связан с динамизмом лексического состава языка, так как отражает временную характеристику употребления слова (новизну или архаичность), моду на слово, перераспределение активного и пассивного запасов словаря. Отражение лексического динамизма в рефлексии

ве подчеркивает важность эволюции словарного состава при выполнении коммуникативной функции языка.

2. **С т и л и с т и ч е с к и й к р и т е р и й**, или критерий нейтральности/отмеченности — по Л. Н. Мурзину [Мурзин, 1989, 7]. Нейтральная единица в силу своей неоценочности, немаркированности является широкоупотребительной, познается как безусловно нормативная, привычная, незаметная. Стилистически маркированная единица всегда в фокусе внимания носителя языка.

Особое напряжение вызывает любая стилистическая инновация, так как подобная лексическая единица представляет собой отступление от нормы сразу по двум критериям — динамическому и стилистическому. В связи с усилением напряжения динамика стилистической нормы в рамках синхронной системы получает обязательный метаязыковой комментарий. В современном культурном контексте он проявляется, с одной стороны, как аксиологическая реакция говорящего на вхождение в литературный язык нелитературной (прежде всего сниженной) лексики, а с другой стороны, как оценка употребления знака с точки зрения уместности в тех или иных условиях общения. Речемыслительные процессы, ориентированные на нормативно-стилистический отбор и сочетаемость, всегда протекают под особым контролем сознания, а период высокодинамического типа эволюции стилистических норм приводит к возрастанию роли метаязыковой деятельности этого типа, например: *Из Вас энергия так и, извините за вульгаризм, так и прет* (Л. Якубович, Поле чудес, 29.12.00); *Нужно уберечь НТВ от выпадов, не хотел бы сказать от наездов* (М. Горбачев, Екатеринбург, УрГУ, 08.02.01); *Потребитель должен схватить, извините за это выражение, все, что ему дают* (ОРТ, Процесс, 11.01.01).

3. **Д е р и в а ц и о н н ы й к р и т е р и й**. Дериватологи отмечают, что в оппозиции «производящие формы — производные формы языка» все производящие формы как более простые тяготеют к нормативности, а производные формы, как более сложные, — к ненормативности.

Лексические деривационные процессы в системе языка сводятся к двум разновидностям: 1) семантической деривации, или отношениям семантического варьирования отдельного многозначного слова, названным Д. Н. Шмелевым эпидигматическими [Шмелев, 1973, 191], или «третьим измерением» лексики, наряду с

парадигматическими и синтагматическими отношениями; 2) формально-семантической деривации, или отношениям словообразовательной производности.

В области лексической семантики этот критерий позволяет выявить следующую закономерность деривационно-мотивированной семантики: прямое значение нормативнее переносного, основное нормативнее вторичного, производного, коннотативного. Такие же отношения распространяются и на единицы, связанные формально-семантической производностью: неизменяемые единицы нормативнее производных [см.: Голев, 1989, 121]. Правомочность выделения этого критерия подтверждают наши материалы: рефлексивы отражают данный критерий простоты/сложности.

Наличие метаязыкового комментария, помогающего разграничить значение многозначного слова в контексте, свидетельствует о возможности сбоя при понимании многозначного слова, особенно если контекст создает условия одновременной актуализации двух значений, попадающих в фокус восприятия, осложняющих однозначность понимания. В этом случае возможна вербализация речемыслительной деятельности в виде рефлексива. Например: *Женщина долго училась быть независимой и сильной. Возможно, теперь она хорошо освоила эту науку, даже слишком хорошо. И некоторым современным мужчинам удастся ощутить силу только рядом с безногой или безрукой подругой, которую нужно носить на руках в прямом смысле слова* (МК-Урал, 2000, февр.); *Кириенко вообще в результате своего шага навстречу Кремлю стал своеобразным политическим рекордсменом — он во второй раз смог совершить политическое самоубийство. Если выразиться в переносном смысле — снова объявил дефолт, только теперь не России, а самому себе* (КП, 2000, март).

Формально-семантическая мотивированность лексических единиц манифестируется в рефлексивах, выявляющих мотивировочный признак, лежащий в основе производного слова, например: *Поскольку в словах «говядина» и «разговляться» есть общие корни, я решил сегодня взять говядину* (А. Макаревич, ОРТ, Смак, 30.04.00); *Страхование от слова «страх»* (АИФ, 1997, окт.).

Небезразличие для функционирования слова факта его словообразовательной производности свидетельствует о важности учета «коэффициента мотивированности» для коммуникативной ориентации речи [см.: Голев, 1989, 121]. Проявление обостренного внимания

при речепорождении к мотивированности знака, к форме знака вообще свидетельствует, с одной стороны, о сложности производного слова, о его формально-смысловой двуплановости [см.: Телия, 1986, 13], которая фиксирует «генетическую память об истоках слова» [Пересыпкина, 1998, 8] и представляет собой синхронное взаимодействие старого и нового мотивационного качества слова; с другой стороны, говорит о стремлении коммуниканта максимально обеспечить взаимопонимание путем формальных сближений, преодолеть разобщенность слов, подключив их формальные связи.

4. **Л и ч н о с т н ы й к р и т е р и й.** Любой текст как продукт речевой деятельности включает в себе противоречие: он стандартен в силу воспроизводства прежнего состояния языка — и креативен в силу «индивидуального семиотического творчества» [Мурзин, 1989, 9]. Творческое начало авторского текста многопланово. Для нас актуальна реализация креативности на уровне материализации речевого замысла. В первую очередь перед говорящим/пишущим (а «он всегда первый приемный пункт коммуникативных усилий, направленных на свое же ожидание» [Винокур, 1989, 19]) встает проблема точности формулировки авторского замысла, выбора речевых средств, адекватно выражающих коммуникативную задачу. В этом случае рефлексивы выступают как вербализованная культурно-речевая оценка своих или чужих речевых усилий, как эксплицированный процесс переживания соответствия/несоответствия актуального смысла и словарного значения и, шире, как оценивание и характеристика нормативно-ценностного факта. Этот тип рефлексивов, традиционно присутствующий в речевой деятельности безотносительно к временному периоду, хорошо описан в литературе [см., например, известные работы: Шварцкопф, 1970; 1971; 1988; 1996]. Например: *Я не люблю слово «попса». Слово «эстрада» тоже как-то не подходит: слишком старомодно. Давайте называть все это популярной музыкой* (АИФ, 1999, окт.); *У меня была цель, мечта, не знаю, как сказать точнее. Мечта — это круто. Было банальное желание сделать первый прыжок* (ОРТ, Розы для Лены Бережной, 08.03.02). В таких рефлексивах всегда определенно выражена точка зрения адресанта. Я-позиция задается употреблением личного местоимения «я» и глагольных слов со значением мнения.

Любой рефлексив может быть метацензором нескольких напряженных речевых зон. В следующем примере лексическая едини-

ца оценивается по двум основаниям — 3-му и 4-му критериям: *Как и во многих других видах деятельности, в прошении милостыни есть как любители, так и профессионалы. Правда, в данном случае, несколько неуместно использовать слово «любитель», образованное от «любить»: сложно представить человека, которому нравится этим заниматься* (Наша газета, 1999, окт.).

Нормативное оценивание словоупотребления зачастую связано с эстетической позицией говорящего, с понятием эстетического идеала, поскольку отклонение от нормы часто оценивается как некрасивое, а соответствие норме — как эстетически приемлемое, соответствующее представлению о хорошей речи: *...Главный мытарь страны (обожаю это слово!) А. Починок* (АИФ, 1999, нояб.); — *Для семьи очень нужен достаток. — Достаток — вот это слово. Хорошее слово* (ОРТ, Пока все дома, 05.12.00); — *Скажите, вот сейчас, с высоты сегодняшнего опыта, вам стыдно за какие-то ранние работы? — Хорошее слово — стыдно. Мой Учитель говорил: «Плохо — понятие относительное». А стыдно — это стыдно. Есть вещи, за которые мне стыдно. Но я никогда не скажу вам об этом* (АИФ, 2000, июль). Мы можем сказать, что эстетическая позиция говорящего проходит сквозным мериллом через все метаязыковое дискурсивное пространство, составляя оценочное приращение, которое трудно обособить и выделить в качестве отдельного, поскольку сознание всегда имеет нравственно-эстетическую природу, не исчерпываясь «абстрактно-рациональной целесообразностью предмета» [Петров-Стромский, 2000, 158]. Эстетическую оценку можно рассматривать как показатель меры эмоциональной реакции на объект оценки [см.: Богуславский, 1994, 73].

Таким образом, движущей силой вербализации метаязыкового сознания являются ненормативные факты языка. Норма при этом, являясь определенным фоном, обеспечивает автоматизм речи, а все новое, развивающееся, сложное, маркированное, окказиональное, отмеченное индивидуальным речевым творчеством, проявляется как отступление от нормы, что на самом деле столь же нормативно и органично в речевой деятельности. Если выделенные критерии рассматривать как независимые друг от друга, то все языковые факты, пропущенные через них, могут иметь тот или иной признак напряжения и тогда могут быть обозначены знаком «плюс»; признак напряжения может отсутствовать, тогда возможен знак «минус». По набору этих признаков все объекты рефлексии

могут быть разбиты на восемь классов нормативности. Эти классы имеют градуированный характер, и можно говорить о разных степенях напряжения или нормативности лексических (фразеологических) единиц, которые определяют разную степень метаязыкового комментирования.

Данные рассуждения могут быть представлены в табличной форме.

Критерии	Классы							
	1	2	3	4	5	6	7	8
Динамический	+	+	+	+	–	–	–	–
Стилистический	+	+	+	–	+	–	–	–
Деривационный	+	+	–	–	+	+	–	–
Личностный	+	–	–	–	+	+	+	–

Комментарии к таблице

1. Языковые единицы, имеющие знак «плюс» (+) по всем критериям, чаще всего сопровождаются в речи метаязыковым комментарием. И наоборот, языковые единицы, имеющие знак «минус» (–) по всем критериям, обычно не отмечаются рефлексивом.

2. В составе одного рефлексива лексическая единица может получать характеристику по разным основаниям, по разным критериям напряжения.

3. Данные критерии выделены в группе коммуникативных рефлексивов. Поэтому мы называем эти критерии критериями коммуникативного напряжения.

Выделенная нами 2-я группа рефлексивов названа *к о н ц е п т у а л ь н о й*. Кроме коммуникативного напряжения, в любом тексте возможно и концептуальное напряжение, которое также эксплицируется в виде рефлексива. Критерии концептуального напряжения коррелируют с коммуникативными. Выявленные нами коммуникативные очаги напряжения в речевом дискурсивном пространстве находят особое преломление в когнитивной деятельности, получают трансформированный облик на выходе в тексте производителя речи.

Усиление метаязыковой концептуальной деятельности индивида на современном этапе связано в первую очередь с динамическим критерием, а именно с высокодинамическим развитием когнитивного сознания, следствием которого является перестройка мировоззренческих установок, приспособляющих человека к общественно-экономическим изменениям.

Интенсивные процессы в политической и экономической жизни России находят свое отражение в смене концептуальных стереотипов. Обновление концептуального мира носителя языка, концептуализация новых знаний о преобразующемся мире при представлении их в языковой форме сопровождается вербализацией оценочной интерпретации языкового знака с помощью рефлексива. Современная действительность способствует формированию новых культурных стереотипов сознания, новых мифов. Рефлексивы являются способом фиксации нового опыта, а зачастую и средством его формирования, оказываясь этнолингвистической переменной, влияющей на направление языковых процессов в современном языке новейшего времени, например: *Выражение «Средние русские» — это не класс и не элита. «Средние русские» — по-настоящему средние. Они настороженно относятся ко всем и всему, что отличается от них самих, от их привычных взглядов и манеры поведения. «Средние русские» не терпят слишком умных и инициативных, они аплодируют В. Путину, когда тот «прижимает» олигархов и «мочит» чеченцев. «Средние русские» — это огромная масса населения, президентом которого и является Владимир Владимирович. Это и хорошо, и плохо лично для него* (АИФ, 2001, янв.). Объектом рефлексии является новый концепт «средний русский». Индивидуальное осмысление этого понятия включает его в парадигму концептуального ряда нового времени: *новый русский, старый русский, старый новый русский, сверхновый русский* и др. [см.: Вепрева, 1997].

Стилистический критерий коррелирует на уровне концептуальных рефлексивов с к с е н о р а з л и ч и т е л ь н ы м (с о ц и а л ь н ы м) к р и т е р и е м. Корреляция возможна на основе дихотомии «свой» — «чужой»: говорящий всегда координирует свой личный языковой и когнитивный опыт с опытом другого. На коммуникативном уровне эта координация проявляется в использовании стилистически маркированных единиц, ориентированных на чужое слово, на столкновение в тексте двух сфер

языка. Фактором, обуславливающим этот критерий на концептуальном уровне, является мировоззренческая установка языковой личности в социально неоднородном обществе. Оценивая одни и те же факты, носители языка реализуют разные мировоззренческие установки с помощью характеризованных речевых действий в рамках базовой системы координат «свой» — «чужой». Рефлексивы в этом случае часто выполняют социально-оценочную функцию. Под социальной оценкой понимается оценка, производимая сознательно и целенаправленно со стороны партий и социальных групп [см.: Заварзина, 1998, 10], оценка, носящая идеологизированный характер. «Идеология представляет собой такую картину мира, которая «истолковывает» действительность не с целью ее объективного познания, а с целью сублимирующего оправдания тех или иных групповых интересов» [Косиков, 2001, 10].

Рефлексивы, формирующие социальную (в широком смысле) установку, отражающие социальные потребности индивида, составляют один из уровней социально-психологической структуры личности — уровень ценностных ориентаций [см.: Руденский, 1996, 82]. Социальная установка входит, наряду с другими, в концептуальный каркас (данный термин используется для обозначения структур, объединяющих индивидуальные концептуальные системы на уровне социальной организации и передающих, кроме объективных данных, и субъективные моменты в человеческом познании [см.: Сокулер, 1988, 174]).

Метаязыковые социально-оценочные высказывания дают возможность охарактеризовать психологическое состояние общества на данный момент, его социокультурные настроения. В качестве примера приведем намеренно агрессивные оценочные рефлексивы, извлеченные из оппозиционной прессы: *Зюганов произнес в общем-то крамольную для всякого православного фразу: «Настроение масс явно клонится влево». Только точнее было бы сказать не «влево», а налево, т. е. в сторону дьявола, золотого тельца. Бес всегда тянет человека в левую сторону, потому что стоит за его левым плечом. Все партии, созданные с помощью еврейского золотого капитала (а компартия — одна из них), являются левыми партиями, т. е. сатанинскими. К ним же относятся и все демократические партии* (Россиянин, 1995, № 3).

Д е р и в а ц и о н н ы й критерий на концептуальном уровне реализуется как идеологическая переориентация концептосферы.

При реформировании российской экономики, политическом переустройстве страны произошла идеологическая ломка общественной модели поведения. Следствием этого процесса стало, во-первых, переосмысление лексики политического и экономического дискурсов; во-вторых, стирание с многих нейтральных по сути слов пейоративной оценки, появившейся в советское время, оценочных идеологических добавок, приращений советского времени и, шире, формирование новых коннотативных смыслов [см.: Купина, 2000]. Приведем в качестве примера рефлексив периода перестройки: *Заметьте, слово «коммерциализация», которое применительно к спорту было у нас таким же ругательным, как и «профессионалы», перекочевало из раздела «Их нравы» в рубрику «Наши достижения»* (Огонек, 1989, № 3).

На наших глазах в современной речи наблюдается разнонаправленность оценочных смыслов данных единиц, связанная с динамикой развития рыночных и политических отношений в стране, например: *Сейчас слово «демократия» стало ругательством, а раньше, в перестройку, было гимном* (А. Макаров, Радио 101, 17.12.98).

Л и ч н о с т н ы й критерий на концептуальном уровне выявляется в метавысказываниях, фиксирующих индивидуальные концептуальные признаки, отличные от признаков, характеризующих концептосферу другой языковой личности. Образ, составляющий содержание концепта в сознании индивида, подвергается определенной стандартизации. Концепты могут быть общенациональными, групповыми и личными. Кроме личных концептов, индивидуальные черты проявляют себя и в стандартизованных концептах. Эти черты «обуславливают в некоторых ситуациях вопросы типа „в каком смысле вы говорите о...?“, „что вы понимаете под...?“ и т. п.» [Попова, Стернин, 2001, 71]. Индивидуальность вычленения концептуальных признаков особенно ярко проявляется при интерпретации личностно значимых абстрактных понятий [см.: Воркачев, 2001, 49], например: — *Марк Анатольевич, скажите, у вас есть своя формула любви и что такое «счастье» для вас? — Счастье — это воспоминание о радостных моментах в жизни, которые ты, к сожалению, не умеешь оценить в тот момент, когда ты их переживаешь. Я так устроен, что, когда случаются счастливые моменты, я их не ощущаю. А по прошествии некоторого времени вдруг осознаешь, что это были мгновения, которыми нуж-*

но было дорожить. А что касается любви, то на такой безграничный вопрос я могу сказать: лично мне больше всего в женщинах и мужчинах нравится чувство юмора. Юмор для меня является самым ценным и прекрасным качеством человеческого характера (МК-Урал, 2000, нояб.).

Концептуальные рефлексивы, как и рефлексивы коммуникативные, могут включать характеристику концепта по разным основаниям напряжения: например, приведенный выше рефлексив о «средних русских», кроме указания на новизну концепта, носит личностный характер, не совпадающий с общепринятым толкованием понятия «средний класс». Таким образом, в сфере концептуальных рефлексивов, так же как и в сфере коммуникативных, можно выделить 8 классов нормативности.

Вместе с тем структура концептуальных рефлексивов двупланова. Поскольку связь рефлексива со звеном концептуального контроля осуществляется всегда через слово в речи, постольку планом выражения концептуальных рефлексивов являются рефлексивы коммуникативные. Коммуникативные рефлексивы, выступая, с одной стороны, в качестве формы для выражения концептуального рефлексива, с другой стороны, способа существования и выражения содержания коммуникативного напряжения, представляют собой две разнородные по своей природе субстанции, объединенные в дискурсивном пространстве в функциональное целое.

Из сказанного выше следует, что коммуникативный рефлексив имеет двоякую природу. В своей основной функции такой рефлексив является содержательным фактом, самостоятельным явлением, структурной организацией собственного содержания, связанного с маркированием очага коммуникативного напряжения на речепорождающем уровне. Но у коммуникативного рефлексива есть вторичная функция: по отношению к концептуальному рефлексиву коммуникативный рефлексив есть его форма. Происходит своеобразное удвоение формы коммуникативного рефлексива: он существует как содержательная структура и одновременно представляет форму концептуального рефлексива. Каждый класс концептуальных рефлексивов может быть оформлен как коммуникативный рефлексив любой разновидности.

Этим обстоятельством объясняется, например, трудность определения типа рефлексива — коммуникативного или концептуаль-

ного — в тех коммуникативных ситуациях, когда в рефлексиве интерпретируется сигнификативное содержание фактов речи через толкование. В одном случае это может быть пояснение смысла малоизвестного термина для ликвидации коммуникативного напряжения, и значение слова определяется как языковой феномен; в другом случае происходит и обсуждение того, что стоит за словом. Наш материал фиксирует также рефлексивно симметричные высказывания, которые могут являться проявлением разной языковой ментальности, определяться социальным фактором напряжения и в то же время быть тождественными по какому-либо критерию коммуникативных рефлексивов. Например, может быть различным отношение к активному употреблению заимствованной лексики в один и тот же временной период в разных социальных группах: *Новые, незнакомые, а потому заманчивые слова — конвертируемость, конвергентность, плюрализм, конверсия, инвестиция, ротация* (Словарь перестройки, 1992) — *Космополиты, невежды и чужеземцы по дурости и по злему умыслу засоряют великий русский язык такими никчемными и бессмысленными словечками, как хобби, консенсус, импичмент* (Истоки, 1992, № 6). Ср.: *Долго спорили, нужно ли внедрять чужое и малопонятное слово «фермер». Не лучше ли привычное — крестьянин. Спросили деревенский народ. И они все хором: только фермер! Это свободный человек* (Словарь перестройки, 1992) — *Я сам — фермер (слова лучше не нашли)* (Отечество, 1992, дек.).

ВЫВОДЫ

Предложенная типология рефлексивов позволяет выявить те участки речемыслительной деятельности индивида, которые требуют активного сознательного участия языковой личности в создании текста, мотивированного вхождения в речевое дискурсивное пространство, демонстрируют гибкость мышления, его способность включаться в новые ситуации, функционировать в новом языковом материале. Обычно языковая рефлексия, отражая сущностный компонент языкового сознания, ограничивается тенденцией к невербализации языкового сознания как внутреннего качества, как подсознательной работы по выбору языковых знаков в процессе общения. Отмеченная особенность обуславливает, с од-

ной стороны, потенциальную возможность и готовность к вербализации метаязыкового компонента сознания; с другой стороны — факультативность проявления в речи языковой рефлексии.

Проявление языковой рефлексии может быть связано с любым словом, метаязыковая деятельность говорящего субъекта движется в непрерывном и разноплановом спектре модальных оценок. Но прежде всего функциональные типы рефлексивов реализуют свой потенциал в тех активных зонах языкового сознания, которые связаны с разрушением языковых и концептуальных стереотипов, формированием новых, с речемыслительной и социально-психологической ориентацией человека в современном мире.

Рефлексивно пристрастную помеченность получают языковые единицы, релевантные для речевой деятельности, вызывающие напряжение, а также те единицы, которые репрезентируют полезные продукты мыслительных процессов.

Нами было выделено четыре фактора напряжения, которые стимулируют вербализацию метаязыкового сознания на речепорождающем уровне, и соответственно — как результат — четыре классификационных критерия: динамический, стилистический, деривационный и личностный. Данные факторы активизируют метаязыковую деятельность также на концептуальном уровне, выступая в преломленном виде как динамический, ксеноразличительный (или социальный), деривационный и личностный критерии. Нами была определена двойная природа коммуникативного рефлексива, выступающего в речевом пространстве, во-первых, в качестве структурно-содержательной единицы, метацензора коммуникативного напряжения; во-вторых, в качестве плана выражения концептуального метацензора.

В переломные периоды общественного развития увеличивается роль тех коммуникативных и концептуальных рефлексивов, которые являются этнолингвистической переменной, определяющей направление живых языковых процессов.

ГЛАВА 2

КОММУНИКАТИВНЫЕ РЕФЛЕКСИВЫ

ПОСТАНОВКА ВОПРОСА

Коммуникативные рефлексивы раскрывают движение мысли человека в коммуникации, вербализуют усилия для нахождения нужной лексической единицы, адекватной коммуникативному замыслу говорящего, эксплицируют автокоррекцию, если стихийный процесс не обеспечил этой точности. Мы наблюдаем «плод аналитико-синтетической работы ума... доказательство интеллектуальных усилий по преодолению автоматизма речевых действий» [Хлебда, 1999, 63], установку на «речемыслительное творчество» [Там же, 67]. Коммуникативные рефлексивы представляют собой метаязыковое дискурсивное пространство сознательных поисков путей самовыражения, что позволяет говорить о творческом характере данных вербализованных актов мыслительной деятельности, о креативном характере языковой способности говорящего, о возможной трактовке этого типа рефлексивов как проявлении языковой игры в широком понимании этого термина — так, как понимал языковую игру Л. Витгенштейн, связывающий с нею употребление языка в определенной сфере общения [см.: Витгенштейн, 1985] (см. также, например, высказывания Л. В. Щербы о спонтанном рече-производстве как о сложной игре «сложного речевого механизма человека в условиях конкретной обстановки данного момента» [Щерба, 1974, 25] и У. Л. Чейфа о том, что «употребление языка — процесс гораздо более творческий, чем это обычно считается» [Чейф, 2001, 30]).

В коммуникативных рефлексивах вербализуются механизмы саморегуляции и самоорганизации речевой деятельности, реагирующие на очаги напряжения, связанные с разграничением нормативных и ненормативных речевых зон.

Структура данной главы отражает характеристику четырех разновидностей коммуникативных рефлексивов, выделенных на основании критериев оценки нормативности, — динамического, стилистического, деривационного и личностного.

Коммуникативная ситуация предполагает участие в процессе общения обоих коммуникантов, а следовательно, двусторонний лингвокультурный контроль при коммуникации. Рефлективы — это акты симметричного метаязыкового комментирования фактов речи как говорящего/пишущего, так и слушающего/читающего. Поэтому обратимся к характеристике коммуникативной роли адресата в структуре коммуникативного акта.

КОММУНИКАТИВНОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ АДРЕСАНТА И АДРЕСАТА

В главе первой мы охарактеризовали, каким образом говорящий обеспечивает понятность речи, опираясь, в частности, на метаязыковые «подпорки» в речевых зонах напряжения. Определимся в действиях воспринимающего, получателя речи.

Проблема, стоящая перед исследователями, — установить, являются ли говорение и слушание различными проявлениями одной лингвистической способности или это два разных умения, отличающиеся друг от друга [см.: Миллер, 1968, 250].

Традиционной моделью коммуникативного акта является информационно-кодовая модель коммуникации, которая основана на идентичности информации как говорящего, так и слушающего. Оба обладают идентичными языковыми (де)кодирующими устройствами и «процессорами», что обуславливает симметричный характер процедур кодирования и декодирования, общность содержания знаний как отправителя, так и получателя информации [см.: Абрамова, 2001, 76; Макаров, 1998, 22; Чепкина, 2000, 19]. Иногда исследователи подчеркивают неодинаковый процедурный режим говорящего и слушающего, разный характер кодирующих и декодирующих когнитивных операций: «деятельность говорящего имеет ономаσιологический характер, а деятельность слушающего — семасиологический» [Телия, 1996, 102]. Известна также и антиномия говорящего и слушающего в аспекте объема и средств подачи информации: экономия средств говорящим и требование подробной и избыточной информации слушающим. В данной модели активной фигурой является говорящий/пишущий, а адресат пассивен и находится на более низком информационном уровне.

Поэтому семантическое правило «равнения вниз» требует «содержательного ориентирования сообщения на самый низкий по уровню контингент реципиентов» [Комлев, 1992, 198].

Традиционная модель, опирающаяся «на фундамент примитивной intersубъективности» [Макаров, 1998, 23], — сделать сообщение общим при существовании общего кода — подвергается критике, поскольку понимание предполагает не только декодирование, но и активное участие адресата в процессе общения. На смену информационно-кодовой модели приходит интеракционная модель, где общение представляет собой не одностороннее воздействие говорящего на слушающего, а коммуникативное взаимодействие двух равноправных субъектов, субъект-субъектный тип отношений [Михальская, 1996, 61], реализацию потребности в психологическом равноправии коммуникантов. Восприятие высказывания — это уже не расшифровка замысла, а интерпретация высказывания на основе знаний адресата [Демьянков, 1981, 376]. *Понимать* определяется как «оценочный метапредикат» [Демьянков, 1983, 66], толкуемый через нейтральный предикат *интерпретировать*, поскольку понятие *интерпретация* нейтрально по отношению к распределению ролей в структуре коммуникативного акта. Интерпретационный механизм в связи с целями интерпретации может обслуживать разные сферы языка — как говорение, так и понимание [см.: Сидорова, 1990, 22].

Понимание речи представляется продуктом нескольких когнитивных подсистем: помимо знаний, активную роль играют мнения, отношения, установки, эмоции, человеческие навыки. Вторичная коммуникативная деятельность не становится прямым дублированием деятельности отправителя сообщения [см. об этом: Сидоров, 1987, 25]. В понимании сочетаются интерпретационный и оценочный компоненты [см.: Нахратова, 1990, 9]. Так, в качестве одной из установок может быть гештальт-психологический феномен «фигура — фон» [Варфоломеев, 2002, 57], «критерий существенности» [Акофф, Эмери, 1974, 84], в соответствии с которым адресат сам определяет, какую информацию он воспримет, а какую упустит. Субъективное ощущение значимости или незначимости свойства [см.: Жельвис, 1997а, 65] позволяет адресату по-разному реагировать на любой стимул. Например, ответ на вопрос, что такое настоящая литература, на сегодняшний день лежит в сфере субъективного читательского восприятия. «Так, неаккурат-

ность в расстановке знаков препинания нынешняя критика благосклонно объяснит особенностью авторской пунктуации, образную и лексическую бедность — концептуальным минимумом, неоригинальность и плагиат — интертекстуальностью» [Шаманский, 2001, 59].

Интеракционная модель получает развитие в направлении, названном «семантикой возможных миров» [Демьянков, 1983, 60], суть которого в следующем: при понимании чужой речи некоторый внутренний («модельный») мир строится из внутренних ресурсов интерпретатора, а не усваивается поэлементно из чужого внутреннего мира (ср. в связи с этим положение высказывание А. А. Потебни: «Речь только возбуждает умственную деятельность понимающего, который, понимая, мыслит своею собственной мыслью» [Потебня, 1976, 95]).

Подобный взгляд на акт понимания по-разному представляется различным исследователям. Оригинальное преломление процесса понимания представлено в биологической концепции чилийского ученого У. Марутаны. Определяя процесс познания как глубоко биологический феномен и все живые системы, включая человека, в качестве замкнутых и самореферентных, Марутана утверждает, что функция языка «...состоит в том, чтобы ориентировать ориентируемого в его когнитивной области, не обращая внимания на когнитивную область ориентирующего» [Марутана, 1996, 119]. Никакой передачи мысли между говорящим и слушающим не происходит, слушатель сам создает информацию в результате независимой внутренней операции над собственным состоянием, а сообщение является лишь причиной выбора того, куда ориентировать свою когнитивную область. Языковое взаимодействие возникает на основе независимых друг от друга систем отсчета каждого из участников разговора как процесс непрерывной ориентации.

В связи с проблемой понимания возникла идея разработки общей теории интерпретации. В частности, лингвистические основы теории интерпретации разработаны В. З. Демьянковым [1981; 1982; 1983; 1989]. Понятие лингвистической интерпретации связывается с герменевтикой, в которой тема интерпретации является основной [см.: Богин, 1986; 1998]. По мнению Г. И. Богина, на начало 2000 года герменевтике известно 105 техник понимания [Богин, 2002, 23]. Особой ветвью является исследование

восприятия художественного, особенно поэтического, текста. В данном направлении теория информации также сыграла свою роль. Сошлемся на известную теорию библиопсихологии, положения которой были разработаны в 20-х годах XX века Н. А. Рубакиным [см.: Рубакин, 1977], получившие новое освещение в трудах современных ученых [см.: Сорокин, 1978; 1979]. Ученые пришли к осознанию того факта, что восприятие является существенным элементом всякого творческого процесса, способность читателя к сотворчеству восполняет текст, множественность интерпретаций текста свидетельствует о творческом преобразовании текста читателем [см. об этом: Кузьмина, 1999, 61–77].

Таким образом, понимание — это то, что объединяет автора высказывания и его адресата: с одной стороны, речь строится как речь для другого, говорящий прогнозирует портрет адресата, ориентируясь на него; с другой стороны, слушающий интерпретирует адресанта, опираясь на его текст и собственный опыт [см.: Чернейко, 1990, 1996; Шунейко, 2001]. Модель коммуникативной деятельности представляется как совокупность мотивирующей и мотивированной программ речемыслительных действий и операций. В русле обыденного сознания понимание приравнивается к нормативно-контролирующей функции адресанта и адресата на уровне употреблений того или иного слова. Рефлексивные говорение и слушание [см.: Атватер, 1988, 42–53] воспринимаются как эмансипативные [см.: Комлев, 1992б, 191], то есть равноправные, акты для каждого участника коммуникативной ситуации, активное коммуникативное взаимодействие собеседников [Китайгородская, Розанова, 1999, 28].

При этом понятие нормы находится прежде всего в ведении слушающего, «второй коммуникант исходит из своего авторитета как языковой личности» [Поспелова, Петрова, 1996, 127], именно он оценивает речь говорящего с точки зрения нормативности, прощая или не прощая ему допущенные ошибки (это связано с декодированием высказывания как в содержательном, так и в формальном плане). Образцовую речь мы не замечаем, «она для нас как раз психологически не существует» [Мурзин, 1989, 6]. И в то же время сам говорящий является «первым приемным пунктом» (Т. Г. Винокур) собственных коммуникативных усилий. Безусловно, оценка речи носит субъективный характер, в ее основе лежит «баланс норм отправителя и получателя сообщения» [Шварц-

копф, 1996, 418]. Субъективность оценки разными типами слушающих и говорящих позволяет говорить о «плавающем» характере нормы: что нормативно с точки зрения одного носителя языка, неуместно с точки зрения другого, хотя оба они могут являться носителями элитарной или среднелитературной речевых культур.

Спектр оценок своей и чужой речи достаточно разнообразен. Во-первых, порождение речи требует от отправителя точного подбора слов. Метаязыковые высказывания эксплицируют эти поиски: *Вообще-то мы со Славкой объявили о помолвке, а все сразу решили и детей крестить. Люди же сначала молвятся — или как там правильно? — а потом уже решают, стоит или не стоит жениться* (4 канал + все ТВ, 2000, янв.); *Каким бы мэтром артист ни был, он должен выйти на сцену Гамлетом, Отеллом... Хм, Отеллом можно сказать?* (АИФ, 2000, июль); *Великолепные генералы. Опять сказала «великолепные». Но в русском языке это слово ничем не заменишь* (НТВ, Женские истории, 2000, авг.); *Им интересно — человек с непоющим голосом от чистого сердца (можешь это назвать как хочешь) поет, играет* (АИФ, 2000, сент.); *У сожителей отрицательные моменты возникают при общении и с другими людьми. Как представить этого близкого тебе человека в незнакомой компании? Сказать «муж» — неправда, сказать «сожитель» — неудобно, совестно. «Подруга», «друг» тоже не соответствуют действительности* (АИФ, 1999, февр.).

Во-вторых, часто эксплицитные поиски точного слова нужны адресанту для того, чтобы акцентировать внимание адресата на необходимые смысловые оттенки выбранного слова: *От половых актов в эпическом полотне Германа (слово «секс» здесь не подходит) разит кислым потом* (АИФ, 2000, май); *Нация... как бы пообиднее сказать... наш этнос деградирует* (Там же, июнь).

В-третьих, адресант считает нужным обратить внимание на лексическое значение и даже дать толкование значения употребляемого слова: *Необходимо сломать полуфеодальный порядок, который олигархи пытаются законсервировать (слово «олигархи» здесь носит условный характер: к ним следует отнести всех, кто хочет сохранить в неприкосновенности ту модель, которая сформировалась в России к 1997 году)* (МК-Урал, 2000, февр.).

Носитель языка, выступая в роли адресата, достаточно критично оценивает речь отправителя, обращая внимание на неточность в употреблении слов: — *Как ни крути, семья Гомельских прочно за-*

няла баскетбольную нишу. Что это — клан, династия, семейственность, мафия? — У нас теперь все стало модно называть мафией. Я не отказываюсь, что это клан, династия, если хотите, и в этом нет ничего плохого. У меня четыре сына. — Баскетбол стал для вас золотой жилой? — **Слова какие вы подбираете — то мафия, то жила...** Этой золотой жиле я отдаю свое здоровье, нервы, силы (АИФ, 2000, сент.); — Вы очень напыщенный человек. — Не-а. Я не напыщенный, я умный. — А Бернард Шоу сказал, что умными себя считают дураки... — Он прав. Хорошо, я не умный. Я очень умный. **«Напыщенный!» Это ж надо такое ляпнуть! В чем напыщенность?!** (Там же, май); — Вы дилетант. — Я — дилетант? **Как часто Вы произносите слова, значение которых Вы не знаете?** (ОРТ, Процесс, 18.05.00); — Пришла группа под управлением М. Розовского. — Под руководством. Под управлением бывает пожарная команда (НТВ, В нашу гавань приходили корабли, 18.12.99); — Вам не кажется, что в России существует заговор против науки — финансирование на «удушение»? — **Слово «заговор» я убрал бы из вопроса. А так все правильно. Недопустимая ситуация** (МК-Урал, 1999, нояб.); — Как Вы отбили Ладу у мужа? — **Отбить — правильное слово?** (НТВ, Женские истории, 20.12.99). В диалоговом режиме может наблюдаться и поддержка собеседника в случае точного употребления слова: — Как Вы относитесь к перелопачиванию (если это правильное слово здесь) классики? — **Хорошее слово** (НТВ, Герой дня, 05.10.00).

Диалоговые формы речевого общения позволяют выявить ситуации, когда адресат обращается к коммуникативному партнеру с просьбой проинтерпретировать, разъяснить то или иное слово, в процессе декодирования текста может возникать коммуникативный сбой, поскольку «всякое слово... эллиптически» [Соссюр, 1990, 146], выступает как «средство намекания» на определенное внеязыковое содержание [см.: Воробьев, 1997, 45]. Слушающему важно получить ответ на вопрос о том, что мы «имеем в виду» при употреблении данного слова. Ответные реплики содержат семантическую характеристику слова, актуализацию семной структуры слова, диалог воспринимается как семантический тест на свободную интерпретацию: *Уже в то время Королев начинал приторговывать местами в кораблях. — Что вы имеете в виду под словом «приторговывать»?* — Ты мне — я тебе. Он взял на подготовку человека от Келдыша, который тогда возглавлял Академию наук, а Келдыш ему за это должен был оказать другую услугу (КП, 1999, дек.); —

Ходят гнусные слухи, что Вы «подсидели» Флярковского? — Я не считаю, что «подсидел» Флярковского, потому что слово «подсидел» предполагает использование каких-то некорректных, нечестных методов (АИФ, 2000, окт.); — Возможны ли альянсы Путин — Примаков, Путин — Зюганов, Путин — Лужков и на каких условиях? — Все зависит от того, что понимать под словом «альянс». Если имеется в виду сотрудничество по каким-то вопросам, то, безусловно, возможен. И это происходит (МК-Урал, 2000, янв.); — Я слышала, что у вас нет врагов. Это настораживает. — Все зависит от того, что понимать под словом «враг». Есть люди, которые мне глубоко несимпатичны, в том числе и люди из политики. Но я с ними не контактирую. Если в моем окружении появится человек, который мне несимпатичен, качество работы которого не будет меня удовлетворять, я сделаю так, чтобы он сам понял, что ему трудно со мной работать (АИФ, 1999, дек.). Интерпретация слова в контексте общения актуализирует необходимые компоненты, снимающие непонимание собеседника, ликвидирует коммуникативный сбой.

Таким образом, ситуация непосредственного живого общения предполагает активное метаязыковое участие в процессе коммуникации обоих коммуникантов, которое на поверхностном уровне воспринимается как оценка фактов речи с точки зрения точности словоупотребления.

КРИТЕРИИ КОММУНИКАТИВНОГО НАПРЯЖЕНИЯ

Динамический критерий

Данная разновидность коммуникативных рефлексивов ориентирована на выяснение временных параметров лексической единицы. Группа рефлексивных высказываний, обусловленная динамическим критерием коммуникативного напряжения, чрезвычайно продуктивна в силу того, что на фоне реформирования российской экономики и коренных преобразований в политической жизни общества в последние десятилетия обнаруживается заметная тенденция к обновлению состава лексических единиц. Динамические процессы в области лексики явились мощным

прагматически ориентированным стимулом для проявления мета-языковой функции языка.

Как известно, появление нового слова является результатом борьбы двух тенденций — развития языка и его сохранения. В языке существует «сильная тенденция сохраняться в состоянии коммуникативной пригодности» [Серебренников, 1983, 23], поскольку понимание текста включает в качестве необходимого условия идентификацию составляющих его слов. В той мере, «в какой мы сохраняем существующий язык, каждый из нас достоин уважения в качестве гигантской трансляционной сети», каждый «становится носителем памяти своей нации» [Розеншток-Хюссе, 1994, 168]. Поэтому параметром, актуальным для пользователя языка, становится хронологическая характеристика лексической единицы, «субъективность ощущения новизны» [Тогоева, 1991, 26], которой, будучи психологическим феноменом, заставляет говорящего информировать партнера по общению о данной инновации. Введение в текст нового слова создает интеллектуальное напряжение, поэтому наличие метаязыкового сигнала, балансирующего новизну инновации, позволяет регулировать уровень определенного информационного порога.

В лингвистике давно осознана мысль о важном месте лексических новообразований в системе языка, которые перестраивают сложившуюся языковую картину мира человека и закрепляют новые идеи и понятия, занимая белые пятна языковой картины мира. Неология как специальная дисциплина, обращенная к исследованию неологизмов, в советской лингвистике получает свое активное развитие со второй половины 60-х годов XX века. Этот период совпадает с конструктивным развитием словообразования, с выделением этого отдела грамматики в особую дисциплину. Проблема окказиональных слов — одна из актуальнейших в словообразовании, об этом свидетельствуют конференции по словообразованию в Самарканде 1972 и 1975 годов [Актуальные проблемы русского словообразования, 1972; 1975], а также работы Е. А. Земской [1972; 1973], О. П. Ермаковой [1966], А. Г. Лыкова [1972; 1976], В. В. Лопатина [1973], Г. Н. Плотниковой [1968], Э. Ханпиры [1966; 1972] и др.

В неологии можно выделить различные аспекты изучения новообразований. Первый аспект — лексикологический. Лексикологический подход (анализ неологизмов как единиц лексики, как

элементов пассивного состава [см., например: Брагина, 1973]) прежде всего отличается ретроспективностью анализа, так как «только в ретроспекции возможно установить «судьбу» слова в языке, ибо предсказать эту «судьбу» чрезвычайно трудно, если не невозможно» [Габинская, 1981, 22]. Второй аспект — функционально-стилистический. Он близок к лексикологическому по своим задачам, так как изучает функциональные особенности созданных слов, их стилистическую и жанровую закрепленность [см.: Сенько, 1987; Лопатин, 1973]. Третий аспект, словообразовательный, положивший начало активному изучению неологизмов, позже дистанцировался от временного фактора образования слова. Синхронный подход к словообразовательной структуре слова предполагает не отношения производности слов, а факт синхронического соотношения мотивированной и мотивирующей единиц. Существенной при словообразовательном анализе становится оппозиция «окказиональные — потенциальные слова» [Земская, 1992; Улуханов, 1996], разграничивающая системные и несистемные новообразования, связанные с образованием по продуктивным и непродуктивным типам [см.: Грамматика, 1970, 4]. Четвертый аспект, ономаσιологический, близок к словообразовательному по методике исследования. Но ономаσιология, в отличие от словообразования, изучает «объективирование мысли в материальной, словесной форме» [Габинская, 1981, 26], недоступное непосредственному наблюдению и изучаемое путем построения гипотезы (см., например, работы ученых ономаσιологической школы И. С. Торопцева: [Торопцев, 1975, 1976, 1980; Габинская, 1981; Малеева, 1983; Евдокимова, 1976 и др.]). Ономаσιологический аспект, несомненно, связан со следующим — психолингвистическим, который исследует процессы идентификации словесных новообразований в разных аспектах. Психолингвистические основания неологии разрабатываются исследователями тверской школы психолингвистики под руководством А. А. Залевской [см.: Тогоева, 1998, 1999; Барсук, 1999; Сазонова, 1999; Медведева, 1998, 1999]. Краткий обзор направлений неологии можно закончить лексикографическим и социолингвистическим аспектами. Включение неологизмов в словари новых слов, как пишет В. Г. Гак, не является свидетельством «социализации их принятия в обществе» [Гак, 1979, 48]. Задача словарей и справочников новых слов — фиксировать новое слово или словоупотребление независимо от того, войдет

оно в словарный запас языка или нет. Но тем не менее включение его в словник свидетельствует о том, что его неологичность ощущается всеми говорящими и поэтому степень новизны является неокказиональной [см., например, обзор словарей новых слов: Левашов, 1978; Котелова, 1978; Гак, 1981; Складаревская, 1996]. Обычно идея регистрации и объяснения новых слов настойчиво возникает в периоды интенсивного пополнения языка, существенных сдвигов в словарном составе. Из крупнейших словарей, отражающих новое в русской лексике 1950—1980-х годов, укажем словарь-справочник «Новые слова и значения (по материалам прессы и литературы 60-х годов)» под ред. Н. З. Котеловой, Ю. С. Сорокина [1971], «Новые слова и значения. Словарь-справочник по материалам прессы и литературы 70-х годов» под редакцией Н. З. Котеловой [1984] и серию ежегодных изданий «Новое в русской лексике. Словарные материалы» [1980; 1981; 1982; 1984; 1986а; 1986б]. Языковые изменения последних десятилетий (1980—1990) зафиксированы в «Толковом словаре русского языка конца XX века. Языковые изменения» под ред. Г. Н. Складаревской [1998]. К социолингвистическим исследованиям по неологии можно отнести последние монографические работы, описывающие современное состояние современного русского языка (см. обзор работ в главе 1). К социолингвистическому направлению относятся также работы, посвященные изучению прагматических параметров нового слова, учитывающие данные социологических исследований [см.: Заботкина, 1992, 1996; Титкова, 1998а, 1998б; Розен, 1991].

Сам термин «неологизм» понимается в работах, посвященных частным проблемам неологии, неоднозначно, ученые спорят о типологии новых слов, о параметрах, определяющих суть неологизма, о терминологии [см. обзор разных точек зрения: Гак, 1978; Котелова, 1978; Габинская, 1981]. Сущностными признаками неологизма, с опорой на указанные работы, можно назвать параметры новизны (необычность для лексики языка в данной точке его существования), «неологической» релевантности точки отсчета во времени (слово какого-либо периода будет новым по отношению к словам какого-нибудь из предшествующих периодов), языкового пространства (сфера и жанры употребления).

Метаязыковая информация, которая «получает выход в окно сознания в вербальном коде» [Заславская, 1992, 57], выявляет те

стадии узуализации (принятия в обществе) и лексикализации (закрепления в языковой системе), которые проходит новое слово в языке [Гак, 1978], представляет новое слово в аспекте динамической синхронии, т. е. в «памяти применяющего его поколения» [Головин, 1973, 90]. Рефлексивы, выбранные из современной публичной речи (устной и письменной), позволяют построить модель жизни слова в языке.

Лингвисты 1980—1990-х годов начинают осознавать важность «понимания скрытых психических моделей, лежащих в основе человеческой культуры и языка» [Эйтчисон, 1995, 82], и идентификация динамической модели слова продуктивна в рамках теории метафоры, поскольку наша концептуальная система по своей природе метафорична, «метафора играет центральную роль в исследовательской программе» [Лакофф, Джонсон, 1987, 170] языкового сознания. Метафора — тот феномен, который может обеспечить понимание процессов, происходящих в языке. Прежде всего рефлексивы фиксируют временные параметры слова в метафорически закрепившихся лексических единицах, способных представить развитие языка как жизнь слова, появление нового слова как событие. Особый интерес к событию как феномену жизни и феномену языка объясняет появление новых общенаучных парадигм, в которых мир идентифицируется и интерпретируется как совокупность событий и фактов. И мир слов, сопряженных с человеческим сознанием и объективным миром, представляется языковым самосознанием как самостоятельный мир, в котором существует свое лингвистическое время, относительно которого отсчитывают свой срок лексические единицы, мир, представляющий собой «совокупность разных степеней жизненности или затверделости слова, а все бытие — то более мертвые, то более живые слова» [Лосев, 1992, 66].

Рефлексивы фиксируют прежде всего появление нового слова как событие, которое, являясь «зарубкой на шкале жизненных ценностей» [Арутюнова, 1988, 172], не может быть не замечено в силу его накопившейся частотности. В метаязыковых контекстах инновации получают определенную локализацию в языковом и временном пространстве: *Душман. Это слово появилось в нашем лексиконе в начале 80-х* (ОРТ, Так это было, 29.05.00); *Когда-то в русском языке появился новый термин — «теневая экономика». Теперь есть все предпосылки для термина другого — «теневые спецслужбы»* (МК-Урал, 1999, сент.);

Слово «видеоэкология» для нас довольно новое (АИФ, 2000, янв.); Именно тогда слово «Дума» вошло в наш политический оборот (Там же, 1998, дек.); В августе, когда наш лексикон обогатился модным словечком «дефолт», он прохлаждался на своей исторической родине (МК-Урал, 1998, дек.); Подходя 19 января к тому подвалу на Катаяме, солдаты думали, что там сидят замаскированные боевики и боевички (появился такой неологизм во вторую войну) (Новая газета, 2000, февр.); Алан Чумак: он появился на голубых экранах, когда мы только-только выучили новое слово «перестройка» и знать не знали ни про какой дефолт (МК-Урал, 1999, февр.); Кто же у нас полетит первым? Это стало известно лишь на космодроме, когда на заседании Государственной комиссии прозвучали две фамилии: Гагарин и Титов — основной пилот и запасной. Слово «дублер» появится позже (АИФ, 2001, март). Появление нового слова может получать метафорическую реакцию: Термин новый родился у партработников: отказник (Правда, 1989, март); Вновь явилось на свет Божий и уже почти забытое словечко — дефицит (КП, 1999, янв.).

О динамике развития слова в языке языковая личность размышляет и в рамках других метафорических комплексов. Так, метафора тканья [см.: Шмелева 1998], впрямую отражающая этимологию слова «текст», включающий в качестве составляющей лексическую единицу, распространяется и на динамику ее развития. Слово от частого его употребления может *истереться, истрескаться, выцвести, замараться*, поэтому его надо *очищать от наносного*. Для передачи динамики слова характерно использование глаголов перемещения: *слова мелькают, всплывают, сыплются как горох, их пускают в ход, случайно бросают, они становятся заезженными*; типично переносное употребление слов, передающих вкусовую сенсорику: *слово набило оскомину, навязло в зубах*, глаголов социального состояния и становления социальных признаков: *он любит щеголять научными или иностранными словечками, наш лексикон обогатился новыми словами*. В основе глагольной лексики, отражающей словесную динамику, лежат, безусловно, глаголы мыслительной деятельности (*изобрести, выдумать, придумать, вспомнить, выучить*) и глаголы, отражающие структуру коммуникативного акта: с позиций говорящего (*слово выходит из гортани с болью, научились без запинки произносить*); с позиций слушающего (*от него услышал, сейчас не слышно, страна проснулась и услышала зловещую аббревиатуру ГКЧП*).

Новые слова обладают особым видом стилистической окраски — экспрессивностью новизны, эстетический смысл приобретает оппозиция *известное* (узуальное) — *неизвестное* (новое) слово. Новизна, необычность слова вызывает определенные модальные оттенки значения удивления, неожиданности, и новые слова получают в рефлексивах определения: *странное, диковинное, таинственное, мудреное, непонятное*.

Модальность удивления вызывают не только неологизмы, но и, шире, слова-агнони́мы [см.: Морковкин, Морковкина, 1997; Черняк, 2000], лексическое значение которых оказывается для носителя языка в рамках *здесь — сейчас* неизвестным. Обычно к агнонимам относятся маргинальные лексические единицы — историзмы, архаизмы, окказионализмы, сленгизмы, коллоквиализмы. Ситуацию восприятия неизвестного слова передает в своих дневниках Олег Борисов, вспоминая работу с Г. А. Товстоноговым. В спектакле «Три мешка сорной пшеницы» на сцене должны быть живые собаки. Но в какой-то момент репетиций собаки стали раздражать Товстоногова. Он вскочил с кресла и побежал по направлению к актеру: «*Олег, нам не нужен такой натурализм, такая... каудальность!*» — *выпалил раздраженный шеф. В зале все замерли. Естественно, никто не знал, что такое каудальность. Г. А. был доволен произведенным эффектом. Всем своим видом показал, что это слово вырвалось случайно, что он не хотел никого унизить своей образованностью. «Я забыл вам сказать, что это слово произошло от латинского “хвост”. Я имел в виду, что нам не стоит зависеть от хвоста собаки!»* (КП, 1999, май). Приведем еще один пример реакции на окказиональное слово: — *А вы возьмите и флиртуйте при муже. — Смотрите, какое слово она сказала — флиртуйте!* (РТР, Моя семья, 08.09.01). Узнавание является одним из фундаментальных принципов психического отражения. Узнавание пристрастно, избирательно, поэтому оно реализуется на определенном эмоционально-оценочном фоне. Кроме того, как пишет Т. М. Рогожникова, ссылаясь на мнение П. Д. Успенского, «быстрее всего информация... обрабатывается эмоциональным центром, что хорошо согласуется с экспериментальными материалами» [Рогожникова, 2000, 34] и с нашим метаязыковым материалом.

Первое знакомство с новым словом перерастает в стремление познать его, возникает интерес к инновации, который реализуется в рефлексивах чаще всего как дескрипция, как описание ос-

новных семантических компонентов: — *Мятежная территория. Что означает этот термин? Он пока ничем не наполнен. — Это та территория, на которой действуют федеральные законы. Это временное явление, до тех пор, пока центр не сможет победить мирным путем* (ОРТ, Время, 02.02.98); *Этой осенью россияне выучили новое слово «толлинг». Почему МЧС схлестнулось из-за него с металлургическими генералами? — Толлинг — это определенный режим производства товаров из давальческого сырья. Он есть во всем мире. Только Россия — единственная страна, где на его основе разрешена переработка сырья для алюминиевой промышленности* (КП, 1999, дек.). *Дефолт — диковинное слово, вошедшее в лексикон среднего россиянина после 17 августа, — вовсе не заумь какая-то, а вполне житейское понятие. На бытовом уровне выглядит оно так: если вы берете у соседа Васи сотню займы, а затем говорите ему, что отдать не можете, — вы тот самый дефолт и делаете* (МК-Урал, 1999, янв.); *Шампанским может называться только вино, произведенное в провинции Шампань во Франции. Вся остальная шипучка там называется игристым (именно это и означает таинственное итальянское слово «спуманте»)* (Рос. газета, 1997, март); *17 января 2000 года в журнале «Эксперт» было опубликовано интервью одного из видных «пиарщиков» (так называют людей, которые различными путями пытаются создать общественное мнение в пользу тех или иных лиц или против оппонентов), руководителя Фонда эффективной политики Глеба Павловского* (АИФ, 2001, май). Толкование может быть и у слов-агнонимов, маргинальных элементов лексической системы языка: — *По телевизору в прогнозе погоды диктор употребил какое-то странное слово — если я, конечно, не ослышался — «пролетье». Не объясните, что это такое? — Вы не ослышались. В дореволюционной России пролетьем называли «границу» между весной и летом* (Там же, июнь). К маргинальным элементам литературного языка относится также сниженная лексика, входящая в литературный обиход и нуждающаяся в толковании как новая для носителя литературного языка: — *А были ли у вас обломы с женщинами? — Облом — это что? Переведите, пожалуйста. — То есть вам женщина нравится, но она вам навстречу не идет. — Это было очень часто, и иногда я думал, что никому не нужен* (МК-Урал, 2001, июнь).

Следует заметить, что дефиниции, которые даются в рефлексивах, отличаются от научных, цель которых дать четкие грани-

цы понятия. Метаязыковая дефиниция представляет собой «дефиницию ситуации реального общения» [Коротеева, 2000, 144], выполняет ситуативно познавательную функцию. Разъясняя, делая неизвестное собеседнику понятным, человек мыслит нежестко очерченными понятиями [см.: Гак, 1988, 32], выделяя те различительные признаки, которые позволяют успешно пользоваться этими словами. Несмотря на приблизительность обыденных толкований, они «развивают требуемую меру глубины и точности» [Никитин, 1988, 43]. Еще Л. В. Щерба писал, что не нужно навязывать общему языку научные понятия, которые не являются «какими-либо факторами в процессе общения» [Щерба, 1958, 68]. Метаязыковая дефиниция как речевое действие выполняет разные задачи: во-первых, пытается дать наиболее адекватную характеристику новой единице; во-вторых, делает определение понятным адресату; в-третьих, показывает, что толкование носит временный и рабочий характер.

Включение в рефлексив толкования слова способствует процессу узуализации, поскольку новое слово не может возникнуть у всех членов общества одновременно. Пока за новым знаком не закрепилась языковая информация, за которой бы скрывалась совокупность общественного опыта, пока общество не создало для слова известные правила его употребления, подобные рефлексивы, отражая эту трудную ситуацию вхождения слова в современный контекст, отчасти помогают преодолеть эту трудность. «Все новое в языке сначала создает индивид, и это новшество в дальнейшем распространяется, принимается или отвергается другими членами общества» [Серебренников, 1977, 153].

Появление новых слов происходит спонтанно, стихийно, независимо от воли человека. Слово рукотворно, хотя и анонимно. Авторство слова — редкое явление в истории языка, поэтому слова, созданные и введенные в язык конкретными языковыми личностями, известны обществу, наполняют гордостью автора слова. Так, Федор Михайлович Достоевский с удовлетворением пишет в своем «Дневнике писателя», что он ввел в литературный оборот глагол «стусеваться». «Соизмеримо ли: одна из вершин мировой эстетической и философской мысли и — авторство по отношению к какому-то одному слову, даже, в общем-то не слишком и необходимому...» [Норман, 1996, 73]. Современный метаязыковой комментарий по поводу авторства слова может характеризоваться раз-

вернутостью и оценочностью: — *Правда ли, что Вам принадлежит авторство неологизма «совок», и как вам его победное шествие?* — [А. Градский] *Честно говоря, я устал от того, что что-то придумываю, а потом выясняется, что это, оказывается, кто-то ввел. Доказать авторство слова «совок» я не могу — авторского свидетельства нет, но знаю, что это придумал я. И, кстати, не в том контексте, в каком сейчас это у всех навязло в зубах. Придуманно было как уменьшительно-ласкательное. Как объяснение безысходности и бессмысленности борьбы, попытка, как сказать, пригласить к разведению рук. Мол, что поделаешь, ребята, все мы такие. Потом у настоящих идиотов это стало словом оскорбительным. А ведь таким не было* (4 канал, 1998, нояб.).

Каждый случай авторства слова в современной речи получает метаязыковой комментарий: *Кстати, «архипелаг» — это папино слово. Архипелаг Гулаг...* (Л. Лихачева, дочь Д. С. Лихачева, НТВ, Большие родители, 25.03.01); *Слово «авоська» впервые прозвучало со сцены именно из уст Райкина. Его персонаж объяснял залу, что у нас ведь никогда не знаешь, когда дефицит «выбросят», надо всегда «на авось» иметь при себе такую вот сумочку-«авоську». Вообще-то этот монолог написал Владимир Поляков, но в народ слово вошло с легкой руки Аркадия Исааковича* (Телемир, 2001, март); *Если бы мы служили режиму, занимались холуяжем — прекрасное слово придумал Виктор Розов! — власти предержавшие не стали бы, наверное, этого делать* (АИФ, 1997, сент.); *Тот самый Юрий Афанасьев, который припечатал коммунистическое «болото» на I Съезде народных депутатов СССР термином «агрессивно-послушное большинство»* (Там же, 2001, июль); *Слово «путч» произнес именно он, Собчак, в Ленинграде* (ОРТ, Отсроченное убийство, 31.03.00); *Говорят, сам термин «обнуление» придумал Борис Березовский, который планировал, что все пойдет по этому сценарию с самого начала* (МК-Урал, 2000, июль); *Термин «информационная война» придуман господином Березовским или теми, кто обслуживает его интересы* (МК-Урал, 2000, март).

Приведенные выше рефлексивы подчеркивают уникальность ситуации, исключительность случая авторства. Язык как «вещь в себе» устойчив по отношению к индивидуальному вмешательству, и слово, появившись на свет, развивается по своим законам. Как образно заметил В. В. Колесов, «у каждого слова должен быть свой шанс» [Колесов, 1998, 141].

Рефлексивы, фиксирующие появление новых слов, дают возможность разбить общество на лидеров, ранних усвоителей инноваций, и отстающих [см.: Килошенко, 2001, 53—54], поздно осваивающих новые слова: *Мы восьмидесятники. Не шарахайтесь от этого слова, как от «новояза». Мы — дети апреля 85-го* (Молодая гвардия, 1990, № 2); *Это была боевая защита. Совет был старый, ортодоксальный, а тема — новая. Некоторые члены совета слова «тоталитаризм» выговорить не могли, а слова «партократия» вообще не слышали. Но проголосовали все «за»* (Вечерние ведомости, 1999, авг.); *Все еще есть те, для кого слово «нейджер» остается новым, им приходится объяснять все с самого начала* (Наша газета, 1998, апр.).

Рефлексивы, помимо функции маркирования нового слова, дают возможность синхронной реконструкции возникновения нового лексико-семантического варианта.

Например, возникновение нового ЛСВ у лексемы «авторитет»: *Я для нее был, извините, за грубое слово, авторитетом, но мы с ней разошлись* (РТР, Моя семья, 10.06.01); *А вообще-то я был известным человеком. Всегда приятно быть авторитетом, не уголовным, а в том смысле, что с тебя берут пример, уважают* (МК-Урал, 1999, апр.); *К сожалению, в нашем обществе все правила сдвинуты, царит правовой беспредел. Даже такое хорошее слово, как авторитет, у нас извращено* (КП, 2001, нояб.); — *Кто на сегодняшний день является для вас авторитетом? — Что вы имеете в виду под этим словом? — Человека, поступки которого являются примером. — Нет, такого человека у меня нет. И никогда не было* (АИФ, 2001, апр.) и т. д. В современном русском языке при наличии литературного варианта значения слова («лицо, пользующееся влиянием, признанием»: *Крупный авторитет в науке; Верить авторитетам*) становится широко употребительным жаргонная лексема «авторитет»: «пользующийся непререкаемой властью, влиянием в преступной социальной группе (часто о влиятельных ворах в законе)» [Словарь общего жаргона, 1999] при обязательной сочетаемости с дополнением или определением: *авторитет преступного мира; воровской, криминальный, преступный, уголовный авторитет*. Приводимые выше рефлексивные контексты позволяют утверждать, что отсутствие распространителей при лексеме не мешает говорящему воспринимать слово как жаргонное. Причиной такого коммуникативного сбоя является возросшая по экст-

ралингвистическим причинам частотность употребления жаргонной единицы, и мы не исключаем возможность дальнейшего объединения литературного и жаргонного слов в одну лексему с выделением коннотативного варианта с отрицательной оценкой.

Слово, появившись в языке, продолжает жить своей жизнью, обрастать фактами. Рефлексивы отражают процесс конвенциализации лексической единицы, ее включение в широкий социокультурный контекст: Слова «спонсорство» и «меценатство» за последнее десятилетие прочно вошли в лексикон человека бизнеса, да и в практику нашей жизни (АИФ, 2000, март); За 14 лет черныбыльские неологизмы «саркофаг», «ликвидаторы» и другие стали привычными (ОРТ, Время, 30.04.00); В нашей речи все прочнее стало укореняться жесткое и точное слово «беспредел» (МК, 1997, дек.); Устоялся термин: «Президент дал указание генеральному прокурору». Ни президент, вообще никто не вправе давать указания прокурору по расследованию (АИФ, 1999, май). Одним из показателей конвенциализации лексической единицы являются метаязыковые операторы: «как говорят», «как принято говорить», «говоря современным языком»: Пока же, как у нас сейчас говорят, бойфренда у меня нет (Там же, дек.); Мы искали долго кураж; любовь, как принято сейчас говорить, секс (В. Талызина, ОРТ, Доброе утро, 19.05.00); — Вы сами сконструировали свой, говоря современным языком, имидж? (МК-Урал, 2000, апр.); И та официантка, встретившаяся в кельнской кофейне, милая и даже красивая блондинка, в прошлом театральная, говоря современным языком, менеджер из Волгограда, приехавшая сюда с дочкой вслед за своей любовью... АИФ, 2000, дек.); Таким незатейливым образом дворник находит себе, говоря современным языком, спонсоров (МК-Урал, 2001, май); Как сейчас говорят, кастинг был долгий. Актера на главную роль искали долго (ОРТ, Новости, 13.07.01); По рейтингу, выражаясь современным языком, Владимир Высоцкий занимал первое место (ОРТ, Чтобы помнили, 21.01.99); Меня много раз уговаривали сделать, как это сейчас принято говорить, ремейк «Обыкновенной истории» или «На дне» (АИФ, 2001, апр.); Создаются некие холдинги, как сейчас говорят (ОРТ, Доброе утро, 03.05.01); Вообще у Васи была типичная внешность, как говорят сейчас, «лица кавказской национальности», хотя армянином он был только наполовину (КП, 2000, сент.); Кто-то раскручен, как сейчас говорят, а кто-то не раскручен (МК-Урал, 1999, нояб.); Неужели Генпрокурор не человек системы, а, как теперь выражаются, «отморозок»? (КП, 1999, март);

Но тем не менее с юридической точки зрения вы поступили за-па-до. Я человек очень старый, но владею современными терминами... (МК-Урал, 2001, май) и др.

Динамичность текущего момента является основной причиной сменяемости современного словаря. Переход слов из активного запаса в пассивный и наоборот — следствие активизации в социальном сознании реалий объективной действительности. Причинами ухода слова из словаря чаще всего являются причины экстралингвистического характера. В пассивный запас уходят слова, относящиеся к реалиям советской жизни и названные О. П. Ермаковой «архаизмами-советизмами» [Ермакова, 1995, 34—36]. Рефлексивы, помимо отражения эволюции словарного состава современного словаря, являются своеобразной хроникой общества, источником информации об изменениях в политической и экономической жизни России, а слова — «верным свидетелем наших дней минувших — часто забываемых, забытых, и дней настоящих — сути так быстро текущей жизни» [Брагина, 2001, 57]: *Старинное слово «манифест» всплыло накануне Пасхи* (РТР, Новости, 11.04.99); *Вновь явилось на свет Божий и уже почти подзабытое словечко — дефицит* (КП, 1999, янв.); *В лексикон вернулись слова «достал», «выбил», «взял с черного хода у знакомого завмага»* (МК-Урал, 1998, дек.); *Неделю назад в России, как и в начале века, вновь заговорили об «организованном рабочем движении».* *Словно из учебников по истории КПСС всплыли, казалось бы, уже канувшие в Лету слова: «стачком», «бунт», «Ленский расстрел»* (МК-Урал, 1999, окт.); *Из нашего обихода как-то незаметно исчезли некогда популярные словечки «коммунизм» и «социализм».* *Зато появились другие, например, «нанизм»* (АИФ, 1999, дек.); *Во время той чеченской кампании мы «восстанавливали конституционный порядок» (было такое выражение, вышедшее из моды и забытое одновременно со словами «демократия» и «свобода слова»)* (Новая газета, 2000, февр.).

Метаязыковой комментарий может впрямую указывать на принадлежность лексических единиц и фразеологических выражений к советской эпохе: *Как говорили раньше — на заботу «партии» ответим ударным трудом!* (МК-Урал, 1998, февр.); *Дальнейшее усовершенствование — это такой советизм* (ОРТ, МЫ, 25.08.97); *«Сулицы» могут взять на работу и «хозяйку офиса».* *Должность эта на рынке труда появилась сравнительно недавно и ничего обще-*

го с секретаршей не имеет. Говоря «советским языком», это должность завхоза и повара в одном лице (АИФ, 1999, окт.); — Вы не жалеете о том, что пришли во власть? — Не жалею, не плачу. Меня, как говорилось в советские времена, «выдвигали» (Там же, 2001, авг.).

Создание слова принимается и фиксируется членами общества как неразрывное единство двух сторон языкового знака — означающего и означаемого. Но прочное единство формального и содержательного в языковом сознании имеет относительный характер. Феномен метаязыкового сознания можно различать по объекту рефлексии — какие элементы словесного знака могут осознаваться, контролю сознания подвластна «членимость содержания и формы словесного знака» [Уфимцева, 1977, 35]. Рефлексивы в современной речи последовательно и широко комментируют формальную сторону знака. При оценке плана выражения лексической единицы говорящий обращается к двум аспектам формы: 1) к фоническим свойствам слова; 2) к внутренней форме слова, его мотивировочному признаку. Рассмотрим первый аспект формы слова, так как внутренняя форма слова отражает деривационный критерий коммуникативного напряжения и будет рассмотрена далее.

Оценка звуковой формы знака. Актуализация жесткой связи знака и денотата относится учеными скорее к сфере «языков-внушений», чем «языков-знаков» [см.: Будагов, 1978; Голев, 1993; Копачева, 1993]. Подчиненность фонетических средств задачам воздействия называют магией речи [Романенко, 2001, 227]. Хотя психолингвистические исследования показывают, что множественность параметров поиска слов в памяти предполагает чисто формальные (звуковые) признаки, и обращение говорящего к звуковой стороне слова обусловлено многоступенчатыми связями между единицами лексикона. В работе В. В. Копачевой, исследующей специфику формы условно-символических наименований различного рода учреждений, фирм, творческих коллективов и т. д., экспериментальным путем был сформулирован перечень эвфонических качеств новых эргонимов, предъявляемых к создаваемой номинации в качестве идеальных. Они должны легко произноситься и запоминаться. «Фоника имени создается относительной краткостью слов, сочетаемостью и качеством составляющих названия звуков» [Копачева, 1993, 90]. Информантами положительно оценивались короткие названия в 2—3 слога, что находится в русле

общей тенденции слоговой структуры русского языка (средняя длина русского слова — 3 слога). Предпочтения были отданы ассоциативным возможностям сонорных, гласных переднего ряда и гласному *a*, которые были названы «легкими», «светлыми» звуками, в отличие от «темных», «тяжелых», «безрадостных», к которым относились шипящие, свистящие, гласные *y*, *ы*. Фоника имени воспринималась информантами неосознанно и целиком. Подробное изложение результатов эксперимента вызвано тем, что наш материал подтверждает выводы автора об идеальных признаках формальной стороны знака. Скорее всего это общие признаки любой номинации, а не только условно-символической, при которых лексическая единица будет вызывать положительную оценку. Например: *Зеленый камень с труднопроизносимым названием хромдиопсид долгое время был известен только геологам. Почти сразу после открытия месторождения в Якутии специалисты принялись подыскивать самоцвету «нормальное» имя, чтобы не отпугивать людей таким названием* (МК-Урал, 2000, сент.); *На влюбленных лопухов яркие названия типа «мурена», «лагуна», «чароит» действуют завораживающе* (КП, 2000, апр.); *Аудио. Вообще это слово нужно запретить. Что это такое — а-у-дио?* (Устная речь на заседании кафедры, 16.01.01); *У американцев другая культура, другой менталитет, отвратительное слово. — Да, похоже на милиционер* (ТНТ, 28.02.99); *Дар — почему-то круглое набоковское слово к Эйдельману подходит больше прочих эпитетов, больше «таланта»* (Новая газета, 2000, апр.); *Еще месяц назад любой подросток ответил бы на вопрос «кто победит на выборах?» коротким, как жизнь сапера, словом «Путин»* (КП, 2000, март); *Говорю о театре, обвешемся брехтизацией: ужасное слово, однако не более чем ужасна сама повальная мода на «отчуждение». ... Именно это — и подобное — решаюсь назвать шекспиризацией: термин опять неуклюж, зато как драгоценно понятие* (Новая газета, 2000, февр.); *Хорошее слово. Короткое, яркое* (МК-Урал, 1999, сент.); *Земфира — приятное слово, красивое. Почему бы не назвать группу* (МК-Урал, 1999, июнь); *Карандаши назывались «им. Сакко и Ванцетти». Слово «Сакко» звучало неизбежной уличной грубостью, ничего не поделаешь. Зато «Ванцетти» были вкусными, как витаминки, и цветными, как эти карандаши* (Я покупаю, 2000, июль); *Я не буду готовить тебе щи. Терпеть не могу это слово — щ-щи! Как люди могут назвать еду «щи»?* (ОРТ, Пятый угол, 2001, дек.); *Р а з б а ш. Кто занимается*

у Вас промоушен, извините за это слово. — М а л е ж и к. *Я тоже не люблю американизмы в разговорной речи.* — Р а з б а ш. *Но у нас есть корявенькое русское — раскручивание.* — М а л е ж и к. *Значит плохо искали* (ОРТ, Час пик, 25.02.97). Содержание отнюдь не безразлично к форме его передачи, она является и способом «конструирования представления» [Ким, 1989, 64], поэтому форма оказывает значимое влияние на характер восприятия человеком языковой информации.

Если учитывать внутриязыковые факторы принятия/непринятия лексической единицы носителями языка, то рефлексивы позволяют сформулировать признаки, предъявляемые к идеальному слову: оно должно быть простым по форме, фонетически благозвучным и максимально содержательным (см., например, часто воспроизводимый рефлексив *короткое, но емкое слово*).

Чаще всего метаязыковому комментированию, наряду с фиксацией нового слова, подвергаются слова в период их активного функционирования в языке. Новое слово, превысившее «порог частотности» [Комлев, 1992, 187], становится популярным. Языковое сознание с завидной регулярностью отмечает слова, когда они становятся модными: *Человек, чье имя уже стало, как это модно сейчас говорить, «одиозным» в определенных кругах* (МК-Урал, 2000, июнь); *Как теперь модно говорить, я бизнесмен* (Там же, 1999, сент.); *Он, например, ехал в Париж, через месяц возвращался и свою золототкацкую фабрику пере... (сейчас это модное слово) перепрофилировал и стал производить кабель* (Там же, 2000, март); *Теперь в моде гордое имя — «хозяйственник»* (АИФ, 1996, дек.).

Феномен моды в языке. Это явление заслуживает особого разговора, поскольку мода занимает важное место в современном обществе и понимается как один из механизмов социальной регуляции и саморегуляции человеческого поведения. «Мода представляет собой коллективное подражание регулярно появляющимся новинкам» [Барт, 1997, 7], стремление к обладанию ими. Исследование общественной природы моды — традиционная проблема философских и социологических исследований [см., например: Парыгин, 1971; Орлова, 1989; Фишман, 1990; Гофман, 2000; *Мода: за и против*, 1973; Элькина, 1974; Килошенко, 2001 и др.]. Создание специальной теории моды, формирующей целостное представление о структуре моды и ее связях с другими явлениями дей-

ствительности, базируется на разных основаниях — социальном, экономическом, эстетическом, психологическом и т. д. Мода — результат действия совокупности всех факторов, обсуждаемых в разных концепциях моды [см.: Килошенко, 2001, 7—18]. Но прежде всего мода — это социально-психологический феномен, в основе распространения ее лежат психологические и социальные механизмы. В приложении к языковому материалу для объяснения факта существования модных слов за основу мы приняли теоретическую модель моды, предложенную А. Б. Гофманом в своей работе «Мода и люди. Новая теория моды и модного поведения» [2000]. По Гофману, теоретическая модель моды двухъярусна. Во-первых, она включает ядро модных ценностей, реальных регуляторов поведения, названных автором атрибутивными. Атрибутивными ценностями моды являются современность, универсальность, демонстративность и игра [см.: Гофман, 2000, 16]. Для участников моды атрибутивные ценности моды являются общими для всех, они определяют принадлежность того или иного объекта к разряду модных. Но за этим ценностным единством кроется многообразие ценностей, которые можно назвать внешними, или денотативными. Будучи внешними для структуры моды, денотативные ценности для субъектов моды составляют сильный мотивационный слой.

Покажем, как преломляются внутренние признаки модного объекта в слове, которое обыденное языковое сознание определяет как модное. Во-первых, модными словами называют новые слова, превысившие порог частотности, слова, ставшие популярными. Высокочастотные лексические единицы с элементом новизны обладают такими фундаментальными признаками модного объекта, как современность и универсальность. Прежде всего новое слово обладает признаком современности. «Наша культура принципиально темпоральна, и в ней быстрота изменения важнее укорененности, т. е. новое лучше хорошего» [Асс, 1997, 22]. Новое всегда имеет преимущество перед старым, вчерашним, устарелым. Современность вызывает в нашем сознании положительные эмоции и ассоциируется с прогрессивностью, готовностью к изменениям, к творчеству. Новизна — одна из главных ценностей современности.

Частотность употребления слова прямо пропорционально связана с его качественной характеристикой — активностью, т. е. с многочисленными и сильными связями слов в языковой системе

[см. об этом: Москович, 1969; Шмелева, 1993], и коррелирует с другой внутренней ценностью моды — универсальностью. С универсальностью связана такая черта моды, как массовость. мода носит глобальный характер, участники моды ощущают свою принадлежность к обширному, неопределенному целому. У русских существует представление о моде как об обычае, принятом за образец. Рядом с образцом сразу появляется тема социального подражания, воспроизведения, тенденция к социальному выравниванию, выводящему отдельного человека на общую колею: *Сначала он недвусмысленно дал понять Кремлю, что готов к конструктивному диалогу (надоела идиотская фраза, но куда не денешься)* (АИФ, 1999, окт.); *Я нашел одно модное слово и стал его использовать — я, ребята, в завязке* (ОРТ, Пока все дома, 25.01.98); *Аксессуары — очень важная часть имиджа (ох, не люблю я этого слова, но куда деваться). ...Для поднятия своего имиджа (все, последний раз, честное слово) лучше ездить не на такой машине, как у Вас* (Men's health, 2001, авг.).

За частотностью употребления слова стоят разные явления. Выше мы отмечали, что в основе активного употребления «слова-хронофакта» лежат внеязыковые причины, «в определенный отрезок времени слова приобретают исключительно важное значение и благодаря своей актуальной семантике становятся популярными у носителей языка» [Фомина, 1995, 208]: *В августе 98-го года наш лексикон обогатился модным словечком «дефолт»; В 1992 году появилось громоздкое словосочетание «приватизационный чек», затем начинают использовать непонятное «ваучер», но к нему быстро привыкают, и оно становится модным; В 1997-м даже бабушки знали и обсуждали модное словечко «деноминация».*

Указанные выше два признака слова — новизна и массовость употребления — являются достаточными для обыденного языкового сознания, чтобы считать эти единицы модными. Наряду с широким пониманием модного слова обыденным сознанием, существует точка зрения лингвистов, изучающих феномен модного слова, которые сужают это понятие. Они утверждают, что «модное слово не может обозначать новый денотат, оно всегда является новым обозначением известного явления» [Титкова, 1998, 151; см. об этом также: Розен, 1991, 145—146]. Охарактеризуем данную примету модного слова как один из ценностных компонентов модного объекта.

Модность словоупотребления может определяться и собственно языковыми причинами. Скоротечность жизни слова часто определяется эстетической потребностью говорящего к обновлению речи. Эта потребность реализуется в смене тела, формы языкового знака при тождестве содержания и определяется другой ценностью моды — игрой, которая является универсальным элементом культуры. мода циклична, прерывиста. Эстетика обновления формирует определенный «модный знаковый спрос», которому противостоит «модное знаковое предложение» со стороны культурных образцов, еще не ставших модными. Знаковый износ определяет потребность в замене знаковых средств и стимулирует поиск и отбор иных лексических единиц. Зачастую обновление форм приводит к обогащению содержания слова [см.: Колесов, 1999, 118]. Смена номинации постоянно фиксируется в метаязыковом сознании говорящего. Языковое сознание выполняет в этом случае функцию идентификации, восстанавливая связь времен, через новую лексическую единицу осуществляет привязку реальных фактов истории к общественному опыту современности. Помещенные в один контекст метаязыкового комментирования временные синонимы способствуют новой интерпретации фактов истории, новому ракурсу на эти факты, акту нового называния «отождествляется с актом познания» [Арутюнова, 1977, 334]. Приведем ряд рефлексивов подобного типа: *Раньше таких людей называли администраторами, сейчас — модным словечком «продюсер»* (КП, 1999, нояб.); *На первом выборном съезде Горбачев спасает себя от расправы, от импичмента, как сказали бы сейчас* (НТВ, 25.05.99); *Смотрит Петр на столы, исполненные в духе эпохи великого царя-преобразователя, да на стенники, что теперь называют «бра»*. «Они же на стене крепятся, отсюда и стенники», — объясняет Глазунов (МК-Урал, 1999, июнь); *Она вершит правосудие с решительностью бывшего вохровца, ныне почтительно именуемого «секьюрити»* (Общая газета, 1999, дек.); *То, что на рекламном языке называется «слоган», а в старину называлось «девиз»* (Уральская жизнь, 1999, авг.); *Он по-прежнему излучает то знакомое с юности обаяние, харизму, как теперь говорят* (КП, 1999, февр.); *Любой, кому за сорок, помнит эти хиты советской эпохи (в ту пору они назывались шлягерами)* (Там же, 1998, окт.); *Что же до «лиц кавказской национальности», то в Москве моего детства все они считались «грузинами»* (Новая газета, 2000, февр.); *По большому счету я работаю*

(раньше говорили «служу») в театре (4 канал + все ТВ, 2000, март); «Элита» — это такое слово-масхалат, которое любят набрасывать на себя те, кого раньше называли партхозактивом. Люди во власти. Начальники. Большие и очень большие (МК-Урал, 2001, февр.); Дубинин делает неожиданный ход (сегодня его бы назвали блестящим пиаром) (МК-Урал, 2001, авг.); Теперь она реализатор на вещевом рынке (по-старому — просто продавец) (АИФ, 2000, июнь).

Последняя внутренняя ценность моды — демонстративность имеет корни в биологических аспектах своего существования, в стремлении быть внешне привлекательным для другого. мода — одна из форм коммуникации, и демонстративность способствует быстрой и экспрессивной демонстрации своего «я». Для современной эпохи с ее динамизмом характерна непродолжительная и поверхностная коммуникация, где модное слово становится маркером благодаря своей демонстративности. Наличие демонстративности обусловило то, что моду относят к поверхностным сторонам человеческого существования, поскольку в моде «быть» и «казаться» практически совпадают. Именно поэтому мы обратили внимание, что всему массиву рефлексивных высказываний, оценивающих лексическую единицу как модную, присуща дополнительная аура, передающая чувство-отношение к данному слову в диапазоне неодобрения. Этот негативный оттенок часто проявляется через употребление диминутивных единиц «словечко», «словцо», которые встречаются наряду с нейтральной единицей «слово». Исследователи отмечают особую роль в создании эмоциональной нагруженности текста субъективно-оценочных существительных [см.: Рудник-Карват, 1998]. Диминутивы являются одним из ярких знаков наших эмоционально-оценочных состояний и отношений: *Модное словцо «любер» превратилось в изрядно раскрученный лейбл, под которым в Люберцах стали проходить соревнования по тяжелой атлетике и бодибилдингу (МК-Урал, 2000, янв.); Раньше их называли просто «певец» или «певица». Теперь употребляют модное словечко «проект». Каждый год на нашей эстраде появляются десятки новых «проектов» (Там же, март).* Действенными операторами оценки, как мы отмечали выше, являются также глаголы *не люблю, не нравится*, наиболее индивидуализированные предикаты сенсорно-вкусовой оценки: *Вы знаете, мне не очень нравится модное слово «стилист», поэтому я предпочитаю называть себя парикмахером-модельером (Там же, 1999, нояб.); Вообще я терпеть не*

могу модное слово «имидж» — не наше слово, не русское. Лучше, по моему, — образ (МК-Урал, 2000, нояб.).

Представляется, что причины предвзято негативного отношения к модному слову нужно искать в особенностях русского характера. Во-первых, для русского человека сущностные признаки явления всегда важнее внешней стороны, поэтому неосознанному осуждению подвергается одна из атрибутивных ценностей моды — признак демонстративности. Мода не может быть скрытой, она всегда на виду. Потому что моду относят к поверхностным сторонам человеческого существования, «мы и можем получать удовольствие, одновременно мы и глубоко страдаем от связанного с этим распада рациональности, когда разум попадает во власть простого, чистого чередования знаков» [Бодрийяр, 2000, 170]. Во-вторых, массовое подражание какому-либо модному образцу создает стандартность употребления слова, которая часто осознается как симптом нарушения языковой экологии. Русским человеком стандартность воспринимается как недостаток. См., например, рефлексив по поводу слова «стандарт»: *Слово «стандарт» у нас не любят, и это вполне естественно для страны, где национальным развлечением являются вечные поиски «третьего пути». Впрочем, слово и впрямь унылое. Кому хочется жить по стандарту, одеваться по стандарту, работать по стандарту, учиться по стандарту?* (МК-Урал, 2000, апр.).

Все участники моды следуют одним и тем же стандартам, обозначающим одни и те же атрибутивные ценности. Но за этим ценностным единством кроется многообразие ценностей, которые мы, вслед за Гофманом, назвали внешними (денотативными). Решение «за» или «против» модного слова принимается неоднозначно, и за оценочным компонентом в структуре рефлексивного высказывания кроется множество «я» со своими устремлениями и интересами. Участники моды по-своему истолковывают те или иные атрибутивные ценности. Будучи внешними для структуры моды, денотативные ценности в то же время «составляют наиболее сильный мотивационный слой» [Гофман, 2000, 32]. Многие оценки зависят от прагматически релевантных характеристик членов социума — возраста, пола, образования, социальной ориентации.

Если обратиться к языковой практике современной России, можно выделить ряд модных тенденций в современном русском

языке. Они особенно остро проявляются на современном этапе развития, поскольку для него характерна усиленная тенденция обновления языка в связи с переходом к новым видам общественно-экономических отношений, характерна склонность к переименовыванию «старого» новыми именами. Мода обеспечивает возможность разрыва с ближайшим прошлым. С одной стороны, желание уйти от словоупотреблений советской эпохи, а с другой стороны, ориентация на западные ценности, чрезмерное увлечение английским языком — именно эти два основных фактора, связанные между собой, определяют динамику модных языковых изменений в современном русском языке.

Стремление уйти от канцелярских оборотов советского языка, от обезличенных официально-деловых штампов приводят к тому, что современная говорящая Россия, кроме иностранных слов, стала увлекаться сниженной разговорной лексикой, основу которой составляет общий жаргон: *Та же богема, а сегодня тусовка, — вполне мифологическая конструкция* (Художественный журнал, 1997, № 18); *В предвыборные денечки на потенциальных избирателей вывалили такую кучу г..., извините, информации, что впору растеряться* (МК-Урал, 1999, дек.); *Ответ вы найдете в любой брошюрке по психологии для лохов (пардон, для неспециалистов)* (Там же, 2000, сент.).

В основе распространения моды лежат психологические механизмы, а именно: внушение, подражание, идентификация. Эффект эмоционального заражения, внушения основан на авторитете, доверии к источнику информации. В основе механизма подражания лежит эффект просачивания вниз, низшие по социальной лестнице подражают высшим, провинция — центру и т. д. Подтверждением действия этих механизмов может быть следующий языковой факт. В следующем подразделе мы обратимся к характеристике бурной негативной реакции общественности на употребление В. В. Путиным сниженного оборота «мочить в сортире», неуместного в официальной речи. Прошло почти три года после этого языкового факта. Все последние современные контексты подтверждают широкую употребительность глагола *мочить* (*замочить*) в значении «убить». Иронический контекст к настоящему времени практически исчез, а слово стало восприниматься как разговорное. В качестве примера приведем контекст из сентябрьского номера газеты «Аргументы и факты» за 2001 г., где лидер

партии «Яблоко» Г. Явлинский употребляет это выражение без всякой иронии: *«Израиль со своей мощью давно бы мог устроить палестинцам полномасштабную войну, замочив всех без разбора. Но они предпочитают убивать главарей, а не мирное население»* (АИФ, 2001, сент.).

Модным ореолом престижности обладают и иностранные, заимствованные слова, особенно малознакомые большинству членов социума. Отношение к иностранному слову на протяжении истории русского литературного языка всегда было противоречивым и выстраивалось как оппозиция принятия — непринятия иностранного слова. В определенной степени мода на иностранное слово определяется психологическим климатом эпохи, социальным критерием концептуального напряжения (см. анализ этого явления в следующей главе).

Рефлективы текущего момента отражают приоритетный характер русского слова перед иностранным: *Слово «бизнесмен» мне не нравится. Есть же русские слова — купец, предприниматель, лавочник* (ОРТ, Час пик, 15.12.96); *У нас никогда не было слова «телохранитель». Оно мне и не нравится. У нас есть слово «охранник»* (ОРТ, Как это было, 07.11.99); *Поганое слово появилось — «секс-символ». А раньше какое слово-то было — «герой»* (ОРТ, Чтобы помнили, 15.09.99). Хотя экзотическое происхождение модного слова может быть и источником привлекательности: *На влюбленных лопухов яркие названия типа «мурена», «лагуна», «чароит» действуют завораживающе. Конечно, какой-нибудь «ВАЗ-21083-Торнадо» звучит аппетитней, чем «красное зубило». А между тем речь идет об одном автомобиле»* (КП, 2000, апр.).

При длительном употреблении модного слова оно начинает оцениваться как негативное явление, смена положительной оценки на отрицательную сигнализирует о возможной смене модного стандарта, поскольку «мода сдается своего рода суицидальным желанием, которое реализуется в тот самый момент, когда она достигает своего апогея» [Бодрийяр, 2000, 171]: *Еще 5 лет назад было модно слово «консенсус» — оно просто всех, что называется, достало. А сейчас его и не слышно* (КП, 1998, февр.); *Народ... От частого и бессовестного употребления слово это так истерлось, истрескалось и выцвело, что теперь невозможно определить его истинное значение* (Россиянин, 1993, март); *«Правовое государство» — заезженное словосочетание, набившее оскомину* (ОРТ, Час пик, 17.12.97); *От слова «центризм» избирателю, похоже, скоро*

будет становиться дурно — настолько умудрились затаскать этот термин в последние месяцы (МК-Урал, 1999, июль). Слово, выходя из разряда модных, может переместиться в пассивный запас языка либо, потеряв свой модный ореол, стать нейтральным.

Итак, подведем итоги проведенным наблюдениям. Метаязыковые высказывания вербализуют обыденное языковое сознание и позволяют выделить ядерные зоны знания о динамике языка, которые являются существенно важными в речевой деятельности современной языковой личности. Анализ рефлексивов позволяет сделать вывод, что самонаблюдение над языком субъекта речи обращено к пониманию природы и механизмов порождения и функционирования речи. На базе рефлексивов возможно выявление взаимодополняющих противоположных тенденций внутри динамической системы языка, победа одной из которых осуществляется скачком. Укажем некоторые из них: стабильность и изменчивость, экспрессивность и стандартность, мода на словоупотребление и идиосинкразия на слово; неразрывная связь плана выражения и плана содержания словесного знака и относительное существование и развитие каждой из сторон знака.

Высказанная обыденная рефлексия по поводу динамики слова в языке — это интерпретация, которая помогает не только сориентироваться коммуникантам в процессе общения, но и выявить определенные стадии жизни слова в языке, к которым относятся 1) фиксация первого знакомства со словом; 2) стадия интереса, стремления познать лексическую единицу; 3) период активного функционирования слова; 4) стадия стабилизации, потери исключительности; 5) возможное исчезновение вследствие замены либо возможное возобновление, обусловленное общественными потребностями. Каждый этап жизни слова сопровождается многообразием выражения оценочного отношения субъекта речи к употребляемой единице, которое относится в большей мере к концептуальной сфере языка.

Стилистический критерий

Метаязыковая способность языковой личности вербально реагировать на стилистически маркированную единицу, включаемую в текст, интенсивно проявляет себя в современной публицистике. Коммуникативные рефлексивы в изоляции от текстов, в которых

они употребляются, образуют особого рода дискурс, отражающий формирование стилистических норм нового времени.

Русский язык, дискурс, отражающий коммуникативные стратегии языковой личности, на рубеже веков приспособляется к переменам в жизни общества, чутко реагирует на изменения в социуме. «Своего рода лабораторией, в которой возникают и опробуются стилистические инновации литературного языка» [Цоллер, 1993, 73], является язык публицистики, которому в значительной степени свойственна экстралингвистическая зависимость.

Ученые отмечают общую тенденцию к стилистической сниженности речи. Существенной приметой этого процесса является «отказ от прежней официозности» и «усиление разговорной струи, экспрессивной составляющей текста» [Сиротинина, 1999, 16], при этом «обычное разговорное теснит нормативные варианты» [Колесов, 1999, 145]. Либерализация норм литературного языка обусловила использование сниженной лексики (просторечной, жаргонной и арготической, грубо вульгарной) не только в устной, но и в письменной форме речи. Ученые, метафорически осмысливая сложившуюся ситуацию, говорят об ухудшении лингвистического здоровья общества, «детской болезни увлечения жаргоном, инвективной лексикой», «вирусе разрушения». Экспансия разговорных средств обозначается в литературе с помощью гипербол: «волна разговорности буквально захлестнула» язык и перерастает в «вал разговорности», наблюдается «массированное вторжение разговорной стихии в узус репрезентативного языкового употребления» [Нещименко, 2000, 117]. О невзыскательности нынешнего языкового вкуса и торжестве «третьей культуры» пишут В. Г. Костомаров [1999], Л. Ферм [1994], В. Шапошников [1998] и др.

Масштабность трансформации публицистических текстов осмысляется как диалектический процесс: «с одной стороны, по сравнению с тоталитарно-административной системой происходит демократизация языка, что должно рассматриваться как положительное явление, с другой же стороны, демократизация языка перерастает в своеобразную языковую вседозволенность со всеми ее негативными последствиями» [Ширяев, 2000, 198], «в разнузданность» [Земская, 1997, 200], в вульгаризацию, которая трактуется как «издержки общего процесса демократизации русского литературного языка» [Сковородников, 2000, 156]. Отсюда полярные оценочные характеристики стилистических изменений в современном

русском языке: с одной стороны, либерализация, демократизация языка как «форма языкового сопротивления» [Купина, 1999, 7]; с другой стороны, вульгаризация, люмпенизация и даже криминализация языка. Таким образом, на современном этапе развития русского языка динамизм языковых норм, отражающий действие одного из законов диалектики — единства и борьбы противоположностей, — проявился, в частности, в разрешении одной из языковых антиномий между стандартом и экспрессией в пользу последней.

Констатация тенденции к стилистической сниженности речи, выводы о стилистической нейтрализации (стирание стилистической окраски) разговорной лексики воспринимаются как загрязнение языка, «временная атрофия эстетического компонента нормативной оценочности» [Бурукина, 2000, 32]. Многие факты литературной речи, «одобряемые современной нормой, в прошлом могли оцениваться как неправильности» [Крысин, 2000, 105]. Именно поэтому предлагаются различные варианты решения культурно-речевых проблем: «Наше время — время новой социологической и нормативной этики и эстетики. Нам необходимо поэтому представлять учение о культуре речи как об орудии социальной солидарности и симпатии» [Граудина, 1996, 172].

«Высокодинамический тип эволюции» [Там же, 413] стилистических норм привел к возрастанию роли метаязыковой деятельности носителя языка, дающего оценку употребляемому знаку с точки зрения уместности употребления в конкретных ситуациях общения. Анализ речемыслительных процессов, связанных с нормативно-стилистическим выбором, находится в контексте современных исследований, ориентированных на производителя речи.

Одной из функций языка как объекта языкового сознания является оценочная функция, суть которой — оценка языковых единиц «в нормативном, стилистическом, эстетическом, темпоральном аспектах» [Ейгер, 1988, 59]. Оценка речи, по Шварцкопфу, это «реакция говорящих и слушающих (пишущих и читающих) на использование языковых средств в процессе функционирования речи, оценочные характеристики, даваемые в процессе речи ее участниками, относящиеся к ней самой (чужой и своей) и эксплицитно в ней выраженные» [Шварцкопф, 1996, 415]. Наш материал позволяет утверждать, что языковая личность в любую эпо-

ху развития родного языка, а в переломную особенно, не теряет своей «языковой бдительности».

Объектом нашего исследования в данном подразделе являются коммуникативные рефлексивы, которые относятся к стилистической критике уместности/неуместности употребления слова, свидетельствующей о размывании границ функциональных стилей и расшатывании литературной нормы.

Как мы указывали выше, польза языковой нормы состоит в том, что языковой стандарт, будучи устойчивым и повторяемым, усваивается носителем языка и обеспечивает автоматизм речевой деятельности, экономит усилия при порождении и восприятии речи. Разрушение языкового стандарта за счет включения в речь стилистически маркированной единицы приводит к нарушению автоматизма речевого производства. Процесс становится осознанным, происходит интеграция бессознательного и осознаваемого.

Как автоматические, так и осознанные процессы порождения речи предполагают наличие разных степеней постоянного контроля за речевой деятельностью. «В языковом сознании существует блок контроля, который поддерживает мышление говорящего в состоянии «языковой бдительности» [Шварцкопф, 1971, 9]. В языковом сознании говорящего всегда идет сопоставление данного факта речи с нормативным эталоном. Этот сложный по природе процесс обычно сжат во времени и замедляется при переходе с низшего уровня бессознательного на высший, в сферу осознания.

Исследование естественного речевого процесса, посредством которого «облако мысли проливается дождем слов» (Л. С. Выготский), недоступно глазу исследователя, но о нем можно судить по эксплицируемым в речи метаязыковым оценочным высказываниям, и в этом видится вспомогательная «методологическая роль оценок» [Шварцкопф, 1996, 420]. Речево-мыслительные процессы, ориентированные на нормативно-стилистический выбор, будучи наименее автоматизированными, протекая под большим контролем сознания, «способны относительно легко перестраиваться в соответствии с новыми требованиями, продиктованными обществом» [Мечковская, 1994, 141]. При этом эксплицированные оценки речи напрямую связаны с сознательно-культурным началом в языке.

Активизация исследовательского интереса к оценкам речи сопровождается обостренным вниманием к проблемам культуры

речи. Б. С. Шварцкопф [1996] выделяет несколько этапов активного изучения учеными метаязыковой деятельности говорящих. Первый этап относится к 1920-м годам, когда в работах ведущих лингвистов Л. П. Якубинского, А. М. Пешковского, Г. О. Винокура, Л. В. Щербы рассматривалось оценочное отношение носителя литературного языка к языковым свойствам, обращалось внимание на природу оценочного чувства правильности/неправильности речевого высказывания. Именно языковая ситуация 20-х годов, когда особенно рельефно проявлялись колебания в речевом употреблении под влиянием революционных потрясений, обусловила всплеск борьбы за чистоту литературного языка. Второй этап приходится на 1960-е годы. На фоне широкого усвоения норм литературного языка идет стилистическая дифференциация средств литературного языка, наблюдается стремление общества освободиться от «канцелярита» (К. Чуковский). Именно в эти годы складываются социолингвистические методы исследования литературного языка, формируется культура речи как самостоятельная лингвистическая дисциплина. Создание теории культуры речи требовало учета реального представления о культурно-речевом состоянии литературного языка, которое можно воспроизвести в опоре на оценки речи. Именно в эти годы В. В. Виноградов обратился к понятиям «языковое сознание» и «оценка речи». Проблемы культуры речи занимались такие ученые, как С. И. Ожегов, В. Г. Костомаров, В. Д. Левин, В. А. Ицкович, Л. И. Скворцов, Л. К. Граудина, К. С. Горбачевич и др.

Культурно-речевая ситуация в современной России знаменует новый этап обращения исследователей к рефлексивной деятельности говорящих. Этот этап совпал с формированием когнитивного направления в современной лингвистике, которое сосредоточивает внимание на «познавательных, ментальных, интеллектуальных и т. п. процессах» [Кубрякова, 1995, 189], а поскольку эти процессы осуществляются с помощью языка, то и наука не может развиваться без анализа порождения и восприятия речи. Таким образом, включение говорящего, языковой личности в лингвистику означает, что язык принадлежит личности, осознающей себя в практической деятельности. Субъективный и непреднамеренный характер оценок речи отражает ценностную ориентацию языковой личности и является одним из существенных элементов культурно-речевой ситуации.

Дифференциация современного социума по культурно-речевой эрудиции позволяет выделить носителей элитарной и среднелитературной речевой культуры, для которых слово является «поступком в личной жизни» (Г. О. Винокур). Безусловно, в речи этих людей отражаются живые стилистические процессы современного языка. Этому способствует, во-первых, «глубокая ментальная потребность людей говорить на двух языках» [Степанов, 1997, 727], кодифицированном (нормативном) и сниженном (ненормативном); во-вторых, для образованного человека свобода к творчеству выражения обнаруживается «в стремлении не быть вполне нормативным и не быть неправильным» [Степанов, 1997, 718]. И здесь на первое место выступает такой фактор языковой нормы, как языковой вкус (целесообразность, мера), проявляющийся, кроме всего прочего, в осторожном вводе «сильной» лексики, в постоянном ощущении тонкости границ допустимого диапазона, в стремлении не выйти за пределы «зоны безопасности» (Н. В. Черемисина).

Поскольку носитель литературного языка по сути своей диглоссичен, он обладает способностью к кодовым переключениям в зависимости от ситуации общения. Эти кодовые переключения носят автоматический характер. Автоматизм речепроизводства обеспечивается нормами кодифицированного литературного языка, которые хранятся у образованного человека в долговременной памяти — подсознании. В условиях спонтанного речевого акта уровень владения литературными нормами определяется степенью автоматического владения механизмами родного языка.

Смена стилистических стереотипов, изменения в стилистических нормах дают сбой в работе подсознания, в работе на «автопилоте». Переход на «ручное управление», на уровень сознательного отбора сниженной лексики заставляет говорящего мотивировать свой выбор. «Избыток чуткости к священному достоинству» языковой нормы (С. Аверинцев) усиливает метаязыковую деятельность говорящего/пишущего, поскольку в предпочтении одного языкового средства другому, в степени осознанности выбора предстает автор рефлексивного высказывания, переживающий степень соответствия/несоответствия определенным нормативно-ценностным представлениям. При этом оценка рассматривается «как своего рода лифт-посредник из подсознания в сознание, из природы в социум» [Выжлецов, 1996, 38]. В дискурсе языковой личности эксплицируется стилистическая характеристика факта речи.

Отметим типы эксплицированных оценок речи, комментирующих стилистический выбор говорящим сниженного слова.

1. Предпочитая сниженное слово нейтральному, носитель нормативного литературного языка испытывает культурно-речевой дискомфорт. Ему приходится виниться. Говорящий делает попытку изгладить деликт, или нравственную вину [Верещагин, Костомаров, 1999, 9], совершаемую в слове. Выбор грубого (по оценке производителя речи) слова (выражения) в ситуации предполагаемого нормой эмоционально-экспрессивного нейтрального варианта сопровождается формулами извинения: Например: *Наша семья, простите за грубое слово, на самом деле — в ы р о д о ч н а я* (МК-Урал, 2000, март); *Извините за грубое выражение, у нас либо по ф и г у, либо по блату* (Час пик, 11.02.97); *Не хотелось бы употреб- лять грубое слово, но ближайшая родственница Николая П. по про- сту о п л о ш а л а* (АИФ, 1998, июль); *Рядом должна быть очень сильная команда. Чтобы она не пристраивалась, извините, к за д- ни ц е* (Там же, 1999, дек.); *Академия наук с финансированием си- дит, простите, в глубокой заднице* (МК-Урал, 1999, июнь). *В итоге в коллекции Юдашкина смокинг оказался надет на, простите, п о- п у* (АИФ, 1999, дек.); *В предвыборные денечки на потенциальных избирателей вывалили такую кучу г..., извините, информации, что впору растеряться* (МК-Урал, 1999, дек.). Иногда говорящий винится не за грубое, а за ощущаемое как не вполне позволительное в данной официальной ситуации слово: *Мы не собирались с м ы т ь с я, извините за это слово* (ОРТ, из интервью с космонавтом, 16.08.97); *Если это будет международный тре н, простите меня...* (Г. Селезнев, в интервью с журналистами, 03.02.98); *...Чтобы не очутиться в л е в о м, извините за жаргонное выражение, учебном заведении* (Человек и закон, 20.06.97).

Чаще всего метаоператоры представляют собой этикетные клише, готовые формулы (*извините, простите за ...*), вводимые в текст при употреблении табуированной лексики. Парадокс заключается в том, что, извиняясь, говорящий тем не менее употребляет ненормативную лексику. Рефлексив при этом сигнализирует о выборе эмоционально-экспрессивного варианта как предпочтительного, прямо выражающего отношение автора речи к обозначаемому, о начале процесса детабуизации сниженного слова. Формирование устойчивых, клишированных метаоператоров позволяет говорить о вторичной автоматизации вербализованного сознатель-

ного контроля, когда он становится одним из постоянных условий употребления сниженной лексики в кодифицированном языке.

2. Говорящий, сопротивляясь бурной стихии просторечной и жаргонной лексики, чаще всего мотивирует выбор единицы социально ограниченного употребления отсылкой к коллективной точке зрения, к третьей культуре, «прячется» за чужую речь. Чтобы не стать жертвой дурновкусия, носитель литературного языка свою свободу в стилистическом аспекте реализует в совмещении своей и чужой речи. Например: *Как добиться богатства без халевы, говоря народным языком?* (Час пик, 08.12.97); *Мальчишки... истоиво возбуждают свою плоть, предаются мастурбации, говоря попростому, — дрочат* (А. Кончаловский, «Низкие истины», 1998); *Колкой дров солдаты не только греются, но и лечатся от спермотоксикоза (чисто армейский термин)* (АИФ, 2000, янв.); *На Москву тоже наехали, выражаясь жаргонным языком* (Час пик, 04.09.97); *...Отдельные перекосы, вызванные их одержимым стремлением к прекрасному (в их понимании, конечно). Или, в просторечии, на понты корявые* (АИФ, 2000, март).

Игра точкой зрения ориентирована на коммуникативного партнера, который должен понять, что адресант остается в общей для обоих социально-культурной общности, хотя и использует специфические элементы других субъязыка и субкультуры. Оппозиция «свой» — «чужой», развиваясь, не переключает коммуникацию в пространство чужой культуры. Ориентация на чужое слово имеет определенный подтекст: «Я прекрасно знаю, что, применяя данное языковое средство, я рискую подвергнуться осуждению за то, что употребил нелитературное выражение. Учитывая это, я принимаю меры предосторожности, предупреждаю критику по моему адресу, ввожу формулу: «как говорят...». Теперь всем ясно, что это выражение не свойственно моему лексикону, а если я и употребляю его, то только потому, что оно весьма выразительно и подходит к тому, что я хотел сказать; но при этом я отдаю себе полный отчет в характере данного выражения, если хотите, я его цитирую» [Шварцкопф, 1970, 293]. Иногда в рефлексивах подчеркивается меткость стилистически сниженного элемента, что фактически «пропускает» данную единицу в литературную речь: *Этому серьезному информированию и комментированию противостоит стихия, иначе не скажешь, тусовочности* (Русская журналистика, 1996); *Можно сказать, искусство находится в яме, если*

не сказать еще более круто (Э. Рязанов, 25.05.98). Приведенные рефлексивы констатируют характерную для современного языка несдерживаемую речь, манеру усиленного наименования.

К этой же группе можно присоединить коммуникативные рефлексивы, которые комментируют слова с функционально-стилевой окрашенностью, маркируют употребление иностилевого элемента, чаще всего из терминологической сферы. Использование «чужой» лексической единицы может затруднять общение, и адресант разъясняет «чужой» смысл: **В жаргоне следователей есть такое слово: «раскрываемость». Некрасивое, громоздкое, но смысл хороший. В переводе на общечеловеческий означает «количество раскрытых преступлений». Или еще — возможность раскрыть** (МК-Урал, 2001, февр.); **Но пока это только сценарий — теперь нужно переводить на пленку, говоря кинематографическим языком** (МК-Урал, 2000, июль); **Научная же школа Сигурда Оттовича, говоря математическим языком, есть величина постоянная** (Новая газета, 2000, май); **Казалось бы, президента, без которого не обходится ни один выпуск новостей, страна должна знать как облупленного. Но, говоря языком политехнологов, мы чаще всего видим лишь Путина-функцию** (МК-Урал, 2000, нояб.); **Даже драматический актер может выйти на сцену и сыграть, как говорят в театре, вполне: всякое бывает, перепил вчера, или дома нелады, или, в конце концов, простужен — ну нет куража. А в цирке вполне не получится** (АИФ, 2001, март); **Он стал первым, начав продавать акции всем желающим, — иными словами, совершил, на финансовом языке, «публичное размещение акций»** (МК-Урал, нояб.); **«Штакетником» профессионалы называют штрих-код на своем рабочем жаргоне** (МК-Урал, 2000, июль). Подобное включение языка «другого» в свой текст, кроме разъяснения, может преследовать ряд других целей [см. об этом: Михайлова, 1996, 155]: во-первых, переход на «чужой» язык связан фактором темы, адресант нацелен на передачу «чужого смысла» с помощью субъязыка данной сферы знаний; во-вторых, автор создает иностилевой контраст, который подчеркивает специфику передаваемой информации, становится «маркером чужой речи» [Арутюнова, 2000б, 437]. Столкновение в публицистическом тексте двух сфер языка — книжной и разговорной — позволяет адресанту подчеркнуть культурно-речевую необходимость ясного изложения любой темы, стилевую отчужденность книжных форм выражения: **Я хочу показать вам репрезентативную выборку. Я го-**

ворю эти ужасные слова, так как мне сказали, что я должен точно назвать эту выборку по рейтингу политиков (ОРТ, Время, 07.11.99); Совет один — пусть удовольствие будет удовольствием, а не справлением супружеского долга (слова-то какие!) (МК-Урал, 2001, май); — *Так кем же вы себя ощущаете? Вы критик, театровед, автор передачи? — Я не критик, не театровед. Я ведущий телевизионной программы. У меня замечательное образование, но в профессии оно мешало. ГИТИС дал владение театроведческим языком, но на телевидении владения этим языком не требуется. Программа делается для широкого круга зрителей. С ними надо разговаривать на человеческом, а не на птичьем языке* (АИФ, 2001, март).

3. Аргументацией употребления сниженного слова, представленной в рефлексиве, может быть ссылка на частотность употребления единицы («все так говорят»), ссылка на языковую моду. Феномен моды в языке сложен и определяется многими причинами, такими, например, как эстетическая потребность в обновлении формы знака, развитие сочетаемости, изменение круга бытования слова. На первом этапе вхождения сниженной единицы в общий лексикон необходима фоновая поддержка в виде рефлексива: адресант через рефлексив «все так говорят» распространяет степень нравственной вины на все общество в целом. В то же время он занимает позицию активного носителя языка — «такого, как все», речевой опыт которого свидетельствует о высокой употребительности нелитературного варианта. Подобные рефлексивы демонстрируют готовность говорящего усмотреть возможность разных взглядов людей на одну и ту же ситуацию, на одно и то же слово, подчеркивают свободу говорящего в стилистическом выборе и в то же время показывают произвольное подчинение языковой моде. Они свидетельствуют о взгляде на обычное, привычное как хорошее и правильное (см. отражение позитивного отношения к нормам «людей» в современном употреблении словосочетаний *как у людей, по-людски* или негативного отношения к людям, не вписывающимся в нормы группы: *высочка, отщепенец, тот, кто высовывается, выпендривается*) [см.: Васильева, 2001, 85].

В свою очередь, принимая частотную сниженную единицу, адресат включает ее в свой индивидуальный лексикон, а когда выступает в позиции адресанта, стремясь «скоординировать свой

личный опыт с опытом других людей, что является неотъемлемым аспектом языковой сущности каждой личности» [Гаспаров, 1996, 17], способствует ее дальнейшему распространению. Во взаимодействии позиций говорящего и слушающего осуществляется вхождение ненормативной единицы в литературный лексикон. Критерий употребительности позволяет воспринять единицу как возможную в нормативном ряду, поскольку массовая и регулярная воспроизводимость — признак, характерный для всех норм «второго порядка» (М. М. Маковский). Обычное говорение устраняет личностные особенности речи в пользу массового, принятого всеми, модного. Так, в восприятии коммуникантов осуществляется центростремительный процесс: перемещение нелитературных единиц в литературный язык. Проиллюстрируем данный тип эксплицирования оценки: *Как принято говорить, они парили мозги охране* (Детектив-шоу, 04.03.00); *Один из авторитетных людей, как это модно сейчас говорить, заказал убийство* (РТР, Вести, 10.03.00); *Неужели Генпрокурор не человек системы, а, как теперь выражаются, «тморозок»?* (КП, 1999, март); *...кто-то раскручен, как сейчас говорят, а кто-то не раскручен* (МК-Урал, 1999, нояб.); *Технического директора, как сейчас принято говорить, достают* (Человек и закон, 06.01.99); *Я нашел одно слово, оно модное сейчас, я, ребята, в завязке* (Пока все дома, 25.01.98); *И в Минобороны, и в МВД уже не скрывают, что у них есть заказ «замочить», как сейчас говорят, Басаева и Хаттаба* (КП, 1999, окт.).

Стилистическое понижение сопровождается центробежным процессом, следствием которого является вымывание высокого стилистического яруса. Пропорциональные стилистические отношения между разнородными языковыми стихиями разграничивались в соответствии со знаменитой ломоносовской теорией «трех стилей». Система трехстилевых уровней языка способствовала постоянному созданию новых средств «среднего» стиля. Экспансия разговорности в литературном языке привела фактически к утрате высокого стиля, в результате которой трехстилевая система сократилась до двухмерной [см.: Колесов, 1999, 142]. Ироническое отношение к высокому стилю поднимает средний стиль до высокого, а средний, включающий нейтральные языковые средства, которые составляют основу кодифицированного литературного языка, стал заполняться сниженной лексикой. Так произо-

шел, по мнению В. В. Колесова, процесс смещения стилистических уровней языка.

В публицистике мы встретили рефлексивы, комментирующие стилистическое многоголосие текста по модели: высокое — среднее — низкое: *Отче — церковно-славянское слово. Но нам не надо переводить его словом «отец», тем более словом «папа». Если мы будем переводить это слово, то мы будем не переводить, а низводить. Высокое благоговейное обращение «отче» мы сделаем более низким, обыкновенным. Следующим шагом будет уже низведение на бытовое, суетное, спешное «папа», «папаня», «папаша», «батька». От Бога — через две ступеньки, «отец» и «папа», — привести к «пахану»? Господи, прости* (Рус. вестник, 1994, № 10—12). Адресант апеллирует к культурной памяти адресата, чувству стиля: стиливая субституция приводит к субституции культурной, духовной.

Современный речевой быт обнаруживает двойственное отношение к высокому стилю. «В бытовой речи нам присуща боязнь громких слов» [Колесов, 1998, 216]. Мы избегаем их, так как хотим сохранить высокие слова для тех моментов, когда они окажутся уместными в речи. Отсюда все рефлексивы, в которых комментируется употребление высоких, с точки зрения автора речи, слов, отмечают необходимость осторожного обращения с ними: *И пусть кто-то считает это громкими словами, но я действительно счастлива* (КП, 1999, янв.); *Я открыл для себя Дм. Кончаловского и его книгу «Пути России» — не побоюсь сказать, великую книгу* (А. Кончаловский, «Низкие истины»); *Я не стесняюсь этого слова, он гений* (Час пик, 09.02.98); *...Я пишу музыку как композитор. Композитор, конечно, громко сказано* (МК-Урал, 1999, нояб.); *Когда мне говорят: «Вы — поэт», — я говорю: «Я не поэт, поэт у нас Пушкин, я литератор». Слишком высокие слова: «звезда», «поэт»* (АИФ, 1998, янв.); *Я бы не стала сейчас бросаться такими словами и оперировать всякими терминами — буддизм, иудаизм, христианство... И вообще эта тема слишком серьезная, чтобы мы с тобой ее вот так на кухне обсуждали. Слово — это очень сильная штука* (МК-Урал, 1999, дек.).

Отрицательная оценка высокого слова возможна в рефлексиве тогда, когда говорящий чувствует, что они неуместны в данной ситуации или «не соответствуют тому явлению, которое они обозначают в данном контексте» [Чернейко, 1990, 78]: *Вы — патриот? — Звучит немножко пафосно. Но я не променяю Екатеринбург*

ни на какой другой город (АИФ, 2001, февр.); *Благодаря Бугримовой дрессировщика стали называть высокопарным словом «укротитель»* (ОРТ, Время, 20.02.01); *Переход от 2000-го года к 2001-му назвали пафосным словом «миллениум»* (ОРТ, Времена, 24.12.00). Отрицательная оценка данных словоупотреблений содержится в оценочных определениях *пафосное, высокопарное*. Неприятию пафосной лексики способствует предшествующий лингвокультурный период, который характеризовался расхождением между официальным и неофициальным языком. Официальный язык советской эпохи со своим набором речевых стереотипов, использующих высокую лексику, занял нишу высокого стиля: он звал в бой, трубил о небывалых достижениях народа, культивировал путь к сияющему идеалу. Носитель русского языка советского времени был двуличен. В рамках делового официального общения он оперировал набором принятых выражений и в то же время в дружеском общении он высмеивал свои слова и речевые поступки [Руденко, 1995, 26]. Отторжение официального языка как языка лжи автоматически отторгает и пафосную лексику. Вымывание высокого стиля — это своеобразная реакция на советский официоз, лжевысокий стиль тоталитарного времени. Высокие слова приобретают характеристику тривиальных слов, лишенных оригинальности. Рефлексивы передают ироническое отношение к высокому стилю, при употреблении высоких слов авторы вынуждены комментировать свой выбор: *Хотя слова «свобода» и «равенство» звучат очень красиво, сказал Лужков, но вся история последних двух веков, как ни парадоксально это звучит, может рассматриваться как непрерывный спор свободы и равенства* (МК-Урал, 1998, дек.); *Пышно выражаясь, коммунизм ушел от суда истории* (Как это было, 05.12.99); *Я не хочу говорить громких слов о чувстве ответственности за порученное дело* (АИФ, 1999, окт.); *Как объяснить, не прибегая к высокому стилю, почему они провозглашают тост за своего министра даже в его отсутствие и держатся за эту адскую работу?* (Там же); *Цель моей работы в программе — побуждать людей... думать, что ли... — О, какой пафос! — Да, сказал и сам испугался. А это правда* (МК-Урал, 2000, апр.); *Женщина должна знать, что она необходима мужчине. Я не говорю «любить», потому что это высокие слова, но мне они кажутся банальными* (Женский взгляд, 13.11.99); *Главное в наших взаимоотношениях было ощущение жизни и работы. Не говорю: и с-*

к у с с т в а, т в о р ч е с т в а. *Ненавижу эти слова* (АИФ, 1999, янв.); — *Как это влияет на Ваше творчество?* — (Макаревич) *На то, что Вы назвали творчеством, подводное плавание влияет хорошо* (Тема, 21.07.98); *Банальная фраза «запах кулис», но это именно так* (Пока все дома, 21.02.99); *В уставе нашего фонда говорится, что премия имени Дмитрия Дмитриевича Шостаковича присуждается «выдающемуся деятелю музыкального искусства, являющемуся яркой личностью, неповторимой творческой индивидуальностью, обогатившему своим талантом мировую культуру».* *Полагаю, что Ирина Александровна — как раз тот уникальный человек, который полностью соответствует этой несколько высокопарной формулировке* (АИФ, 2001, май); *Но вот пришел новый президент, и из его уст стали звучать непривычные для Кремля слова. Слова из нашего патриотического лексикона, такие, как Родина, держава, сильное государство, армия* (АИФ, 2000, авг.).

Характерно, что слова, воспринимаемые как высокие, часто оказываются стилистически нейтральными. Из указанных выше словоупотреблений, которые авторы причислили к высокой лексике, толковый словарь С. И. Ожегова и Н. Ю. Шведовой относит к разряду высоких слов только два из них: *держава* — большая и мощная страна (высок.) и *суд истории* — мнение и оценки будущих поколений; (высок.). Глагол *побудить* имеет стилистическую помету «книжн.».

Остальные слова, являясь стилистически нейтральными, приобретают в речи коммуниканта признаки высокого слова по разным, чаще всего фоновым, критериям. Во-первых, ощущение высокого стиля задано канонами советской идеологии, предполагающей сакрализацию известных, социально значимых понятий из сферы высоких чувств и принципов, обозначающих такие ценностные категории абстрактного характера, как *свобода, равенство, долг, любовь к родине, патриотизм, творчество*. Во-вторых, ощущение высокого задано традицией, в соответствии с которой сферы эмоций и морали относятся к высоким духовным ценностям (*доброта, любовь, счастье, гениальность, добро, зло, трудолюбие, меценатство*). В-третьих, ощущение высокого задано культурной традицией, в соответствии с которой творческий труд оценивается как высокое достижение «чистого» духа (*творчество, искусство, талант, творческая индивидуальность*). Это относится также к характеристикам человека, высоко оценивающим его с личност-

ной или профессиональной точки зрения: *патриот, гений, революционер, композитор, поэт, звезда, мастер, герой, деятель, укротитель*. Обсуждение данных престижных понятий в обыденной речи приобретает особый характер в силу своей неординарности: с одной стороны, в качестве общих абстрактных слов они воспринимаются как нейтральные; с другой стороны — как пафосные, поэтому в контексте повседневной речи они могут приобретать окказионально высокую стилистическую окраску: *Почему ты перешла на ТВ-6? — Для меня это был вопрос о честном слове, о долге, о добре и зле. Хотя понимаю, что звучит это банально. — Банально и пафосно. — Ужасно пафосно* (МК-Урал, 2001, авг.); *Слова «любовь» я боюсь, оно для меня не затертое, а высокое* (Я сама, 10.03.01); *Это такая школа любви к родине (простите за эти пафосные, но очень искренние слова)* (МК-Урал, 2001, янв.).

Анализ рефлексивов показывает, что для современной речи характерна усиленная модализация сообщения: речь изобилует большим количеством метаязыковых оценок в связи с нормативно-стилистическим выбором единиц, поскольку нормативно-стилистические качества речи — это то, на что люди обращают внимание в первую очередь. Покушение на стилистический узус носители языка воспринимают как событие, меняющее весь язык. Рефлексивы отражают сдвиги в общей стилистической структуре русского языка 1990-х годов: изменение стилистической принадлежности единиц, развитие стилевой диффузии, изменение вкусового отношения к стилистическим сферам сниженной и высокой лексики. Поскольку речь всегда развивается «на ходу», рефлексивы являются своеобразными маркерами естественно складывающегося, меняющегося стилистического узуса. Употребление в речи образованного носителя языка сниженной лексики с последующим метаязыковым комментированием говорит о первом этапе ввода этой лексики в состав литературного языка, о формировании новых стилистических стереотипов. Второй этап — кодификация этих стереотипов, которая в литературном языке обычно ретроспективна. Это регламентация языка, которая отражает результаты естественно складывающегося процесса. Активное вхождение в литературный язык сниженной лексики уже сейчас позволяет ученым говорить о возникновении общего жаргона [см.: Ермакова, Земская, Розина, 1999]. Эксплицитно выраженная «боязнь» высоких слов, с одной стороны, ослабляет позиции высо-

кого стилистического яруса; с другой стороны, оставляет за высоким стилем заповедную область разговора «о сущностях».

Рефлексия как фоновая аксиологическая поддержка, участвующая в формировании стилистических норм, может проявляться не только на уровне метаязыковых оценок собственной речи. Рефлексия реализуется и как способ социального контроля, т. е. как реакции адресатов, воспринимающих письменные и устные речевые тексты, содержащие отступления от стилистических норм литературного языка. В качестве отдельного участка анализируемого дискурса можно представить рефлексивы, отражающие реакцию современного общества на известную фразу президента В. В. Путина. Напомним ситуацию возникновения речевого прецедента. 16 сентября 1999 года В. В. Путин, занимавший в то время пост председателя правительства, в официальной обстановке, отвечая на вопрос тележурналиста об отношении премьер-министра к очередному теракту, употребил выражение, ставшее визитной карточкой политика: *Мы будем преследовать террористов везде: в аэропорту — в аэропорту, вы меня извините, в туалете поймает — мы их и в сортире замочим*. Реакция адресата была мгновенной и долгосрочной: с 17 сентября и по сей день это высказывание в разных контекстных вариантах не сходит со страниц печати. Телезрители, выступавшие в качестве наблюдателя интервью (о фигуре наблюдателя, имеющей статус системообразующего фактора в языке, см: [Кравченко, 1993; 2001]), вступили в активный диалог с будущим президентом. Позиция молчащего наблюдателя трансформировалась в позицию адресата.

Охарактеризуем анализируемое событие с точки зрения коммуникативно-этических норм. Встреча с журналистами проходила в рамках официальной ситуации, которая опирается на риторические критерии нормативности и эффективности и включает комплекс средств, выражающих категорию официальности: строго прогнозируемый характер коммуникативных ситуаций; совпадение границ официального общения с границами социально-статусного общения; выбор нейтральных языковых средств общения; учет аудитории, четкая коммуникативная цель.

В. В. Путин нарушает практически все критерии официальности. Понятна его стратегия нарушения официальности — причина кроется в отторжении ритуальных рамок официального общения, сформированного во многом тоталитарным обществом. Внут-

ренный протест выработал речевую тактику лично ориентированного общения. Понятна коммуникативная цель — усилить эффективность высказывания, при этом выбран самый простой способ аффектации речи — употребление «сильной» сниженной лексики. В. В. Путин реализовал право говорящего на выбор возможных стилистических средств — нейтрального и маркированного. Но, с другой стороны, «акт предпочтения одного языкового средства другому, так же как степень его осознанности, — это и есть сам говорящий, „образ автора“ данного высказывания» [Винокур, 1989, 18]. В. В. Путин не вышел за рамки образа «сильной руки», отвечавшего ожиданиям части общества, — аудитория ждала жестких слов от политика и следующих за ними действий. Тем не менее говорящий не достиг желаемого коммуникативного результата. Возникший коммуникативный диссонанс объясняется тем, что В. В. Путин использовал стратегию, конвенционально недопустимую в данной коммуникативной ситуации. В связи с этим вспоминается известное высказывание Ю. М. Лотмана: «Голый человек в бане не равен голому человеку в общественном месте». Носитель литературного языка, представитель высшего эшелона власти, используя лексику уголовников, демонстрирует раскованность в ущерб чувству меры, что характерно для инвективной речевой стратегии, которая отражает эмоционально-биологические реакции языковой личности. В. В. Путин в желании приблизить к себе адресата использовал сильный прием, нарушив при этом нормы риторического этоса, — унизил достоинство адресата, обращаясь к нему на языке уголовников, тем самым понижая всю российскую аудиторию до говорящих на этом языке. Это, как представляется, коммуникативная неудача В. В. Путина.

В. В. Путин не учел интеллектуальной дифференциации современного общества. В России по-прежнему значимо общественное мнение людей, для которых важны традиции престижа знания и культуры. Интеллектуальная часть общества, приходя в себя после коммуникативного шока, в качестве реакции самозащиты превращает реплику В. В. Путина в его визитную карточку, тиражируя высказывание в рамках иронических текстов.

Покажем типы рефлексивных реакций на это высказывание. Рефлексия по поводу авторско-адресного нехудожественного текста в официальной ситуации публичного общения осуществляется по двум направлениям: интерпретационному и собственно оце-

ночному. Интерпретационный фон общественного мнения связан с обсуждением вопроса, является ли Путин куклой в руках имиджмейкеров или же он продемонстрировал индивидуальную манеру речевого поведения. Первая точка зрения представлена, например, в журнале «Эксперт». Ирина Волкова, проводящая психолингвистический анализ устных выступлений и. о. президента России, утверждает: «Речевое поведение Путина соответствует эталонным образцам политического ток-шоу. Его ответы интервьюерам почти всегда логически отстроены, исчерпывающе немногословны и достаточно информативны. Вместе с тем необходимо отметить высокую степень спичрайтерского участия, направленного на «синхронизацию» речевых фигур премьера со вкусами и ожиданиями широкой публики. В первую очередь вспомним крылатое «мочить в сортире». Для нас очевидна навязанность этих слов Путину, их неадекватность его манере публичной риторики» [Волкова, 2000, 53].

Существует точка зрения журналистов, которые в поисках истины опрашивали одноклассников, студенческих друзей Путина, чтобы выявить особенности его речевого поведения. Они пришли к выводу, что в рамках лично ориентированного общения в ряде ситуаций Путин может себя реализовать как инвективная языковая личность. Приведем примеры: «Друг Путина по разведшколе рассказывал: как-то носились они по Ленинграду на стареньком путинском “Запорожце”. За рулем сидел Владимир. Вдруг на дорогу выскочил пьяный бомж. Бац! — и алкаш кубарем покотился по асфальту. Меня поразила железная выдержка Путина. Он медленно вышел из машины и, сжав кулаки, громко произнес: “Б...дь, я этого козла сейчас замочу!” Бомж в шесть секунд протрезвел и резво-резво сделал ноги» (КП, 2000, янв.). Школьная подруга В. В. Путина в ответ на вопрос журналиста «Как вы относитесь к его высказываниям вроде “мочить в сортире” и “мало не покажется”»? подтверждает: «Да, он так говорит. Он мальчик с улицы. Пусть образованный — но он отсюда, с Баскова переулка брежневских времен, и ничего с этим не поделаешь» (Там же, 2002, июнь). На наш взгляд, при решении обсуждаемого вопроса необходимо учитывать коммуникативные условия конкретного речевого акта. Ситуация, в которой была произнесена «крылатая» фраза В. В. Путина, это ситуация диалога, который разворачивается перед глазами многомиллионной аудитории зрителей. Устная форма диалога предполагает спонтанность и не-

обходимость постоянной координации участников общения. Официальная обстановка определяет предварительное заполнение содержательно-тематического блока общения, представления о возможных и желательных темах, обсуждение которых значимо при встрече с премьер-министром. Безусловно, была намечена и стратегия поведения Путина. Но подобное прогнозирование в рамках интервью не может предусмотреть детальной проработки реплик, особенно с точки зрения отвечающего на вопросы. Спонтанность диалога проявляет себя в «точечном прогнозировании его содержания» [Борисова, 2000, 26]. В этих условиях анализируемая реплика был неосознанной, поскольку «бессознательное проявляет себя как в выборе языковых средств, так и в моделях их употребления, которыми люди пользуются... Переключение с одного стиля на другой у людей с высокой степенью языковой компетенции происходит почти автоматически» [Лебедева, 1999, 138]. Сознание представляет собой многоуровневую полифункциональную психологическую систему и противостоит неосознанным процессам, включая их в свое функционирование. Полноценное осуществление осознаваемых действий невозможно без неосознанных. При общей стратегической направленности речевого поведения Путина на устранение дистанцированности в рамках официального общения его автоцензура, его блок контроля на бессознательном уровне скорее всего пропустил этот сниженный оборот из его лексикона во внешнюю речь, и таким образом возник стилистический диссонанс.

Второе направление рефлексивных контекстов — собственно оценочное, отражающее реакцию общества на нарушение стилистических норм. Практически все контекстные реакции носят иронический характер. Ирония как один из видов комического наилучшим образом помогает психологически справиться с трудностями и является самым распространенным способом коммуникативной защиты. Иронический аффект создается прежде всего за счет высокой степени мнимого одобрения. Например: *Лозунг «Утопим терроризм в сортире!» был с воодушевлением подхвачен нацией* (КП, 1999, окт.); *Паук тут же принялся всех, кто пользуется сортирами, мочить...* (АИФ, 1999, дек.); *И. о. президента провозгласил новую, удивительно урологическую стратегию наведения порядка в стране: «Будем, обязательно будем мочить. Нужно только понять, кого и какими средствами». А чего тут понимать: мо-*

чатся все! Если средства потогонные — на рабочих местах. Если мочегонные — в сортире» (КП, 2000, март).

Часто иронию поддерживает метафорический характер контекста: *Пока сводный хор российских политиков на разные голоса исполняет хит осенне-зимнего сезона «Замочим злых чечен в сортире!»*, Григорий Алексеевич трендит себе в углу на балалайке (МК-Урал, 1999, нояб.); *Это политическое блюдо многие называют пушечным мясом. Или мясом «по-путински». Способ его приготовления нам продемонстрировали. Нужно, оказывается, собрать это мясо по России-матушке, замочить его в чеченском сортире и преподнести нации как продукт вынужденных потерь, случившийся во имя общей и непререкаемой победы над шайкой бандитов* (Там же, 2000, март).

Еще один тип оценочности представлен афористикой с элементами языковой игры, карикатурами и анекдотами. Такая креативная реакция языкового общества, направленная на осмеяние лингвистического объекта — еще одно свидетельство устойчивого отрицательного восприятия допущенной Путиным стилистической вольности. В качестве иллюстрации приведем анекдот:

Ельцин зовет Березовского:

— Скажи, Абрамыч, а говорят, что Путин твой человек...

— Ну, мой.

— А докажи, понимаешь.

Березовский включает телевизор, как раз идет выступление Путина в прямом эфире.

— Ну, хотите, Борис Николаевич, — говорит Березовский, — я сейчас вот в этот микрофончик скажу слово и Путин заговорит о пенсиях?

Сказал, Путин перешел на доклад о пенсиях. Ельцин:

— Совпадение, понимаешь!

— А хотите, станет про Чечню говорить? — Березовский шепнул в микрофончик, Путин на экране заговорил про Чечню.

— Тоже совпадение! — говорит Ельцин. — А ты вот сделай так, чтобы он сказал ну что-то, понимаешь, совершенно невероятное, чего и выдумать нельзя! Ну, пусть вот хоть скажет: «Будем мочить в сортирах!»

Активное функционирование в современной публицистике оборота «замочить бандитов в сортире» способствовало процессу

фразеологизации высказывания, превращению его в прецедентный текст, который стал употребляться в контекстах различной общественно-политической тематики.

Подведем итоги проведенным наблюдениям. Нормативно-стилистическая система языка — это та его область, которая непосредственно связана с сознательно-культурным началом в языке. Стабильность системы должна обеспечиваться движением в оптимальных пределах. Резкие отступления от норм, нарушающие относительно подвижное равновесие, активизируют отрицательную оценочную деятельность современных носителей языка по поводу этих нарушений.

Рефлексивная деятельность языкового общества, проявляющаяся как аксиологическая реакция носителя языка на ненормативное вхождение в литературный язык сниженной лексики, свидетельствует о формировании направления в стилистической норме, связанного с устремлением сниженных единиц в литературный язык, о динамике нормы в рамках синхронной системы языка.

Деривационный критерий

Как мы уже отмечали, производящие формы тяготеют к нормативности как более простые, а производные формы — к ненормативности как более сложные. Поэтому сложные в деривационном плане слова сопровождаются метаязыковым комментарием.

Деривационные процессы в системе языка сводятся к двум разновидностям: 1) формально-семантической деривации; 2) семантической деривации. Охарактеризуем метаязыковое комментирование слов, испытавших на себе действие деривационных процессов.

1. **Ф о р м а л ь н о - с е м а н т и ч е с к а я д е р и в а ц и я** проявляется в слове как его внутренняя форма. Феномен «внутренней формы слова», связанный в русской лексикологической традиции с именем А. А. Потебни, представляет собой сложное явление, так как по «ведомству» внутренней формы проходит целый комплекс проблем, связанных с накладывающимися друг на друга семантическими, этимологическими, словообразовательными и фонетическими отношениями [см.: Норман, 1999, 209]. Вслед за Б. Ю. Норманом, не углубляясь в сложность анализируемого явления, определим внутреннюю форму как мотивировку, или признак, лежащий в основе наименования [см.: Там же, 210]. Рефлексив-

ные высказывания зачастую интерпретируют слово с точки зрения мотивировочного признака, лежащего в основе слова, причем данная интерпретация представляет собой обычно образцы так называемой ложной, наивной, народной этимологии. Под это понятие обычно подводятся все случаи осмысления слов, которые «не согласуются с принципами научной этимологии» [Будагов, 1965, 81; см. также об этом: Введенская, Колесников, 1983; Никитина, 1989; Норман, 1999]. Н. Д. Голев оценивает факт участия метаязыкового сознания в оживлении внутренней формы как качественно новое явление, создание «вторичных внутренних форм», процесс ремотивации [Голев, 1989, 113]. Данный факт ремотивации вызывает у лингвистов законный вопрос: зачем говорящему обращаться к диахроническому аспекту жизни слова, когда с точки зрения синхронного функционирования слово не нуждается в мотивировке, которая может помешать успешному коммуникативному акту?

Идеальный знак должен быть немотивированным, и «на фоне таких требований знак, сохраняющий этимологический «привкус», выглядит отклонением, в определенном смысле уродом» [Норман, 1999, 210]. Мотивированные знаки всегда стремятся к утрате причинной связи между значением и формой, к условности связи, базируемой на традиции или общественной конвенции. Современные исследователи-мотивологи рассматривают процесс оживления внутренней формы как «обязательный компонент языковой способности» языковой личности [см.: Пересыпкина, 1998, 8], который реализуется как мотивационно-ассоциативный механизм, дающий каждому говорящему «синхронно-функциональное ощущение генезиса слова» [Там же, 7]. Реализация этого механизма в условиях речевого акта может быть вызвана разными причинами: 1) при процессе идентификации нового слова опора на внутреннюю форму слова облегчает запоминание и «присвоение нового слова» [Медведева, 1992, 77], окрашивая эту работу положительными эмоциональными переживаниями, которые сопутствуют процессу углубления в «тайны языка»; 2) при функционировании новой лексической единицы актуализация механизма внутренней формы знака устраняет возможное непонимание, а при функционировании узуального слова способствует «упрочению системных связей между словами» [Норман, 1999, 211].

Поскольку выбор слова в памяти говорящего осуществляется не только по семантическому, но и по формальному (звуковому)

сходству [Сазонова, 1994; Тогоева, 1994], то носитель языка пытается на основе случайного сходства по форме придать немотивированному слову внутреннюю форму, истинную или ложную. Приведем примеры подобных рефлексивов, которые показывают, что актуализация звуковых связей между лексическими единицами не всегда уместается в случаи народной этимологии: *А потом наступило время героев-болтунов. На трибуну высказывали люди и, сбивая друг друга с ног, начинали выкрикивать что попало. — Кто они? — Успешники. Те, кто успел. Слова «успех» и «успел» в русском языке очень красиво сочетаются. Вот я их и называю «успешники» — в двух смыслах.* (АИФ, 1999, февр.); *В последние дни мы доказали, что Россия — родина не только слонов, но и волнистых попугайчиков (волнистых — от слова «волна», попугайчиков — от слова «попугать»)* (МК-Урал, 2000, нояб.); *Константин Боровой объявил о том, что все депутаты Думы подкуплены и за «огромные бабки» (выражение Константина Натановича) лоббируют принятие решений, выгодных тем или иным группам. Тут, конечно, форменный скандал начался. Поначалу депутаты в этимологию ударились: слово «лоббирование» — уж не от «лобию» ли происходит? А потом избранники сильно обиделись* (МК-Урал, 1997, окт.); *Поскольку в словах «говядина» и «разговляться» есть общие корни, я решил сегодня взять говядину (ОРТ, Смак, 30.04.00); Эту рыбку в Бразилии многие побаиваются. И недобрая слава о ней известна повсюду. На русском языке в прошлом ее называли пирайа. Теперь называют пирания. Чувствуете приближение к слову «пират»* (КП, 2000, февр.); *Сейчас ведь полная вседозволенность. Так называемой цензуры нет, и все счастливы, забывая при этом, что корень-то в слове «ценз», а это вещь совсем не бесполезная* (Там же, 2001, май); *Я обыватель. И весьма этим доволен. Заметьте, слово не ругательное, а самое что ни на есть обиходное. От другого хорошего русского слова «обитель». И дальше — обитать, в смысле «чувствовать прелесть бытового уюта», не только домашнего, но и в городской среде, да на тех оке дорогах городских, наконец (4 канал + все ТВ, 2000, авг.); В европейских языках слово «страхование» означает «уверенность». В нашей страховке звучит страх* (АИФ, 1997, окт.); *Принцип фестиваля от слова «фест» — праздник, не праздность, но праздник* (МК-Урал, 2000, июль); *Он сразу заинтересовался, почему это чернильница называется «непроливкой»? Неужели совсем? Ни капельки? На первом же уроке он изо всех сил подул в загадочную черниль-*

ницу. *Получилось!* (4 канал + все ТВ, 1998, авг.). Иногда говорящий на основе звуковых связей между словами заведомо окказионально использует эти фонетические ассоциации как элемент языковой игры, а метаязыковой комментарий — как речевой прием, выполняющий эстетическую и фатическую функции (Ахматова называла этот прием «теорией знакомства слов», поскольку обостренное внимание к смысловой «памяти» слова «превращает лексическую единицу в источник, из которого автор извлекает забытый смысл и актуализирует его» [Ляпон, 2001, 264]). Но последний тип рефлексивов не отменяет первоначальную коммуникативную функцию подобных рефлексивов — опознавать новую единицу и способствовать упрочению положения слова в лексической системе. Приведем рефлексивы, которые выполняют задачу введения нового слова в современный лексикон через обращение к мотивировочному признаку: *Кстати, слово «оффшор» дословно означает «вне берега», «за пределами прибрежного шельфа». Все, что связано с оффшорным бизнесом, не должно иметь отношения к казне той страны, где оффшорная фирма зарегистрирована. Казна этого государства в буквальном смысле остается на суше* (Новая газета, 1997, окт.); *Слово «аллоплант» переводится как «чужой саженец». Почти 30 лет назад молодой врач Эрнст Мулдашев с единомышленниками открыли способ, как из тканей умершего человека получить материал, который бы смог восстанавливать здоровые ткани у живых* (АИФ, 2002, июнь).

Иногда перед говорящим стоит противоположная задача: опираясь на внутреннюю форму, мотивировать свой отказ употреблять ту или иную единицу: *Господин президент! Не обращаюсь к Вам с привычным словом «товарищ», так как история происхождения этого обращения уходит в давние времена, когда с этим словом обращались друг к другу воры: доставив награбленный товар к своим товаркам, они требовали за это щи, вот и получилось — товарищ, то есть товар — щи. Поэтому президента не хотелось бы называть «товарищем»* (Открытое письмо Д. Васильева президенту СССР М. С. Горбачеву, Память, 1991, янв.).

2. Актуализация того или иного производного значения слова в процессе порождения и понимания речи предполагает актуализацию сочетательных способностей выбираемой лексемы, разграничение значений многозначного слова. В психолингвистике на сегодняшний день

существует несколько теорий, в которых разработаны разные типы моделей доступа к многозначному слову в процессе порождения и понимания текста [см. обзор теорий: Рафикова, 1998]. Суть различий данных теорий состоит в различии принципов, положенных в основу описания моделей доступа к слову, зависящего от параметра частотности значения слова (доминантное/субординативное значения) и параметра влияния контекста на разрешение неоднозначности.

На основе отмеченных параметров выделяются модели исчерпывающего доступа к значению слова (одновременный доступ ко всем значениям слова, а затем контекст приводит к выбору одного из этих значений); модели селективного доступа (контекст оказывает решающее влияние уже на ранних этапах доступа к значению слова); модели последовательного доступа к слову (в зависимости от частотности того или иного значения сначала активизируется доминантное значение слова, затем идет проверка на соответствие этого слова контексту. Если выявляется противоречие контексту, то наступает очередь субординативного значения слова). Позже эти модели были дополнены уточняющими моделями гибкого доступа к слову и интегративной моделью. В последних моделях уточняется механизм взаимодействия слова и контекста. Развернутый перечень моделей указывается нами с целью показать важность проблемы выяснения процессов, связанных с употреблением неоднозначного слова в тексте, разработки механизма взаимодействия контекста и понимаемого слова в речемыслительной деятельности. Экспериментальные исследования подтверждают реальность большинства моделей понимания неоднозначного слова, которые базируются на допущении одновременной активизации всех значений на начальных этапах доступа к полю его значений, при этом контекст может замедлять и ускорять этот процесс.

Наш материал опосредованно может пролить свет на решение данной проблемы. Наличие метаязыкового комментария, помогающего разграничить значение многозначного слова в контексте, свидетельствует о возможности сбоя при понимании многозначного слова, особенно если контекст создает условия для того, чтобы оба значения становились одинаково доступными для понимания. Между ними начинается борьба за интеграцию в контекст, следовательно, понимание замедляется, и требуются дополнитель-

ные когнитивные ресурсы для обработки информации. В этом случае возможна вербализация речемыслительной деятельности в виде рефлексива. Например: — *Вы знаете, как вас называют КВНщики? — Барин, что ли? Да, господа, это не они придумали. Это придумали мои сослуживцы в те времена, когда создавался АМиК. Они не могли решить какой-то вопрос, и кто-то сказал: «Ребята, давайте подождем Барина, он нас рассудит». Почему Барин? Может, потому, что я в какой-то степени диктатор и считаю, что в творческом коллективе должен быть диктат. Ой, да пожалуйста: я думаю, это не в том смысле, что я на диване лежу и ничего не делаю, а в смысле — Босс, только по-русски. Да пускай!* (МК-Урал, 2001, нояб.); *Дети никогда не пахнут потом в привычном понимании этого слова, потому что часть потовых желез включаются в работу только начиная с периода полового созревания* (АИФ, 2000, июль).

Наиболее частотны рефлексивы, разграничивающие два близкого связанных значения многозначного слова — прямое и переносное. Контекст не всегда дает возможность четко разграничить эти семемы, метаязыковой комментарий уточняет или акцентирует момент на характере значения слова. Например: *Когда дело дошло до сметы — оказалось, что необходимо «всего-то» тридцать миллионов долларов. И что большую часть этих денег надо просто закопать. В прямом смысле слова. Каток необходимо ставить на сваих. Сваи закапывать, а местность на набережной для строительства архисложная: воды, коммуникации...* (МК-Урал, 2000, дек.); *По этому автографу город знал, на чьей стороне сила — в прямом смысле этого слова* (КП, 2001, нояб.); *За этой жизнеутверждающей фразой — километры нервов, труда и денег. Километры в прямом смысле слова. Потому что из Правдинска до Нижнего — часа полтора езды* (Там же, 2000, февр.); *А остальные президентские дни в буквальном смысле слова расчерчены на квадратики — на большом листе недельного плана, который в Кремле называют «простыней». Путин пустых клеточек в нем никогда не оставляет* (МК-Урал, 2000, нояб.); *А больше всего говорили про корейский «остров» — одновременно лабораторию садомазохизма, вывернутую наизнанку love story и шедевр живописно-поэтического кино. Слово «наизнанку» надо понимать буквально: герои-любовники в порыве мазохизма заглатывают и вставляют в прочие отверстия в теле рыболовные крючки, а потом вытягивают наружу внутренности* (АИФ, 2001,

января.); *Именно любовь, в самом что ни на есть постельном смысле, составляет основу человеческого существования* (Там же, сент.); *Некурильщики добило отсутствие в помещении кондиционера и вентиляции. В общем, тусовка получилась в прямом и переносном смысле жаркой* (Наша газета, 2000, авг.); *Он хочет, чтобы все человечество говорило на его языке. И не только в переносном смысле слова. Недавно Гейтс ошастливил человечество новым словарем «Encarta World English Dictionary», объявив его «первым словарем, родившимся в эпоху технологии»* (МК-Урал, 2000, нояб.); *Сила Путина в том, что он не будет ни с кем, фигурально выражаясь, подписывать контракта — тем более с ОПТ* (МК-Урал, 2000, апр.). Обыденное понимание того или иного лексико-семантического варианта может не совпадать с общесистемным значением. Приведем примеры интуитивного понимания значения слова: ...*Но вдруг неожиданно вспомнили, что в «Вестях» есть ПАРА в самом наипрямшем смысле слова. Мало того, что журналисты, шесть лет работающие в эфире, да еще и муж с женой* (4 канал + все ТВ, 1999, дек.). Толковые словари не выделяют отдельного значения «супружеская пара» в структуре многозначного слова «пара», включая его в одно из вторичных значений («5. Два лица, находящиеся, действующие вместе, объединенные чем-н. общим». *Танцующая п. Супружеская п. В паре с кем-н. работать*). Замысел говорящего требует однозначности понимания данного значения, смысловой дифференциации ЛСВ, поскольку в контексте возникает наложение значений: журналисты, работающие в паре, являются к тому же и супружеской парой. Двойственность восприятия значения вынуждает говорящего комментировать контекст. В комментарии могут не дифференцироваться термины «прямой» и «точный» смысл слова, «полный» и «точный» смысл, например: *Давайте определимся: я не занимаюсь бизнесом в прямом смысле слова. Заниматься бизнесом означает делать деньги. А тот доход, который так или иначе приносит клуб, в клубе и остается. Например, в качестве зарплаты для обслуживающего персонала. Я не ресторанный магант! Я артдиректор, а это не коммерческая деятельность* (МК-Урал, 2000, янв.); *Тот художник, который пользуется в своем творчестве такими вещами, — уже не художник в полном смысле этого слова. Он берет что-то готовое и просто адаптирует это «что-то» под время. Творчество и традиции — вещи разные* (АИФ, 1998, янв.); *Впрочем, термин «контролировать» в пол-*

ном понимании этого слова вряд ли можно применить по отношению к этим районам — боевики скрываются в подвалах и в развалинах домов и периодически вступают в боестолкновения с группами федеральных сил (МК-Урал, 2000, янв.). Данные контексты свидетельствуют, что говорящий обсуждает точность употребления слова, вкладывая в определение «полный» точное соответствие общесистемному значению слова.

Корпус коммуникативных рефлексивов позволяет утверждать, что коммуникативный контроль может требовать обращения не только к семантическим, но и к коннотативным (шире — прагматическим) свойствам лексем. Современная лингвистика относит проблему прагматического компонента лексической семантики к одной из актуальных и спорных [см., например: Арутюнова, 1988; Арутюнова, Падучева, 1985; Апресян, 1995; Васильев, 1997; Говердовский, 1979; Кобозева, 2000; Комова, 1981; Лазуткина, 1994; Матвеева, 1986; Михайлова, 1998; Складаревская, 1995; Степанов, 1981; Стернин, 1985; Телия, 1996 и др.]. Не углубляясь в суть теоретических споров, «разнородный набор коннотаций (социальных, исторических, культурных, эмотивных, экспрессивных и др.)», вслед за Г. Н. Складаревской [2001, 191], назовем прагматической информацией о слове. Тем самым все сведения прагматического характера, рассматриваемые обычно в семасиологической практике как коннотативный макрокомпонент лексической семантики, который включает эмоциональный, оценочный компоненты [см.: Стернин, 1985, 71], а также психологические ассоциации, «от социально значимых, общих для всех, до индивидуальных» [Кузнецова, 1989, 28], отнесем к признакам слова, общим свойством которых является «отношение говорящего или адресата сообщения к описываемой знаком действительности» [Апресян, 1974, 67]. Данная оценка чаще всего имеет лексикализованный характер, а не творится говорящим в речи, зафиксирована в словарном описании в виде помет оценочной характеристики, маркирующих устойчивую эмоциональную окраску или оценку слова.

В семасиологических работах выделяется два типа прагматической информации: 1) прагматические компоненты, которые дополняют понятийную информацию; 2) прагматическая информация, которая «впрессована в лексическое значение слова» [Апресян, 1974, 21] и не может быть изъята из толкования. Прагматический

компонент, направленный на оценку денотата, может быть имплицитным и выявляться экспериментально анализом сочетаемости [см.: Скляревская, 1995]. Имплицитный прагматический компонент, тесно спаянный с семантикой, также лежит в основе выдвигания такой единицы, как логоэпистема [см.: Костомаров, Бурвикова, 2001, 35].

Для обыденного сознания эти типы прагматической информации оказываются нерасчлененными и передаются одним видом метаязыкового комментирования («в хорошем смысле слова» или «в плохом смысле») в зависимости от типа оценочной информации. Осознание коннотативного компонента актуализируется тогда, когда у говорящего возникает потребность либо устранить этот ореол, либо подчеркнуть прагматическую особенность лексемы. Появление данных метаоператоров в речи указывает на коммуникативное напряжение, обусловленное деривационным критерием сложности лексической единицы, обладающей прагматическими смыслами.

Выделим типы актуально существенной с точки зрения коммуникативного контроля прагматической семантики.

1. **Общесистемный коннотативный макрокомпонент**, который подается в словарном описании в виде оценочных помет. Эти пометы имеют достаточно устойчивый характер и зафиксированы во всех толковых словарях советского времени или сформировались в последнее (постсоветское) время и зафиксированы в «Толковом словаре русского языка конца XX века. Языковые изменения» под ред. Г. Н. Скляревской [1998]. Рефлексивы, комментирующие этот тип прагмем, выполняют функцию выделения следующих участков коннотативной семантики:

А. Традиционно устойчивые коннотативные участки лексической семантики:

Еще с советских времен за словом «шабашники» закрепился негативный оттенок. Слово осталось, но хороший шабашник сегодня в цене (АИФ, 1999, окт.); словарное толкование: *шабашник* (прост, неодобр.) — человек, который выполняет строительные, ремонтные и другие работы, заключая частные сделки по высоким ценам. Потребность в рефлексивном комментировании возникает для снятия в тексте негативной окраски с лексической единицы, которое достигается за счет определения *хороший* при лексеме «шабашник» и метаязыкового комментария о наличии у слова негативной окраски.

С другой стороны, поражение Карелина стало переломным моментом Олимпиады. Российские спортсмены словно с цепи сорвались (в хорошем смысле). Появились злость и желание уйти красиво (МК-Урал, 2000, окт.); словарное толкование: *сорваться с цепи* (разг., неодобр.) — 2. О действиях очень рассерженного человека, потерявшего самообладание. Метаоператор необходим для смены знака с отрицательной на положительную характеристику при сохранении общего смысла слова.

Б. Коннотативная семантика, сформировавшаяся в конце XX века:

А добавьте к этому нашу советскую, в хорошем смысле, способность поддерживать, если надо, невиданные темпы работ (АИФ, 2001, окт.); словарное толкование [Толковый словарь рус. яз., 1998]: *советский* — 3. (неодобр.) Свойственное чему-либо в СССР или кому-л., живущему в СССР. *Родился Петрович в 1991 году и с тех пор живет на страницах газеты «Коммерсантъ». Возраст, национальность и род деятельности — неопределенные. По призванию — «совок» в лучшем смысле этого слова. Типичный городской житель со всеми вытекающими отсюда последствиями. По жизни — оптимист. Добрый, незлопамятный, с чувством юмора* (4 канал + все ТВ, 1999, нояб.); словарное толкование [Толковый словарь рус. яз., 1998]: *совок* — (разг., неодобр.) 3. О советском человеке.

Появление негативной оценочной семантики у лексем, называющих советские реалии, закономерно. За годы советской власти коннотация приобрела устойчивый характер, что позволило зафиксировать ее в «Толковом словаре конца XX века». Обращение к советскому прошлому заставляет современного носителя языка видеть и положительные стороны пройденного пути. Отстранить ореол негативного у «советских» лексем — коммуникативная задача прагматического метаоператора.

В. Коллективная коннотативная семантика, сформировавшаяся в последние годы, поэтому пока не зафиксированная ни в одном толковом словаре:

Например, на наших глазах происходит нейтрализация отрицательной коннотативной семантики слова «мент», в определенных контекстах мена отрицательной окраски на нейтральную или положительную. Рефлексивы позволяют документально зафиксировать эту динамику и причины коннотативной трансформации. Ср. ряд контекстов: ...*Пресса и ТВ вытирали ноги о милицию. Презри-*

*тельное жаргонное (уголовное) слово «мент» узаконилось в печати (МК, 1994, май); — И все же, кто вы больше — писательница, научный работник, преподаватель или мент? И не режет ли вам слух слово «мент»? — (М а р и н и н а) Не режет. Это сленговый термин для сокращения полицейского, как «коп» в Америке или «бобби» в Англии. Мы и сами себя так часто называем (МК-Урал, 1997, окт.); — Вас, людей с актерским образованием, не оскорбляет слово «менты»? — Давайте я отвечу (С е р г е й С и л и н). Меня оно совершенно не оскорбляет, и мне кажется, что это одна из заслуг сериала, что слово «менты» сейчас не считается ругательным. — Но вот представьте, если бы ваш отец был милиционером, а его звали ментом. Мне кажется, что где-то в душе это должно царапать. — Как вы знаете, у нас в органах работает порядка одной десятой части населения. Раньше за это слово можно было получить по физиономии. Сейчас за это слово мы получаем деньги. В каких бы городах бывшего Советского Союза мы ни были, слово «мент» везде звучит гордо (КП, 2001, июль); Человек, столкнувшийся с охраной правопорядка в полной мере (до отбытия срока за решеткой и коллочкой), не раздумывая употребляет слово «менты» в адрес всех институтов насилия, законности и государственности. Впрочем, сами работники милиции так себя называют — иронически, а иногда вполне серьезно. Слово это давно уже отрывочно мелькает в названиях фильмов и романов («Авария — дочь мента», «Мент поганый» и т. д.). Конечно, оно не имеет того **оскорбительно-ругательного смысла**, которое вкладывалось в «мусоров» и «легавых», ведущих свое происхождение от старого названия МУС (Московский уголовный сыск) и от петличек с бегущими борзыми псами на форменных кителях послевоенных «ментов» (МК-Урал, 1998, дек.).*

Контексты позволяют выявить причины утраты отрицательной окраски лексемы «мент»: во-первых, общая тенденция к снижению речи позволяет включать жаргонную единицу в литературную речь без особых оговорок; во-вторых, в появлении положительной коннотации слова «мент» видится заслуга отечественного кинематографа, который сумел разрядить психологическую атмосферу недоверия к милиции своими телевизионными сериалами.

Г. Индивидуальная (групповая) коннотативная семантика:

Мало читают, мало слушают. Мало идеологии в хорошем смысле слова (Телемир, 2001, нояб.); словарное толкование: идеология —

система взглядов, идей, характеризующих к.-либо социальную группу, класс, политическую партию, общество. Негативный оттенок данная лексема приобретает в советское время за счет сужения сочетаемостных свойств слова. Для носителя языка существовали лишь «идеологические тиски» советского тоталитарного государства, которые порождали «примитивный, поверхностный, однолинейный взгляд на мир и человеческие взаимоотношения» [Купина, 1995, 14]. Такой же негативный смысл в советском государстве приобрело и слово «пропаганда»: *И все же некая польза от пропаганды (не побоюсь этого слова) добрых дел и начинаний в таких материалах присутствовала* (АИФ, 2000, июль); словарное толкование: *пропаганда* — распространение в обществе и разъяснение каких-н. воззрений, идей, знаний, учения. В «Толковом словаре русского языка конца XX века» эти лексеммы даны без коннотативных помет. Это дает основание отнести их к группе слов с индивидуальной коннотацией.

2. П р а г м а т и ч е с к и е п р и з н а к и л е к с е м.

Рефлексивы, комментирующие этот тип прагмем, выполняют функцию актуализации прагматической информации, которая тесно сплетена с семантической и трудно от нее отделима. Актуализация оценочного компонента в структуре значения необходима говорящему в следующих случаях:

А. Дифференциация положительного и отрицательного признаков, в совокупности присутствующих в семантике слова: *Наверное, я буду скучать по корреспондентской работе. С другой стороны, в хорошем смысле этого слова, набегался* (КП, 2001, сент.); словарное толкование: *набегаться* — бегая, утомиться или вдоволь побегать. Поскольку контекст не позволяет однозначно определить необходимый прагматический акцент, говорящий вынужден вербализировать положительную оценку лексеммы «набегаться» — «вдоволь», «не без пользы».

Б. Уточнение необходимого для данной ситуации значения или его оттенка: *И на меня пытается влиять в хорошем смысле* (Телемир, 2001, нояб.); словарное толкование: *влиять* — оказывать влияние; *влияние* — действие, оказываемое кем — чем-н. на кого — что-н., воздействие. Рефлексив делает акцент на отсутствие насильственного, ущемляющего достоинство воздействия.

— *Насколько мне известно, на недавней свадьбе Вы подняли тост за безумную любовь, вообще за безумство в хорошем смысле этого*

слова (КП, 1999, март): словарное толкование: *безумство* — безумное (во 2-м знач.), безрассудное поведение, поступок. Прилагательное «безумный» в словосочетании «безумная любовь» употребляется в 3-м, переносном, значении: Очень сильный, крайний по своему проявлению. Поэтому цель метаязыкового комментирования лексемы «безумство» — уточнить контекстную лексическую семантику с положительным прагматическим приращением, которую можно сформулировать следующим образом: «крайняя степень проявления чувств, дающая высокую степень эмоционального удовлетворения».

— *Вы с Горбачевым словно «совпали по волне». Правда, у вас — более аналитический ум, а он умело интриговал — в хорошем смысле слова* (АИФ, 2000, май); *Лавировать в этих перекрестных потоках, в хорошем смысле интриговать и «разруливать» враждующие группировки, — искусство трудное* (АИФ, 2000, февр.); словарное толкование: *интриговать* — 1. Вести интригу (*интрига* — скрытые действия, обычно неблагоприятные для достижения чего-н., происки). 2. Возбуждать интерес, любопытство чем-то загадочным, неясным. В контексте глагол «интриговать» употребляется в 1-м значении, но метаязыковой комментарий снимает негативный компонент «неблаговидности» действия.

— *Приехали они, чтобы надавить, в хорошем или плохом смысле этого слова, на участников совещания* (РТР, Новости, 20.02.99); словарное толкование: *давить* — 3. (перен.) Угнетать, притеснять. Метаязыковой комментарий подчеркивает возможность положительного воздействия с помощью силы.

В. Актуализация окказионального, личностного оценочного компонента в семантике слова: *Эта песня — штамп, в хорошем смысле этого слова. Она будет со мной всегда* (ОРТ, Песня-99); словарное толкование: *штамп* — 3. (перен.) Трафарет. Нечто избитое, привычный образец, которому следуют без размышления. В данном рефлексиве прагматическое приращение положительной оценки носит индивидуальный, личностный характер. Мена знака с отрицательного на положительный прагматический смысл возникает при индивидуальном понимании штампа как эталона, образца, канона. Метаязыковой комментарий указывает на эту мена, уточняя значение слова.

— *Наш институт в некотором роде оранжевый — в хорошем смысле слова. Среди людей моего возраста есть и те, кто надеет-*

ся только на родителей. Потому что они дипломаты или просто богатые люди (КП, 1999, дек.); словарное толкование: *оранжерейное растение* (перен.) — о хрупком, изнеженном человеке (ирон.). Ироническая оценка снимается метаязыковым комментарием, субъективный контекст подчеркивает лишь особое положение института, напоминающего оранжерею, в которой имеют возможность учиться особые студенты.

— *И почему на нашей эстраде такой дешевый фольклор? Фольклор в самом плохом смысле слова — в смысле непрофессионализма. Все с Запада обезьянничают* (АИФ, 2000, окт.); словарное толкование: *фольклор* — народное творчество, совокупность народных обрядовых действий. Негативная оценочная семаформируется на основе смысловой оппозиции *профессиональная — непрофессиональная* (любительская, низкого уровня) деятельность. Фольклор как народное творчество относится к непрофессиональным видам деятельности.

— *Как, по-вашему, что вас ждет после выхода? — Любимая работа, семейное счастье, веселая работа в хорошем смысле слова!* (КП, 2001, нояб.); словарное толкование: *веселый* — 1. Проникнутый весельем, полный веселья. Полярность оценок словосочетания «веселая жизнь» строится на противоположных ассоциациях: с одной стороны, приятная, интересная жизнь; с другой стороны, беззаботная, а потому бессмысленная, беспечная.

— *Каково было петь сегодня на арене цирка? — Здесь очень интересная атмосфера: дружеская, семейная. Ты стоишь в центре, а все — вокруг тебя. С одной стороны, действительно, не очень удобно: приходится поворачиваться то к одной части зрителей, то к другой. Но в этом повороте есть свой кайф: люди понимают, что ты внимательный человек и начинают по-другому относиться, если они пришли настроженными. Это очень размягчает душу (в хорошем смысле этого слова)* (Телемир, 2001, май). Оказиональность данного комментирования состоит в том, то оценочный компонент данного слова только положительный; словарное толкование: *размягчать* — 2. (перен.) Привести в состояние душевной мягкости, сострадательного отношения к кому-н. В индивидуальном лексиконе говорящего есть и отрицательная оценка этого действия: *размягчить* — сделать мягким, безвольным, бесхребетным.

— *Надо делать жизнь хорошей, но не в бандитском смысле слова* (ОРТ, Мы и время, 31.01.00). Общеоценочная лексема «хороший» имеет только положительную оценку; словарное толкование:

хороший — 1. Вполне положительный по своим качествам, такой, как следует. Компонент «как следует» предполагает разную нормативную оценку с точки зрения хороших и плохих (бандитов) людей. Отсюда актуализируется негативная сема в контексте.

Заканчивая анализ деривационного критерия коммуникативного напряжения, еще раз укажем, что сложная как в формальном, так и в семантическом отношении лексическая единица создает коммуникативные очаги напряжения. Чтобы решить задачу усвоения адресатом производной лексической единицы, говорящий использует для этих целей разнообразный метаязыковой комментарий.

Личностный критерий

В процессе речевой деятельности, осуществляя коммуникативный контроль за своей речью, говорящий и слушающий выступают как «наивные лингвисты», не только автоматически оперируя языковыми единицами по системе существующих правил, но и пользуясь принципами семантического анализа лексики, так как по-прежнему основным методом исследования лексической семантики «остается интроспекция, т. е. наблюдение семасиолога над теми ментальными объектами и процессами, которые связаны с данным словом в его собственном сознании» [Кобозева, 2000, 180]. Но если настоящий лингвист, полагаясь на собственное языковое чутье, будет делать выводы о значении слова, опираясь на корпус контекстов, извлекаемый из различных авторитетных источников литературного языка, и на правильные употребления слова, которые порождает сам (все это в целом составляет положительный языковой материал), то в коммуникативных рефлексивах данной разновидности вербализуются механизмы саморегуляции и самоорганизации речевой деятельности, результаты действия которых воспринимаются как естественный эксперимент «наивного семасиолога» с контекстами употребления либо комментируется собственный отрицательный материал. Говорящий своим рефлексивом либо пытается объяснить аномальность употребления слова в заданном контексте, либо мотивирует свой выбор лексической единицы. Об уникальной роли «отрицательного языкового материала», под которым ученые понимают различные неправильности и ошибки речи, для успешного лингвистическо-

го анализа писали многие исследователи (в частности, уместно сослаться на известное высказывание Л. В. Щербы о важности отрицательного материала и о том, что отрицательный материал, снабженный специальной пометой, необходимо помещать в нормативный словарь). Этот материал «уникален в том отношении, что он позволяет во много раз быстрее и эффективнее, чем нормальные тексты, установить существенные элементы значения слова; в лингвистике он играет такую же роль, как афазии в нейрофизиологии» [Апресян, 1974, 105].

Прежде всего Л. В. Щербе принадлежит заслуга введения в арсенал методов анализа лексической семантики эксперимента как одного из видов анализа. Суть его для задач семасиологии заключается в том, что исследователь для проверки своих семантических гипотез, выдвигаемых на основе наблюдений над правильными словоупотреблениями, должен применить это слово в ряде разнообразных фраз, «который можно бесконечно множить» [Щерба, 1974, 32]. Наряду с правильными фразами в полученном языковом материале будут и неправильные, аномальность которых можно объяснить на основе предположения ученого о значении некоторого слова.

Выбор слова — одна из ключевых проблем говорящего, и в основе этой проблемы лежит выбор правильной стратегии поиска, который отражает принципы организации словаря в сознании человека.

Психолингвистами была обнаружена множественность параметров поиска слова в памяти, «а тем самым и упорядоченность единиц лексикона по широкому набору разнообразных признаков» [Залевская, 1999, 159]. В психолингвистике также существуют различные классификации моделей узнавания слова в лексиконе [см. обзор типологии моделей: Там же, 176—184]. Остановимся в нашей работе на типологии когнитивных моделей поиска слова в ходе речевой деятельности, предложенной Дж. Эйтчисон [Aitchison, 1994, 202—208]. Автор предлагает три возможные модели выбора слова в пространстве одного семантического поля, причем избирая несколько необычную форму их представления — через известные эмпирические образы. Первая модель — модель «перехода реки, перепрыгивая с камня на камень». В соответствии с этой моделью человек, выбирая слово, совершает последовательный ряд действий, как бы перепрыгивая с камня на камень. Ис-

ходным пунктом является замысел — некий смысл, лишенный пока звуковой оболочки. Следующий шаг — определение того класса, к которому принадлежит выбираемое слово (это еще не то привычное нам вербализованное слово, а лемма, по терминологии Дж. Эйтчисон). На этом этапе в памяти человека активизируется семантический класс сходных по смыслу наименований. Заключительный этап включает программу поиска звуковой формы, соответствующей выбранному смыслу. Б. Ю. Норман, комментируя выбор лексической единицы в процессе порождения речи, уточняет, что процесс выбора точного смысла идет по принципу сужения тематического круга: «сначала выбирается некоторый лексико-семантический класс» [Норман, 1994, 38], а затем — конкретный представитель этого класса. Семантические связи — важный принцип организации словаря в сознании человека. Причем говорящий может сознательно увеличивать «длину каменной дорожки», «снижать порог требовательности при выборе нужной лексемы — с тем, чтобы тут же, на ходу произвести коррекцию выбора, заменить ошибочно выбранное слово» [Там же, 39]. В остальных двух моделях — «модели водопада» и «модели электрической сети» — человек как бы параллельно анализирует несколько возможных вариантов, которые на одних этапах когнитивной обработки пересекаются, подобно струям воды, вытекающим из одного источника, а на других расходятся; модель «электросети» в отличие от модели «водопада», допускает «течение электрического тока в разных направлениях», т. е. включает в себя возможность корректировки последующих действий в соответствии с поступающей новой информацией. Подтверждением реальности когнитивных моделей поиска нужного слова являются исследуемые нами коммуникативные рефлексивы, выносящие оценку точности словоупотребления. Когнитивные модели процесса выбора слова в ходе речевой деятельности коррелируют с существующими описаниями системных языковых связей между единицами. Коммуникативные рефлексивы демонстрируют наличие парадигматических связей лексических единиц в сознании говорящего, они «обеспечивают глубину линейного процесса речи» [Никитин, 1988, 73] в каждом пункте речевой цепи. Как мы уже отметили выше, это связи выбора и замены, которые позволяют выявить индивидуальное отношение говорящего к употребляемому слову. Подтвердим наше положение конкретным материалом.

Парадигматические типы связей лексических единиц в составе рефлексива представлены прежде всего эквивалентными (или эквонимическими) и синонимическими отношениями, которые отличны от привативных (или гипергипонимических) тем, что образуют не глобальные семантические структуры словаря, а отдельные микроструктуры в различных участках семантической организации словаря. Эти очаги существуют порознь, не составляя связанных частей общей системы.

Первый тип парадигматических отношений — отношения *пересечения*. Приведем контексты употреблений единиц-эквонимов, выделяя их в составе рефлексива: *Как оговорился (вернее, проговорился) один из спонсоров, и этот приз оказался «назначенным»* (АИФ, 1999, дек.); *Я видел, как нас принимала здешняя публика, не хотелось бы употреблять слово «чужеродная» — инославная* (Там же, 2000, янв.); — *Это ничего называется любовью? — Это не любовь, а восхищение, уважение и...* (НТВ, Я сама, 22.02.00); — *Читала Ваши интервью, и мне показалось, что для Вас эта тема довольно болезненна. Такое впечатление, что Вас когда-то ранило. На вопрос, были ли Вы женаты: «Ну было что-то. Сейчас поменяю паспорт и буду считать, что никогда ничего не было». Так может говорить только человек с царапиной на сердце. — Паспорт так и не поменял еще, кстати. Ну, а опыт такой был. Хотя «опыт» — не то слово: оно значит, что ты вышел умудренным. Слово «ранение» лучше. А фантомные боли — они же навсегда. Черт его знает, может быть мою решительность в разговорах на этот счет как раз первое ранение и сформировало. Может быть, мне пулю не извлекли. И она где-то сидит во мне* (МК-Урал, 2000, апр.); *Долинский не удовлетворен своей актерской судьбой. Ему все время кажется, что он мог бы сделать гораздо больше: «Знаешь, вот Андрюша Миронов всю жизнь завидовал, нет, неправильное слово, не завидовал, а хотел **дотянуться** до уровня Табакова* (МК, 1999, апр.); *Тренер велоклуба сказал, указывая на своих подопечных: «Вот такая она, наша тусовка». Но очень быстро я понял: слово «тусовка» здесь не подходит. Они — не «тусовка», они — практически **семья**. Потому что никогда и ни в какой тусовке не может быть такого взаимопонимания, отсутствия барьеров между младшими и старшими. Здесь все равны, все — просто байкеры* (Наша семья, 1999, сент.).

Второй тип парадигматических отношений — отношения *синанимии*. Это наиболее распространенный вид парадигмати-

ческих отношений в составе рефлексива. Продуктивность этого вида связей вполне объяснима, поскольку выбор точного слова происходит в семантическом поле близких по семантике слов. Проблема синонимии, с одной стороны, одна из хорошо изученных проблем лексической семантики; с другой стороны, одна из вечных проблем, не получивших общепринятого решения. Не углубляясь в суть теоретического осмысления явления, выделим, вслед за Ю. Д. Апресяном, два класса синонимов: синонимы в узком смысле слова, или **абсолютные синонимы**, — редкие случаи полной эквивалентности слов, и **квазисинонимы** [см.: Апресян, 1974, 220], лексическая семантика которых совпадает не полностью. К квазисинонимам относятся прежде всего слова, находящиеся в привативных или эквиполентных отношениях, дифференциальные признаки подкласса которых размыты и часто нейтрализуются в контексте. Наряду с указанными типами в число синонимов включаются равнозначные слова, различие которых связано с разной сферой употребления языка, т. н. **стилистические синонимы**. Говорящий в процессе речевой деятельности в поисках нужной лексической единицы манифестирует все вышеперечисленные типы синонимических отношений в рамках одного рефлексива. Покажем разные проявления синонимических отношений.

Реже всего встречается ряд точных синонимов в одном ряду. В рефлексивах перечень тождественных единиц обуславливается прежде всего прагматической задачей усиления смысла данной единицы в контексте: *Главное — **остановить, сделать паузу**, по-разному можно называть остановку бомбардировки* (ОРТ, Новости, 20.05.99); *Семья Гомельских прочно заняла баскетбольную нишу. Что это — **клан, династия, семейственность, мафия?*** (АИФ, 2000, сент.); *Мне трудно представить артиста, которому настолько подходило бы определение «народный». Не в звании дело. Он **по натуре своей, по сути, по имиджу**, если хотите, — **плоть от плоти народа*** (МК-Урал, 1998, дек.).

В коммуникативных рефлексивах мы сталкиваемся с фактами либо разграничения равнозначных в языковой системе лексических единиц, либо отождествления в рамках одного контекста близких, но не тождественных слов.

Разграничение равнозначных единиц может быть связано не с тем, что они выражают, а с тем, «кто, когда, где, для кого ведет

речь» [Никитин, 1988, 96], т. е. с фактами несодержательного языкового варьирования, с различием индивидуально-вкусовым, социальным, территориальным и т. д. Например: *Я не люблю слова «попса». Слово «эстрада» тоже как-то не очень подходит: слишком старомодно. Давайте называть все это популярной музыкой, которую сегодня ругают все, кому не лень* (АИФ, 1999, окт.); *Народ... Я не люблю это слово, так как не понимаешь, что стоит за этим словом. Лучше люди* (ОРТ, Времена, 24.12.00); *Если бы меня это напрягло... достало (есть такое выражение), я бы сделала так же* (РТР, Моя семья, 01.12.01); *На вопрос, делает ли он своей супруге романтические сюрпризы, ответил: «А вы знаете, что называть супругу супругой не очень романтично? Жена — это правильнее»* (АИФ, 2001, июнь); *Скинов распознают по бритым башкам, «бомберам» (куртки), «гриндерсам» (массивные ботинки, часто с железными носами), подтяжкам и белым шнуркам. Это нужно знать как дважды два, потому что за любой из этих элементов могут набутсать, нагрузить, выписать, напирать, замесить, бомбить, наломать, в башку дать, двинуть, отдолбить, в голову выхватить — синонимов к словам «бить», «быть битым» огромное количество. Годы войны сформировали свой язык* (КП, 2001, нояб.).

Особая роль переживания индивидом соотносимых им единиц может сделать эти единицы субъективно эквивалентными. При этом принцип субъективной эквивалентности (один из фундаментальных принципов работы речевого механизма) расходится с лингвистическим понятием синонимии и выявляет случаи, когда близость языковых явлений устанавливается по иным критериям. «Для носителя языка существуют субъективные психологические критерии близости значения слов, детерминированные экстралингвистическим опытом и картиной мира, стоящей за словом в индивидуальном сознании человека» [Лебедева, 1998, 131]. Например, в следующих примерах основанием сближения лексических единиц становится общественная практика: *А в общественном сознании слова «афганцы» и «преступная группировка» стали синонимами* (МК-Урал, 2000, февр.); *Конечно, слова «цинизм» и «политика» синонимы, но все-таки не полные* (МК-Урал, 2001, май); — *Порядок и справедливость это синонимы? — Да, это синонимы* (ОРТ, Час пик, 03.12.02); *Словосочетания «организованная преступность» и «организованная спортивность» воспринимаются сегодня многими как синонимы* (АИФ, 2001, июнь); *Игра в казино балансирует на*

границы между удачным случаем и шулерским опытом. Поэтому это слово стало для многих чуть ли не синонимом **мошенничества** (МК-Урал, 2000, авг.).

Основанием отождествления может быть и личностное восприятие слова: *Женщина-режиссер сделала артистов «гораздо итальянстее и брутальнее». В общем — сексу. Секс и жестокость, в ее понимании, синонимы. Она просто тащится от сексуальности Мэрилина Мэнсона, но на дух не переносит Рики Мартина* (МК-Урал, 2001, авг.); *В понимании Джонсона, «милый» — это пристающий, скабрешничающий и хватающий за все выступающие части тела* (МК-Урал, 2001, февр.).

Анализируемые выше контексты позволяют утверждать и обратное явление: тождественные в общесистемном словарном значении слова в индивидуальном употреблении противопоставляются как неточные. Рассмотрим три рефлексива, демонстрирующие данную разновидность:

— *Есть у меня одно сильное **желание** (не хочу употреблять слово **мечта**), но об этом я не люблю говорить* (С. Довлатов, Звезда, 2000, № 8). Ср. словарные толкования: **желание** — 1. Влечение, стремление к осуществлению чего-нибудь, обладанию чем-н.; **мечта**. — 2. Предмет желаний, стремлений.

— *Я не люблю слово «**одиночество**», я люблю слово «**удинение**»* (НТВ, Женские истории, 23.12.00); словарное толкование: **одиночество** — состояние одинокого человека; **удинение** — 1. От гл. **удиниться**. 2. Пребывание в одиночестве; **удиниться** — уйти от других, в какое-н. место, а также, отдалившись, перестать общаться.

— *Тяжело, когда муж **уходит**, не буду говорить грубое слово **бросает**. — А меня не просто **оставил**, а, как Вы сказали, **бросил**, именно **бросил*** (НТВ, Я сама, 16.01.99). **Бросить** — 4. Уйдя, оставить, покинуть; прекратить делать что-н.; **уйти** — 2. Перестать что-н. делать или заниматься чем-н. (в соответствии со значением следующего далее существительного); **оставить** — 7. Удалиться от кого — чего-н., покинуть, не имея больше дела с кем — чем-н.

Среди параметров, которые различают значения равнозначных слов, особое значение приобретает коммуникативный статус той или иной семы в толковании: и з м е н е н и е «фокусировки в н и м а н и я» [Падучева, 2001, 43] сказывается на многих аспектах языкового поведения лексемы. Данные рефлексивы демонст-

рируют семное варьирование значения, которое приспособляется к коммуникативным условиям конкретного речевого акта, говорящий в связи со своим коммуникативным замыслом актуализирует те или иные семантические компоненты в семантике слова. Актуализация одних признаков при погашении других делает анализируемые системные синонимы не эквивалентными [об актуализации сем см.: Стернин, 1985, 106—108; Чудинов, 1988, 109—114]. В первом рефлексиве противопоставление единиц «желание» и «мечта» акцентирует в значении слова «мечта» экспрессивное содержание, при этом мечта воспринимается как высшая оценка желаний, поэтому употребление слова в обыденном контексте С. Довлатовым воспринимается несколько пафосно, и он выбирает менее экзальтированное слово «желание». Во втором рефлексиве сема состояния в слове «одиночество» носит постоянный характер, тогда как в слове «уединение» актуализируется временное состояние признака. В последнем контексте сниженность глагольной единицы «бросать» по сравнению с нейтральными «оставить», «уйти» осознается и вне контекста, хотя словарь не указывает никаких коннотаций для первого слова. В данном случае, на наш взгляд, этот контекст может называться тем самым «отрицательным материалом», роль которого так велика в семантических исследованиях, поскольку на его основе можно выделить те компоненты, которые остались вне поля зрения исследователя.

Своеобразное проявление синонимических отношений в составе одного рефлексива демонстрирует реализация еще одного фундаментального принципа работы речевого механизма — принципа с м ы с л о в ы х з а м е н, который устанавливает факт лексической эквивалентности через глубинную предикацию. На этот принцип переложения мысли на другой язык [см.: Потенция, 1976, 79], «отнесения понимаемого знака к другим, уже знакомым знакам» [Волошинов, 1929, 18] обращали внимание многие ученые [см.: Жинкин, 1982; Залевская, 1992]. Смысловые замены происходят при кодовых переходах в речемыслительной деятельности, когда сливаются единицы естественного языка с образами объектов окружающего мира на уровне универсального предметного кода — по Жинкину, на уровне субъективного языка, который не осознается человеком. Приведем достаточно развернутый рефлексив, демонстрирующий принцип смысловых замен: — *Создатели «Вы, блин, даете» чувствовали, что программа популярна? — Да, нас,*

оказывается, смотрели и в городе, и в области. Вот мой соавтор, друг и однокурсник Андрей Титов, шел по родному Каменску-Уральскому, его встретила женщина: «Ты же этот? Как его?.. Ну программа... А — **«Ну, погоди!»**. Или вот еще: приезжаем в Реж, снимаем одну семью, и героиня сюжета спрашивает: «Как программа называется?» Я отвечаю: «Вы, блин, даете». Тогда она мужу: «Видишь, Петя! А ты все говорил — **«Ни хрена себе, ни хрена себе!»**; Самый большой предмет нашей гордости — история, которую рассказала нам знакомая журналистка, побывавшая на заседании в Белом доме. Там один из членов областного правительства, выступавший перед руководителями городов, сказал: «Вот у нас одна такая вредная программа есть... Как она?.. **«Ну, вы, ребята, бля, ваще!»** Значит, и там нас смотрели (4 канал + все ТВ, 1999, март). При выборе слова немалую роль играют личные впечатления, образы, которые говорящий ассоциирует с данным словом. Механизм подмены связан с ложной ассоциацией по семантическим или фонетическим/графическим признакам, в данном случае происходит семантическая ассоциация по смежности внутри одной тематической группы [об ошибках на основе ассоциаций см.: Банкевич, 1981; Горохова, 1986; Пойменова, 1997; Пойменова, 1998].

Иногда в рефлексивах эксплицируется только конечный этап поисков слова, вся остальная поисковая часть остается неосознанной. ИмPLICITную часть поисков обычно занимает пауза. При этом говорящий может подчеркивать два момента. Во-первых, акцентируется позитивный результат выбора слова, например: *Сейчас происходит — **вот точное слово** — размораживание отношений с Европой* (Г. Павловский, НТВ, Намедни, 30.09.01); *Женская часть нашего оркестра его... боготворит — **это, пожалуй, самое точное слово*** (КП, 2000, нояб.); *Дети из обеспеченных семей часто жалуются на чрезмерную родительскую опеку. От этой гиперопеки они бегут, от постоянных ожиданий и требований. Бегство в поисках свободы? Они говорят: «**Вырваться**». **Вырваться — характерное слово**. Вырываются из тюрьмы, из оков... В общем, из неволи, а никак не из родного дома.* (АИФ, 1999, сент.); *Этому серьезному информированию и комментированию противостоит стихия, **иначе не скажешь**, «тусовочности»* (Русская журналистика, 1996); *Вокруг нее увивались — **другого слова не подберешь** — великие личности: Бернес, Утесов, мелькал Вертинский* (КП, 1998, дек.) (см. высказыва-

ние А. Д. Шмелева в поддержку последнего рефлексива: «выражение *другого слова, однако, не подберешь* обычно указывает на то, что выбранное выражение точно соответствует описываемому объекту» [Булыгина, Шмелев, 1999, 147]).

Во-вторых, эксплицируется отрицательный результат: говорящий винится за то, что не мог найти точное слово, его поиски оказались неудачными, поэтому позиция искомой единицы в предложении может быть либо не занятой, либо занятой словом, признанным автором неточным, неудачным: *Не знаю, как выразиться грамотно...* (ОРТ, Человек в маске, 19.01.98); *Я могла бы их определить как мальчиков, как дядек, дядьков и просто старых... не знаю даже, как их назвать* (МК-Урал, 1999, янв.); *За недостатком лучшего слова, назовем эту часть душой* (РТР, Моя семья, 20.12.00); *Затем он хрипло продышал еще полкуплета и вдруг тонко проблеял — другого слова, к сожалению, не подберешь — еще несколько слов, но затем дал «петуха»* (КП, 2000, март); *Может быть, я несколько искусственно... подогнала (другого слова подобрать не могу) эту группу культурных знаков к типам народной речевой культуры* (Устная речь на семинаре, 2001, нояб.); *Это был почти брак по расчету. Если это слово тут применимо. Он сидел в лагере, она жила себе в городе Орше. Он — к сорока одному году холостяк, да еще и осужденный. И она — уже почти старая дева, ни разу не бывавшая замужем* (МК-Урал, 2000, апр.).

Еще одним проявлением синонимии в составе коммуникативного рефлексива, толкуемой в расширительном смысле, являются э в ф е м и с т и ч е с к и е з а м е н ы, определяемые нами как контекстные коммуникативно-прагматические синонимы (эвфемизация может являться источником и лексической синонимии [Москвин, 2001, 68—69]). При синонимизации двух лексем, одна из которых представляет собой «смягченную» единицу, перегруппировка семантических планов так или иначе определяется прагматической установкой речи. Семантический механизм переключения состоит в поиске и актуализации лексических коррелятов, маскирующих суть явления по самым разным причинам. В литературе, посвященной этому вопросу, эвфемия получает многостороннее теоретическое осмысление, авторами работ составляется реестр функций и способов эвфемистической номинации [см.: Ларин, 1977; Виндлак, 1967; Варбот, 1979; Шмелев, 1979; Крысин, 1994, 1996, 1998; Кочетко-

ва, 1998; Шейгал, 2000; Москвин, 1998, 1999, 2001; Кочеткова, Богданова, 2001, 201—204].

Если мы обратимся к речевому аспекту эвфемизации, реализующей себя в контексте рефлексива, то необходимо отметить, что, кроме обычного самоконтроля речевой деятельности говорящего, подключается его личностная социальная установка, жесткий «социальный контроль речевой ситуации» [Крысин, 2001, 230]. Например: *А когда я начал работать как режиссер, то, конечно, многое не то чтобы позаимствовал, а, как бы поделикатнее сказать, — воспринял из западного опыта* (МК-Урал, 2001, авг.); *С юридической точки зрения допрос экс-министра обороны Грачева, наверное, необходим. Но смысла в допросах таких людей обычно очень мало. Такие люди слишком склонны фантазировать (мы употребляем этот термин, чтобы не говорить грубых слов вроде «лгать»)* (МК-Урал, 2001, февр.); *Мы говорим убрать, убить звучит грубо* (ОРТ, Время, 18.11.98). С одной стороны, синонимизация лексем в данных контекстах позволяет говорящему объяснить «намеренное снижение точности номинации» [Шейгал, 2000, 218], а с другой стороны, при комментировании эвфемизм «утрачивает свою камуфлирующую функцию» [Там же, 128]. «Саморазоблачение» говорящего выполняет дополнительную воздействующую функцию — привлечь внимание к негативным фактам действительности по принципу «от противного».

Снижение категоричности констатации факта достигается различными способами (см. указанную выше литературу). С содержательной точки зрения по характеру семантических преобразований выделяется два типа замен: 1) замены без увеличения смысловой неопределенности; 2) замены, приводящие к увеличению смысловой неопределенности [см. об этом: Шейгал, 2000, 213]. Характеризуя эвфемистические замены в составе рефлексива, отмечаем увеличение смысловой неопределенности в синониме-эвфемизме. Обычно неопределенность обеспечивается редукцией нежелательного семантического компонента, входящего в семную структуру прямой номинации. Например: *В обед Ада Анатольевна торопливо собиралась на работу перед зеркалом. Любознательное чадо спросило: «Мама, а кто такая проститутка?» Мама Коли, не повернув головы в сторону сына, мгновенно ответила: «Это женщина, которая много времени проводит в обществе мужчин». Николай Сванидзе вспоминает: «Когда я узнал истинное значение этого сло-*

ва, то поразился тому, что мама ответила настолько быстро и правильно при этом. Она меня не обманула. За это я ее зауважал» (МК-Урал, 2001, авг.).

В эту же группу коммуникативных рефлексивов считаем возможным отнести высказывания, в которых один из членов оппозиции «прямая номинация — эвфемистическая номинация» отсутствует. При этом метаязыковой комментарий находится в прямой зависимости от отсутствующего члена. Например: *Явлинский и Гайдар, мягко говоря, друг друга очень не любят* (АИФ, 2001, май); *Все красивые девушки идут в топ-модели или, мягко говоря, в смежные профессии* (ОРТ, Час пик, 31.05.98); *Сейчас телевидение весьма... ну, скажем уклончиво... весьма демократично. Язык улицы и подворотен, сленг молодежной толпы, блатная лексика полуграмотного быдла давно перекочевали на ТВ, став частью экранной речи* (КП, 2000, янв.); *Можно сказать, искусство находится в я м е, если не сказать еще более круто* (Э. Рязанов, Тэфи-98, 25.05.98). В данных рефлексивах отсутствует прямая номинация факта действительности, горящий вербализует эвфемистическое переименование, работая на улучшение денотата и в то же время подчеркивая смягченную неточность выражения.

Эта профессия вас кормит, грубо говоря (АТН, 29.06.01); *Но, выражаясь грубо, он мог стать объектом шантажа со стороны своих уже упомянутых сподвижников* (АИФ, 2001, май); *Следующий, не менее прибыльный вид коллекционирования — это вещи, извините за грубость, украденные из гостиниц* (МК-Урал, 2000, сент.); *Самый большой идиотизм (не побоимся этого слова!) налоговой реформы заключается в процессе ее запуска* (Там же, 2000, июль). Метаязыковой комментарий «грубо говоря» вербализирует противоположный полюс на оси оценочного денотата, говорящий употребляет синоним, гиперболизирующий отрицательный признак (это явление, получившее терминологическое обозначение «дисфемизм» [см.: Крысин, 1996; Шейгал, 2000], весьма продуктивно для современной публичной речи в связи с общей тенденцией к стилистической сниженности речи), либо категорично фиксирует тот или иной факт, подаваемый в литературном языке обычно в смягченном варианте.

Таким образом, для носителя языка при поиске точного слова, при определении близости лексических единиц недостаточно только совпадения семной структуры слов. Среди параметров,

различающих и отождествляющих значения слов, важную роль выполняют признаки, с точки зрения говорящего, коммуникативно актуальные для текущей ситуации. Кроме того, психологическая структура значения слова основана на эмоциональных переживаниях и субъективном опыте носителя языка [см.: Лебедева, 1991], значения слов в индивидуальном лексиконе ведут как бы двойную жизнь: имеют общесистемное значение и индивидуальное в виде личностного смысла, поэтому говорящий при фокусировке внимания на том или ином компоненте значения слова в контексте высказывания вынужден переключать бессознательный речевой контроль в область сознательных действий, чтобы актуализировать тот компонент значения, который важен для понимания. Таким образом, к о м м у н и к а т и в н о е з н а ч е н и е — «это поле признаков (ситуаций), не имеющее границ» [Голев, 1993, 20].

Подведем итоги наблюдениям над коммуникативными рефлексивами последней разновидности. Рефлексивы позволяют отразить диапазоны значений слова при его использовании, которые представляют собой диалектическое единство общесистемного значения, приобретаемого свою системную силу при многократно повторяющемся контексте в коммуникативной сфере, и индивидуального, личностного смысла, в виде которого оно хранится в сознании говорящего. Вербализация в рефлексиве поиска и обсуждения точного слова позволяет говорить о речевом напряжении, возникающем при корреляции структурно-системной организации лексики и многомерного устройства внутреннего лексикона говорящего.

ВЫВОДЫ

В главе второй мы рассмотрели группы коммуникативных рефлексивов, выделенных на основании следующих критериев коммуникативного напряжения: динамического, стилистического, деривационного и личностного. Внутренний лексикон говорящего представляет собой действующую систему, в которой каждая единица обладает оперативными возможностями по всем мыслимым линиям ее употребления — прагматического, чисто формального, семантического. В том случае, когда механизм языкового контроля напоминает о возможных отступлениях от эталонной «инструкции

использования», происходит вербализация метаязыкового сознания. Изучение «манящего хаоса языковой реальности» [Николаева, 2001, 145], в которую на равных входит эксплицированная рефлексия, служит для того, чтобы «сообщить человеку убеждение в субъективном содержании слова и умение выделить этот элемент из объективного сочетания мысли и слова» [Потебня, 1989, 206]. Анализ зон коммуникативного напряжения позволяет показать, как «высвечивается» субъективный элемент при процессах вербализации, чтобы адресат мог понять передаваемое содержание. Экспликация речемыслительной деятельности в рамках рефлексива включает такие задачи, как различение данной и новой информации, принятие решения о том, какую единицу с точки зрения стилистической маркированности использовать в речи, установление и показ формальной или семантической сложности слова, а также выбор лексической единицы, наиболее адекватной, по мнению говорящего, в данном контексте. Исследование зон коммуникативного напряжения через метаязыковой комментарий дает возможность полнее представить процесс речепорождения, а также стремление адресанта выразить мысли абсолютно адекватным образом. Современная антропологически ориентированная лингвистика заинтересована в понимании того, как в действительности работает наш язык.

ГЛАВА 3

КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ РЕФЛЕКСИВЫ И СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНЫЕ ДОМИНАНТЫ

ПОСТАНОВКА ВОПРОСА

В данной главе будут рассмотрены метаязыковые высказывания, которые мы отнесли к классу концептуальных рефлексивов. Обыденное метаязыковое сознание причастно к концептуальному мирозиданию средствами языка, отражает концептосферу носителя языка.

Концептуальные рефлексивы реагируют на очаги концептуального напряжения, связанного с когнитивной деятельностью индивида. Критерии напряжения, выделенные нами в главе первой, определяют структуры данной части работы. Эти критерии мы объединили попарно: динамический — деривационный; ксеноразличительный (социальный) — личностный, поскольку в основе выделенных оппозиций лежат сходные когнитивные процессы.

Первая пара критериев связана с развитием массового обыденного сознания российского человека, который реагирует на изменения в общественной жизни. Радикальные экономические, политические и социальные преобразования в стране способствуют активному обновлению концептуального мира индивида. Обновление концептосферы постсоветского человека носит особый характер, так как протекает в условиях переходного периода, характеризующегося глубочайшей нестабильностью общества, под которой понимается не просто быстрота и радикальность изменений, но также их рассогласованность по темпу, направленности, степени радикальности в разных сферах общественной жизни, по мере вынужденного приспособления к изменившейся социальной среде. Концептуализация новых знаний соседствует с ломкой, трансформацией стереотипов национального мировидения на современном этапе. В этом тоже видятся особые трудности новой России: в тоталитарном обществе стабильность декларировалась как официальная идеология. Нормой общественной жизни были прочность и незыблемость устоев, заданность их объективным ходом истории. Поэтому обновление жизненной ориентации личности

связывается с расшатыванием нормы, которое воспринимается как опасное отклонение от нее. В языке социальная нестабильность отражается рассогласованностью элементов лексической системы языка [см.: Скляревская, 1996], отражающей процессы номинирования концептуальной сферы. Низкий уровень стабильности концептосферы трудно расчленить по зонам статистического и деривационного напряжения, поскольку происходящие смысловые преобразования в языковом сознании обычно соединяют в себе оба этих критерия. Эффект первичной новизны, безусловно, напрямую связан с динамическим критерием концептуального напряжения, эффект актуальной новизны (особенно в контексте «новое — это хорошо забытое старое») — с деривационным критерием. Поэтому в целях создания общей картины изменений в концептосфере *Homo postsoveticus* мы рассматриваем эти критерии нерасчлененно.

Неотъемлемыми моментами новаций в языковой картине мира русского человека, познания современной российской действительности являются личный опыт человека, его нравственные, мировоззренческие установки, ценностные ориентации. Индивидуальные концептуальные системы оказываются включенными в систему взглядов, представлений, норм, ценностей многочисленных групп. Человек, будучи существом общественным, всегда является членом какого-либо объединения. Многочисленные контакты часто приводят к объединению по «любому характерному ситуативному признаку» [Захарова, 1998, 89], наиболее существенными из признаков являются национальные и социальные. С. Московичи была предложена гипотеза об организации индивида по типу идентификационной матрицы как особой подсистемы в системе знаний индивида. Основу идентификационной матрицы человека составляет множество принадлежностей: общечеловеческая, половая, религиозная, этническая, профессиональная и др. [см.: Moscovici, 1984]. Объединение происходит на основе базового параметра отделения себя от других, дихотомии «свой» — «чужой», которая «является одним из главных концептов всякого коллективного, массового, народного, национального мироощущения» [Степанов, 1997, 472]. Поэтому критерии концептуального напряжения, относящиеся к самоидентификации личности в социально неоднородном обществе, представляют собой реальную оппозицию «индивидуальное —

всеобщее (социальное)» и будут рассмотрены нами как взаимосвязанные.

Необходимо напомнить о многоплановости концептуального рефлексива: коммуникативный рефлексив в одной из своих ипостасей являет собой форму концептуального. Поэтому в каждом классе концептуальных рефлексивов могут встречаться коммуникативные рефлексивы любой разновидности. При характеристике концептуальных рефлексивов главное внимание будет обращать на содержательную сторону метавысказывания, обсуждение плана выражения рефлексива — побочная задача.

В фокусе внимания в третьей главе находятся смысловые доминанты современной эпохи, когнитивно-ориентированные понятия, связанные с отражением образа мира, присущего тому или иному этносу, с языковым мировосприятием. Поэтому, прежде чем раскрывать в содержательном плане характеристики типов концептуального напряжения, необходимо уточнить употребление ряда терминов, связанных с мировоззренческим, концептообразующим подходом к возможностям языка.

О БАЗОВЫХ ТЕРМИНАХ «КОНЦЕПТ», «СТЕРЕОТИП», «МЕНТАЛИТЕТ»

Происходящие на наших глазах изменения в ментальности русского народа, его социальных слоев, переоценка культурных ценностей, связь языка с «синхронно действующим менталитетом народа» [Телия, 1996, 218] изучаются целым рядом смежных дисциплин, имеющих отношение к человеку, — лингвокультурологией, этнолингвистикой, этнопсихологией, этносемантикой, этносоциологией и другими, для которых важен факт отношения человека к обществу, природе, истории и прочим сферам социального и духовного бытия, имеющим национально-специфический характер. Когнитивно ориентированная лингвистика также обращается к многоаспектным связям человека с миром.

Связь языка, мышления, культуры находит отражение в базовом термине современной когнитивной лингвистики — **к о н ц е п т е**. Через концепт исследователь имеет возможность подойти к изучению материальной и духовной самобытности этноса.

Лингвистической характеристикой концепта как мыслительной единицы является «закрепленность за определенным способом языковой реализации» [Воркачев, 2001б, 47]. Концепт составляет содержательную сторону языкового знака [Попова, Стернин, 2001, 93], включая в себя, помимо понятийного, рационального компонента, всю внерациональную, прагматически и психологически значимую информацию. Базовым ядром концепта является определенный чувственный образ, единица универсального предметного кода (Н. И. Жинкин), которая кодирует концепт для мыслительных операций. Этот компонент приобретает идею «зародыша» первосмысла, «из которого и произрастают в процессе коммуникации все содержательные формы его воплощения в действительности» [Колесов, 1999, 81].

При доминировании антропологической составляющей современной лингвистики вся внепонятийная сторона концепта приобретает лингвокультурологическую направленность. Именно этот аспект изучения концепта послужил основой для возникновения новых терминологических единиц, являющихся аналогами термина «*концепт*»: «лингвокультурема» [Воробьев, 1977, 44–56], «логоэпистема» [Костомаров, Бурвикова, 2001, 35], «мифологема» [Базылев, 2000], для метафорического определения концепта «как сгустка культуры в сознании человека» [Степанов, 1997, 40].

Культурная маркированность вербализованного концепта явилась основной причиной разного толкования объема концептосферы. В обзорных работах С. Г. Воркачева [2001а; 2001б] выделяется три основных подхода к определению концепта.

Во-первых, это широкое понимание концептосферы [Лихачев, 1993; Попова, Стернин, 2001], в состав которой включаются все лексемы, составляющие содержание национального языкового сознания и участвующие в формировании языковой картины мира. Следующие два подхода сужают концептуальную область.

Во-вторых, концепты определяются как семантические образования, обладающие лингвокультурной спецификой [Степанов, 1997]. По Степанову, концепт, являясь основной ячейкой культуры в ментальном мире человека, не только мыслится, но и переживается, являя собой «предмет эмоций, симпатий и антипатий, а иногда и столкновений» [Степанов, 2001, 43]. Структурная организация концепта имеет сложный характер и включает, наряду с

понятием, также и то, что делает его фактом культуры. Культурная составляющая концепта имеет три слоя: 1) основной, актуальный признак (современные ассоциации и оценки); 2) исторические признаки, являющиеся дополнительными; 3) внутренняя форма, или этимология [см. об этом: Там же, 48].

В-третьих, к числу концептов относятся ментальные сущности, являющиеся ключевыми для понимания национальной специфики носителей определенной этнокультуры. Лексическую единицу, вербализующую ключевой концепт, можно отнести к разряду ключевых, «если она может служить своего рода ключом к пониманию каких-то важных особенностей культуры народа» [Шмелев, 2002, 11], если в результате исследования подобных слов мы можем «сказать о данной культуре что-то существенное и нетривиальное» [Вежбицкая, 2001, 37]. Если же выбор ключевых слов окажется неверным, то исследователь будет не в состоянии «продемонстрировать что-то интересное» [Там же, 37].

Таким образом, в концептуальном подходе к языковым фактам лингвистов в первую очередь привлекает возможность максимально охватить этнокультурную специфику языкового знака, всю коммуникативно значимую информацию, что достаточно трудно было описать с помощью системно-структурного анализа лексической семантики. Интегральный подход к семантической структуре слова нарушал известный общенаучный принцип, формулируемый в виде императива: «Не умножай сущностей» [о критическом обзоре интегральных концепций см.: Михайлова, 1998, 78–81]. Концептологическое направление в лингвистике оставляет за лексической семантикой лишь часть смыслового содержания концепта, поскольку «для экспликации концепта нужны обычно многочисленные лексические единицы, а значит — многие значения» [Попова, Стернин, 2001, 59].

Исследовательский материал, представленный в данной книге, дает возможность утверждать, что концептосфера образует целостное и структурированное пространство, включающее всю совокупность концептов, представленных в языке в виде языковых знаков. При этом слово является главным средством доступа к концептуальному знанию, а концептуальные рефлексивы, представляющие собой вербализованные следы мыслительной деятельности, позволяют выделить очаги концептуального напряжения, возникающие в когнитивной сфере индивида.

В основе автоматизма когнитивной деятельности лежат когнитивные с т е р е о т и п ы, которые в контексте социального взаимодействия рассматриваются как неосознаваемые модели когнитивного действия, как процедуры добывания знаний и операции с ними, хранящиеся в виде клише и функционирующие как автоматизированные эталоны [см.: Красных, 2002, 177—180]. Стереотип с содержательной точки зрения — это некий устойчивый фрагмент картины мира, хранящийся в сознании. Особенностью процесса стереотипизации объективной действительности является известное упрощение, «сокращение» этого фрагмента в процессе познания. Стереотип рассматривается «как устойчивый, упрощенный, схематизированный образ социальных объектов» [Хотинец, 2002, 267].

Стереотипизация познания имеет два различных следствия. С одной стороны, стереотипы облегчают, «экономят», ускоряют мышление. Заостренно обобщающая и упрощающая форма стереотипа позволяет говорящему использовать признаки и атрибуты, содержащиеся в нем, «для оценки отнесенности предметов к тому или иному классу на основе семейного сходства» [КСКТ, 1996, 178].

С другой стороны, упрощенный подход к познанию не дает полного и точного образа другого, способствует возникновению предубеждений, стандартных мнений, расхожих истин на основе ярких признаков, бросающихся в глаза. Возникновение предубеждений на основе негативного прошлого опыта отрицательно сказывается в условиях реальной жизни. Проблема истинности социальных стереотипов начиная с 20-х годов XX века (У. Липпман) до сегодняшнего времени в социальных науках остается актуальной.

Ментальные стереотипы всегда имеют личностную, групповую, национальную окрашенность, которая получила в литературе терминологическое обозначение м е н т а л и т е т а [см., например: Попова, Стернин, 2001; Колесов, 1999; Корнилов, 1999 и др.].

При первом приближении под менталитетом следует понимать интегральную характеристику некоторой культуры, в которой отражено своеобразие видения и понимания мира, «т. е. способ интерпретации и осмысления повседневной реальности» [Андреева, 1999, 157] представителями этой культуры. В широ-

ком смысле менталитет понимается как образ мыслей, система навыков и установок различных социальных групп, все элементы которой «тесно взаимосвязаны и сопряжены друг с другом и функция которой — быть регулятором их поведения и бытия в мире» [Огурцов, 2002, 380]. Эта совокупность мыслей, верований и навыков имеет целостный характер, отличается устойчивостью, соединяя формы сознания с коллективным бессознательным.

Ментальность — это специфический вид мышления. Кроме аналитической деятельности человека, на оценку явления влияют эмоциональная впечатлительность, прежний социальный опыт, здравый смысл. Восприятие мира формируется в глубинах подсознания. Этим ментальность отличается от общественных настроений, ценностных ориентаций и идеологии, которые изменчивы, непостоянны и осознаваемы. Ментальность устойчива, она «характеризует собой глубинный уровень коллективного и индивидуального сознания» [Культурология, 1997, 271] и восходит к бессознательным глубинам психики. Захватывая бессознательное, ментальность выражает устойчивые образы мира, свойственные данной культурной традиции, данному обществу. Таким образом, «внутри менталитета находят себя различные оппозиции — природное и культурное, эмоциональное и рассудочное, иррациональное и рациональное, индивидуальное и общественное» [Там же, 271].

Многоплановость понятия «менталитет» создает условия для различного содержательного наполнения и операционального определения данного термина его пользователями. За основу определения могут браться разные признаки: это может быть и противоречивая целостность картины мира, и дорефлективный слой сознания, и социокультурный автоматизм сознания индивидов, и т. д.

Идея менталитета облекается обычно в форму этнически-национального менталитета и является «способом артикуляции национальных мифов и идеологически-политических самооценок и предубеждений» [Огурцов, 2002, 381]. Национальный менталитет определяется как интегративная характеристика культуры народа, нации, представляющая собой «органический синтез мировоззрения и психологических ориентаций» [Этнопсихологический словарь, 1999, 178], формируемый под воздействием среды обитания человека, социальных условий жизни, культур, традиций. Именно этнические компоненты культуры характеризуются стабильно-

стью и устойчивостью и составляют генетическое ядро этноса. Социальное устройство общества — более гибкая материя, «способная менять свои нормы и санкции в пределах достаточно короткого периода» [Хотинец, 2002, 273]. Подвижная социальная материя накладывает свой отпечаток на характер народа, но не изменяет его, «социум лишь регламентирует степень ее (этнической психологии. — *И. В.*) проявления, устанавливая нормативные маркеры» [Там же, 274].

Этническое видение и понимание мира осуществляется с помощью национального языка. Язык воплощает и национальные образы, и национальный характер, и национальные идеалы. Поэтому лингвистический взгляд на термин «менталитет» (или «ментальность») связывает национальную идентичность с выражающим ее языком: «Ментальность есть мирозерцание в категориях и формах родного языка, соединяющее в процессе познания интеллектуальные, духовные и волевые качества национального характера в типичных его проявлениях» [Колесов, 1999, 81]. На раннем этапе существования этноса под воздействием природно-климатических условий формируются типичные национальные черты, которые закрепляются в языке, становясь социально наследуемыми. И далее новым поколениям язык передает в готовом виде «сформированную и запечатленную в формах языка специфику национального мировосприятия и мирооценки» [Корнилов, 1999, 124]. Язык обеспечивает межпоколенную трансляцию как стереотипов национального мировидения в быденном сознании, так и совокупность общечеловеческих ценностей. Язык делает то, «что на раннем этапе развития этноса делала сама внешняя среда его обитания и его генетико-антропологическая природа» [Там же, 124].

Поскольку языковая ментальность определяется во многом социокультурными, а не только языковыми факторами, то типы ментальностей можно выделять как по языковому, так и по социокультурному признаку. «Независимость особенностей языковой ментальности от языка может приводить к тому, что различия между языковыми ментальностями представителей разных социокультурных групп, которые являются членами одной языковой общности, могут оказаться более значительными, чем различия между языковыми ментальностями представителей одной социокультурной группы, принадлежащих к разным языковым общно-

стям» [Почепцов, 1990, 120]. Созвучны с высказанной выше идеей мысли В. Пьещуха, высказанные в интервью журналисту «Известий»: *Я думаю, есть много русских народов. Вот мы с вами (интеллигенция) — это один народ со всем тем, что всякому народу присуще, — от иерархии ценностей до языка. Новые русские, крестьяне, уголовники — это отдельные нации, которые на суверенных началах входят в понятие «великорусский народ»* (Известия, 1997, 15 нояб.). Таким образом, система устойчивых социальных представлений и образцов поведения может определять не только национальный менталитет, но и менталитет любой конкретной группы, входящей в состав этноса.

Мироосмысление и мирооценка современной русской действительности носителем языка протекают в границах его концептосферы, которая на рубеже веков испытывает сильное воздействие со стороны социокультурных факторов. Мы имеем возможность наблюдать перестройку концептуальной сферы, которая, в частности, получает экспликацию в виде метаязыковых концептуальных высказываний.

Концептуальные рефлексивы позволяют лишь обозначить очаги когнитивного напряжения, но не дают возможности охарактеризовать концепт полно. Нам не хотелось ограничивать себя эскизной подачей материала при характеристике концептов переходного периода. Поэтому мы расширили рамки привлекаемого материала, используя, наряду с рефлексивами, контексты рефлексивного характера в виде аналитических высказываний, мнений, суждений, в которых объектом аналитического осмысления являлись анализируемые концепты. Данный тип ценностных суждений, в которых говорящими осознаются глубокие внутренние трансформации, документируются чувства, которые овладевают современным российским человеком, осваивается непонятность («чуждость») современного мира, дополняют картину концептуальной характеристики и позволяют представить ее в виде целостного описания. Мы отдаем себе отчет, что расширяем рамки использованного материала в пользу создания законченного образа доминантных концептов постсоветской эпохи. В современной лингвистике можно указать ряд работ, выполненных с опорой на аналитические высказывания [см., например: Буряковская, 2000; Korzeniewska-Berczynska, 2001].

КРИТЕРИИ КОНЦЕПТУАЛЬНОГО НАПРЯЖЕНИЯ В ПРОЕКЦИИ НА СОЦИОКУЛЬТУРНОЕ ПРОСТРАНСТВО

Динамический и деривационный критерии

Данная разновидность концептуальных рефлексивов фиксирует различные этапы формирования и развития концептов, которые могут вызывать концептуальное напряжение. Как мы уже отмечали выше, современная российская действительность способствует интенсификации когнитивной деятельности носителя языка, которая, в частности, проявляется в обновлении и усложнении концептуального мира языковой личности.

Отметим несколько зон когнитивного напряжения.

Зона ликвидации лакунарности. Это первая зона напряжения. Лакунарность связана с проблемой именования концепта в языке. «Под лексической лакуной понимается отсутствие какой-либо лексической единицы в языке при наличии концепта в концептосфере» [Попова, Стернин, 2001, 39]. В когнитивной лингвистике считается, что лучший доступ к описанию концепта обеспечивается языком, который кодирует прежде всего самые важные концепты [см.: КСКТ, 1996, 90—91], сигналом сформированности концепта является наличие имени [см.: Попова, Стернин, 2001, 38], собственной формой концепта является именно слово, а не высказывание, причем именование концепта носит неслучайный характер [Степанов, 2001, 67—79].

Обыденное сознание, представленное в вербализированной форме метаязыкового высказывания, дает возможность подтвердить выводы научного, теоретического сознания. Многочисленные рефлексивы показывают, как часто у говорящего за обсуждением слова скрывается обсуждение концепта. Это может быть 1) актуализация концепта-представления: *При слове «замок» лица людей моментально принимают мечтательное выражение. «Замок» — это лабиринт бесчисленных комнат, мрачные подвалы с привидениями и мощные стены, выложенные крупным булыжником или неровным кирпичом. Замок — это тайна, а людям очень нужны тайны* (Наша газета, 2001, июнь); 2) актуализация концепта-понятия: *Много*

плет, громко ругается, имеет обыкновение говорить гадости совершенно незнакомым людям. **Одним словом** — жлоб (МК-Урал, 2001, февр.); **Изящное словечко «крамбамбуль»** — не столь безобидно. Оно — прямая дорога к алкоголизму в тяжелых формах. Это напиток, который варится как пуни и вреден сивушными маслами, возникающими при соединении водки с пивом (МК-Урал, 2000, сент.); Заметили: перед наступлением зимы у нас всегда портится настроение. В голове — вата, на сердце — тоска, в кошельке — пусто. **Хандра, одним словом. А по-научному** — зимняя депрессия, или сезонное аффективное (то есть связанное с настроением) расстройство (КП, 1999, нояб.); 3) актуализация концепта-гештальта, комплексной мыслительной структуры, совмещающей чувственные и рациональные элементы: **Дембель — как много в этом слове...** В памяти всплывают трогательные картины: последнее построение, караул, патруль, дембельский поезд. Отведавший армейской жизни никогда не забудет, как отдавал последние сигареты поварам за добавку и сачковал в санчасти от нарядов. Порой так и хочется услышать родной бас за спиной: «А у вас, товарищ солдат, почему сегодня ноги не чищены?» (Наш город, 2001, февр.); **Вообще-то лично я в быту непривередлив. Но при одном упоминании слова «гостиница»** меня бьет нервная дрожь. Нет, совсем не пугают ни ненавязчивый отечественный сервис, ни мумифицированный трупик таракана на подушке, ни следы, оставленные горничной на граненом стакане. **Противно другое: отношение к тебе как к человеку, который мешает всему гостиничному персоналу** (КП, 1999, нояб.).

Метаязыковому комментированию в современной речи подвергаются слова, называющие реалии, до настоящего времени существовавшие лишь в понятии. Отмеченное словом становится фактом сознания, а сама лексическая единица — окончательным свидетельством включения явления в мир, полностью сформированным концептом (данные рефлексивы подтверждают существование концепта автономно от слова и являются одним из способов обнаружения невербализованных концептов): **Свою школьную страсть к фотографии он тренировал повсюду — на репетициях студенческих отрывков, дружеских попойках, на халтурах в городах и весях. Наверное, потому, что никто не знал слова «напараци», никто и не прятался от его объектива** (МК-Урал, 1999, сент.); **Да, хоть и считают русский язык богатым, но порою в нем нет простейших слов. Например, берущего взятку мы так и называем: «взя-**

точник». Но слова, обозначающего того, кто ее дает, нет. Хотя по очевидной логике это — «даточник». Соответственно наряду с выражением «дать взятку» должно быть и обратное: «взять датку» (Наша газета, 2001, авг.).

Опираясь на приведенные выше рефлексивы, можем констатировать факт необходимости вербализации тех компонентов концептосферы, «которые обладают коммуникативной релевантностью» [Стернин, 2001, 38] в силу экстралингвистических причин. Языковое представление, отражение мира построено на принципе пиков: вербализируются те концепты, «которые представляются говорящему наиболее важными, наиболее полно характеризующими мир» [Почепцов, 1990, 711].

Слово должно заполнять те пустоты в словарном составе языка, которые обнаруживаются «при концептуальном освоении мира» [Журавлев, 1994, 27]. Рефлексивы фиксируют поиски номинации для новых концептов: лакуна заполняется «временными» средствами языка, например — свободными сочетаниями [Попова, Стернин, 2001, 47]: *Митины сверстники же — стопроцентно военное поколение, вне зависимости от того, были ребята в Чечне или нет... Из его класса в живых осталось пять-шесть мальчишек! Все остальные погибли. Поумирали, сошли с ума, отравились наркотиками. И все это на престижном Юго-Западе столицы с дипломатическими домами. Прежние войны имели название — а эта еще названия не имеет. Это — война живого поколения за собственную жизнь* (МК-Урал, 2001, июль); *Стены их дома стали прозрачными. Детство юных Никитиных превратилось в показуху. Было нечто, называемое «воспитанием детей в семье Никитиных». И была их собственная жизнь, полная проблем, о которых большинство и не подозревало* (МК-Урал, 2000, март); *оказиональными номинациями: Надо видеть этих людей: с грудными детьми на руках и в колясках, приодетые, с радостными лицами — у них сегодня праздник, приехал «человек-которого-показывают-по-телевизору». Для них это событие на несколько лет* (АИФ, 1999, май); *или несколькими лексическими единицами: Женщина-следователь отдала в руки «гоблинов» (так называют молодых парней в масках, садистов от милиции, которых можно встретить в каждом отделе внутренних дел, иногда их еще называют «маски-шоу») свидетельницу, чьи показания ее не устраивали, чтобы они ее изнасиловали и выбили нужное* (Нов. известия,

1998, апр.). К «временным» номинациям примыкают неустойчивые концепты, также имеющие ситуативную, временную номинацию: *К своему 30-летию российский певец с болгарским прошлым Филипп Киркоров воплотил свою заветную мечту в жизнь. Его супертур, так нескромно называют этот гастрольный вояж: все, проходит ныне по 33 городам России* (АИФ, 1997, окт.).

Рефлексивы фиксируют возможную смену номинации, которая приводит к обогащению содержания концепта (см. главу вторую).

Рефлексивы данной разновидности показывают отношение языковой личности к самому акту номинации концепта. Модальный оператор именованья в рефлексиве проясняет глубинную суть, особую онтологическую ценность проблемы именованья. Поскольку номинативная функция языка действует избирательно и человек называет в объективной действительности в первую очередь то, что для него является жизненно важным и необходимым, тот предмет, который «вошел в общественный обиход, перешагнул через некоторый «порог значимости» [Норман, 1996, 62], постольку важность акта номинации приводит к целому ряду заблуждений, которые и получают свое отражение в рефлексивах. Назовем некоторые из них.

Главный миф связан с фетишизацией имени, которая соотносит вещь и ярлык: *Раз попал батюшка к нам на междусобойчик, предложили присоединиться. А был Великий пост: ему нельзя. Батюшка молвил: «Нарекаю селедку — капустой!», перекрестил рюмку, ахнул и закусил* (МК-Урал, 1998, дек.).

В. Дорошевский писал: «...В словах не только заключается знание, накопленное в опыте многих поколений, — в них есть и опасность фетишизма, парализующего мысль, деформирующего картину мира в глазах людей, пользующихся словами и склонных гипостазировать их содержание» [Дорошевский, 1973, 117]. Приведем лишь один, но достаточно показательный рефлексив данной разновидности: *Они же ломают головы над тем, как окрестить новые сорта любимого в народе напитка. «Как вы водку назовете, так она себя и поведет», — на все сто убеждены представительницы слабого пола. То есть поостерегитесь «Жириновского» и «Брыңалова» — иначе начнете стучать кулаком по обеденному столу и обливать соседей всякими жидкостями. Пожалуй, и от «Вия» лучше отказаться — кто вам поутру веки поднимать будет? То ли дело добрая «Аксаковская»: примешь ее на грудь —*

и, как в сказке про аленький цветочек, будет тебе счастье... (КП, 1998, июль).

В человеческом обществе существует вера в существование единственно правильного именованя. Данную иллюзию активно демонстрируют наши политики, например: *Сегодня правительство представило программу мер выхода из кризиса. Е. Примаков не хочет называть ее программой. Это система мер, так как все, что у нас называлось программой, по мнению Примакова, никогда не выполнялось* (ОРТ, Время, 01.11.98); *Правда, Конституционный суд предложил называть это не налогом, а сбором — но хрен редьки не слаще. Удорожание доставки товара неминуемо скажется ростом потребительских товаров* (МК-Урал, 1998, июль).

Знание названия предполагает знание предмета, это иллюзия участия имени в процессе познания, например: *Кобзон. У нас нет идеологии сейчас. Я не знаю, как назвать нашу страну. — У. Отг. А нужно называть?* (ОРТ, 19.07.98).

Лексическая невыраженность концептов, существующих в национальном сознании, прежде всего объясняется причинами экстралингвистическими. На основании экстралингвистических факторов выделим несколько типов стремящихся к вербализации концептов.

1. Метаязыковые высказывания комментируют новые концепты, которые формируются в общественном сознании и пока не имеют общепринятой лексической номинации: *Кто они — вынужденные переселенцы или кто? Официального названия им никто не дал* (о беженцах из Чечни) (РТР, Вести, 14.01.00); — *Это беженцы? А беженец — от слова «бег», можно ли их назвать беженцами? Переселенец — тоже не самое удачное слово. Может, вынужденные переселенцы?* (НТВ, Герой дня, 04.10.99); *В народе названия этому жилью пока не придумали. Официально эти дома называются социальными, строятся они из денег бюджета* (Навигатор, 1999, 25 марта); *Речь о тех, кто увлекается собиранием чего-то необычного. Для многих коллекций ни один словарь даже еще не придумал названий. Например, собиратели телефонных карт* (МК-Урал, 2000, сент.); — *Кем вы работаете на радио? — Я не знаю, кем я работаю, потому что я не знаю, как это называется. Это и журналист, потому что я пишу. Это и ведущий, потому что я выступаю* (ОРТ, Пока все дома, 26.08.01).

Активно вербализуются концепты, связанные с экономической и политической сферами общественной жизни. Возникшая необ-

ходимость языковой репрезентации многих экономических и политических невербализованных концептов в русском сознании связана с открытостью российского общества внешнему миру в период перестройки, с осознанием интернациональности процессов и явлений, типичных для многих стран, в том числе и для России. Носители языка проводят своеобразный контрастивный анализ на уровне обыденного сознания, сравнивая наборы семантических признаков русского невербализованного концепта с набором семантических признаков эквивалентного вербализованного концепта другого языка. В результате такого сравнения русский концепт приобретает имя, чаще всего в виде иноязычной лексемы: *У меня была программа «Молодежный дискуссионный клуб», что-то вроде ток-шоу. Правда, мы тогда даже слова такого не знали, инстинктивно пытались что-то делать, приглашать людей, стравливать мнения (4 канал + все ТВ, 2000, апр.); Когда вы начинали работать, что — совсем не пользовались такими приемами, как раскрутка? — Сейчас я должен, придерживаясь за крестец, сказать: «В наше время такого слова не было» (МК-Урал, 2000, апр.); — Это более важное умение — организовать все так, чтобы тебе предлагали свои услуги. — А как вы этого добиваетесь? — Ну, это особенность, которая сейчас имеет точное название — менеджер (ОРТ, Пока все дома, 26.08.01); В какой-то момент, — говорит известный тренер Тамара Москвина, — меня заинтересовало, что же такое маркетинг? Я нашла книгу по бизнесу известного американского автора, начала читать. И вдруг поняла, что маркетинг — это то, чем мы, тренеры, всю жизнь занимались, но не знали, как это называется. А спорт — это самый настоящий бизнес. Я, тренер, создаю товар высокого качества, занимаюсь его промоушном на «рынке», чтобы он достойно конкурировал, позиционирую его, нахожу рынки сбыта, меняю, снова создаю... Да, людей нельзя называть товаром. Но что делать, если на рынке спорта действуют те же понятия, что и на коммерческом (МК-Урал, 2001, май); Сейчас же все признают, что композитор, певец или художник — ничто без «раскрутки», то есть без прессы, рекламы, рецензий. — Достаточно странно представить, что Белинский и Писарев занимались «раскруткой», например, Пушкина... — Ну, тогда просто таких слов не было. А по факту все правильно (Наша газета, 1998, авг.); А я был долго негром, работал на других. Я занимался по сути дела аранжировкой. Тогда не было этого слова (Е. Дога, ОРТ, Пока все дома, 17.03.02).*

2. Невербализованной может оставаться та часть концептосферы, на именование которой наложен социальный контроль. Табуирование либо устраняет конкретную номинацию, заменяя ее описательными оборотами, либо накладывает вето на ее употребление, заменяя эвфемизмом. Традиционными темами и сферами жизнедеятельности, в которых используются эвфемизмы, являются дипломатия, государственные и военные секреты, сфера интимных отношений и т. п. [см.: Крысин, 1996, 384—408]. Так, табуирование интимной стороны человеческой жизни, включающей действия и отношения «принципиально невербализируемые» [Кон, 1988, 108], поддержанное традициями русской культуры и чрезмерным целомудрием установок тоталитарного общества (напомним: «У нас в СССР секса нет»), привело к отсутствию литературного варианта субъязыка, описывающего сферу сексуальных отношений. Изменения в социальной жизни современного российского общества, ликвидация цензуры, свобода речи привели к увеличению в сознании людей публично допустимого в речи, расшатали систему тематических табу. Метаязыковая деятельность современного говорящего позволяет выделить корпус рефлексивов, обсуждающих языковую объективацию концептов, связанных с данной табуированной сферой: — *То есть секс-символом себя не считаете? — Вы мне сначала объясните, что это такое. В России это понятие не прижилось и не приживется. Хотя дома иногда говорю: вы забыли, что я секс-символ?! Я совершенно нормальный человек, здоровый и веселый, что позволяет мне воспринимать этот сомнительный титул с должной иронией* (4 канал + все ТВ, 2000, апр.); *Наши предки не знали слова «эротика», но с эротикой у них было все в порядке* (Крестьянка, 1996, № 1); *Понятие «секс-символ», кажется, уже прочно вошло в наш язык. Хотя и до появления в нашем языке «возбуждающего» слова «секс-символ» история фанатства развивалась своим чередом. Чего стоят, например, «разборки», которые устраивали поклонницы замечательных артистов Сергея Лемешева и Ивана Козловского* (АИФ, 1998, май); *В свое время, если бы существовал такой термин, вас бы назвали секс-символом «Современника». Ваши романы со всей женской частью труппы — миф, в конце концов, или нет?* (МК-Урал, 2000, март); *Кроме того, двадцать лет назад люди стеснялись говорить о своих проблемах. Как по Винокуру: «Доктор, у меня ЭТО!». Сегодня больше говорят открыто... Я начинал работать тогда, когда терминов «сексология» и*

«сексопатология» не было вообще (Новые известия, 1998, апр.); Люди научаются говорить о сексе. Раньше у меня на приемах они говорили полуматерным языком или ограничивались подмигиванием (ОРТ, Час пик, 28.04.98); Потом я начала за деньги. Не спать, а... Это называется оральным сексом (КП, 1998, янв.); Впрочем, смотря что понимать под словом «секс». Если примитивно-тусклое удовлетворение естественных потребностей, для чего сгодится и заурядная проститутка, то это вряд ли можно назвать сексом, скорее — совокуплением. Если же тот всепоглощающий вихрь, полный эмоций и переживаний, одобренный истинной страстью, желанием, да еще облагороженный любовью, то вот с этим у «денежных мешков» сплошь и рядом возникают проблемы (АИФ, 1999, нояб.).

Возникают попытки целенаправленного формирования данной тематической группы. Так, в «Новой газете» (2002, 22 авг.) появилось предложение известного филолога М. Эпштейна ввести в обиход лексику *любля* (с ударением на первом слоге) для обозначения физической близости между мужчиной и женщиной, плотской любви, любви как игры и наслаждения. Автор неологизма обосновывает необходимость своего изобретения тем, что в русском языке для данного концепта есть только архаически-книжные (совокупление, соитие), медицинско-терминологические (коитус, половой акт), канцелярски-описательные (половая близость, сексуальное общение, интимные отношения, супружеская жизнь), поэтически-образные (слияние, пронзание, «ловля соловья», «срывание розы»), матерные или сленгово-непристойные слова (е..., траханье, перепихивание). У автора нового слова достаточно благие намерения: «скорее нужно народить новые слова, не на пустом месте, а произрастить их из древних корней в соответствии со смысловой потребностью». Публикация получила дальнейшее обсуждение на телевидении. 3 сентября 2002 года в передаче «Доброе утро» на ОРТ по поводу этого предложения высказался крупнейший специалист в области современного русского языка Л. П. Крысин, который выразил сомнение в уместности этого неологизма: *Вторая часть этого слова вызывает явно не те ассоциации, которые хотел бы приписать этому слову автор, и подчеркнул, что далеко не всякое слово, предлагаемое кем-либо как неологизм, приживается в языке.*

Мы писали в главе второй о сложности вхождения в обиход авторского слова, о спонтанности, помимовольности этого про-

цесса, поэтому любые попытки авторского дарения слов, да еще каждую неделю, воспринимаются как прожектерски непрофессиональные (у всех в памяти провал одного из таких авторских проектов — известное предложение В. Солоухина заполнить жизненно важную лауну — обращение к незнакомому человеку в общественном месте — лексемами *сударь, сударыня*).

Идеи языкового строительства носят в воздухе, так как оказываются особенно актуальными в периоды формирования нового общественно-политического языка. Поскольку советский язык, адекватный предыдущей эпохе, расходится со многими новыми реалиями и сегодня, по мнению Г. Хазагерова, нет языка, «достаточно точно различающего политические, экономические и иные смыслы и при этом прозрачного для рядовых носителей русского языка» [цит. по: Экономика — язык — культура, 2000, 38], возникает насущная потребность в построении новой разметки языкового пространства, создании политического, экономического и т. п. букваря со своей национальной спецификой, ненасильственной для концептосферы русского языка. Исследовательская позиция национально ориентированной концептуализации существующей реальности с восстановлением того инвариантного, что всегда присутствовало в русской культуре, заставляет ученых при создании нового словаря активизировать архаическую лексику, придавая ей терминологический характер. Букварь ростовских ученых, находящийся в стадии разработки, — это еще одна попытка целенаправленного воздействия на язык.

Сферой жесткого социального контроля является также сфера государственной системы и обслуживающего ее идеологического аппарата. Эвфемизация в этой сфере является «стратегией уклонения от истины» [Шейгал, 2000, 196], создания необходимого общественного мнения. Преуменьшение правды об отрицательных сторонах реального факта, вербализуемое в эвфемистическом имени концепта, позволяет формировать в структуре концепта необходимые ассоциации в желательном направлении. Эвфемизм в качестве имени концепта позволяет скрыть остроту социальных проблем, снять общественную напряженность.

«Представление объекта как менее опасного и, в связи с этим, создание чувства уверенности и безопасности, снижение уровня тревожности» [Шейгал, 2000, 198] — данный психологический

мотив отведения угрозы явился одним из основных при эвфемистической номинации военных действий в Чечне¹.

Показателен материал, который дает современный дискурс для анализа процессов именованя чеченских событий. Общим базовым именем данного концепта является устойчивое сочетание «чеченская война». Концепт «война» обычно связывается в общественном сознании с вооруженной борьбой между государствами или народами, между классами внутри государства, с идеей насильственной смерти. Это понимание отражено в значениях соответствующей лексики в словарях русского языка. Узловой точкой, задающей развертывание номинаций для чеченских событий, является прямая и эвфемистическая номинации происходящего: «война» и «антитеррористическая операция» (такова официальная номинация военных действий в Чечне). Номинация данного концепта имеет динамический характер. В самом начале военных действий в Чечне концепт получает эвфемистическую номинацию, которая способствует искаженной концептуализации денотата-события. Искажение денотата достигается оперированием понятиями в рамках частных эвфемистических номинаций данной тематической области. Фактологическое манипулирование целым рядом синонимических наименований чеченской войны — это попытка закамouflировать обозначение военных действий, которые вызывают наибольшее общественное осуждение; стремление создать новую мифологию, поддерживающую желаемый для власти образ действительности. Феномен э в ф е м и с т и ч е с к о й м и с т и ф и к а ц и и означает направление концептуализации в сторону удаления от прототипа и соотнесенность с периферийными семантиками концепта. Из денотативного ядра концепта вытесняется компонент «насильственная смерть», изменяется его статус путем сдвига на периферию концептуальной сферы, что позволяет редуцировать компонент «смерть». Семантическое наполнение ядра происходит с помощью компонентов несущественных, но имеющих коннотацию общественного одобрения: эвфемизм *антитеррористическая операция*, сохраняя семантический компонент «военные действия», включает семы «справедливость», «заслужен-

¹ Объективным мотивом эвфемистической номинации чеченской войны является трудность определения официального статуса данных военных действий внутри одного государства [см.: Политическая энциклопедия, 1999, 216—217].

ное наказание». «Эвфемистическое переименование представляет собой результат своеобразного компромисса между семантикой (отражение сущности денотата) и прагматикой (отражение интересов говорящего). Эвфемизмом обозначается нечто, что по логике вещей следовало бы оценить отрицательно, но интересы говорящего (политическая выгода) заставляют оценить это положительно, и в то же время требование максимы качества не позволяет выдавать явно черное за белое. Выход из данной ситуации один: признать черное черным, но при этом сделать вид, что оно все-таки не очень черное, а скорее лишь слегка черное» [Шейгал, 2000, 208].

В дальнейшем мы наблюдаем восстановление концептуальной справедливости: наряду с эвфемистическими номинациями начинает употребляться прямая номинация военных действий. Привлечение общественного внимания к отрицательному феномену путем прямой номинации послужило толчком для появления оценочных отрицательных номинаций, от нейтрально-объективной констатации факта «к гиперболическому пейоративу» [Шейгал, 2000, 210]. Параллельно с прямой номинацией концепта «война» мы встречаемся с дисфемизацией концепта, появлением номинации *чеченская бойня*. Обе номинации сохраняют компонент «насильственная смерть», что мотивирует отрицательную оценку концепта. Но в ядерную часть концепта вводятся периферийные компоненты «интенсивность, массовость», «жестокость», «умышленность», которые являются ядерными для концепта «бойня». При дисфемизации также действует механизм компонентной трансформации концепта. Референциальный сдвиг в сторону «ухудшения» денотата имеет целью сформировать нежелательное восприятие объекта и изменить существующее положение дел. Подобная номинация, безусловно, может быть отнесена к знакам вербальной агрессии.

Проследим данную динамику номинации по годам:

— **1994:** *Говорят, это не война — это военная операция по разоружению* (Известия, 1994, 20 дек.); *Дивизия пребывала во всех горячих точках, в составе всех миротворческих сил* (На боевом посту, 1994, № 6); *Вовлеченные определенными преступными структурами в гибельный водоворот межнационального конфликта* (Там же, 1994, № 12).

— **1995:** *Уже больше месяца воины-уральцы выполняют боевые задачи по разоружению бандформирований на территории Чеченской*

Республики (Сын Родины, 1995, 23 февр.); *Где гарантия, что очередной вооруженный конфликт не вспыхнет в новом регионе?* (Там же, 1995, 1 янв.); *Чечня в огне (репортажи из района боевых действий)* (Там же, 1995, 8 апр.); *На днях Президент РФ известил граждан России и мировое сообщество, что практически завершен военный этап восстановления действия конституции страны в Чеченской Республике* (Там же, 1995, 4 февр.); *Права и льготы военнослужащих — участников чеченских событий* (Там же, 1995, 22 апр.); *А завтра — горячая командировка, фронтовые дороги и окопы Чечни* (На боевом посту, 1995, № 11); *Тут уже не специальная операция в ее классическом понимании, к чему мы привыкли, обеспечивая режим ЧП в горячих точках бывшего Союза, а общевойсковой бой стал основным методом ликвидации бандформирований* (Там же, 1995, № 11); *Войска занимаются наведением конституционного порядка* (Там же, 1995, № 12).

До середины 1995 года чеченские события войной не называют. Но затем в специализированной военной публицистике, а позже во всех средствах массовой информации мы встречаем прямое наименование — *война*.

На войне как на войне (Сын Родины, 1995, 8 апр.); *Хотя война — событие само по себе из ряда вон выходящее, наступает время, когда она становится буднями* (Там же, 1995, 24 июня); *Война в виноградунике* (Там же, 1995, 29 апр.).

— **1996:** *Грозный: жаркий август 1996-го* (Сын Родины, 1996, 9 нояб.); *Грянула война в Чечне. Январь 1995 года. Разгар боевых действий в Грозном* (Там же, 1996, 16 марта); *«Второй фронт» Кавказской войны* (Там же, 1996, 25 мая); *Мы должны сделать все возможное, чтобы чеченская трагедия больше нигде не повторилась* (Там же, 1996, 1 янв.).

— **1997:** *Они сменяли друг друга на самых горячих направлениях в течение 15 дней. Кто бился в Грозном в начале января 1995 года, поймет, что это значит: 15 дней в огне* (Братишка, 1997, № 4); *После окончания чеченской эпопеи «Факел» полностью переключился на выполнение боевых задач в условиях мирной жизни* (Там же, 1997, № 4); *Чеченский вулкан стал выплескивать кровавую лаву* (На боевом посту, 1997, № 12).

— **1998:** *Не случайно сейчас витает идея о создании некоего союза участников миротворческих операций* (Ориентир, 1998, № 8); *Каждый офицер может оказаться в горячей точке, это*

служба (Там же); *Это братство объединяет только тех, кто добровольно вызвался отправиться в места социальных катастроф* (Там же).

— **1999:** *Операция по уничтожению террористов вступает в новую фазу* (На боевом посту, 1999, № 9); *Начался второй этап контртеррористической операции на Северном Кавказе* (Там же, № 11); *С начала вооруженного конфликта в Чеченской Республике внутренними войсками МВД России...* (Там же, № 12); *Сейчас у нас служат сотни офицеров и прапорщиков, у которых за плечами опыт действий в сложнейших условиях локальных конфликтов* (Ориентир, 1999, № 4).

— **2000:** *8 июня федеральная власть посвятила почти полностью решению чеченской проблемы* (Известия, 2000, 1 июля); *Миротворческая операция* заранее обречена на неуспех, если «миссионеры мира» разделяют народы на «жертвы конфликта» и «зачинщиков конфликта» (Ориентир, 2000, № 8); *Последняя чеченская кампания* показала, что ГАБТУ учло уроки Чечни 1994—1996 гг. (Там же, № 12); *Опыт боевых действий в Дагестане и Чечне, ход антитеррористической кампании* вскрыли необходимость качественного улучшения технического обеспечения войск (Там же); *Все это вместе и привело к вынужденной контртеррористической операции* (Чечня: война и мир, 2000); *Такая вот невойна* (Там же); *И вот после окончания войны — теперь уже этой, второй чеченской, которую скромно называют антитеррористической операцией* (Там же); *Первая чеченская невойна* («Чечня: война и мир», М., 2000); *Командировка на войну* (Армейский сборник, 2000, нояб.); *Москва ответила началом контртеррористической операции — такое название получила эта война в первые дни* (МК-Урал, 2000, авг.); *И только после страшных боев эту войну стали называть своим именем — вторая чеченская* (Там же); *Уже год, как мы живем второй чеченской бойней* (Там же).

— **2001:** *Во время первой чеченской кампании попали в плен...* (РТР, Подробности, 2001, март); *Вторая антитеррористическая кампания* (Екатеринбург, 10 канал, 2001, апр.); *Кровавый след за ним тянется еще с первой чеченской войны* (ОРТ, Время, 2001, июнь); *9 мая на встрече с канцлером ФРГ Г. Кодем Б. Н. Ельцин заявил, что классическая военная доктрина в Чечне завершена и теперь восстановлением конституционного порядка там будут заниматься подразделения МВД* (ВВ: Кавказский крест — 2. М., 2001).

— **2002: Чеченский вояж** (Армейский сборник, 2002, март); *Следующая причина — это военные действия, происходящие в Чечне* (ОРТ, Забытый полк, 2002, май); *Уже в ходе проведения контртеррористической операции на территории Чечни, на прикаспийском направлении была сформирована тыловая база с необходимыми запасами...* (Ориентир, 2002, № 1); *Те, кто затеял эту преступную бойню* (На боевом посту, 2002, № 1); *В этот день в России вспомнят о том, что однажды война в Чечне уже закончилась. 6 лет назад в Хасавюрте секретарь Совета безопасности Александр Лебедь подписал с Асланом Масхадовым соглашение о прекращении огня* (АИФ, 2002, авг.).

Таким образом, общая динамика наименования войны следующая: 1-й этап — эвфемистические наименования: *антитеррористическая операция, межнациональный конфликт, военная операция по разоружению, боевая задача по разоружению бандформирований, военный этап восстановления действия Конституции страны в Чеченской Республике* и др.; 2-й этап — прямая номинация: *кавказская война, первая и вторая чеченские войны, боевые действия*; 3-й этап — оценочные, дисфемистические наименования: *преступная бойня, вторая чеченская бойня, чеченская трагедия*.

Возрастание оценочных номинаций, наряду с прямыми и эвфемистическими, усиливает интерпретационное поле концепта «чеченская война», снижая его аксиологический статус и отражая новое языковое сознание. Появлению прямых и оценочных номинаций способствовал затянувшийся характер военного конфликта, который трудно было назвать «операцией», имеющей целенаправленный краткосрочный характер.

Военный конфликт в Чечне перерос в полномасштабную войну: Россия понесла серьезные потери — на конец 1996 года они составляли: свыше 5000 убитыми и до 40 000 ранеными из состава Объединенной группировки федеральных войск. Вторая чеченская кампания, уже ставшая продолжительнее первой, пока не приближается к развязке. Сложнейшая проблема российско-чеченских отношений на рубеже веков, усугубленная жестоким террористическим актом в Москве, ждет своего решения.

Интересна роль метаязыковых высказываний, комментирующих наличие эвфемистических номинаций у концепта, напри-

мер: Хотелось бы конечно, сказать торжественно: «Я веду свой репортаж; с передовых позиций федеральных войск, штурмующих Грозный». Но нельзя. Хоть это и передовая, и штаб командования всей операции находится здесь, у меня за спиной, и артиллерия работает, и войска спустились утром отсюда в Грозный, но... нет штурма. Каждый раз, когда я произношу слово «штурм», военные меня поправляют: «не штурм, а спецоперация». В чем разница, гражданскому человеку понять трудно. Бойцы и младшие командиры тоже это не вполне понимают (МК-Урал, 1999, дек.); Москва ответила началом контртеррористической операции — такое название получила эта война в первые дни (МК-Урал, 2000, авг.); И только после страшных боев эту войну стали называть своим именем — **вторая чеченская** (Там же); А дома уже устали бояться и каждый день припадать к экрану телевизора, слушая сводки с поля боя **необъявленной войны**, которую правительство до сих пор продолжает стыдливо именовать **антитеррористической операцией** (МК, 2001, № 6 (198), февр.). Как указывает Е. И. Шейгал в монографии «Семиотика политического дискурса», с помощью рефлексива говорящий проводит градуальную коррекцию, связанную «с оценкой номинации как неадекватной обозначаемому по степени признака», рефлексив отражает точку зрения говорящего, который считает, что «номинация не в полной мере отражает степень серьезности, значительности, негативности обозначаемого явления» [Шейгал, 2000, 237], разоблачает эвфемистическое камуфлирование. Если для эвфемизма характерна ассоциативная связь с денотатом опосредованно, через первичное наименование, которое известно обоим коммуникантам, то рефлексив служит мостиком, который устанавливает прямую и открытую связь косвенной номинации с первичной. Употребление в одном контексте кореферентных наименований служит средством привлечения внимания к негативным явлениям действительности.

Такую же функцию разоблачения могут выполнять не только рефлексивы. В качестве иллюстрации еще одного языкового приема сопоставления прямой и косвенной номинаций можно привести фрагмент сценария «Кукол», сатирической передачи на канале НТВ от 31 октября 2001 года (автор И. Киасашвили): Л у ж к о в. *Во, глян, — беженец! П у т и н* (строго). *У нас нет беженцев. У нас есть перемещенные лица. Л е б е д ь. Бюсю, полковник,*

не отмоешь вы от этой войны... П у т и н. Да вы, генерал, от мира-то сначала отмойтесь... Хасавюрт, небось, до сих пор чешется? И вообще — нет у нас никакой войны!.. Идет обычная спецоперация. Причем под наркозом. Я в л и н с к и й. Интересно у вас получается: операция местная, а наркоз (кивает на телевизор) — общий...

Эвфемистическую номинацию в современном языковом сознании получил еще один военный концепт — «зачистка». Суть данного понятия — «действия федеральных войск, направленные на поиск боевиков, оружия, боеприпасов». В качестве имени концепта была использована лексема *зачистка*, зафиксированная в толковых словарях как терминологическая единица для обозначения действия по значению глагола *зачищать* — сделать чистым, снять часть поверхности; устранить неровности, шероховатости и т. п. (*зачистка конца провода*).

Общность семантического компонента «удаления ненужного, вредного, лишнего» позволила использовать эту лексему в качестве имени для военного концепта. Косвенная номинация позволяет редуцировать в структуре концепта негативный признак «насиленного воздействия на объект», актуализировав компонент «полезности, необходимости проводимого действия». Эвфемизм в этом случае выполняет свою основную функцию — работает на «улучшение» денотата. Этот концепт в ходе чеченских войн обогащается, получая семантическое наполнение за счет сегментных частей, равноправных по степени абстракции признаков [см.: Попова, Стернин, 2001, 62]. Сегментами концепта стали различные типы зачисток: *мягкая зачистка* — обход подвалов, проверка документов; *боевая зачистка* — действия войск и правоохранительных органов. Словосочетание *мягкая зачистка* развивает контекстуальную синонимию, в СМИ встречается употребление нового словосочетания — *бархатная зачистка*. Кроме того, появляется глагольная единица *чистить* в специальном военном значении — освобождать общество от членов, чуждых его деятельности, а бойцы, проводящие зачистку, получили номинацию *чистильщиков*. Приведем иллюстративные контексты: *Совместно с внутренними войсками проводили зачистку освобожденных населенных пунктов от боевиков* (Сын Родины, 1999, № 12); *Военные против термина «штурм», идет зачистка территорий* (НТВ, 2000, 18 янв.); *Началась так называемая зачистка, т. е. поиск боевиков, оружия, взрыв-*

чаток (НТВ, Новости, 11.02.02); *Ездили на так называемую мягкую зачистку (обход подвалов, проверка документов)* (Чечня: война и мир, 2000); *Адресная зачистка была произведена* (НТВ, Сегодня, 16.05.01); *Необъявленная война в Дагестане закончилась в 20-х числах сентября операциями по зачистке освобожденных селений и их окрестностей от недобитых бандитов* (На боевом посту, 1999, № 11); *Для соблюдения секретности чистильщики получили приказ на выдвижение за несколько часов до начала операции* (МК, 2001, № 5 (188)).

Метаязыковой комментарий в данном случае участвует в формировании нового концепта, помогая носителям языка осознать семантическое наполнение концепта: *Слово «зачистка» вошло в наш лексикон не так давно. В первую чеченскую войну за ним прятались всякие ужасы, сейчас появилось понятие мягкая зачистка — когда МВД прокатывается по селению, чтобы продемонстрировать, «кто в доме хозяин». Но есть и боевые зачистки. Оперативные и разведывательные данные показывают: чеченские села по-прежнему несут угрозу федеральным войскам. Днем боевики слоняются по обшарпанным сельским рынкам и дорогам. А по ночам из черных домов выходят люди, которые ставят фугасы на дорогах, обстреливают блокпосты. Когда такие ночные бдения становятся слишком частыми и вызывающими, командованием группировки принимается решение: «Пора чистить»* (МК, 2001, янв.).

Комментирование толкуемого концепта может быть достаточно развернутым, аналитически обобщающим, претендующим на определенную типологию, включает в описание, кроме классификации, и чувственно-образное ядро — наглядный образ. Приведем в качестве примера развернутую цитату с описанием одного из военных концептов — концепта «мародерство» — как своеобразной разновидности зачистки:

Мародерство как неизменное сопутствующее любой войне явление в российской действительности имеет свои особенности. По степени тяжести этот вид преступлений, в котором были замечены российские военные, условно можно разделить на 3 категории.

Первая разновидность — самое грубое мародерство, в котором, по свидетельству как русских военных, так и чеченцев, были замечены в основном воины-контрактники. Это когда из дома, остав-

ленною хозяевами, выносятся любая утварь, будь то золото или помятая алюминиевая кастрюля. При этом совсем не важно, пригодятся ли добытые грабежом вещи в мирной обстановке. Показателен сам факт.

Еще одна разновидность мародерства наиболее распространена среди подразделений МВД. К ней все привыкли, и сам факт уже просто не замечается. Если пройтись по пунктам временной дислокации (ПВД) и по блокпостам, то практически в любой комнатухе можно найти кучу домашних вещей, добытых во время зачисток. И сами военные не скрывают, что ковры, зеркала, картины, часы — это не подарки с Родины. Это те трофеи, которые были найдены в пустующих домах.

Вариант третий касается в основном солдат-срочников. Когда заходили в дома, хозяева которых бежали от бомбежек, солдаты не обращали внимание на дорогие вещи, а обращали внимание на кухню. Они съедали даже ту еду, которую, возможно, приготовили несколько дней назад, потому что напрочь забывали вкус человеческой еды. Естественно, солдаты срочной службы не сами докатились до такой жизни. Им помогли [Чечня: война и мир, 2000, 54].

Формирование новых концептов в русском языковом сознании.

Это вторая зона концептуального напряжения. Общемировой научно-технический прогресс, социальные, политические, экономические перемены в России стимулировали стремительное пополнение многих тематических участков русской концептосферы. В целом ряде работ авторы выделяют тематические зоны лексики, которые расширили свои границы, комментируют характер пополнения словарного состава языка, являющегося номинативной базой концептуального фонда [см., например: Ермакова, 1989; Сальников, 1992; Haudressy, 1993; Костомаров, 1999; Русский язык конца XX столетия, 1996; Шапошников, 1998; Стернин, 2000а, 2000б; Складневская, 2001 и др.]. Это прежде всего сферы политики, государственного устройства, экономики, финансового дела, религии, медицины, армии, массовой культуры, молодежной субкультуры, спорта, одежды и т. д.

Метаязыковая вербализация концептуального освоения новых реалий «схватывает» те участки бессознательного речемыследействия, которые вызывают напряжение. Концептуальные рефлексивы позволяют ловить базовые моменты формирования нового

концепта, когда в язык входит новая лексема, не насыщенная концептуальным смыслом. Ее наполнение может происходить по-разному. В главе второй нами были описаны этапы узуализации новой лексемы в языке. Безусловно, процесс усвоения нового концепта аналогичен процессу усвоения значения слова. Хотя круг смыслового наполнения концепта гораздо шире, чем структура лексической семантики, так как концепт, помимо актуальных понятийных признаков, включает дополнительные («пассивные») признаки, являющиеся неактуальными, а также весь спектр ассоциаций, формирующийся по мере усвоения концепта.

Появление новой лексемы — сигнал к началу формирования нового концепта. Так случилось с именем В. В. Путина. Один из излюбленных политических ходов экс-президента России Б. Н. Ельцина — выдвижение на высшие руководящие посты кандидатов, не известных широкой российской общественности. Так было с С. В. Кириенко, так произошло и с В. В. Путиным, занявшим пост премьер-министра, а позднее ставшим президентом России. Неожиданное появление на политической арене малоизвестных политических фигур создает сложную ситуацию в общественной жизни страны. Общество получает руководителя, личность которого сравнивают с белым листом бумаги, с «черным ящиком». В начале политической карьеры В. В. Путина самым частотным высказыванием о преемнике Б. Н. Ельцина являлась фраза «Мы ничего не знаем о Путине». Приведем в качестве примера типичные рефлексивы по поводу нового имени: *В образе Путина по-прежнему слишком много «не»: «непроницаемый», «непонятный», «необъясняющий», «не торопящийся». Но, возможно, все эти «не» вместе — и есть Президент. «Черный ящик», в котором пустота. А уж эту пустоту окружение заполняет кто во что горазд. Кто больше других сумеет напихать своих мыслей, указов, программ (МК-Урал, 2000, май); Главный феномен Путина заключается именно в том, что о нем никто ничего не знает. Он остается неким «мистером X», скрывающим свое истинное лицо. За «железной» маской Путина люди видят то, что хотят увидеть. Военные — сильную и боеспособную армию. Старики — приличные пенсии и какой-то особый статус для себя. Работяги надеются, что Путин вдохнет новую жизнь в полумертвые заводы и даст возможность получать зарплаты в срок. Фермеры ждут от него землю... Люди верят. Потому что хочется верить (МК-Урал, 2000, февр.)*

Путь социализации политика, формирование имиджа президента проходили и продолжают проходить на наших глазах. В данном случае интересен аспект соединения целенаправленного моделирования имиджа политика благодаря продуктивной работе СМИ и политтехнологов и проявления реальных качеств личности. Моделирование имиджа предполагает выделение доминанты, поскольку в сознании масс срабатывает прежде всего самый простой из механизмов взаимопонимания — механизм стереотипизации, т. е. формирования устойчивого и упрощенного образа другого как результат обобщенного личного опыта индивида. На формирование доминантного признака имиджа В. В. Путина изначально повлияли два факта: во-первых, биографический факт службы В. В. Путина в ФСБ; во-вторых, прямая связь в сознании масс имени политика с событиями второй чеченской войны (именно в октябре 1999 года был всплеск воинственно-патриотической консолидации: публично проклинаясь еще весной 1999 года, осенью чеченская война стала героической, чуть ли не необходимой акцией). На основе этих признаков смоделирована доминанта «сильной руки», жесткого, требовательного человека, скупого на слова, с превалирующим рационально-эвристическим типом поведения. Преемник утвердился как контрастная фигура по отношению к предшественнику. Ядро должно обогащаться периферийными микрополями, которые выстраиваются на основе реального поведения политика. Благодаря СМИ мы имеем возможность дополнять схематичный образ В. В. Путина человеческими чертами: очерчивается роль отца и мужа (публикации в газетах о теще и семье президента), формируется реноме непредсказуемого путешественника, человека с хорошей физической подготовкой и т. д. Многостороннему формированию концепта способствуют реальные поступки и поведение Путина-политика. Кроме всего прочего, свою ассоциативную роль играют неосознаваемые массовые ожидания стабилизационного характера от нового лидера (сработала формула женского типа ожиданий в соответствии с суждениями Н. Бердяева о «вечно бабьем» в душе России [см.: Левада, 2000, 9]). В настоящее время рейтинг В. В. Путина необычайно высок, что свидетельствует не только о политическом, но и харизматическом лидерстве президента среди населения. Динамику развития концепта в течение последних лет, эволюцию как осознаваемого, так и неосознаваемого восприятия В. В. Путина обще-

ственным сознанием социологи выявляют с помощью социологических опросов [см.: Брим, Косова, 2000; Делинская, 2001].

Процесс формирования нового концепта может идти и обратным путем. Сначала возникает новая реалья, которая позже приобретает свою номинацию, например: *11 марта 1985 года, на следующий день после кончины престарелого генсека Черненко, собрался внеочередной Пленум ЦК КПСС. По предложению А. Громыко генеральным секретарем избран Михаил Сергеевич Горбачев. Ему — 54. Пройдена длинная карьерная лестница, увенчанная высшим государственным постом. Цель достигнута? Нет, все только начинается. Позже это «все» назовут перестройкой и демократическими реформами* (АИФ, 2001, авг.).

Процесс социально-экономических изменений 1990-х годов, получивший название *перестройки и постперестройки* и затронувший все стороны жизни общества, в последние годы стал определяться исследователями табуированным в современном российском политическом лексиконе термином *революция*. Современные социальные преобразования в России определялись по-разному. Вначале говорили об *ускорении темпов экономического развития*, затем речь пошла о *перестройке*. После выхода России из СССР наиболее употребительной номинацией стали *реформы* (чаще в составе словосочетания *радикальные реформы*). В последнее время на первое место выходят номинации *трансформация* или *переход* от посттоталитаризма к демократии, от плановой экономики к рынку. Номинации в какой-то мере отражают этапы происходящего процесса.

В частности, для сторонников революционной концепции заметным событием в отечественном общественном сознании стала книга В. Мау и И. Стародубцевой «Великие революции от Кромвеля до Путина» (2001). В ней дан фундаментальный социально-экономический анализ событий, которые разворачивались в нашей стране в течение последних 10—15 лет. Эти события рассматриваются сквозь призму закономерностей и особенностей великих революций прошлого. Обсуждению этой монографии была посвящена конференция, организованная фондом «Либеральная миссия» (президент — доктор экономических наук Е. Г. Ясин) при поддержке Московской межбанковской валютной биржи. Наиболее интересные моменты обсуждения обобщены на страницах журнала «Общественные науки и современность». Аспект, интере-

сующий нас в этом обсуждении, — проблема статуса и номинации происшедших событий. Авторы книги прежде всего понимают «революцию как механизм системной трансформации в условиях слабого государства, не контролирующего социальные и экономические процессы» [Итоги и перспективы современной российской революции, 2002, 9]. На идею анализа отечественных событий десятилетней давности в логике великих революций их натолкнула тождественность причин всех революционных процессов.

Участники конференции отмечали, что использование термина «революция» заставляет говорить об эмоциональном значении этого понятия: события последнего десятилетия осмысляются, по мнению Е. Гайдара, как одна из масштабных катастроф, которую вынуждены пережить некоторые страны [см.: Там же, 14]. Интересным социально-психологическим обстоятельством происшедшего является то, что революция, с точки зрения Г. Сагтарова, «чрезвычайно не хотела не только называть себя революцией, но даже осознавать себя революцией. Более того, может быть, если бы она так осознала и назвала себя, она бы не произошла» [Там же, 20]. Драма происшедшей революции в том, что революционеры боялись назвать эти события революцией, «Ельцин не вышел и не сказал, что революция, о которой так долго говорили демократы, свершилась» [Там же, 21]. Поэтому субъективная неосознанность объективной революции не позволила использовать *ресурс вдохновенности*, создавшего бы другую психологическую среду, в которой проводились экономические реформы. Причина табуирования термина «революция» в ходе радикальных изменений существующих экономических, политических и социальных институтов, на наш взгляд, кроется в общих причинах эвфемизации политической лексики [см. об этом: Шейгал, 2000, 196—218], в дискредитации лексемы «революция» в общественном сознании России, поскольку романтический идол Революции исчерпал свои возможности в социальной памяти: *От слова «революция» сегодня всех тошнит* (ОРТ, Однако, 09.06.01). Тем не менее термин публично артикулируется высшей политической элитой: *Любая революция, даже такая бархатная, как у нас, связана с разрушением* (В. Путин, ОРТ, Время, 08.10.02).

Неустоявшаяся номинация свидетельствует о сложности номинируемого явления, которое не поддается общему определению,

поскольку находится на этапе осмысления. В качестве еще одной точки зрения приведем высказывание ведущего социолога страны академика Т. И. Заславской: «Новой социальной революции в России не было. В действительности имела место эволюция, в основе которой лежало не постепенное и последовательное развитие, а цепочка сменявших друг друга кризисов» [Заславская, 2002, 7]. При этом присутствовал исходный подъем демократических движений, на смену которым пришли реформы, вылившиеся в спонтанную трансформацию «в условиях отсутствия у правящей элиты стратегии и политической воли» [Там же].

Если концепт важен и актуален для общественной жизни страны, формирование концепта происходит интенсивно. Так случилось с появлением нового концепта для современной России — концептом «новые русские». К сегодняшнему дню сформирован социальный стереотип *нового русского* — необразованного, неинтеллигентного нувориша, обогатившегося нечестным путем за счет отмыwania грязных денег. Портрет нового русского имеет многоаспектный характер — от внешних атрибутов до характеристики отношений в семье, психологического состояния, уровня богатства, стиля жизни, ценностных ориентиров и т. д. Усвоенность стереотипного представления подтверждается наличием большого количества анекдотов про новых русских. Концепт динамичен, он дополняется новыми признаками, потенциален к созданию новых смыслов. Полному формированию концепта способствовало теоретическое осмысление нового понятия, к которому присоединились и лингвисты [см, например: Свободное слово..., 1996; Руткевич, 1996; Устимова, 1996; Заславская, 1997; Вепрева, 1997; Сафонова, 1998; Козлова, 1999 и др.].

Всплеск семиотичности, характерный для постсоветской реальности, обусловил разные уровни освоения новых концептов. Процесс концептуального освоения идет неравномерно. О. В. Высочина, анализируя усвоенность значений новых иностранных слов носителями языка, выделила три уровня их понимания: полное, частичное (неполное) и ложное [Высочина, 2001, 13]. Эти уровни вполне адекватны и уровням освоенности концептов. Концептуальные рефлексивы фиксируют факты ложного, неполного или индивидуального освоения концептов: *Неверно истолковав для себя понятие «харизма», посмотревшись MTV и начитавшись молодежных журналов, продюсеры и поп-артисты решили, что до полнокров-*

ного успеха топать долго. А коли так, надо выбрать другую тактику, граничащую с шоковой терапией. У артиста должна быть экстремальная, декадентская внешность и взвинченная линия поведения (АИФ, 2001, сент.); Владимира Познера я знаю очень давно, помню его еще молодым брюнетом, виртуозно читающим лекции от общества «Знание». **Жаль, что понятие «свобода слова» у нас несколько извратили, потому что Познер как раз — увлеченный и искренний борец за нее** (АИФ, 2001, авг.); Вадим Вяткин слово «спонсор» не любит. Как он считает, **есть в этом словечке какое-то неприятное двоямыслие: мол, один — «богатый дядя», а второй — проситель, «бедный родственник»**. Нет. Отношения многих фирм с театром — суть отношения партнерские (АИФ, 2000, март).

Исследования О. В. Высочиной показали, что существуют гендерные и возрастные особенности концептуального освоения. Анализ субъективных дефиниций дал возможность выявить концепты, освоенные женщинами и незнакомые мужчинам: *блейзер, визажист*, и наоборот: *саммит, секьюрити, холдинг, эмиссия* и др. Способы интерпретации понятия также имеют гендерные особенности: мужчины интерпретируют лексику на уровне архисемы, они склонны к обобщениям. Женщинам легче описать понятия через указание его дифференциальных признаков, через сравнение [см.: Высочина, 2001, 16]. В работе приводятся примеры интерпретации некоторых слов мужчинами (1) и женщинами (2): ФАКС — 1) факсимильный аппарат; периферийное устройство связи; вид связи; 2) это аппарат, похожий на телефон, через него передают информацию на расстоянии; АНШЛАГ — 1) полные сборы в театре; успех; 2) ситуация, когда все места в театре заняты, все билеты проданы; ПЕЙДЖЕР — 1) прибор для приема и передачи информации; 2) этот предмет представляет собой черную коробочку, с которой считывается информация; когда надо, он пищит.

Интересны возрастные особенности понимания и интерпретации концептов. Самый высокий уровень освоенности новых концептов показали представители среднего возраста (от 25 до 45 лет). Им известно 85 % (для эксперимента автор отобрал 100 новых высокоупотребительных в СМИ лексем иноязычного происхождения 8 тематических групп). На втором месте старшее поколение. Ему известно 70 % слов. Молодежь знает лишь 55 % слов. Для старшего поколения характерны эмоционально-оценочные интерпретации, обычно негативного характера: *спонсор* — спекулянт,

человек, оказывающий финансовую помощь за рекламу; *дистрибьютер, дилер* — пройдоха, аферист и т. д. Можно согласиться с автором исследования, который считает, что наличие коннотативной части в структуре концепта говорит не о степени усвоения понятия, а о психологическом состоянии данной части общества — о враждебном отношении к определенным социальным явлениям в обществе [Высочина, 2001, 17].

Подобные исследования проводят и некоторые средства массовой информации. Так, журнал «Алфавит» в феврале 2000 года организовал собственное социологическое исследование, в котором подросткам предлагалось ответить на вопрос «Что такое свобода слова?». Подавляющее большинство подростков (69 %) считают, что *свобода слова* — это возможность высказать свою точку зрения перед любой аудиторией и без страха за свою жизнь. Данное толкование, уже сформулированное редакцией, в детских ответах имеет свои формулировки, например: *это возможность выйти на Красную площадь и сказать нужное и приличное слово так, чтобы его услышали. И при этом не оказаться за решеткой; 6 % опрошенных не смогли ответить на вопрос; 5 % готовы сражаться за нее с топорами.*

Средства массовой информации играют очень важную роль в процессе концептуального освоения новых понятий. Это может быть просветительная работа по толкованию новых понятий, аналитические статьи, интервью со специалистами и т. д. Целенаправленность языковой политики по усвоению новых концептов, их популяризацию можно показать на примере вхождения в повседневный обиход терминологической единицы «деноминация».

Активное употребление данного термина, концептуальное освоение явилось «жизненно оправданным» [Костомаров, 1994, 87], поскольку денежная реформа, связанная с изменением нарицательной стоимости российского рубля, касалась каждого гражданина России. Хронологически точен момент первого употребления термина не в научном обиходе: 4 августа 1997 года президент России Б. Н. Ельцин выступил со специальным радиообращением, где использовал это слово, объявляя о предстоящем изменении стоимости рубля. Слово «деноминация» зафиксировано в терминологических словарях и справочниках по экономике, дано в современных толковых словарях с пометой *экон.-фин.*: «изменение нарицательной стоимости (номинала) денежных знаков в целях

упорядочения денежного обращения и упрощения расчетов» [Словарь русского языка, 1981, т. 1, 378]. Терминологическая единица указана в словарях без однокоренных образований.

Первые публикации, появившиеся сразу же на следующий день после радиовыступления Б. Н. Ельцина, позволили выявить лексическую сочетаемость анализируемой единицы: правая валентность — *деноминация рубля, российской валюты, денег, золотого, йены; деноминация назрела, выразилась в..., происходила, не повлияет, проводится*; левая валентность — *предстоящая, теперешняя, объявленная сегодня, мягкая деноминация, проведение, положительный фактор, плюсы, причины деноминации*.

Широкое использование термина в контексте разговорной речи, внедрение его в общественное сознание, безусловно, потребовало большой разъяснительной работы. Поэтому этот термин с первых дней употребления на страницах газет всегда объяснялся журналистами. Набор предложенных российскими журналистами толкований термина достаточно разнообразен. Это высказывания разной степени сложности — от максимально приближенных к лексикографическому описанию слова до толкований, включающих элементы разговорной лексики, образные характеристики. См., например, следующие определения деноминации: *Деноминация, то есть изменение нарицательной стоимости денежных знаков, при котором банкноты и монеты прежних выпусков обмениваются на новые, более крупные, и пересчитываются цены, тарифы и зарплата* (КП, 9 авг.); *Деноминация означает кратное изменение масштаба цен всего и вся* (МК, 13 авг.); *Кампания по стиранию нулей с банкнот* (Независимая газета, 9 авг.); *Цель денежной реформы — провести деноминацию, т. е. убрать «лишние» три нуля с денег* (АИФ, авг.); *избавление от трех нулей, срезание нолей, зачеркивание нулей* (АИФ, авг.).

Активное употребление лексической единицы привело к расширению сочетаемостных возможностей слова за счет его употребления со словами сниженной разговорной лексики: *сама по себе деноминация, эта самая деноминация, деноминация с бухты-барашты; деноминация, эта копеечная реформа...* и т. д. Актуальность концепта стимулировала реализацию словообразовательного потенциала терминологической единицы. Отглагольное по словообразовательной структуре существительное *деноминация* предполагает наличие в системе языка более простого производящего гла-

гола и его форм: *деноминировать рубль, монеты будут деноминированы в тысячу раз, деноминировав рубль, деноминироваться будут только три нуля*. В текстах встречаются и отсубстантивные прилагательные: *член деноминационной комиссии, деноминационная реформа*.

Проведение денежной реформы в стране не может не вызвать оценочного отношения к данной акции. Следующий этап освоения концепта *деноминация* — это рефлексивы, содержащие компонент эмоциональной оценки (как положительной, так и отрицательной) употребляемого слова, а через слово выражающие отношение к предстоящей реформе.

Появление высказываний, эксплицитно выражающих отрицательную оценку данному процессу, вполне закономерно, поскольку перестроечный и постперестроечный периоды развития российской экономики отмечены рядом неудачных попыток финансовой стабилизации страны.

Проводимая государством экономическая политика оказывается невыгодной всем. Так, в 1990 году в результате так называемого «павловского» обмена денег возник ажиотажный спрос, полностью разбалансировавший потребительский рынок. Осенью 1991 года к реформам приступила команда Гайдара, первым масштабным деянием которой стала либерализация цен. Либерализация с неизбежностью привела к гиперинфляции, создав мощнейший источник перераспределения богатств. С либерализацией связан и следующий, неоднозначно воспринимаемый момент реформирования российской экономики — массовая приватизация государственной собственности. Поэтому инициирование новых экономических реформ вызвало недоверие российского общества. Подобные деноминационные реформы в других странах бывшего социалистического лагеря примерно в эти же годы — в Польше (раньше), в Болгарии (позднее) — проходили в рабочем порядке, без всякого ажиотажа и взвинченности.

В газетных публикациях осенью 1997 года отмечаются контексты двух типов: высказывания с отрицательной оценкой, отражающие общую реакцию общества на экономические реформы, и высказывания с положительной оценкой, приводящие мнения специалистов о безболезненности реформы для населения страны.

Как в положительных, так и в отрицательных оценочных контекстах используются однотипные приемы эксплицирования оценки. Рассмотрим некоторые из них.

1. Введение лексемы в прецедентные тексты. Положительная оценка: *Не так страшна деноминация, как ее малюют* (МК, 13 авг.). Использование в качестве прецедентных текстов советских газетных клише придает высказыванию общую ироническую окраску: *По поводу срезания полей просьба не беспокоиться* (Российская газета, 6 авг.), *В связи с восстановлением копейки* (КП, 7 авг.). Употребление лексемы рядом с терминами с «подмоченной» репутацией создает отрицательную тональность высказывания: *Прихватизация — позади, впереди — деноминация* (Экономика и жизнь, авг.).

2. Метафорическая характеристика анализируемого концепта. Положительная оценка: *Деноминация — это крыша здания под названием «финансовая стабилизация»* (МК, 5 авг.); *Деноминация свидетельствует о «выздоровлении» рубля* (Известия, 5 авг.); *Деноминация: рубль потяжелеет* (Каменский рабочий, 6 авг.). Отрицательная оценка: *Деноминацию можно назвать «смерть пенсионерам»* (МК, 9 авг.).

3. Прямая оценка предстоящей реформы. Положительная оценка: *Реформа без конфискации* (Уральский рабочий, авг.); *Надо людей успокоить. Это простая замена денежных знаков. Если вы поверите, что цены вырастут, то цены обязательно вырастут. Надо не поддаваться панике* (Гусман, ОРТ, Тема, 23 дек.). Отрицательная оценка: *Страшное слово «деноминация»* (МК, 5 авг.); *Несколько зловещий оттенок начинает принимать словечко «деноминация», а также странная фраза Чубайса о том, что вклады граждан 1913—1920 гг. рождения будут компенсированы 1 : 1000* (МК-Урал, дек.); *Нас так сильно уговаривают, что это безвредно, что это выглядит подозрительно* (Доренко, ОРТ, Время, 21 дек.).

Как на примету активного освоения концепта журналисты ссылаются на употребление (чаще всего неправильное) этого слова в речи необразованного пожилого человека: *Бабушки обсуждают «деноминацию» в общественном транспорте, но не спешат обменять «гробовые» на зеленые* (КП, 7 авг.).

Ключевыми словами отрицательных оценочных контекстов являются лексемы «опасность» и «страх». См., например: *реформу бояться; она не страшна; это «смерть пенсионерам»; страшного слова бояться не стоит; деноминировать рубль можно было бы гораздо*

безопаснее; президент просит не волноваться; просьба не бояться и т. д.

Пейоративный коннотативный ореол нового концепта не случаен. Отрицательная оценка нового концепта формируется на основе предыдущего неудачного опыта денежных преобразований в стране. Данные контексты демонстрируют постепенное развитие катастрофического сознания жителей России, которое охватывает значительные группы людей в периоды социальной нестабильности, особенно в периоды социальных катастроф [см.: Матвеева, Шляпентох, 2000, 69]. Катастрофические настроения могут передаваться различными способами. В данном случае тональность тревожности, страха устанавливается в целом ряде газетных изданий, которые являются чутким барометром общественных настроений. Если элементы катастрофизма накапливаются достаточно долго, то ему с трудом противостоит даже критическое сознание. Современное российское общество в этот период было «нацелено на бедствия» (П. Сорокин).

Задача правительства в этих условиях — снять негативный ореол с нейтрального концепта, преодолеть состояние страха перед предстоящей реформой. В качестве достаточно клишированного журналистского приема приведем сюжет из программы «Время» первого канала российского телевидения от 29 ноября 1997 года. Журналистка задает вопрос пожилой малообразованной женщине: — *Вы боитесь деноминации?* Естественная реакция пожилого человека: — *Для нас ничего хорошего не будет.* Далее идет вставка с мнениями ведущих экономистов о том, что предстоящая реформа не заденет денежных интересов граждан. Вновь возвращается картинка с пожилой женщиной, которая произносит: — *Ну вот, сейчас мне все понятно.* И в завершение сюжета вновь вопрос, но уже мужчине среднего возраста, который реагирует на предстоящую деноминацию более здраво: — *Ну чего ее бояться, этой деноминации?* Так, путем направленного общественного мнения происходит снятие напряжения в обществе и отрицательной коннотации с терминологической единицы.

Реализация объявленной денежной реформы началась с 1 января 1998 года. Деноминация проходила в цивилизованных рамках обмена денег. И сразу массовые настроения сменили модальность с пессимистической на нейтральную. Страхи перед новым экономическим испытанием заметно снизились. Безусловно, были

определенные проблемы с деноминацией денег: некоторые коммерческие киоски не брали металлические монеты, объявились фальшивомонетчики, некоторые цены округлялись не в пользу потребителя. Но это были обычные факты, которые не влияли на общую картину проводимой реформы. В языковом и когнитивном планах лексема *деноминация* теряла свою актуальность и употребительность. Первое полугодие 1998 года в активном употреблении были сочетания *старые/новые (деноминированные) рубли, деньги*. Концепт *деноминация* стал использоваться в качестве основы для языковой игры: *Назовем номинанта, а все остальные станут деноминантами* (Э. Рязанов на вручении премии Тэффи 25 мая 98 г.); *«Аргументам и фактам» не грозит никакая деноминация: она была и будет газетой миллионов* (Л. Якубович, ОРТ, Поле чудес, 22.05.98); *Раньше мы пели «миллион, миллион, миллион алых роз». А сейчас поем «тысяча, тысяча, тысяча...» Что поделаешь? Деноминация...* (Радио «Джем», 11.01.98). Появились анекдоты: *Встречаются двое новых русских. — Слушай, а что такое деноминация? — Это когда нули убирают. — Так что, я теперь на «шестерке» буду ездить?»; Вопрос армянскому радио: Правда ли, что у нас в стране тайне готовится новая денежная реформа: вместо нулей будут убирать цифры, стоящие перед ними?*

Таким образом, формирование отрицательного оценочного компонента в структуре концепта носило временный оперативный характер, обусловленный современной экономической ситуацией в стране, и скорее определяло психологический климат эпохи как времени с катастрофическим типом мышления, оценивающего мир в терминах опасностей и угроз. Фиксация этой коннотации позволяет составить представление об общем социально-психологическом фоне времени: в данной ситуации коллективные страхи были не актуальной реакцией на происходящее, а симптомом консервативной блокировки сознанием постоянных изменений, формой «редукции сложности и неопределенности» актуальных событий, способом «уменьшить степень смыслового разнообразия» [Гудков, 1999б, 53]. Накопленный опыт современности сохранится в структуре концепта *деноминация*, но из актуального (активного) слоя концепта перейдет в дополнительный (пассивный) в виде эмоционально-мифологического наследия, как элемент культурной памяти о психологическом состоянии российского общества в постперестроечный период, испытывавшего страх перед

экономическими катастрофами, который воспринимается как состояние «неопределенно тревожного ожидания возможных негативных событий» [Левада, 2000а, 7].

Актуализация сложившихся концептов. Это третья зона концептуального напряжения. Динамизм современного концептуального сознания предполагает не только создание новых концептов и их смысловое наполнение, но и наполнение новым содержанием концептов, существующих в русском общественном сознании. Новое содержание представляет собой фрагменты когнитивной парадигмы постсоветской действительности. В основе актуализации концептов, как мы отмечали в главе второй, лежат внеязыковые причины. Слова-хронофакты номинируют ключевые концепты времени, т. е. концепты, важные для понимания времени, в котором они активизируются.

Средства массовой информации, включая телевидение, постоянно обращаются к эмпирическим попыткам представить интенсивно пополняющийся и обновляющийся актуальный лексикон эпохи. Проиллюстрируем положение несколькими примерами. Так, «МК-Урал» (июль 2000) сравнил послание В. Путина 2000 года с посланием Б. Ельцина 1995 года по частотности употребления ключевых понятий. Сравнение позволило выявить ключевые концепты каждого периода (анализ носит приблизительный характер, поскольку путинский текст в несколько раз короче полного ельцинского послания 1995 года). Вот эти списки. **Послание Ельцина — 1995:** Чечня — 18, регион — 17, Европа — 13, реформы — 13, демократия — 11, бюджет — 11, поддержка — 11, рынок — 10, право — 9, собственность — 6, права человека — 3, налоги — 2; **Послание Путина — 2000:** регион — 18, право — 10, налоги — 3, бюджет — 3, Чечня — 2, реформы — 2, рынок — 1, Европа — 0, демократия — 0, поддержка — 0, собственность — 0, права человека — 0. При сопоставлении списков видно, что для обоих периодов характерны одни и те же проблемы — экономика, права человека, Чечня. Но активизация тех или иных концептов различна, по частоте упоминания лидируют разные проблемы.

Вторая иллюстрация — телевизионный проект, который начинался на телеканале «Российские университеты» в декабре 1993 года, в 1996 году переместился на НТВ, а в 1998 году — на телеканал «Культура». Проект, получивший название «Лексикон

истории культуры», позднее трансформировался в книгу известного культуролога, одного из авторов этого проекта Т. Чередниченко [см.: Чередниченко, 1999a]. Исследователь пишет, что задача проекта — схватить пробудившейся острой рефлексией современников «случаи из повседневности», фактуру быстротекущей жизни: разрозненные приметы, события, эксцессы — в виде устного обсуждения, коллективной пробы мысли философов, художников, искусствоведов, литературоведов. По мнению автора, современная Россия представляет собой тип культурно-типологического билингва, который уже не находится в зоне иерархически-советского традиционализма, но еще не вошел в зону внеиерархически-рыночного глобализма, поэтому она изъясняется на обоих языках как переводчик. Автор делает вывод: «находиться сегодня в России нелегко, но методологически плодотворно» [Там же, 15]. Представленный в книге актуальный лексикон истории культуры — это, по сути, перечень актуализированных концептов, который комментируется гуманитариями в виде документированно зафиксированной картины мысли, совершающей археологические раскопки современности. Перечислим ключевые концепты эпохи, обсуждавшиеся в рамках этого проекта: *либерализм, традиция, деньги, идеи, числа, вещи, чудо, тайна, обман, авторитет, власть, имидж, тусовка, глупость, война, хаос, оптимизм — пессимизм* — вечные темы на пороге XXI века.

Подобным приемом пользуется и Л. Парфенов, сделавший цикл передач о современной истории в рамках проекта «Намедни». Каждый год у журналиста очерчивается круг новых и актуализированных понятий, входящих в повседневную жизнь. Например, при характеристике 1993 года Парфенов говорит: *Ключевыми понятиями года становятся термины «элитный» и «экссклюзивный». К весне складывается цивилизованный финансовый рынок, получивший название ГКО. Страна привыкает к понятию «заказное убийство». К концу 1993 года маклеров стали называть риелторами. И в этом же году все делают евроремонт — попытка доведения стандартной квартиры до европейского уровня. В 1993 году появляется первое средство для похудения «Герболайф». В этом же году появляется эфемизм «трахаться». Все наблюдают войну компротатов. Трастовый договор — такое слышат впервые* и т. д. Поставленные в один ряд важные и сиюминутные явления и события создают многослойную картину быстротекущей жизни, застав-

ляют слушателей обновлять в памяти хронологическую последовательность происходящих изменений.

Тем не менее пестрый ряд концептов, актуализируемых в повседневном метаязыковом дискурсе, можно свести в две наиболее важные тематические сферы — политическую и экономическую. Остальной концептуальный ряд является фоновым, дополняющим главные темы.

Свойство актуальности очень важно для наполнения концепта новым смыслом, который может иметь оперативный, функциональный характер, определяемый состоянием общества, а может формировать и новые слои сложившегося концепта, отражающиеся в появлении новых лексико-семантических вариантов значения слова. И. А. Стернин выделил четыре основных процесса, происходящих в русской лексике 1990-х годов: семантическая деривация, семантическая модификация, реструктуризация смысловой структуры слова, стихийный дрейф семантики слова [см.: Стернин, 2000б, 39]. Исследователи, обращающиеся к описанию семантических процессов в лексике, отмечают еще один важный и существенный для русской лексической системы процесс — ресемантизацию [Скляревская, 2001, 188], или идеологию слова [Ермакова, 1996, 36].

Динамические процессы, которые происходят в структуре актуализированных концептов и репрезентируются в языке, аналогичны семантическим процессам, происходящим в русской лексике. Концептуальные рефлексивы позволяют выделить эти участки напряженности, поскольку объективируют ту часть концепта, которая вербализируется языковым сознанием.

Аналогично представлениям современной семасиологии о полевой организации смыслового содержания слова как системы семем — с ядром, ближней и дальней периферией — когнитивная лингвистика также представляет вербализованную структуру концепта в качестве полевой организации [см.: Попова, Стернин, 2001, 57–64]. Концептуальные признаки в условиях вербализации концепта предстают как семы, а концептуальные слои могут совпадать с семемами. Периферию концепта представляют слабо структурированные предикации, отражающие интерпретацию отдельных концептуальных признаков. Данное представление о структуре концепта не расходится, в частности, с точкой зрения

Ю. С. Степанова, который пишет, что к структуре концепта «принадлежит все, что принадлежит строению понятия; с другой стороны, в структуру концепта, входит все то, что делает его фактом культуры — исходная форма (этимология); сжатая до основных признаков содержания история; современные ассоциации; оценки и т. д.» [Степанов, 2001, 43]. Этот «пучок» представлений, понятий, знаний, ассоциаций, переживаний, который сопровождает слово, и представляет собой концепт. Термин «концепт» удобен тем, что, «акцентируя те реалии, к которым нас отсылает слово» [Фрумкина, 2001, 45], позволяет учитывать те признаки, которые не входят в объем лексического значения. По степени освоенности совокупности концептуальных признаков обыденным сознанием Ю. С. Степанов выделяет **активный** (актуальный) слой признаков, который осознается всеми носителями языка. В актуальном слое концепт существует для всех пользующихся языком. **Пассивный** слой — это дополнительный информативный фонд, освоенный только некоторыми социальными группами (в терминах А. Вежбицкой, эти слои соотносительны концепту-минимуму и концепту-максимуму). Противопоставления «активный слой» — «пассивный слой», «концепт-минимум» — «концепт-максимум» культурно обусловлены, они разграничивают языковые и энциклопедические знания.

Концептуальный подход позволяет обнаружить и объяснить, «что знает человек, когда он знает (или полагает, что знает) значение слова» [Залевская, 1999, 98]. Концепты являются одной из форм репрезентации значений в памяти человека, представляя собой некую базовую сущность, позволяющую связывать смысл с употребляемым словом. Концепт — это средство замещения того, что вербально описывается как лексическое значение. Это замещение необходимо для того, чтобы оперировать значением в качестве достояния человека в речемыслительной деятельности. Названные особенности соотношения концепта и лексического значения мы учитываем при выборе средств и способов описания процессов, происходящих в концептосфере современного носителя языка. Безусловно, корпус метаязыковых высказываний и привлекаемый по мере надобности другой языковой материал сужают сложнейшую задачу описания изменений, происходящих в концептуальной сфере современного носителя языка. Признавая иллюзорность полноты описания концептуальных изменений, мы

тем не менее полагаем, что метаязыковой материал позволяет учитывать факт коррелированности описания системных значений слова и их психологических характеристик, которые осознаются индивидом при функционировании слова в процессе речемыследействия. Исследование метаязыковых высказываний — это один из путей конструирования дефиниций, нацеленных на концептуализацию реальности человеком и оформленных средствами языка.

Обратимся к описанию смысловых изменений, происходящих в хроникально актуализированных концептах.

С м ы с л о в а я д е р и в а ц и я — процесс появления новых базовых слоев в структуре концепта, реализуемых в качестве новых лексико-семантических вариантов слова, который относится сразу к двум зонам концептуального напряжения: как новый когнитивный слой — к зоне концептуального напряжения, реагирующего на признак новизны, как дополнительный когнитивный слой, усложняющий структуру концепта, — к зоне деривационного концептуального напряжения. Одновременное наличие двух признаков напряжения в рамках одного рефлексива не противоречит нашему взгляду на природу рефлексивных высказываний.

Обратимся к анализу смыслового развития концепта «семья» в качестве конкретного проявления процесса смысловой деривации. Инвариантным признаком данного концепта является понятие «группа живущих вместе близких родственников», номинированное в качестве основного значения лексемы *семья*. В обыденном языковом сознании существует несколько вторичных значений, развившихся на основе первичного. Так, существует переносное значение — «объединение людей, сплоченных общими интересами (*высок.*)» и вторичное значение — «группа животных, птиц, состоящая из самца, самки и детенышей, а также обособленная группа некоторых животных, растений или грибов одного вида» [СОШ, 1999, 71]. Современная политическая жизнь России сформировала еще один новый лексико-семантический вариант данной лексемы. Приведем метаязыковые высказывания, фиксирующие появление нового значения: *Слово «семья» становится политическим термином в нашей столице* (НТВ, Сегодня, 27.08.99); *Слово «семья» в политическом лексиконе — в большой моде* (МК-Урал, 1999, окт.); *С недавнего времени в нашем лексиконе появилось новое слово — «Семья». Именно так, с большой буквы — Семья. О «семейных» делах написано уже немало. О похождениях членов ее — тем*

*более. Заграничные вклады, кредитные карты, виллы за рубежом... (Там же, 1999, дек.); В современном русском языке произошла совершенно незаслуженная узурпация понятия «семья». Согласно текущим понятиям, это нечто монстроподобное и трясинообразное, сформировавшееся исключительно вокруг действующего президента России (Там же); Кто сказал, что «семья» в стране только одна? Да, «семья», где заправляют Дьяченко — Юмашев, может, и главная «семья» страны. Но не единственная (Там же, 2000, нояб.). В современном языковом сознании за лексемой семья закрепилось понятие, которое обычно определяется как *семейственность* — «отношения на работе, на службе, основанные на предпочтении и поблajках, оказываемых по родственным связям или личной дружбе». Эти отношения семейственности, группового влияния на президентские решения оказались приложимы к кремлевской «семье», к характеристике окружения экс-президента России Б. Ельцина, который приблизил к руководству страны небольшой круг людей, связанных близкими семейными и дружескими связями. Это прежде всего младшая дочь и советник Б. Ельцина Татьяна Дьяченко, ее мужа — А. Дьяченко и В. Юмашев, бывший руководитель администрации президента, старшая дочь — Елена Окулова. К близким «семье» фаворитам относят Павла Бородина, бывшего управляющего делами президента, и Алексея Коржакова, бывшего руководителя Службы безопасности президента. Именно эту «семью» обвиняли в том, что она управляла страной за президента в последние годы ельциновского правления. Число фаворитов семьи колеблется: от четырех (откуда бывшее модным название — «банда четырех») до неопределенного количества. Самым засекреченным и влиятельным считался Роман Абрамович, новым фаворитом «семьи» называли С. Шойгу, к «семье» были приближены Волошин, Березовский, Мамут и др. Разграничение исходного и нового значений четко разводится в контекстах: *В этот вечер в зале можно было заметить практически всех членов семьи Ельциных в первоначальном смысле этого слова (АИФ, 2000, окт.); В полном составе были и обе семьи Бориса Николаевича. Первая — это его родственники, вторая — так называемая пресловутая «семья» — Валентин Юмашев, Роман Абрамович, Александр Мамут... Естественной хозяйкой вечера стала Татьяна Дьяченко, которая, как все говорят, выглядела просто прекрасно (МК-Урал, 2000, окт.); Даже первый президент новой России квартиру на Осен-**

ней тоже в личную собственность не оформил. Чего же он ждет? А может, придет июль — 2000 и Ельцин со всей семьей (без кавычек) немедленно освободит жилплощадь для семьи (тоже без кавычек) преемника? (АИФ, 1999, нояб.).

Новый концептуальный смысл начинает обрастать ассоциативным рядом и оттенками смысла. Появились современные и исторические аналогии: *В каждом регионе, в каждом серьезном ведомстве без труда можно найти «семью» местного значения. Взять хотя бы Курскую область, где губернатор Руцкой (теперь уже бывший) расставил на все «хлебные» места своих родственников. Или — пример еще более наглядный — Министерство путей сообщения. Существует даже некая закономерность (абсолютно, кстати, логичная): чем сильнее пахнет деньгами, тем активнее и мощнее ведет себя местечковая «семейка» (МК-Урал, 2000, нояб.); Тогда всем заправляла «семья» — императрица Александра Федоровна и иже с ней. И сейчас тоже «семья». Многие называют Березовского «современным Распутиным» (Там же, 1999, нояб.).*

Формальным средством разграничения двух смысловых структур служат кавычки при употреблении нового лексико-семантического варианта: *Слово «семья» я беру в кавычки и под семьей имею в виду некоторых чиновников (А. Венедиктов, Радио «Эхо Москвы», 01.08.99). Все случаи употребления нового значения лексемы оказываются неодобрительно-оценочными. Таким образом, формирование нового концептуального слоя было спровоцировано кризисным моментом затянувшихся властных функций, который обнажил скрытый механизм реализации этих функций, выявив групповые («семейные») структуры влияния. Смена власти не привела к затуханию нового смысла концепта «семья»: *Сегодня всей страной руководит небольшая кучка финансистов (это то, что принято называть «семьей», но я называю это расширенным составом «семьи»). Им надо было убрать мешающих им Гусинского и Березовского. Они использовали Березовского вместе с его телевидением, чтобы тот помог избрать другого президента. Они, в общем-то кинули Березовского (АИФ, 2002, июнь); Путин — мастер борьбы на ковре. А «семья» — мастера борьбы под ковром. Я, когда он выступает и улыбается, слышу скрежет зубов. Потому что все финансовые схемы — у «семьи» (Там же); Те, кто следит за перипетиями межклановой борьбы между выходцами из Питера и осколками ельцинской «семьи», знает: Касьянов — яркий представитель второй (МК-Урал, 2002, май).**

Функцию разграничения двух смысловых структур часто берут на себя метаязыковые высказывания. Таковую, например, функцию берет на себя рефлексив для разграничения концептуальных слов-концепта «нелегал» в современной речи. В рефлексиве сталкиваются толкования обеих смысловых структур — старой и новой, что позволяет носителю языка уточнить, о какой из структур идет речь: *Кто такие нелегалы? «Это подпольщики, которые печатают листовки и живут по поддельным документам», — просветила меня бабушка подруги. В последнее время она часто слышит по телевизору фразы об усилении борьбы с нелегалами. Бабушка — старенькая, она помнит революцию и борьбу со шпионами в середине тридцатых и никак не может уразуметь, что нелегал — это торговка с рынка, у которой она по субботам покупает пучок петрушки для супа. В ее голове, помнящей еще строгий запрет на передвижение «беспаспортных крестьян», никак не укладывается, что границы государства могут ежедневно пересекать тысячи никем не учтенных «чужаков», которые потом бродят по территории всей России безо всякого присмотра... (МК-Урал, 2002, май).* Новая смысловая структура может получать в тексте коннотативную окраску: *Если бы Сережа Сидоров в 1996 году уехал с мамой в Германию, а не остался с отцом в России, в его жизни не было бы проблем. Но он выбрал Россию, которая не смогла ему дать ничего, кроме обидного определения «нелегал». Так и ходит мальчик-мигрант по деревне с обидным прозвищем «нелегал» (Там же, 2001, февр.).* О степени сформированности нового смысла свидетельствует появление на телевидении осенью 2002 года новой передачи «Нелегал.ги».

С м ы с л о в а я м о д и ф и к а ц и я — это процесс перестройки набора признаков в составе когнитивного слоя. На семемном уровне модификация проявляется в частичной замене отдельных семантических признаков, появлении новых сем. Мы считаем, что подобную модификацию претерпела семантическая структура лексемы *олигарх* как языковой репрезентации соответствующего концепта.

Рефлексивы отмечают факт актуализации данного концепта: *Три года назад в новорусском политическом лексиконе с легкой руки таких разных персон, как Борис Березовский, Борис Немцов, появились слова «олигархия» и «олигархи», доселе известные разве что историкам и экономистам. В классическом понимании под этим явлением подразумевают власть немногих; в марксистском — связь*

банковского капитала с государством. А поскольку все российские богачи имели к последнему самое прямое отношение и их было не так уж много, словечко быстро прижилось и стало общеупотребительным. Так наши крупнейшие бизнесмены и предприниматели стали олигархами (МК-Урал, 2000, нояб.). Внедрение в активный обиход слова из пассивного словаря потребовало его дефиниции. Рефлективы отмечают попытки определить данное слово: диалог С. Доренко с Б. Немцовым в программе «Время»: — *Давайте договоримся об олигархии, определим это понятие. Чтобы изгнать демона, надо его назвать. Термин «олигархия» существует сто лет. Это слияние крупного капитала с властью. — Мы не обсуждаем в кабинетах понятие «олигархии». Существует узкая группа богатых и широкая масса бедных. Основу для олигархии создала советская система. Это уродец, возникший после постсоветских госпланов, министерств и «демократических» приватизации, коррупции, отсутствия антимонопольной политики. 5—10 человек считают себя пупом земли, а остальные — в нищете (22.04.98).* Таким образом, лексема *олигархия* актуализировалась в современной речи в значении «политическое и экономическое господство небольшой группы представителей крупного финансово-промышленного капитала, а также сама группа»; соответственно *олигарх* — как представитель финансово-экономического капитала, участвующий в формировании власти. Активное употребление в современной речи этих лексем модифицирует системное значение слова. Свидетельством этому является пояснение президента В. Путина, данное в интервью журналистам канала РТР 25 декабря 2000 года: *Олигархами у нас называют представителей крупного капитала, которые из тени влияют на политику.* Специфика экономического развития России повлияла на актуальный смысл концепта. В речевой практике редуцируется компонент «открытого политического господства», актуализируются признаки «нечестного обогащения нерыночными методами», «теневого влияния на политику государства».

Необходимо признать, что во многом обогащение небольшой группы представителей крупного капитала проходило за счет экономических просчетов, допущенных государством: искусственного сдерживания стоимости сырья и энергоносителей, издержек приватизации, залоговых аукционов, доходнейшей пирамиды,

организованной государством под названием ГКО, и т. д., в условиях, далеких от правозаконности и справедливости при активном и небескорыстном участии чиновничества. Политика В. В. Путина, провозгласившая принцип «равноудаленности» государства от олигархов, привела к сдерживанию неформальных отношений с крупным капиталом, переходу к более открытой модели взаимодействия и поставила олигархов перед выбором: «или поддерживать власть во всех ее начинаниях, или уйти в тень» [см.: Крыштановская, 2002, 28].

Самым ярким признаком концепта остается компонент «обладания большим количеством материальных ценностей, крупным капиталом». Массовое сознание оценивает то, что доступно восприятию, за его пределами остаются закулисные механизмы власти, редуцируемые в смысловой структуре концепта.

Интеллектуальная часть современного общества отмечает модификацию смысла концепта, но тем не менее не отказывается от употребления этого слова: *Слово «олигарх» употребляется часто и неправильно. Я выписал значение этого слова из словаря. Довольно странно употребляется, но неважно...* (Вл. Познер, ОРТ, Времена, 24.12.00). Метаязыковой комментарий современного употребления лексемы *олигарх* подтверждает факт модификации: ***Банкиры, в переводе — олигархи, выглядят, как подсудимые*** (Завтра, 1998, дек.); *Андрей Козицын, глава могучего холдинга «Уральская горно-металлургическая компания», решительно возражает против называния себя «олигархом». Не нравится ему это слово греческого происхождения. И дело не в том, что для попадания в олигархи надо преодолеть определенный имущественный ценз (олигарх — дословно богач). Скорее всего Козицыну не по нраву негативный оттенок, который вкладывается в это понятие. Глава холдинга высказался следующим образом: «Олигарх — это загадка природы, выдуманная журналистами»* (МК-Урал, 2000, июль); *Вагит Алекперов занимает особое место в российской олигархической системе. Это «волк-одиночка», который не демонстрирует свою дружбу с кем-либо. Он весьма скептически относится и к появляющейся время от времени идее дружбы бизнеса и власти* (АИФ, 2002, авг.); *Теперь олигархам выгодно соблюдать законы, они уже не прячутся в тени. Известны данные о содержимом их банковских счетов. Самый богатый человек в России — Михаил Ходорковский, глава нефтяной компании «ЮКОС»* (его

состояние — 3,7 млрд. долл.) (Там же); *Они стали не просто богатыми, а олигархами, обеспеченными* (НТВ, Принцип домино, 02.10.02).

Смысловая модификация произошла и с концептом «реформа». Данный концепт оказался ключевым в определении тех преобразующих процессов, которые начались с попытки изменить партийно-советскую систему. Состояние существенных изменений в экономической, политической и национальной сферах инициаторы назвали достаточно обобщенно — *реформами*. Если мы обратимся к прототипической структуре данного концепта, то увидим, что в ее основе лежит признак «преобразование, изменение чего-л., не затрагивающее основ существующего государственного строя». Поскольку изменения в стране носят радикальный характер, касающийся всех существующих институтов государства — экономических, политических и социальных, то в данном случае нельзя говорить о *реформе* в традиционном ее понимании. В современной трактовке концепт приобретает признак «интенсивного изменения» — глубоких, коренных преобразований, требующих иногда конституционного оформления. Массовое сознание отмечает смысловую модификацию концепта: *На Государственном совете специально отказались от слова «реформа», чтобы у общественности не сформировалось ощущение, что все будет сломано* (АИФ, 2001, март); *...Если те не из числа новых устроителей светлого будущего, тех, кто рушил СССР, тех, кто грабил каждого из нас, прикрываясь словом «реформа»...* (Отечество, 2000, авг.); *Системе образования ни в коем случае нельзя называть это реформой образования, поскольку слово «реформа» искажает смысл намеченных преобразований* (РТР, Новости, 27.04.02); *Мы должны забыть слова реформа, революция, переворот в образовании* (Учительская газета, 2000, июнь); *Если бы реформа здоровья имела место столетие спустя, то слово «реформа» верно было бы заменено словом «революция»* (Здоровье, 1998, окт.).

В ходе реформ страна решает сложнейшие вопросы трансформации экономической системы советского типа. Приступив к преобразованиям, общество, по образному выражению Д. Травина, начинает открывать один за другим несколько «ящиков Пандоры» и выпускать из них все более сложные и болезненные проблемы. «Открывать их страшно, и оттого мы решаемся на каждый новый шаг медленно и неуверенно, преодолевая множество сомнений.

Но и не открывать нельзя, поскольку проблемы — оборотная сторона поступательного движения общества» [Травин, 1999, 48]. Трудности реформирования российской экономики являются основной причиной появления негативной окраски у лексемы, номинирующей данный концепт. Устойчивость коннотативного компонента (*неодобр.*) подтверждается большим массивом метавысказываний: *Гайдаровские реформы — это чан с дерьмом, в который нас бросили; на исходе 90-х у народа и у его элиты сформировалась стойкая идеосинкразия на слово «реформа»; произнести слово «реформа» — это все равно что ругнуться матом; сегодня слово «реформа» в массовом сознании превратилось в страшилку; страх народа перед словом «реформа»; стойкая аллергия на слово «реформа»; испуг от слова «реформа» у россиян не проходит; сейчас слово «реформа» в устах многих звучит ругательством; прошедшее десятилетие выработало стойкий, практически не дающий осечек рефлекс: слышал слово «реформа» — хватайся за кошелек; люди вообще боятся слова «реформа», потому что после нее всегда становилось хуже и т. д.* Социологи, проводящие анализ разнонаправленных перемен в России 1990-х годов, считают, что одной из причин негативных оценок проводящихся реформ является «сама новизна, непривычность многих позитивных явлений в противоположность привычной традиционности того, что теряется» [Гордон, Клопов, 2000, 34].

Контекстные материалы последнего времени фиксируют стремление инициаторов преобразований в любой области деятельности уйти от номинации, дискредитирующей положительный смысл изменений: *Авторы условились не употреблять слова «реформа», мол, надо говорить не о коренном реформировании образования, а о его модернизации; Правда, само слово «реформа» употребляется не всегда, иногда его заменяют более мягким выражением «модернизация»; Слово «реформа» изнано из словаря Центра стратегических разработок Германа Грефа; Предшествующий опыт научил россиян бояться слова «реформа», поэтому имеет смысл говорить о «качестве продуктов и услуг»; Собрали в Подмоскowie представителей регионов, и они голосованием решали, применять ли в тексте доклада слово «реформа» или писать «модернизация». Решили, что слово «реформа» писать не следует; если хочешь провести реформу, никогда не говори слово «реформа» (электронные СМИ).*

Реструктуризация смысловой структуры концепта представляет собой процесс изменений в концептуальной структуре, связанных с актуализацией или редукцией ряда когнитивных слоев, перемещением признаков из ядра на периферию и наоборот.

Реструктуризация напрямую связана с социальной жизнью общества, актуализация или редукция той или иной части концепта объясняется общественными потребностями. Иногда несущественные, дополнительные признаки понятия начинают выполнять весьма важные функции и служат ориентирами для человека в понимании концепта. Так произошло с освоением концепта «чеченская война». Трудность решения сложнейшей проблемы российско-чеченских отношений заставила общество обратиться к пассивному слою данного концепта, к культурной памяти взаимоотношений России с Чечней. Без знания событий полуторавековой давности оказалось тяжело разобраться в сегодняшней ситуации на Северном Кавказе.

Кавказ и все, что с ним связано, во все времена были особым объектом изучения. Так уж сложилось, что именно во время кавказских войн народности, населяющие «таинственные горы», стали объектом особого внимания и изучения со стороны таких выдающихся просветителей, литераторов, как Пушкин и Лермонтов, Достоевский и Толстой, Тургенев и Гончаров, Островский, Чернышевский и др.

Многие из известных писателей служили на Кавказе, участвовали в боевых походах, являлись прямыми свидетелями происходящего. Лермонтов, Толстой и другие мастера публиковали в журналах тех времен свои рассказы о войне, где наряду с описаниями кровавых сражений, прославлением русского оружия было множество интереснейшей информации о народах, населяющих Кавказ, их быте, культуре, обычаях. В значительной мере через русскую культуру, русский язык пришло к народам Кавказа современное просвещение.

Независимо от времени и перемен в обществе каждый народ, всякое национальное сознание издревле наделено определенными признаками, отличными от другого самосознания, — этническими стереотипами. О чеченцах, которые называют себя «нохчами», говорят, что это народ, не знавший ни единства, ни порядка. Че-

ченец имеет много общего с другими горными племенами Кавказа; он тоже вспыльчив, неукротим и легко переходит от одного впечатления к другому. «Но в его характере, — пишет историк В. Потто, — нет благородной открытости. Они коварны, мстительны, вероломны и в минуту увлечения опасны даже для друга» [Потто, 1994, 125].

За сто с лишним лет в характере свободолюбивых горцев мало что изменилось. Работая над материалами о чеченской войне девятнадцатого века, мы находим много общего с войной, начавшейся в последнем десятилетии двадцатого. Как будто сводка штаба федеральных войск звучат слова, сказанные историком еще в 1824 году: «Русские войска, вступая в Чечню, в открытых местах обыкновенно совершенно не встречали сопротивления. Но только что начинался лес, как загоралась сильная перестрелка, редко в авангарде, чаще в боковых цепях и почти всегда в арьергарде. И чем гуще лес, тем сильнее шла и перестрелка» [Там же, 130].

На основании царского указа в конце прошлого столетия начал издаваться сборник «Народы Кавказа», где публиковались всевозможные документы, связанные с историей, формированием культуры, религии, этноса кавказских горцев. Поэмы, сказания, исторические сведения, язык — все это являлось предметом изучения специалистов. На сегодняшнем витке взаимоотношений России с Чечней эта историческая часть концепта оказалась важной для современника, пытающегося разобраться в современной ситуации.

Еще одним из ярких примеров реструктуризации смысла является концепт «рынок». В советские годы строгого контроля государства над экономикой лексема «рынок» в значении «сфера товарного обращения, товарооборота» функционировала как экономический термин. В повседневном общении под рынком обычно понимали «место розничной торговли съестными припасами и другими товарами под открытым небом или в крытых торговых рядах; базар». Это значение и было основным. Радикальные системные преобразования к концу 1990-х годов выявили главную черту общества — экономическую неопределенность, нечеткость представлений общества о том, какую же экономическую систему оно создало, можно ли считать современную российскую систему

рыночной. Тема *рынка* стала постоянной и для обыденного сознания: *Слово «рынок» стало для нас привычным* (АИФ, 2000, май); *Слово «рынок» без труда слетает с губ самых разных людей* (КП, 2001, авг.); Понятие «рынок» из области интересов экономистов переместилось в повседневную жизнь, стало главным. Устранение централизованного планирования, изменение цен под воздействием спроса и предложения — эти и другие проявления рыночного фактора перед глазами каждого человека: *Сейчас мы используем слово «рынок» в новом значении, связывая его со словом «экономика», говорим о рыночной экономике* (Наша газета, 2000, февр.).

Если экономическую науку интересует, какой тип рынка должно выбрать российское общество — рынок микроэкономики или рыночную макроэкономику [Евстигнеева, Евстигнеев, 2002, 15], — то обыденное сознание оценивает практические результаты рыночных преобразований. В этом аспекте ставший основным базовый слой концепта получает оценочные характеристики, чаще негативные. В массовом сознании пейоративный характер концепта определяется, во-первых, негативной оценкой рыночных отношений как капиталистических: *Рыночные отношения — отличный эвфемизм слова «капитализм»* (Известия, 1999, окт.); *Да, ну и времечко пошло, и контрольные решают, и варианты тестов продают, рыночные отношения, одним словом, капитализм* (МК-Урал, 2002, март); *Они уже не боятся слова «рынок», не считают ругательным слово «банкротство» и не спорят о том, какой должна быть собственность* (АИФ, 2001, сент.); во-вторых, спецификой русского рынка, который часто получает характеристику *дикий*. Вспомним известное заявление В. С. Черномырдина, сделанное в день назначения его на пост премьер-министра: *Я за рынок, но не за базар. «Рынок» и «базар», выступая как контекстные антонимы, выстраивают еще одну оценочно-семантическую оппозицию: цивилизованный (хороший) рынок — стихийный (плохой) рынок* [см. об этих же единицах: Земская, 1996, 95].

Реструктуризации смысла подвергаются концепты, отражающие реалии советской жизни. Лексемы, номинирующие данные концепты, остаются в языке, «язык отдельными своими частями постоянно «процеживается» через всех говорящих на нем людей, что, собственно говоря, и позволяет ему развиваться. Те же фрагменты совокупного языка, которые остаются невостребованными и,

следовательно, перестают пропускаться через сознание носителей, постепенно уходят в небытие» [Морковкин, 1988, 137]. Невостребованными являются те компоненты смысла, которые отражали реалии советского времени [о деактуализации значений, отражающих советскую действительность, см.: Ермакова, 1996].

Обратимся к анализу одного из таких концептов. Сначала приведем типичный для такой группы рефлексив: *Я так счастлива, что сейчас нет такого слова, как очередь* (А. Маринина, АСВ, День за днем, 28.08.01). Коммуниканты понимают, что речь идет о *советской очереди*. Концепт «очередь» остался в русском языковом сознании в значении «люди, расположившиеся один за другим для получения или совершения чего-н. в последовательном порядке» [СОШ, 1999, 487]. Кроме этого межнационального понятийного ядра, в языковом сознании советского человека были отдельные когнитивные признаки, сформированные в эпоху всеобщего дефицита, было свое обиходное определение *очереди*. Для советского времени очередь была существенным элементом повседневной жизни. Е. М. Верещагин и В. Г. Костомаров в своей работе проводят анализ данного концепта с опорой на методику речеповеденческих тактик [см.: Верещагин, Костомаров, 1999, 51–64]. Авторы утверждают, что исчисление тактик проводится диахронически, так как этот концептуальный слой перешел в область «лингвострановедческой археологии» [Там же, 4]. Концептуальная структура советской очереди включала существенный компонент — «количество людей в очереди», который определял наличие второго компонента — «время, проведенное в очереди». Целевая установка нахождения человека в очереди в советское время тоже имела свою специфику, которая обуславливала особенности речеповеденческих тактик.

Обратимся к синхронному снимку очереди, которая бытовала в Советском Союзе в 1980—1990-е годы, сделанному авторами указанной выше работы. Если вдоль прилавка выстраивалось человек десять, то это не считалось очередью. В таком случае домашняя хозяйка бежала к телефону-автомату и сообщала соседке: *Сырки выбросили! Подходи, пока нет очереди. Набегут!* Перед нами имплицитный отказ назвать малую группу очередью. Точное количество человек в составе очереди определить трудно. Все зависело от того, за каким товаром человек занимал очередь. За продуктами питания «положено» стоять меньшее время, чем за про-

мышленным дефицитом. Если 20 человек стоит за мясом, то это уже очередь, а если за импортной обувью — это еще не очередь. Настоящая очередь начинается тогда, когда время, проведенное в очереди, достигает примерно полчаса. Если люди стояли весь день или занимали очередь с вечера, то тогда говорили: *Сколько народу!; Вот это очередь так очередь!* Про небольшую очередь говорили: *Ну какая это очередь!; Разве это очередь?*

Очередь-масса преследовала две стратегические цели. Первая состояла в том, чтобы в условиях дефицита товара «*всем досталось*». Вторая цель — чтобы каждый очередник добрался до прилавка как можно скорее. Эти стратегии подразделяются на ряд тактик, как индивидуальных, так и коллективных. Чем больше времени проведено в очереди, тем более сглаживались индивидуальные различия. Приведем в качестве иллюстрации только коллективные тактики поведения в массе:

— Требование никого не пропускать без очереди:

В очередь (в конец, в хвост) становитесь!; Граждане, не пропускайте перед собой!; Нет, Вы здесь не стояли!; Не занимайте на других!; Вы уже второго человека перед собой пропускаете!; Покажите удостоверение!; Ты смотри, как лезет!; Знаем мы, какие вы ветераны!; Не надо было отходить!; Ничего не знаем!; Только после меня!

— Требование соблюдать норму отпуска товаров:

По два кило в руки!; По одной паре на нос!; Не набирайте по столько!; Вы уже в третий раз подходите!; Я вас давно заметила!

— Требование ускорить движение очереди:

Тару, тару готовьте заранее!; Скорее подходите!; Старайтесь без сдачи!; Чего ковыряетесь!; Нечего выбирать! Не хотите брать, отходите!; Быстрее, быстрее, скоро перерыв!

— Желание устроиться в очереди покомфортнее:

Во напирают!; Что вы давитесь! Ребенка задавите!; Вы меня совсем к стенке прижали!; Не наваливайтесь!; Вы меня все время в спину тычете!; Я не виноват: сзади напирают; Ой, ребра ломаете!

— Обмен тематической информацией:

Говорят, завоз большой!; Уже кончилось!; Подождите, может, еще выбросят!; Говорят, остались только маленькие размеры!; Там, за углом талоны на сахар отоваривают! И народу нет!

Данные речения помогают воссоздать ту социально-культурную ситуацию, которая определяла специфику советской очереди: оче-

редь уподобляется живому существу, у которого возникает самостоятельная, целеустремленная и самодвижущаяся душа. Очередь защищает себя от тех, кто *проходит/пролезает* без очереди; очередь проявляет свой коллективизм, дорожит временем; в очереди стоять всегда дискомфортно; очередь — это место, где между очередниками возникают личные отношения, происходит обмен информацией, формируется общественное мнение. Многие речения имплицитны, и человек, не овладевший ассоциативным полем советской очереди, вряд ли поймет до конца многие реплики. Например, реплика *Покажите удостоверение!* выражала не личное недоверие к пожилому человеку, а распространенное представление, что ветераны злоупотребляют правом покупки *вне очереди*. Они якобы ходили от очереди к очереди и покупали товары не для себя лично, а для родных и знакомых.

Непременным атрибутом очередей были склоки и стычки, которые возникали, когда коллективные и индивидуальные тактики приходили в противоречие.

Советское время порождало разные типы очередей: живая, по списку, по талонам, в кассу, к прилавку, продовольственная, промтоварная, винная. При этом поведение стоящих в разных очередях отличалось друг от друга. Таковы эскизно намеченные контуры жизненно важного концепта советского времени — *очередь*, обиходное значение которой забывается, особенно для молодых людей, не знающих, что такое дефицит и пустые полки магазинов. «Изменились идеалы, пристрастия и враги народа. Даже водка продается в неимоверном ассортименте, и красноречивый советизм «четыре двенадцать» для новых поколений — словосочетание, лишенное смысла» [Сальмон, 2000, 152].

В массовом сознании молодого поколения подвергаются особой редукции даже самые важные концепты советского времени. В 1998 году журналист «Аргументов и фактов» Мария Варденега задала первоклассникам, родившимся в 1991 году, несколько вопросов: *Что такое СССР? Что такое октябренок? Кто такой Ленин? Что такое Великая Отечественная война?* Детские ответы демонстрируют феномен посттоталитарной ментальности — социальную амнезию, потерю исторической памяти. Например, на вопрос, кто такой Ленин, ответили только 70 %, среди ответов были следующие: *Это раньше был такой начальник Москвы; социализма царь; это кем Чубайс раньше был; это дедушка Ельцина;*

Ленин — каменный дом, который стерегут на Красной площади. На вопрос о Великой Отечественной войне 80 % детей ответили одинаково. Они считают, что это война с чеченцами.

Проблемы исторической памяти как устойчивой системы представлений о прошлом являются актуальными для современных историков [см. об этом: Историческая память..., 2002], поскольку историческая память непосредственно включена в систему современного политического сознания и содержит в себе систему координат в оценке настоящего и будущего.

С т и х и й н ы й с м ы с л о в о й д р е й ф — процесс, связанный с эволюцией концептуального смысла в обыденном сознании, с его размыванием. Обычно подобный дрейф наблюдается при активизации абстрактных концептов в обыденном сознании, когда в массовом сознании существует «когнитивный вакуум» [Дилигенский, 1997, 15] в отношении этих понятий и возникает острая необходимость усвоить эти представления. При этом исходное прототипическое значение не исчезает, но либо уходит в пассивный слой, либо становится неопределенным. Данный процесс можно проследить на примере концепта «демократия», который для российского общества является абстракцией, заимствованной из чужого опыта. Смысловая размытость концепта показывает амбивалентность постсоветского обыденного сознания, находящегося в процессе перехода от тоталитарной к демократической исторической эпохе. Прежде чем обращаться к анализу смысловой динамики данного понятия, покажем спектр рефлексивов, говорящих о разнонаправленности оценочных смыслов этой единицы: *Сейчас слово «демократия» стало ругательством, а раньше, в перестройку было гимном* (А. Макаров, Радио 101, 17.12.98); *Он демократ, в хорошем смысле этого слова* (Итого, 14.05.00); *Слово «феминизм», впрочем, как и слово «демократия», в нашей стране ругательные!»*; *Лет восемь назад, когда еще слово «де-*

¹ Контексты, в которых нет указания на источник, выбраны нами из электронных СМИ. Считаем в данном случае несущественным наименование источника в силу однотипности рефлексий по поводу данной лексемы. Мы не указываем также хронологическую характеристику контекстов, поскольку российские Интернет-СМИ, впервые появившись в 1994 году, окончательно сформировались сравнительно недавно — осенью 1998 года. Именно с 17 августа 1998 г., с датой падения рубля, связывают бурное развитие Интернет-СМИ как источника оперативной и необходимой информации [см. об этом: Водолагин, 2001, 50–51].

мократия» воспринималось публикой без горькой иронии... Слова «*демократия»*, «*реформа»*, «*гласность»* начали обретать карикатурный характер; Никто уже, наверное, не воспринимает сегодня слово «*демократия»* как нечто стоящее внимания; ...Отступая по всем направлениям, наши «*демократы»*, к сожалению, дискредитировали само слово «*демократия»*, превратили его в синоним антипатриотизма; Слова «*демократия»*, «*правовое государство»*, «*гласность»* сейчас заметно потускнели; Ныне же слово «*демократия»* чаще всего употребляется в противоположном смысле; ...Слово «*демократия»*, которое часто употребляется в современных средствах массовой информации, — это совсем не то слово «*демократия»*, которое было... Просто смысл слова «*демократия»*, в течение десятилетий постепенно изменяясь, теперь уже почти исчез; политики избегают слова «*демократия»*, чтобы не навлечь на себя народный гнев. Достаточно посмотреть на Новодворскую по телевизору, чтобы от слова «*демократия»* тебя рвало на родину весь оставшийся вечер; Точно так же слово «*демократия»* испохаблено, испачкано теми, кто пришел к власти в России сейчас...

Итак, данная группа рефлексивов направлена на фиксацию изменения значения, мему положительной коннотации на отрицательную. Динамика смысла обостряет познавательную ориентацию носителя языка. Способы познания противоречивой единицы протекают разными путями. Во-первых, это обращение к внутренней форме слова как к источнику первоначального смысла: Первоначальное значение слова «*демократия»* — не «*власть народа»*, как часто думают, а «*власть неимущих»*, и этот запах бедноты, нижнего слоя, худших...; У латинян слово «*демократия»* означает главным образом исчезновение воли и инициативы индивида перед волей и инициативой общин, представляемых; Разумеется, в греческом слове «*демократия»* можно увидеть смысл русского слова «*народовластие»*; ...Старое слово «*демократия»* было образовано от греческого «*демос»*, а новое — от выражения «*demo-version»*; С детства мы знаем, что слово «*демократия»* произошло от слов «*demos»* и «*kratos»*, что означает «*народ»* и «*власть»*, «*власть народа»*, «*народовластие»*; ... дьявола. Именно из-за созвучности слов «*demoS»* и «*daitoN»* при составлении сложного слова «*демократия»* последнюю букву первого слова просто сократили.

Во-вторых, обращение к современной смысловой структуре слова: Я не очень-то рвусь обеспечивать «*демократическую направ-*

ленность», по крайней мере прежде, чем пойму хотя бы то, что означает само слово «демократия»; Так чем же все-таки определяется слово «демократия», какими ценностями? Ведь само это слово — демократия — подразумевает равноправие; Другими словами, демократия позволяет гражданам реализовывать свои права, используя исключительно свою настойчивость; Демократия, свобода личности, равенство, справедливость — это ключевые слова философов, пытающихся смоделировать идеальное общество; Например, слово демократия устойчиво ассоциировалось с двумя смысловыми рядами: с политикой, сводящейся к чуду Свободных Выборов из Нескольких Кандидатов.

В-третьих, попытки выявить смысловые наращения концепта и причины смысловой динамики: Сегодня слово «демократия» используют для прикрытия своих намерений люди, мечтающие о создании всемирной империи, управляемой суперолигархами; Сейчас слово «демократия» столь же модное, часто повторяемое, как раньше — «перестройка»; но «русские» люди употребляют слово «демократия» как равносильное понятию «свобода»; Хоть сто раз повторяй слово «демократия», а в стране, как и прежде, сильны авторитарные традиции; Некоторые не любят слово «демократия», для них за ней скрываются вседозволенность, коррупция — как они понимают демократию, толкуют ее в извращенном виде. Так что для начала мы выяснили весьма любопытную деталь: произнося слово «демократия», мы принципиально не можем знать, говорим мы о Добре или о Зле; Дело в том, что слово «демократия» является, пожалуй, наиболее мощным орудием в арсенале демагога любой политической ориентации и любого окраса.

Обратимся к характеристике процессов общественной жизни, которые скрываются за смысловым дрейфом концепта демократия в обыденном сознании. Развитие смыслового наполнения концепта демократия на русской почве необходимо рассматривать в контексте событий распада СССР как тоталитарного государства и демократических преобразований, которые последовали после его разрушения. Курс на демократизацию, провозглашенный на заре перестройки, оказался незавершенным. И более того, он проходил и проходит не так, как предполагали политические лидеры. Перестройка обеспечила освобождение личности от идеологии тоталитарного общества, но не привела к созданию сознательно-го гражданства. В чем специфика демократических преобразова-

ний по-русски? При ответе на этот вопрос мы можем опереться на целый ряд работ современных философов, политологов и социологов, осмысляющих пути развития демократии в России [см., например: Апресян, Гусейнов, 1996; Боффа, 1996; Дилигенский, 1997; Попков, 2000; Руденкин, 2002; Аринин, 2002, Романович, 2002 и др.].

В теоретическом понимании демократии выделяется два слагаемых: «мировоззренческое толкование и понятие демократии как способа управления государством» [Попков, 2000, 55]. Для советского человека на пороге перестройки демократия осознавалась скорее в мировоззренческом смысле, чем в политико-правовом. Слово «демократия» было знаком отрицания репрессивного общественного порядка. «Демократия мыслилась в первую очередь как набор определенных условий общественной жизни, в частности, позволяющих придерживаться предпочитаемых, а не навязываемых кем-то позиций и точек зрения» [Апресян, Гусейнов, 1996, 8]. В позитивном плане демократия ассоциировалась со *свободой* как свободой слова и самовыражения, свободой места проживания внутри страны, свободой передвижения, выбора профессии и т. д. И действительно, с распадом СССР произошла либерализация, государство конституционно закрепило целый ряд свобод. Но либерализация не была подкреплена политико-правовой реорганизацией общества. Поддержанная российскими традициями понимания свободы как независимости и воли (воли как индивидуальной свободы от социального и политического принуждения, как свободы человека жить как хочется [см.: Дилигенский, 1997, 15], возможности «вести жизнь по «душе», быть самому себе хозяином» [Романович, 2002, 38]), либерализация обернулась анархией, которая номинировалась в современном сознании как *беспредел*. Но демократическое общество — это в первую очередь правозаконное сообщество. В основе понятия *свободы* как основной ценности демократии лежат две трактовки: «позитивная» и «негативная» свободы [см.: Кашников, 1996]. Под «негативной» свободой понимается отсутствие внешнего принуждения; в основе «позитивной» свободы лежит способность индивидов распорядиться своей свободой. Институциональная свобода, закреплённая в праве, позволяет личности в демократическом государстве создать для себя систему норм и запретов, которые обеспечивают общественную дисциплину. К этому не была готова душа постсоветского чело-

века, которая, осознав отсутствие коллективно-репрессивной общественной дисциплины, отбросила все внутренние контрольные механизмы. Демократические свободы в русском сознании трансформировались в анархические принципы: «все можно», «все позволено». Такая анархическая свобода, которая пришла на смену тоталитарному режиму, стала вызывать неприятие: *Казалось, пришла долгожданная свобода, стоит на пороге. Вот сейчас она сорвет белый платок и обнажит свое прекрасное лицо. Она его обнажает, а там какой-то мерзкий гад, качок, который на тебя делает вот так пальцами, какие-то ларьки угадываются, бандиты, первая Чечня — и ужас: какая свобода? Зачем? Забирайте ее обратно* (А. Герман, Телемир, 2002, сент.).

Растущей угрозе беспорядка общественное сознание противопоставляет *порядок*. Но этот порядок в сознании увязывается уже не с демократией, а с законностью сильной власти, с «хорошим правительством» в рамках «справедливого» общества. Приведем один из типичных рефлексивов последнего времени: *Не надо бояться слова «цензура» — это не собака злая. Учитывая менталитет народа, власть должна быть жестче. Мы не можем жить без кнута и пряника. Мы же азиаты, не надо нам этого стесняться. Народ царя видеть хочет! Это было, есть и будет* (А. Розенбаум, АИФ, 2002, сент.). В этом итальянский историк Дж. Боффа видит непрекращающуюся драму русской истории: «разрываться между требованием демократии, которая перерождается в анархию, отсутствие контроля, управления и «порядка», и столь же постоянным и противоречащим первому требованию стабильности, которое, в свою очередь, склонно перерастать в авторитаризм и автократию, вплоть до деспотизма. В русской истории многие реформаторские усилия были раздавлены клещами этих противоборствующих требований и потерпели крах. В современную эпоху этот конфликт повторяется» [Боффа, 1996, 259]. Право же как закон демократического государства «устойчиво ассоциируется обыденным сознанием с ограничением и отрицанием личной свободы (как воли)» [Апресян, Гусейнов, 1996, 10]. Закон в России всегда воспринимается как чуждая, давящая сила, из-под которой человеку надо уметь увертываться, но не как гарантированное государством право самого гражданина.

Еще одной из причин семантического дрейфа концепта *демократия* являются иждивенческие, патерналистские ожидания об-

щества в отношении к государству. Для Российского государства типична опекунская политика, держащая общество в незрелом состоянии по принципу «мы — ваши отцы, вы — наши дети» [Аринин, 2002, 68]. Государство строит свои отношения с обществом как необходимый гарант социально-экономической стабильности, защитник от разного рода бед и катастроф [см.: Руденкин, 2002, 136].

Сложившийся в русской истории государственно-патерналистский комплекс, государственно-зависимое сознание препятствуют утверждению российской модели протестного гражданского поведения, направленного на изменение существующих обстоятельств. Большинство россиян пассивно, и их неудовлетворенность жизнью сохраняется лишь на «настроенческом» уровне в форме хронического, безадресного, «фонового» недовольства. Тема демократического контроля за властью до сих пор не стала актуальной.

Исторически сложившиеся отношения россиян с государством привели к тому, что большинство граждан изначально связывает ценности демократии не только с политическими свободами, но и с материальным благополучием. Убежденность в том, что демократическое государство обеспечит экономическое процветание, делало миллионы людей приверженцами демократических ценностей. Теоретическое политико-правовое понимание демократии в обыденном сознании представляется в виде власти, находящейся в руках демократов, которые являлись бы блюстителями справедливости, знакомыми с нуждами народа. Естественно, при таком понимании демократии разочарование в ней было вызвано беспрецедентным экономическим спадом, который произошел при правительстве, именующем себя демократическим. Не удивительно, что слово *демократия* стало бранным словом. Падающая поддержка демократии объясняется и многими недемократическими поступками правительства: насильственным роспуском Б. Ельциным парламента в 1993 году, решением вторгнуться в Чечню без учета мнения большинства населения, которое было настроено против войны, и т. п. Гражданская пассивность общества оказалась на руку тем, кто закрепился на вершине политической лестницы. Политическая элита, для которой становятся характерными коррупционность, алчность, неспособность защитить граждан от произвола, дискредитирует многие принципы демократии. Недоверие к демократии, к политике в целом усиливается, стано-

вится более глубоким. «Если это демократия, то лучше уж обойтись без нее — таково было мнение народа» [Боффа, 1996, 263]. Отсюда тоска многих граждан России по авторитарному руководителю и по «железной руке». Российское общество считает, что ответственность за осуществление реформ должен нести пользующийся доверием национальный лидер, президент страны. Оно не готово собственными усилиями добиваться установления законного порядка и стабильности. При этом большинство «авторитаристов» выступает не столько против демократии как таковой, сколько против сложившейся политической системы, не способной обеспечить социальную направленность реформ. Готовность к авторитарному управлению «составляет сегодня важнейший признак ограниченности политического «потолка» человека и времени» [Левада, 2000в, 13]. Приведем один из типичных рефлексивов, демонстрирующих подобный ограниченный подход к демократии, — интервью с автором русских боевиков А. Бушковым: — *Во всех ваших книгах явно чувствуется неприязнь к демократии. Считаете, что слово «демократия» нам не подходит? — Пора перестать играть в демократические игры. Губернаторов назначать, а Путина оставить лет на 10. В стране экономический кризис, а все заняты бесконечными выборами. Хотя я не против демократии как таковой. Но всему свое время. Американцы оттачивали демократические процедуры почти 300 лет, англичане — и того дольше. А у нас — сначала монархия, потом КПСС и сразу, здравствуй, — демократия. Единственный аргумент — так везде. Вот наша демократия и оказалась, как бы это помягче, без берегов. — В советские времена в газетах была популярная рубрика «Если бы директором был я...». Давайте попробуем. Итак, Вы — губернатор Красноярского края. Ваши действия? — Менять жизнь в рамках одного региона бессмысленно. Поэтому я примерю пиджак президента. Прежде всего — никаких выборов. Объявляется переходный период. Всех шизофреников — в дурдом. Бомжей и прочих социально бесполезных элементов — на работу. Казакам — нагайки. Пусть погоняют митингующих работяг, которые сначала жизнерадостно распродали свои акции за бутылку, а когда новые хозяева их банально поимели, начали требовать, чтобы государство снова взяло их под свое крыло. — Чем олигархов порадуете? — Продразверткой. Пусть делятся, как положено. С теми, кто не поймет с первого раза, вторую беседу проведут мои любимые спецназовцы (АИФ, 2002, сент.).*

Такой особый амбивалентный тип русской ментальности, сочетающий в себе противоречивые черты свободолюбия и покорности, подданничества и гражданственности, обусловил, «с одной стороны, доминирование авторитарного государства над обществом; с другой стороны, возникновение своего рода «экологических ниш» гражданского общества, неподвластных прямому воздействию даже самого репрессивного политического режима» [Руденкин, 2002, 134]. Эти ментальные стереотипы оказались решающими при эволюции смысла концепта *демократия*. Как справедливо указывают Т. В. Булыгина и А. Д. Шмелев, «наши представления о значении слова *демократия* могут иметь самое непосредственное отношение к тому, какой окажется судьба демократии в нашей стране» [Булыгина, Шмелев, 1999, 159]. Отсутствие демократической традиции в национальной политической культуре является основным препятствием развития в России гражданского общества. В российской социокультурной модели личные свободы и демократические права не являются решающими и отступают в тень перед интересами общности (народа). В этом смысле можно говорить о типичной национальной черте русских — коллективизме. «Возможно, за «легкомысленным» отношением россиян к демократическим ценностям стоит просто инстинкт самосохранения» [Романович, 2002, 39], препятствующий разрушению базовых ценностей.

Д е и д е о л о г и з а ц и я , и л и р е с е м а н т и з а ц и я , с м ы с л о в о й с т р у к т у р ы к о н ц е п т а — это преобразование смысловой структуры, связанное с идеологической переориентацией концептов политической и экономической сфер. Мена аксиологических оценок в смысловой структуре идеологических концептов может быть представлена в виде оценочной нейтрализации, поляризации или оценочного размывания [см.: Купина, 1997, 138], т. е. концептуальная деидеологизация протекает в русле проанализированных выше смысловых динамических процессов. Целесообразность выделения этого типа преобразований в качестве самостоятельного и однопорядкового с другими определяется спецификой смысловой структуры идеологических концептов. Идеологическое отражение действительности на уровне концептуального знака проявляется в наличии прагматического компонента, оценочного по своей внутренней природе. При этом «предметные и оценочные значения предстают как бы склеенны-

ми, жестко впаянными» [Эпштейн, 1991, 19] в структуре слова, номинирующего концепт. Идеологемы, закрепившие устойчивую прагматическую установку в ядре содержания, представляют собой имплицитные законченные суждения, субъективно характеризующие денотат. Механизм ресемантизации, или идеологической деидентификации, сводится к новому оцениванию идеологем, ставших проблематичными, к формированию новых прагматических смыслов либо к их полной редукции. Процесс проходит как соотношение с неким набором ценностных установок, задающих образ должного или желаемого, формируемого под влиянием господствующих властных и идеологических институтов.

Обновление концептосферы русской языковой личности тесно связано с существенными изменениями в ее мировоззрении, с идеологической ломкой, трансформацией когнитивного сознания, которые происходят на фоне и под влиянием реформаторских преобразований в социально-экономической жизни России. Рефлексивы, фиксирующие ментальную трансформацию на уровне мировоззренческих установок, обусловлены в большей степени деривационным критерием концептуального напряжения, реагирующим на сложность происходящих мутаций сущностного ядра массового сознания — системы ценностных ориентаций.

Согласно «диспозиционной концепции регуляции социального поведения личности» В. А. Ядова [1975, 85], человек обладает сложной системой различных иерархически организованных диспозиционных образований, которые регулируют его поведение и деятельность. Иерархия выделенных В. А. Ядовым четырех уровней выстраивается с опорой на различные сферы социальной деятельности, которые соответствуют расширению потребностей личности. Высшей сферой деятельности является жизнедеятельность личности в рамках определенного типа общества с его экономической, политической и идеологической структурами. В соответствии с уровнями выделяются различные типы установок: высшему уровню диспозиций соответствует система ценностных ориентаций личности, в которых выражается отношение к системе экономических, политических, идеологических принципов. Ценностные ориентации — одна из наиболее стабильных характеристик личности. Они «программируют» всю деятельность человека на продолжительный период, определяют генеральную линию поведения. На ценностные ориентации обыденного сознания со-

ветского человека оказывала влияние система идеологем, состоящая из идеологических взглядов, норм, ценностей, выступающая как «ментальный фундамент тоталитарного мышления» [Купина, 1997, 134].

Идеологема как оператор ценностно направленного мышления номинируется в языковой единице, «семантика которой покрывает идеологический денотат или наслаивается на семантику, покрывающую денотат неидеологический» [Купина, 2000, 183]. Большинство исследователей к идеологемам относят не только базовые идеологические концепты-идеи, но и концепты, имеющие идеологические добавки [см.: Говердовский, 1986; Крючкова, 1989; Складаревская, 1995, 1996, 2001; Шейгал, 2000].

Идеологическая оценка, являясь одной из разновидностей интеллектуальной оценки, производится с позиций интересов того или иного класса. Идеологический компонент, обладающий, с точки зрения Г. А. Заварзиной [1998], социальной оценочностью и яркой однонаправленностью, основан на истинах, которые навязаны обществу, и предстает в силу социальной конвенции как привычный. Привычность постепенно начинает восприниматься как нормальность, нормальность — как естественность, естественность — как природность и, следовательно, как истинность. Функция подмены узуальности истинностью состоит в том, «чтобы отбить у идеологических «консервов» их идеологический вкус, заставив потребителя думать, будто он потребляет «натуральный» продукт» [Косиков, 2001, 15]. Результатом советского эксперимента стал человек, «тотально приспособившийся к советской реальности, готовый принять ее как безальтернативную данность», которая придавала этой всеобщей приспособленности значение привычки, «т. е. не подлежащей анализу массово-поведенческой структуры» [Левада, 2000г, 5].

Кардинальная смена социальных устоев требует от всякой новой власти создание новой идеологии или модернизации прежней как «условия продолжения существования ее самой» [Михайлова, Михайлов, 1999, 36]. Обратимся к анализу трансформационных процессов в области идеологических смыслов.

Российское общество, разочаровавшись в любом социализме, захотело развиваться по западному пути. Вняв этому социальному требованию, многие российские политики включили в свои программы капиталистические и демократические модели и при-

шли к власти в начале 1990-х годов. Новые экономические представления формировались в постсоветском российском обществе гораздо интенсивнее, чем политические, потому что судьбы людей, их повседневную жизнь экономические изменения затрагивают сильнее. Кроме того, «в социально-экономической сфере за годы реформ произошли более радикальные изменения, чем в отношениях между властью и гражданами» [Дилигенский, 1997, 19]. Наряду с социологическими мониторинговыми исследованиями [см.: Левада, 1999а; 1999б; 2000г] рефлексивы позволяют оценочно проследить динамику приспособления, силу и степень изменений, особенности адаптации к изменившейся системе идеологических ориентиров. Под адаптацией понимается «встраивание какой-то организованной структуры в чужую, новую среду, систему обстоятельств», сохранение, «по крайней мере частичное, своей идентичности в этой среде» [Левада, 1999а, 7]. Вторым направлением, вытекающим из адаптационной привязки человека к идеологическому социальному полю, является направление ориентации («куда мы идем?») [см.: Левада, 2001, 7].

Первый адаптационный шаг, который позволяют зафиксировать рефлексивы конца 1980-х — начала 1990-х годов, — резкая идеологическая переориентация политических и экономических терминов. Изменение идеологической оценки шло по пути линейной причинно-следственной логики: старое, уходящее оценивается со знаком «минус», новое, развивающееся — со знаком «плюс». Такой тип мышления в социальной психологии получил название блокадного и сохранил формы старого мышления, основанного на голом отрицании и противопоставленности [см.: Широков, 1993, 11]. Принцип взаимного исключения проявлялся в рамках традиционных советских оппозиций: социализм — капитализм, формы рыночные — антирыночные, диктатура власти — демократия. Рефлексивы этой группы особенно экспрессивны: *Сейчас это называется коммерческой хваткой, тогда ругали словом «спекуляция»* (КП, 1990, апр.); *У нас на слова «рыночные отношения», «рыночная экономика» реагировали подчас, как бык на красную тряпку* (Словарь перестройки, 1992); *Клуб намерен снять ругательный смысл со слова «миллионер»* (Словарь перестройки, 1992); *Ветер перемен уже давно задувал в сердца граждан надежду на светлое будущее, и слова «частная собственность» превратились из запрещенных в желанные* (КП, 1990, дек.); *Но сегодня «капитал»,*

*«частная собственность» и другие подрасстрельные ругательства революционных лет приживаются в нашей жизни в качестве хороших терминов (АИФ, апр.); Я категорически против слова «милиция». Милиция себя дискредитировала в глазах обывателя. Может быть, новое слово «полиция» поможет поднимать органам свой престиж (МК, 1997, окт.); Стоит им услышать слово «социализм», и они кричат: «А нас опять хотят загнать в казарму» (КП, 1990, май); Страшной скукой веет от всей этой «беспощадной борьбы» (в каком, кстати, еще языке, кроме советского, эпитет «беспощадный» употребляется в положительном значении?) (АИФ, окт.); Какой поистине мистический ужас вызвало поначалу слово «плюрализм»! Сегодня мы учимся не только произносить его, но и признавать выражаемую им норму демократического бытия (Правда, 1989, 16 апр.); Сегодня мы должны привыкнуть к нормальному политическому языку, который принят во всем мире. В нашей партии должны быть консерваторы, это нормально, и должны быть радикалы — это тоже нормально. В ней должно быть сочетание старого и нового (Там же, 1990, 10 июля); Раньше в 1986 году слово «кооператор» было страшнее матерного слова (Час пик, 09.01.97); Очень многих пугает слово «батрак». Вытащили его из пронафталиненного архива и делают из него пугало. Но ведь абсолютное большинство трудоспособного населения во всем мире, не исключая и СССР, — наемные рабочие, «батраки» (Правда, 1990, 6 марта); Первые «наместники» появятся на этой неделе. А что, хорошее русское слово, не бургомистр же какой-нибудь (Словарь перестройки, 1992); Почему мы, как СПИДа, боимся этого слова — «бизнесмен»? Ведь означает оно — «человек дела» (Там же); Говорят, что мы качаемся то вправо, то влево. Это не страшно, это естественно. И многопартийность не страшна (Правда, 1990, июль); Уставши от заорганизованности жизни и заданности политических установок, мы резко отказались от привычного «все хорошо», заменив его на полярное «катастрофически плохо» (Словарь перестройки, 1992); Мы боимся понятия «лобби» из запомнившихся с детства картинок «их нравов». Известно: лоббизм — гнусное порождение буржуазной демократии. Однако сегодня выясняется, что своеобразные лобби не чужды и советскому парламенту (Словарь перестройки, 1992); Лоббизм у нас есть. Лоббизм — нормальное явление в парламенте (Там же); Учредители — частные лица. В лексиконе гласности появляются новые слова: **владелец** газеты, **хозяин** журнала. Это пол-*

ноправные хозяева, которые заплатили 2000 рублей регистрационного сбора и начинают борьбу за читателя (Там же); *Октябрь стал не праматерью полной и действительной свободы, а синонимом «диктатуры», «ликвидации классов», «грабежа награбленного»* (Лит. газета, 1990, март); *Что такое «реальный социализм»? Вот уже девять лет, как мы должны жить при коммунизме (если бы выполнили решения XXII съезда КПСС и положение III Программы партии). Ну да ладно, зато 17 лет прожили при брежневском «развитом социализме»* (Смена, 1989, дек.).

Резкой коннотативной переориентации, демонстративному отрицанию прошлого, конструированию симпатий с нулевого уровня способствовала специфика языковой ситуации советского времени, «определяемая как идеологическая диглоссия» [Ворожбитова, 2000, 25]. Советские люди являлись по существу двуязычными: наряду с официальным — советским языком [Седов, 1993] существовал обыденный — человеческий язык, который отражал раздвоенное сознание советского человека. Ложь, двоемыслие была привычным состоянием общественного сознания [см.: Гусейнов, 1989], поскольку одной из важнейших особенностей советской нормативно-ценностной системы была принципиальная невыполнимость предъявляемых к человеку требований. Лишенный возможности сопротивляться, человек молчаливо соглашался с императивными предписаниями и настойчиво искал лазейки, чтобы их обойти. Так шло формирование на советский манер «человека лукавого» [Левада, 2000, 17]. Существовало два слоя общественного сознания: в первом действительность отражалась в свете официальной идеологии, т. е. в положительном ключе; второй слой представлял собой «зеркальное» отражение, передающее отрицательное отношение к советской действительности [Савицкий, 1996, 156]. Период, предшествующий перестройке, был периодом максимального противостояния этих единиц на оценочной шкале: негласно в противовес официальной идеологии считалось, что здесь, в СССР, при социализме — все плохо, там, на Западе, при капитализме — все хорошо. Данное противопоставление носило мифологизированный характер, и Запад представлялся как образец идеальной экономической системы. Популярности этого мифа способствовал факт закрытости советского общества, в котором вырастали поколения, имевшие представления об ином образе жизни только понаслышке. В качестве примера приведем два реф-

лексики новейшего времени, в которых отражается амбивалентность сознания советского человека: *У нас слово «капитализм» ассоциировалось с грязной наживой и акульими оскалами «мистертвистеров»* (АИФ, 2001, янв.); *Для любого совка слово «капитализм» казалось синонимом земного рая* (КП, 2000, март).

Положительная коннотация сферы западного, капиталистического особенно проявилась в эпоху перестройки, когда ценностная трансформация ассоциировалась прежде всего с обновлением общества. Поэтому для рефлексивов периода перестройки типичны положительные оценочные характеристики (часто с оттенком гордости), поскольку гласность 1980-х помогла перейти на нормальный политический и экономический язык, принятый во всем мире, открыть запретные темы, убрать советские эвфемизмы, назвать явления своими именами. Язык 1980-х может быть охарактеризован как «язык эйфории» [Белянин, 1997, 21]. Поэтому даже отрицательные и тревожные факты общественной жизни получали в рефлексивах положительную характеристику, способствовали ресемантизации идеологически ориентированной лексики: *Не «перерыв» в работе, как стыдливо именовали мы прежде подобные происшествия, а именно забастовка — новое слово в нашем политическом словаре* (Словарь перестройки, 1992); *Первое июля пополнило наш лексикон еще одним понятием, о котором недавно мы знали только то, что оно активно существует там, на Западе. Мы теперь в стране слишком развитого социализма имеем официальную, законом закрепленную «профессию» — безработный* (Смена, 1991, 4 июля); *Путч. Государственный переворот. Хунта. Слова из другого мира. Наконец-то и мы сподобились* (Московские новости, 1991, 1 сент.); *Вчера еще чужое, слово «беженец» не сходит нынче со страниц газет, с телевизионного экрана, повторяется прессой чуть ли не со спортивным азартом* (Словарь перестройки, 1992); *Словечко «альтернативный» — хорошее: взрывает задушившую все и вся унификацию* (Там же); *Термин «жареные факты» придуман теми, кто сопротивляется развитию гласности и демократии, кто боится оглашения негативных явлений, накопившихся в нашем обществе* (Там же). Второй адаптационный шаг — переоценка результатов перемен, осмысление новых и старых экономических и политических номинаций с позиций человека нестабильного общества. Хаос и тяготы реформ превратились в базу устойчивого и широкого социального недовольства, выражением которого, в частности, яви-

лись рефлексивы как форма настроенческого, эмоционального протеста. На хроническую неудовлетворенность настоящим накладывается и типично русская черта — национальное самобичевание. Поэтому капитализм на русской почве получает широкий спектр отрицательных характеристик: *дикий, нелепый, жуткий, циничный, безумный, купи-продайный, нецивилизованный* и т. д. Попутно заметим, что появилась типология этапов русского капитализма — *романтический, бандитский, олигархический, скучный (или чиновничий)*: *Десять лет правления Б. Ельцина вошли в историю российской как период становления бандитско-номенклатурного капитализма. Масштабы преступности ужасают. Криминал приватизировал самое главное — власть (АИФ, 1999, дек.); Пока же нам остается только наблюдать за окончанием эпохи развитого бандитизма, столь свойственного для периода накопления начального капитала (МК-Урал, 1998, янв.); (Из интервью с В. Буковским): — Как, по-Вашему, демонтаж социализма в России только начинается, идет успешно или уже заканчивается? — Он вообще не идет. Те, кто должен этим заниматься, на то не способны. Если «поскрести» любого российского предпринимателя или политического деятеля, то найдете или комсомольского активиста или партийного функционера. Можно сказать: ну и что? Разница существенная. У них ментальность другая. Про рыночную экономику они знают только то, что им на занятиях политграмоты объясняли: это загнивающий капитализм. Вот они и создали модель загнивающего капитализма (АИФ, 1997, июнь); А вы посмотрите, что в стране происходит. **Все строят капитализм, именно с мягким знаком. Вместо хозяев к власти приходят какие-то хазявы, напишут закон — и давай что-нибудь отнимать или тырить** (АИФ, 2002, окт.).*

Социологи выделяют три направления современного общественного недовольства: «экономическое», «политическое» и «национальное» [см.: Левада, 2000, 12]. Особенностью русского протеста является направленность не против конкретных владельцев или политических руководителей, а против «власти» и ее «экономической политики», а следовательно, и против капитализма, но уже своего, родного, русского: *Нами командует не министерство, а простое слово «капитализм». Он схватил нас за горло, а мы все стесняется даже сказать это (КП, 1995, май); К плохим словам наши респонденты отнесли, например, такие слова, как капитализм, приватизировать, политическая элита, либеральный (Эконом,*

жизнь, 1994, апр.); *Что означает русское слово «бизнес»? — Надо стащить ящик водки, водку вылить, бутылки сдать, а деньги пропить* (МК-Урал, 1997, май); *Вернули 1 руб. из 20; Тратить по-русски; Сбирать по-русски; Жалуются на нищету, но бросаются деньгами* (заголовки статей, АИФ, 1998, апр.); *Немного социализма в серых капиталистических буднях, правда? Раньше стояли за хлебом, за колбасой, за обоями, за колготками — в общем, за всем. Но и в наше «капиталистическое» время очередей тоже хоть отбавляй. Самые агрессивные и самые массовые (до тысячи человек) очереди — за деньгами. За собственными. Веяние нового времени — очереди в ликвидационные комиссии «лопнувших» банков* (АИФ, май, 98).

Третий адаптационный шаг — в условиях появившейся ностальгии по прошлому попытки адаптироваться к изменившейся социальной реальности, снять оценочную окраску с идеологических концептов, сформулировать для себя новые ценностные идеалы. Границы между поляризованными, контрастными явлениями, сведенными в едином пространстве, становятся размытыми, нередко идеологически амбивалентными. Различное отношение к идеологическим концептам проявляется не только на уровне разных социальных групп, но и в сознании отдельной личности: *Мы произносим слово «капитализм» часто с таким же вдохновением, с каким раньше произносили «коммунизм». Но сами по себе слова «капитализм» или «рынок» меня не обольщают* (АИФ, 2001, сент.); *В то время слово «капитализм» было таким страшным, что чуть ли не с фашизмом его рядом ставили. Поэтому в слове «капитализм» для меня всегда будет оттенок предательства* (КП, 1999, авг.); *Честно говоря, мне не особенно нравится само слово «капитализм». Я пытался в себе раскопать: почему меня так режут эти слова — буржуазия, капитализм* (Там же, 2001, июнь). *Слово «карьера», когда я был в школе, при Сталине, считалось неприличным. Карьера, мошенник, спекулянт, частник, стилига — это были отрицательные слова. Сейчас эта область совершенно другая — область предпринимательства, свободного выбора. Но для меня слово «карьера» по-прежнему окрашено тем оттенком, о котором я говорил. Хотя без карьеры нет ничего* (А. Битов, АИФ, 1999, окт.); *И на протяжении всей его карьеры, если можно назвать его невеческий путь таким противным словом, он оставался человеком* (ОРТ, Юбилейный вечер Л. Лещенко, 01.02.02). Столкновение прототалитарных и антитоталитарных тенденций в обыденном сознании постсоветско-

го человека придает современной эпохе драматический характер: обстоятельства заставляют приспособляться к новой реальности. И требование нового мышления, сформулированное М. С. Горбачевым на заре перестройки, — изменить соотношение классовых и общечеловеческих ценностей в современном мире, — остается острым и общезначимым спустя почти 15 лет после выхода в свет его книги. Современная реальность по-прежнему свидетельствует о диссонансе «между официально проповедуемой ценностной системой и разнообразием частных, личностных ценностей и нравственных императивов» [Korzeniewska-Berczynska, 2001, 29]. Чертой современной речи является подвижность оценочного идеологического компонента: *Конкуренция — слово здоровое* (ОРТ, Час пик, 26.05.98); *Ой, ну я ненавижу это слово — конкуренция* (МК-Урал, 1999, дек.); *У нас аллергия на слово «социализм»* (КП, май, 01); *Коммунизм — слово нестрашное, сказал А. Брежнев, внук Леонида Ильича* (Новости, 4 канал, 14.01.99); *У нас, бизнесменов, особенно после августовского кризиса, начинает возникать, я бы выразил это в марксистских терминах, классовое капиталистическое самосознание* (МК-Урал, 2000, июль); *Я представляю аборигенов — я советский человек. Или, как называют нас демократы, — совок. Союз нерушимый республик свободных. Это невозможно отнять. Я всегда буду чтить мой гимн, мой флаг, мой герб — так сказала актриса Жанна Болотова* (АИФ, 1998, дек.).

Особое место на данном этапе отводится ностальгии по прошлому. Этот противоречивый по своей природе феномен является выражением посттоталитарного переходного периода общества и распространен по всей Восточной Европе (например, «остальгия» — *Ostalgie*, т. е. ностальгия по ГДР на Востоке Германии). Переосмысление ценностных установок становится более сложным, когда исчерпана энергия разрушения, но не решены принципиальные проблемы общественного и государственного устройства. «Сверхзначимость переоценок нашего прошлого связана не с субъективной значимостью подобных ценностных ориентиров социального действия». Ностальгия поддерживается лишь в контрасте «с непонятной, угнетающей, травмирующей современностью» [Дубин, 1999, 26]. В современной действительности пока нет четких идеологических образов новой России, отсутствует культурная матрица, по которой можно строить собственные оценки, вписаться в изменившийся контекст, оставаясь верным себе. Обы-

денное сознание не может выполнить роль мировоззренческих ориентиров. В противовес современной России, в России советской подробнейшим образом было расписано даже будущее («Нынешнее поколение советских людей будет жить при коммунизме» — лозунг 60-х годов). «Для истории нашей страны характерно социально-утопическое проектирование будущего, способом осмысления прошлого является миф» [Шабурова, 1996, 42]. Ностальгия оказывается утопией с обратной проекцией: она обращена к месту и ко времени, которых уже нет. И в то же время ностальгия — живой клубок мифов, которые создают чувственный образ ушедшего времени. Ностальгия гармонизирует, эстетизирует прошлое, позволяя достойно расстаться с ним, помогая снять тяжелый комплекс исторической вины. Ее наличие говорит о более развитой системе социальных чувств в противовес идеологической полярности классового деления. В переходные периоды ностальгия выполняет оздоравливающую функцию, так как компенсирует социально-психологические перегрузки социума в условиях нового перехода, помогает в ситуации, «когда неизвестно, сколько будет длиться новый переход неизвестно к чему» [Там же, 46].

Кроме позитивного отношения к ностальгии, существует и противоположная точка зрения, утверждающая, что ностальгия опасна, так как создает почву для реставрации тоталитаризма. Ностальгия может перерасти в настроение социального реванша, возрождает великодержавные имперские комплексы. Демонстративная ностальгия может быть способом критического восприятия современности, когда постсоветская действительность представляется как некая «черная дыра», абсолютный тупик, выбраться из которого не помогут никакие реформаторские усилия. Рефлексивы отражают ностальгическое обращение к советскому периоду: *Советский патриотизм. Здесь «советский» не носит оттенка уничтожительности* (ОРТ, Час пик, 12.02.98); *Мы будем говорить о том, что раньше гордо называлось «дружба народов», а сейчас, извините за выражение, «межнациональные отношения»* (ОРТ, Тема, 17.02.98); *Я жду, чтобы слово «держава» зазвучало с прежней гордостью* (НТВ, 29.12.98); *КПРФ отражает одну из сторон русской народной психологии — мечту о том, что все проблемы в стране будут решаться чудом. А чудо называется революцией. КПРФ — партия русской ностальгии. Ностальгии по переворотам. 7 ноября — это такой русский Хэллоуин, день заклинания злых духов. Я думаю,*

с годами этот день останется как веселый праздник с матросами, бутафорскими штурмами, залпами «Авроры», который будут праздновать вполне респектабельные старички в западных костюмах (АИФ, 2001, нояб.); Поменялось главное: ритм отношений, нерв, энергия. Жизнь стала жестче. Мягкость, теплота постепенно становятся ностальгическими воспоминаниями. Раньше жизнь строилась на чувствах (Известия, 1995, окт.).

Современная действительность заставляет признать многофункциональную роль идеологии в общественной жизни, без которой нельзя определить стратегию общественного развития. В этом аспекте догматический марксизм оценивается как идеологическая монополия, несущая разрушительный заряд. Сегодня говорят уже не о деидеологизации, а о дефиците новой идеологии, объясняющей мир и позволяющей в нем жить, о необходимости полнокровной мировоззренческой дискуссии, о выработке мировоззренческих ценностей [см.: Рыбаков, 1997, 239]. В такие переломные периоды обыденное сознание открыто для новых социальных проектировщиков.

В постсоветской России мы наблюдаем попытки придать символически мобилизационный смысл концептам «гласность», «перестройка», «реформа», «Август 91-го». Прорабатывается одна из главных идеологием последнего времени — концепция «особого пути» страны, внедряется идея символического церковного возрождения. Но все символические структуры пока оказываются мертворожденными [о формировании новых идеологием см.: Купина, 2002]. Обращение к идее «народного капитализма» терпит неудачу вследствие негативной нагруженности идеологического концепта «капитализм».

В поисках национальной идеи команда нового президента вынуждена обращаться к обесцененной ранее советской символике (военное знамя, музыка и стиль государственного гимна), опираясь на современное опоэтизированное ностальгическое отношение к былому державному величию. По мнению политологов и социологов, подобные «призраки» советского прошлого не обладают реальным реставрационным потенциалом, но могут воздействовать на общественную атмосферу нарастающей апатией и аморфностью российского общества [см. об этом: Дубин, 1999; Левада, 2001].

Рефлексивы последнего времени все чаще констатируют факт нейтрализации советского идеологического компонента во многих

экономических и политических концептах: *Аллен Линч — типичнейший советолог. Только отрицательной нагрузки это слово сейчас не несет* (АИФ, 1998, апр.); *В моем понимании слово «бизнес» означает род коммерческой деятельности, приносящей доход; Для меня слово «бизнес» означает хорошую прибыль, связи в высшем обществе и постоянные проблемы; Обучение: Добро пожаловать в школы капитализма! Слово «бизнес» есть в названиях, как минимум, 5 высших учебных заведений Петербурга; Набирает скорость полным ходом поезд, именуемый недавно чуждым для нас словом «капитализм»; У вчерашнего «хому советикуса» стали укореняться действительные нормальные ценности этого мира: свобода мысли, совести и слова, частная собственность; Даже при словах «частная собственность» нынешние коммунисты не хватаются за кобур; Набор базовых ценностей: свобода, частная собственность, права человека, закон — абсолютно применимы и к российской действительности* (электронные СМИ).

Стремление к редукции идеологического компонента, а подчас и к полному устранению идеологического смысла в базовых концептах-идеях, ангажированных марксистской идеологией, приводит к опустошению смысловой структуры концепта. Трансформация концептов-идеологем имеет специфический характер. Во-первых, идеологическая оценочная модальность присутствует в прототипическом слое концептов, которые составляют мировоззренческую основу человека. Во-вторых, имея камуфляжный однонаправленный характер, оценка представляет собой искаженные, смещенные смыслы и нарушенный аксиологический статус. Поэтому попытка вернуть концепту истинный смысл заставляет сознание кардинально менять систему ценностных ориентаций, которая в силу своей стабильности не может быть гибкой. То, что было для человека социально чуждо, а потому опасно, не может быть принято без серьезных усилий со стороны языковой личности. Современная речевая реальность регистрирует эти попытки перестройки сознания, показывая отторжение любой идеологической оценочности, истощенность смысловой базы идеологем, возникающей ввиду противоположно направленных оценочных смыслов, которые погашают друг друга: *Примечательно, что все недобрые слова в политологии заканчиваются одинаково. Когда-то основоположник ленинизма пугал пролетариат империализмом и зывал в социализм. Его преемник Сталин громил фашизм, но в своей*

стране построил нечто подобное, позднее названное тоталитаризмом. Следующий генсек — Хрущев готов был снять с себя последний ботинок, чтобы убедить человечество в скором построении в СССР коммунизма. В 80-е мы начали с плюрализма, а кончили бандитизмом... Всякий раз увлечение «измами» напоминало, простите за каламбур, онанизм — в смысле полезного результата (АИФ, 1997, окт).

Покажем обеднение смысла на примере концепта «капитализм». Обратимся к сравнению словарных дефиниций лексемы *капитализм* из словарей разных эпох: 1) советского времени: Толковый словарь русского языка под ред. Д. Н. Ушакова определяет *капитализм* как «способ производства, при котором средства производства являются частной собственностью, производство имеет товарный характер, продукты доходят до потребителя через посредство рынка в виде товара, а не непосредственно, *производство ведется ради извлечения прибыли посредством эксплуатации рабочей силы и сама рабочая сила является товаром*» (ТСУ, 1940, 215); 2) постсоветского: Толковый словарь русского языка конца XX века под ред. Г. Н. Складчиковской называет капитализм «общественным строем с высоким уровнем производства, гражданским обществом, развитым рынком и частной формой присвоения общественного продукта, прибыли» (1998, 285); 3) в Толковом словаре русского языка С. И. Ожегова, Н. Ю. Шведовой это «сменившая собой феодализм общественно-экономическая формация, при которой основные средства производства являются частной собственностью класса капиталистов» (СОШ, 1999, 265). Сравнение дефиниций, отражающих смысловую структуру лексемы в разные периоды истории Российского государства, позволяет отметить наличие негативной оценки у идеологемы в советский период и положительной оценки в постсоветское время (оценочность выделена нами курсивом). Словарь Ожегова — Шведовой пытается снять любой оценочный ореол с термина, придать ему нулевую оценочность, хотя включение в дефиницию признаков «частная собственность» и «класс капиталистов» оставляет за толкованием имплицитный оценочный смысл. Перегруппировка оценочного пласта в семантике слова приводит к информативным потерям денотативного характера, оставляя неизменным один безоценочный компонент — «определенный общественный строй». Остальные предметные признаки, раскрывающие специфику капиталистического строя, неотделимы от оценочных компонентов

«хороший» — «плохой», выражающих противоположное отношение говорящего к явлению. Такая подвижка оценочного компонента актуализирует элементарный обобщенный смысл и погашает более сложные смысловые конфигурации. Рефлексивы по поводу идеологемы *капитализм* отмечают эти разнонаправленные процессы поиска смысла, оценочной относительности и отказа от любой идеологической семантики: Р а з б а ш. *Мы пользуемся этими словами и не задумываемся над ними. Есть 150 определений слова «капитализм». Что это такое?* — З и н о в ь е в. *Дефиниций можно дать много, я теоретик. Капитализм — это идеологическая пустышка* (интервью с А. А. Зиновьевым, ОРТ, Час пик, 31.07.96); *Мы словом «капитализм» запуганы до смерти! 70 лет вколачивали, какая это бяка: полное отсутствие братства и человечности. Не нашим ли упрощенно-уродливым представлением о капитализме объясняется то, что пока выходит из наших рук и усилий? Словарогатки, слова-камуфляжи — не пора ли отказаться от них?* (КП, 1998, янв.); *С утра до вечера в устах политиков и митинговых толп звучит это слово — «капитализм». Для одних — как фетиш. Для других — как проклятие* (КП, 2000, сент.); *История семьи Нобелей в дореволюционной России закладывала основы «чистого» и честного капитализма — мы об этом очень мало знали, поскольку само слово «капитализм» было ненавистно большевикам* (АИФ, 1999, дек.); *Я против терминов, которые можно наполнить разным содержанием, — заявил Вацлав Гавел, отвечая на вопрос советского журналиста: «Вы строите капитализм?» Чехи говорят «трансформация», обозначая суть, а не идеологическую окраску происходящего. «Никакой идеологии: ни старой, ни новой» — это было объявлено сразу и сверху самим президентом* (КП, 2000, март); *Давно уже «капитализм», термин экономический в первую очередь, стал идеологическим. То безоглядное перенесение рыночных ценностей на все сферы жизни заставляет заявлять: Никакой очередной «изм» не хочет становиться целью, за которую люди готовы были бы положить «животы своя»* (АИФ, 1999, окт.); *Еще не угасла надежда сформулировать-таки национальную идею, и ищутся новые слова-законы. Увы, как и прежде, у нас на первом месте абстрактные понятия, а не конкретный человек. А вот в Чувашии строят не капитализм или социализм, а школы, больницы, дороги... Идеологические этикетки нас мало занимают* (МК-Урал, 1998, март); *Почти все избегают ужасных слов «капитализм» — «социализм». Иначе говоря: сло-*

во «капитализм» тут же рождает слово «революция» (АИФ, 2000, окт.); Дабы не отвратить от себя левую часть избирательного сектора, ВВП вынужден опускать слово «капитализм», заменяя его «достойной жизнью» (АИФ, 2001, май); Куда мы все-таки идем? — Я считаю, у нас вопросы с общественным строем решены. Просто мы так долго говорили, что капитализм — это плохо, так долго это было ругательством, что до сих пор и президент, и правительство не решаются употреблять это слово в положительном смысле. Скажешь: «Мы строим капитализм» — а народ будет ругаться (Там же, 1997, сент.).

Динамика адаптационных шагов, выявленная на основе рефлексивов, подтверждается социологическими исследованиями, проводившимися ВЦИОМом по программе «Советский человек» каждые пять лет, начиная с ноября 1989 года. «Опрос 1989 года застал российских — тогда и номинально советских — людей в момент подъема “перестроечных” иллюзий и первых признаков разочарования и недоумения. Опрос 1994 года прошел в атмосфере широко распространенной переоценки результатов перемен. Последний опрос 1999 года — в условиях доминирующей в массовых настроениях ностальгии по прошлому и попыток адаптироваться в изменившейся социальной реальности» [Левада, 1999б, 43].

Наряду с ломкой устоявшихся идеологических стереотипов проходит второй важный динамический процесс — переоценка соотношения групповых (классовых) и общечеловеческих ценностей. В тоталитарном обществе идея приоритета классовых ценностей принималась как естественная, само собой разумеющаяся. При этом общечеловеческие ценности получали искаженный аксиологический статус — пейоративную оценку — как ценности «абстрактного гуманизма». Шло принижение ценностей простого человеческого существования. Современная востребованность «позитивных опор» массового мироощущения при нравственном беспределе снимает отрицательную оценку с общечеловеческих ценностных концептов. Так, например, снимается негативная оценочность с концепта «обыватель». Многочисленные контексты, включающие рефлексивы по поводу данной единицы, ориентируются на русскую культурную традицию, в которой не было отрицательного отношения к данному городскому сословию: *Я обыватель. И весьма этим доволен. Заметьте, слово не ругательное, а*

самое что ни на есть обиходное. *От другого хорошего русского слова «обитель».* И дальше — обитать, в смысле «чувствовать прелесть бытового уюта», не только домашнего, но и в городской среде, да на тех же дорогах городских, наконец (4 канал + все ТВ, 2000, авг.); *Я отец маленьких детей, хочу знать, как они будут жить после меня. Я чистой воды обыватель в этом смысле слова. Мещанин. Средний класс. Я так же растерян, как и большинство граждан нашей страны* (М. Козаков, КП, 1999, окт.). Рефлексивы могут представлять достаточно развернутую характеристику данного концепта с акцентированием мены оценочного компонента. Приведем один из таких фрагментов.

Похвальное слово обывателю. *Почти 80 лет клеймили обывателя. Презирали его. Издевались над ним. Пришла пора попросить у него прощения. Реабилитировать. Для начала уточним: почему, собственно, его клеймили? Что уж он такого плохого сделал? Убил кого-то? Прирезал? Метнул бомбу? Ну это вряд ли. Этим обычно занимались экзальтированные, революционно настроенные особы. Они призывали разрушить до основания старый мир, и обыватель раздражал их тем, что не очень торопился. За это назвали его мир «мирком», обвинили в непонимании исторической необходимости, узости взглядов и души и вообще — в контрреволюционности. Все из-за того, что экзальтированные особы хотели счастья для всех, но — потом, а обыватель — для себя, но — сейчас.*

Хотел обыватель, чтобы ему дали БЫТЬ. Не ломать, не бороться — жить, любить, целоваться, варенье варить, а потом его есть, детей рожать, а потом их растить, и чтобы потом все снова то же самое. А что касается роли его в мировом прогрессе, то она ничуть не менее значима, чем роль экзальтированных его двигателей. Двигатели — двигают. Обыватели — сохраняют равновесие. И если мир еще не рухнул, то, возможно, только потому, что обыватели со своей нелегкой задачей справляются.

Так что давайте наконец восстановим справедливость. Сотрем с лица обывателя гримасу пугала для детей и подрастающего поколения. Ликвидируем уничижительный оттенок у слова «обыватель». Вспомним, наконец, Даля, у которого обыватель определялся как «житель на месте... поселенный прочно, владелец места, дома». Или Брокгауза с Ефроном, для которых «мещане» — «одно из городских сословий», а вовсе не ругательство какое-то. Так что, да здравствуют обыватели! Дайте ими быть! (АИФ, 1997, июнь).

Желание придать значимость простым, приземленным (в марксистской идеологии) понятиям присутствует во многих метавысказываниях: *Вы, например, знаете, что в Европе нет ни одного детского дома? Есть такое понятие — «семейные ценности». Я довольно долго, может, в силу своего легкомыслия, относился к нему с некоторой долей иронии* (АИФ, 2000, июнь); *Это вкусное слово — еда — не осуждается как буржуазное понятие* (Наша газета, 1999, дек.); *И вообще не подташнивает ли вас, дорогие друзья, от слов «партия», «блок», «движение»? Знаем. Слыхали. Эти политические погремушки призваны скрывать истинные цели подобных объединений. Одним словом, из всех партий я выбираю одну: шахматную. Или на бильярде. Из всех блоков — блок между мужчиной и женщиной. Из всех движений — движение навстречу женщине* (Ва-банкъ, 1995, дек.). «Первые неуверенные шаги в «новые измерения» жизни делаются с подспорьем реанимированных понятий, таких как: *доброта, добропорядочность, сострадание ближнему милосердие, терпимость, гуманность, дух — душа* с бесконечным количеством дериватов» [Korze-niewska-Berczynska, 2001, 23].

Подводя итоги наблюдениям над динамическим и деривационным критериями концептуального напряжения, мы можем сделать некоторые выводы о поведении обыденного сознания при интенсивном обновлении и трансформации концептуальной сферы.

При переходе от одной исторической парадигмы к другой обыденное сознание является одной из составляющих языкового сознания, участвующего в ментально-вербальном процессе обновления культурной семантики. Когнитивной мотивировкой этого процесса является стремление объяснить наблюдаемые социальные и культурные явления экстралингвистической сферы. Обыденное освоение новых концептов опирается на житейский опыт и повседневную практику, поэтому не имеет системного характера, не охватывает рефлексивно полно, исчерпывающе новые и актуализированные концептуальные смыслы. Это тем более верно по отношению к перестроечной и постперестроечной России, где опыт жизни «по-новому» еще крайне беден, фрагментарен и хаотичен. При этом для обыденного сознания характерна личностная пристрастность. Рефлексивы точно, штрихами обозначают наиболее актуальные зоны концептуального напряжения, позволяют увидеть то, что важно для концептуального осмысления в ходе живого контакта с миром и что доступно обыденному сознанию, тем самым подтверждая подлинность и достоверность теоретического систематизированного сознания.

При этом сами рефлексивы являются суждениями, формирующими концепт. Обсуждая слово в различных аспектах, рефлексив добавляет новые знания либо закрепляет смысловые изменения, вербализует то, что усваивается другими невербализованно. Формируемый запас смыслов в ходе коллективной интеллектуальной деятельности субъектов и представляет совокупный социальный опыт людей в период перемен.

Мы наблюдаем достаточно полную корреляцию с динамическим критерием коммуникативного напряжения, поскольку обсуждение ментальной реальности новых концептуальных смыслов не может быть строго отграничено от речевого употребления новых лексических единиц. Метаязыковые высказывания по поводу новой единицы часто можно интерпретировать как рассуждения о том, какой концептуальный смысл скрывается за данной лексемой, или как мнения, касающиеся понимания и точного употребления нового слова. Языковые и когнитивные знания в данном случае накладываются друг на друга, представляя собой единый когнитивно-коммуникативный процесс использования языка, что называется, *on-line*, в реальном времени. «При этом чересчур ригористическое разграничение суждений о языке и суждений о человеческой жизни часто не только невозможно — оно и не нужно» [Булыгина, Шмелев, 1999, 158].

Концептуальное напряжение, возникающее при преобразовании идеологических концептов, поднимает проблему серьезности или эфемерности перемен в человеческом сознании, настолько многослойны, неоднозначны метаязыковые показатели переходного, нестабильного состояния человеческого сознания. Людям, чья социализация произошла в рамках прежней общественной системы, почти невозможно полностью приспособиться к новой жизни, принять и освоить ее ценности.

Ксеноразличительный (социальный) и личностный критерии. Идентификация современного российского общества

В эпоху радикальных социально-экономических изменений происходит разрушение социальной идентичности, «потеря тождественности», загубленная «в процессе тотального отречения от

своего советского прошлого» [Korzeniewska-Berczynska, 2001, 17]. Границы социальных групп, выделяемых по разным основаниям — локальным, этническим, национально-государственным, религиозным, профессиональным и др., — размываются или просто исчезают, «в категориальной системе идентификационных матриц освободилось главное место — исчезла стержневая, собирательная категория «советский человек»» [Солдатова, 1996, 305].

Новая социальная реальность рождает концептуальное напряжение, основанное на необходимости самоутверждения личности, определения ее принадлежности к той или иной социальной группе. Принимая новое, меняясь, индивид должен оставаться тождественным самому себе. Механизмы неосознанного саморегулирования недостаточны в условиях повышенного «напора» новых элементов. Поэтому в реформирование социального бытия подключается человеческий разум. Метаязыковая деятельность, обусловленная ксеноразличительным и личностным критериями концептуального напряжения, совершается ради фиксации положения человека в системе групповых связей на основе индивидуальных особенностей, его включенности в широкую систему общественных отношений. Процесс поисков идентификации, отраженный в концептуальных рефлексивах (кто мы такие?), позволяет проследить, как большие или малые социальные группы строят образ социального мира в условиях нестабильности. Ценности социальных групп складываются на основании выработки определенного отношения к социальным явлениям, продиктованного местом данной группы в системе общественных отношений.

Социальная идентификация — сложный комплексный феномен, включающий разные основания для классификации, но в инвариантной основе идентификации человека с определенным социальным объектом лежит базовая дихотомия «свой» — «чужой». Кризис государственной идентичности явился мощным толчком для бывшего советского человека к выбору способа поведения, отношения к происходящему, к поискам «своей» или «близкой» позиции.

Быстрота и легкость краха советского строя показали, что советский человек оказался неготовым принять сложившуюся ситуацию, возникшую после разрушения привычной социальной «крыши» [см. об этом: Левада, 2000г, 6]. Эту ситуацию можно на-

звать ситуаций всеобщего и вынужденного приспособления человека к изменившейся среде существования. Но вынужденная адаптация не означает примирения, согласия или одобрения [см.: Там же]. Поэтому в современной России можно выделить два наиболее крупных идентификационных процесса, в рамках которых происходит взаимодействие различных типов социокультурного менталитета: идейно-политическая и национально-государственная идентификации. Рассмотрим каждый из названных процессов.

Идейно-политическая идентификация современного российского общества. Первую сложившуюся дихотомию современного общества мы можем назвать социально-идеологическим расслоением общества, которое в первом приближении двухчленно: 1) часть общества, признающая господствующие ценности государственной системы (относит себя к демократической); 2) часть общества, критически относящаяся к господствующим ценностям (так называемые оппозиции, имеющие свою оппозиционную прессу и теле-, радиотрибуну). В соответствии с данной дихотомической системой складываются два типа дискурсов: л и б е р а л ь н ы й, состоящий в поддержке демократии, идеологического и экономического либерализма, прозападной внешней политики и этнической толерантности, и к о н с е р в а т и в н ы й, характеризующийся положительным отношением к авторитаризму, идеологическому консерватизму, регулируемой экономике, антизападной внешней политике, идее национального возрождения, уникальности России и самих русских [см.: Левинтова, 2002, 18].

Социальная неоднородность современного общества проявилась в существовании двух противоположных по мировоззренческим установкам форм письменной публичной речи — демократической и оппозиционной печати. Поэтому наряду с такими демократическими газетами, как, например, «Комсомольская правда», «Московский комсомолец», «Аргументы и факты», «Известия» и др., выборочно нами были просмотрены и газеты оппозиционного лагеря: «Русский порядок», «Русь державная», «Русский вестник», «Русский Востокъ», «Завтра», «Русь православная», «Русский пульс», «Черная сотня», «Возрождение России», «Наше Отечество», «Русский собор», «Память», «Околица», «День», «Воля России», «Истоки», «Россы», «Колокол», «Казачьи ведомости», «Россиянин», «Накануне».

Вербализованная метаязыковая деятельность позволяет выявить социально-ценностные ориентации носителей языка, их мировоззренческую неоднородность. В первую очередь политическая и экономическая лексика, обозначающая идеологически маркированные концепты, по-разному понимается политическими и экономическими оппонентами и формирует разные тезаурусы у носителей языка [см. об этом: Какорина, 1996; Шейгал, 2000]. В связи с идейной дифференциацией общества происходит «расщепление коннотаций»: одни и те же концепты приобретают, по Н. П. Савицкому, «разные оценочные коннотации» [Савицкий, 1996, 155].

Переломная эпоха обостряет оценочную деятельность оппозиционно настроенной части общества, которая подвергает жесткой критике лексико-фразеологические доминанты нового времени и не включается в процесс усвоения новых стереотипов. Представители оппозиции не заинтересованы в понимании сущности нового концепта, отвергают новое как чужое, присваивая явлению сразу оценочный смысл негативного. Мы не наблюдаем динамики познания объекта, поскольку объект является чужим, и оценка его как чужого лежит в области усиления, углубления его отрицательной характеристики. При несовпадении мировоззренческих установок возникает когнитивный диссонанс.

С опорой на оппозиционную прессу покажем негативное отношение к концептам новой России. Для оппозиции прежде всего характерно общее неприятие радикальных изменений: *Мы по-прежнему «строим» — не зря, видимо, родился термин «прорабы перестройки»: построили «социализм» — не понравился, перестраиваем его в «капитализм». С такой же бессознательностью строим «капитализм» — самый дикий и «самый капиталистический», какого нет и быть не может ни в одной из мало-мальски цивилизованных стран, хотя на них неустанно ссылаемся* (Русь державная, 1997, № 11—12); *«Настало время определиться, куда идем», — говорит г. Сахаров (июль 1997). А нам хочется воскликнуть: «Опять „идем“! Да когда же остановимся? Все идем и идем. Бесконечные «революционные перестройки»... А ответ один: общенациональная идея, являясь руководством к действию, должна подсказать не только, как надо «ходить», но и как стоять. Стоять устойчиво, стабильно, в единстве со всем соборным целым. Именно стабильность приоритетна в христианской соборной системе. Бесконечное, бесцельное, без*

точек опоры движение создает в обществе вакуум духовности. И кому, как не православию, заполнить этот вакуум (Русь державная, 1997, № 9); *Невиданную деградацию уже не приукрасить словом «возрождение»* (Русский вестник, 1996, № 23—25); *Это словечко «демократия» — только ширма, за которой какая-либо группа людей навязывает большинству населения свой образ мышления* (День, 1992, № 40). Ключевые экономические концепты получают только негативную характеристику: *Звучным словом «приватизация» прикрито уничтожение государственной собственности* (Отечество, 1992, авг.); *Прикрывают инородным словечком «ваучер» пустые бумажки, поэтому создается иллюзия причастия к этому грабежу всего населения страны* (Там же, сент.); *И в наше сознание денно и нощно вбивают это скользкое словцо — инвестиция. Это его термин, его идея — открытое общество. Открытое прежде всего для Сороса, его мессы. Открываемое, взламываемое им с помощью золотого тельца* (Завтра, 1997, май). Осуждается современная раскрепощенность интимной сферы: *Разве само слово «секс», будучи переведено на русский язык, не свидетельствует об этом? Секс — значит плотское вожделение, похоть, блуд — не больше. «Безопасный секс» — это насаждение животных удовольствий* (Русский вестник, 1997, № 13—14); *Режиссер Тинто Brass на сей раз поставил эротическую комедию под названием «Все леди делают это». Мне кажется, что в название фильма при переводе на русский язык вкралась досадная ошибка, которая относится ко второму слову названия. Там первая буква Б в начале слова выпала, а еще одна буква написана неправильно. Так вот, если эту ошибку устранить, тогда фильм точно будет соответствовать своему названию* (Русский Востокъ, 1995, дек.).

Наиболее агрессивны рефлексивы, обращенные к своим идеологическим оппонентам. Врагомания была одним из основных конструкторов социополитической жизни России в советское время, поэтому именно в этих контекстах наиболее ярко проявляется поведенческий узус бывшего советского человека, «неумение жить без врага, агрессивная нетерпимость, яростное неприятие перемен» [Korzeniewska-Berczynska, 2001, 22]: *И тогда, через некоторое время, в толковом словаре русского языка появится слово «интеллигент» со следующим пояснением: «Интеллигент — российское происхождение, бездуховный человек без чести, совести и чувства долга (устар.)», а на смену интеллигенции придет новый высокообразованный, православный и патриотически настроенный гражданин*

России (Русский вестник, 1996, № 2—4); *Сами они себя запросто называют «культурной элитой», народ прозвал их **Большой тусовкой**. Немцов стриженным пуделем выскочил на сцену и понес какую-то нелепую, неловкую, как говорят, «пургу»* (Завтра, 1997, апр.); *Все более ясным становится нелицеприятный дьявольский облик «демократа», по меткому прозвищу — «демафродита», данному ему забайкальскими казаками* (Русский вестник, 1993, № 4); *Ельцинизм в действии. Народ, выделяя в этом слове «цинизм», оказался как всегда точен и прав* (Отечество, 1992, дек.); *Ишь, еще какое слово обтекаемое придумали — «бюрократы» вместо «враги России»* (Накануне, 1992, март); *Зюганов произнес в общем-то крамольную для всякого православного фразу: «Настроение масс явно клонится влево». Только точнее было бы сказать не «влево», а налево, т. е. в сторону дьявола, золотого тельца. Бес всегда тянет человека в левую сторону, потому что стоит за его левым плечом. Все партии, созданные с помощью еврейского золотого капитала (а компартия — одна из них), являются левыми партиями, т. е. сатанинскими. К ним же относятся и все демократические партии* (Россиянин, 1995, № 3); *Кто сегодня поддерживает этот шатающийся режим, на ком он держится? Это четыре «Ш»: шакалы режима, шавки режима, шуты режима, шизофреники режима. На этих «Ш» сегодня и шатается режим Ельцина* (Наше Отечество, 1993, май); *Если Вы правильно решите эту шараду, можете считать себя черносотенцем, если не смогли решить ничего — вы демократ. Шарада: 1-й слог — прядь волос, спадающая на лоб. 2-й слог — название льда в русском языке в случае полной победы демократов, рыночников и западников. В целом — главный прихватизатор России (Чуб — айс)* (Черная сотня, 1993, № 5); *Кто входит в это словечко «дерьмократы»? Воры, бандиты, все «новые русские», газпромовцы-домушники, «правозащитники», гомики и прочая шатия-братия* (Русский вестник, 1996, № 18—20); *Это, говоря богословским языком, сатанинская атака на Россию, когда соединили свои змеиные трубчатые жала Киселев, Сванидзе и Доренко, направили парapsихологический удар в каждое русское сердце. У России обнаружился враг, обретя очевидное воплощение. Тройка телеведущих с маленькими красными ранками на шее, пахнувшая сероводородным дымком* (Завтра, 1997, апр.). Подобная эмоционально-ценностная позиция авторов вызывает у коммуникантов «не ассимилятивную установку по приятию этой информации, а позицию контрастной установки» [Пет-

ренко, 2001, 45], изменение мнения партнера в нежелательном направлении. Несмотря на конфликтный характер оппозиционных концептуальных рефлексивов, нельзя не отметить положительный характер их появления. Во-первых, нельзя забывать о том, что проблема понимания и принятия «другого» связана с проблемой понимания самого себя, своей социальной позиции, и понимание это, на наш взгляд, осуществляется в данных контекстах. Процесс осмысления человеком самого себя предшествует формированию толерантных установок на допуск множественности мировоззренческих систем, дополняющих друг друга. Следующий шаг — «преодоление иллюзии очевидности, когда мы подменяем другого собой и ставим “зеркала вместо окон”, в тысячный раз наблюдая свое отражение» [Глебкин, 2000, 13]. Во-вторых, возможность проявления своей позиции демонстрирует открытость современного российского общества, право говорящего на выражение собственной точки зрения. «В политическом плане толерантность интерпретируется как готовность власти допускать инакомыслие в обществе и даже в своих рядах» [Асмолов, 2000, 6]. Хотя, как отмечают психологи, даже самая воинственно-оппозиционная критика терпима, когда она принадлежит «чужому кругу», так как действует на ограниченную аудиторию. Более нетерпимой ощущается критическая позиция среди своих, которая воспринимается как отклонение от правильной линии.

Интенсивность проявления концептуальной, оценочной и языковой свободы говорящего является реакцией на отторжение тоталитарных принципов мышления, одним из которых было единство семантической информации (принцип демократического централизма), инструментом этого единства была категория партийности, понимаемая как коллективная оценка, как «модальность речи и речевого поведения, жестко заданная партийным документом и исключаяющая поэтому любую другую модальность» [Романенко, 2001, 70]. Принцип демократического централизма укрупнял оппозицию «свой» — «чужой» до рамок национального противопоставления миров: *советский, социалистический* — *западный, капиталистический*, до вынесения врага за рамки социума, «его демонизацию в контексте мирового заговора» [Дзлялошинский, 2002, 8], подменяя собой частные оппозиции — личные и общественно-групповые. Подмена создавала ложное единство со-

циально неоднородного общества, нивелировала разнонаправленность общественного мнения, формировала инфантилизм сознания. Поэтому открытое выражение личной позиции (пока пусть даже агрессивное) — это несомненный шаг к возможному толерантному общению в концептуальной сфере, ибо фундаменталистская, интолерантная идеология опирается прежде всего на философию безличности. Взамен внешнего партийного контроля над словом, внутренней партийной цензуры как обязательной социальной установки любой личности в современной России появляются другие типы контроля, обусловленные психологическим устройством языковой личности и эксплицируемые в метаязыковой деятельности говорящего/пишущего.

Национально-государственная идентификация современного российского общества. Следующим наиболее важным идентификационным процессом, находящим свое выражение в концептуальных рефлексивах, видится изменение национально-государственных рамок идентификации: *русское* вытесняет *советское*. Стихийное переосмысление роли «национального фактора», этнонациональная напряженность связаны с распадом СССР, с национальными конфликтами на границах новой России и в ее пределах, интенсивной миграцией населения из стран СНГ и национальных республик Российской Федерации в Центр [см.: Здравомыслов, 2002, 50].

Если в спокойной общественной ситуации «этническое самосознание чаще всего не актуализировано, “размыто”» [Дробижева, 1998, 165], то в «смутные времена» роль этничности возрастает. Она выполняет защитную функцию, являясь своеобразной реакцией на нестабильность общества, поскольку «в целях удовлетворения банальной потребности человека в определенности на сцену выходит более древняя и устойчивая форма информационного структурирования мира — этническая» [Лебедева, 1993, 34].

Метаязыковые высказывания помогают проследить динамику самоутверждения «русскости», гипертрофию функций национальной идентичности — языковой, мифологической, этнической [о разных типах этнической идентичности см.: Дробижева, 1998, 177–181]. Особенно остро потерю национальной идентичности ощущает оппозиционно настроенная часть общества. Если обратиться к наиболее частотным рефлексивам оппозиционного

дискурса, то можно выделить ключевой концепт, имеющий самый большой набор рефлексивных высказываний. Центральной единицей метаязыкового корпуса рефлексивов является концепт «русский», в котором, на наш взгляд, как в базовом компоненте национального самосознания происходит отстаивание, утверждение категории «своего» и непринятие «чужого». Оценочные контексты носят обычно тревожный характер, подчеркивают опасность сегодняшней жизни для русского человека: *Опасное слово по нынешним временам — «русский». В стане демократов слова «русский патриот» запрещенные, ненавистные, чуть ли не нецензурные* (Воля России, 1991, № 6); *Кто это мы? Скорее всего мы — это труднопроизносимое слово «русские». Неужели русские обречены надевать маску вечных интернационалистов, прятать свое национальное лицо за безликое «мы»* (Там же); *У нас нынче всякий произносящий громко слово «русский» объявляется черносотенцем и фашистом* (Наше Отечество, 1993, нояб.); *Нависла угроза новой «культурной революции», ставящей главной целью духовное уничтожение страны, вытравливание самих понятий «русское», «русский народ», «русская культурно-историческая традиция»* (Русский вестник, 1993, № 17).

Противопоставление «русского» всему остальному, с точки зрения оппозиции — «чужому», неистинному, происходит в рамках словесной оппозиции «русский — нерусский»: *замки и дворцы «новых нерусских»; болтающая на всех языках «русская» интеллигенция* (кавычки в данном контексте носят оценочный характер), *так называемое «российское правительство»; молчит «нероссийское» правительство; вся нерусская рать претендентов на российское президентство* и т. д.

Центральным вопросом российского национального самосознания становится вопрос о совмещении гражданской и этнической идентичности. Большинство россиян чувствует себя прежде всего «русскими людьми», а потом уже «гражданами России». Это ощущение двойственности, ощущение ложной подмены выражается в рефлексивах в протестной форме против нового концепта **россиянин**: *«Кремлевские мечтатели», те вообще заселили Россию-матушку таинственным племенем россиян* (Русский вестник, 1996, № 18—20); *Разрешено только слово «российский», ставшее ныне синонимом слова «советский», т. е. интернациональный. И люди какие-то русскоязычные появились, а не русские* (Наше Отечество, 1993, нояб.); *В последние годы жителей России в СМИ принято называть россияна-*

ми. Казалось бы, ничего особенного. Ну, были «советским народом», стали «россиянами». Как говорится, хоть горшком назови, только в печь не ставь. Однако отчего так режет слух русского человека, когда он слышит, как его именуют «россиянином»? Россияне — это лица нерусского происхождения, живущие издревле на территории России (Русский вестник, 1993, № 42); И власти и их «демократические» средства массовой информации преднамеренно и упорно избегают употреблять слова «русские», «русский народ». Пущено в ход слово «россияне». Звучит оно фальшиво и оскорбительно. Все это само по себе имеет свойство деградировать нацию (Русский вестник, 1992, № 49—52); Уж не в оккупированной ли стране мы живем, если нам пытаются запретить даже использовать слово «русский» Слово «русский» — не матерщина, не оскорбление и законом не запрещено к использованию. Если оно кого-то в этой стране корбит — вас, простите, не задерживают (Русский вестник, 1994, № 15—17); Свободное слово «русский» против фальшивого, подлого слова «россиянин»; В моде стало слово «россиянин», которым реформаторы пытались притушить всплеск самоопределения уже у бывших автономий; Не хватает пустяка — принять такой закон об экстремизме, чтобы в тюрьму можно было посадить любого, кто вместо слова «россиянин» произнесет слово «русский»; Причем распространяется это в основном как раз на русских, другие народы свое историческое имя в слове «россиянин» растворить не спешат (электронные СМИ).

Разрушение категории «советский человек», которая определяла образ жизни и стиль поведения человека, живущего в СССР, привело к кризису социальной идентичности, которая наблюдается на уровне самосознания. Та обобщающая категория «россиянин», которая приходит на смену «советскому человеку» и призвана детерминировать социальную идентичность многих людей в рамках нового суперэтноса, не выполняет пока свою функцию, находится в стадии становления, так как не обладает смысловой насыщенностью прежних форм социальной идентификации, поэтому не способствует наиболее адекватной адаптации в изменяющейся социальной реальности.

Концептуальное напряжение вызывает новое осмысление концептов «Родина», «Отечество», «Отчизна».

Концепт *Родина* для советского человека был прежде всего идеологическим конструктом. Но в то же время русский дискурс

о Родине отличается своей амбивалентностью — «подвешенным» состоянием между властью и сопротивлением» [Сандомирская, 2001, 17]. С одной стороны, «апелляция к патриотическим ценностям — характерная черта российской государственности, часть риторики политической благонадежности. Но интересами Родины, любовью к Отчизне и долгом перед Отечеством не в меньшей степени вдохновляются и дискурс эмансипации, критика власти, поэтический романтический бунт. Фразеология Родины в русской культуре вся сосредоточена в области власти: она составляет часть языка политического подавления, однако и важную долю языка сопротивления» [Там же, 16].

Обращение к современному осмыслению обыденным сознанием концептов *Родина*, *Отечество*, *Отчизна* в связи с проблемой национальной и идеологической идентификаций постсоветского человека помогает выделить ряд когнитивных слоев, вокруг которых выстраиваются типичные интерпретации данных единиц¹. Наряду с узуальными базовыми слоями концепта *Родина*: 1) территория, земля, место рождения; 2) вся страна как место проживания, как пространство власти и некоторого единого порядка, — рефлексивы отражают опыт личностных переживаний. Кроме того, *Родина* — это 3) место сильнейшего психического притяжения и постоянного возвращения: *То место, в которое можно вернуться, и где тебя будут любить; Мне всегда хочется поехать туда, потому что с этим связано все самое дорогое для меня: дом, родители; Это то место на земле, куда непреодолимо тянет, даже если ты находишься в великолепных условиях, в другой стране;* 4) образное восприятие родного пространства, природы: *Сразу в памяти дом в саду, смородина, толстый тополь у ворот; Русский лес, воспетый Л. Леоновым и Михаилом Пришвиным, дарящий нам свою красоту, — составная часть того, что мы зовем негромким словом — Родина; Если осталось что-то от слова «Родина», то это деревня, рыбалка, лес и грибной сезон; Со словом «Родина» связано слово «родинка», что-то маленькое, близкое, родное, навсегда свое. Все эти маленькие понятия и стали большим словом «Родина».*

¹ Наш материал был дополнен ответами информантов, зафиксированными в ходе дискуссионных фокус-групповых исследований, проведенных в январе 2001 года Фондом «Общественное мнение», где участникам были предложены для обсуждения понятия *Родина*, *Отчизна* и *Отечество* [см. об этом: Колосов, 2001].

Рефлексивы по поводу концепта *Родина* артикулируют процесс продолжительных и мучительных размышлений о метаморфозах русского этнического самосознания в связи с происходящими переменами: *Кто, что встает перед нами при упоминании слова Родина? Слова Родина, Долг, Честь — святыя слова; Слово Родина сегодня не в моде, произносится с юмором; Некоторые считают, что слово Родина надо писать с большой буквы и носить в сердце, а другие — с прописной и носить в штанах. Лучшие писать слово Родина со средней буквы; С момента развала СССР слова Родина и патриотизм стали для меня абстрактными понятиями; Да, в слове Родина много советского; Наши деды проливали за нее кровь, для них что-то еще значило слово Родина.*

Рефлексия свидетельствует о том, что *Родина* остается маркером некоторой высшей ценности, которая претерпевает инфляцию в связи с пересмотром ценностных установок. Связь с понятием *советская Родина*, идеологическая нагруженность сакрализованного слова дискредитируют концепт. Тем не менее русские не отказываются от своей традиционной рефлексивной практики — задумываться, страдать, радеть о судьбах всей России. В качестве иллюстрации можно привести пример дискуссии, развернувшейся в октябре 2002 года по вопросу о том, стоит ли возвращать памятник Ф. Дзержинскому на Лубяную площадь в Москве. Оппонентом мэру Москвы Ю. Лужкову, выдвинувшему идею возврата памятника на прежнее место, выступил в передаче «Свобода слова» на НТВ Андрей Макаревич. Из зала ему была брошена реплика: *Да Вы не любите свою родину, Советский Союз*, на что А. Макаревич ответил: *Нет, я люблю свою Родину, но я не люблю советскую власть* (05.10.02).

Смысловое наполнение концептов *Отчизна* и *Отечество* смещено по сравнению с *Родиной* в сторону большей идеологичности, официальности, эмоциональной холодности и отчужденности. Прослеживается тенденция к преобладанию суждений не столько эмоциональных, сколько рациональных, содержащих субъективную оценку: *Родина, Отчизна, Отечество, Земля-матушка, Российская империя, святая Русь, государство, страна, родной край — вот слова, которыми мы называем Россию; Родина — это свое, а Отчизна — больше, чем Родина; Высокпарное слово, почти вышедшее из употребления.*

Противопоставление концептов *Родина* и *Отчизна* идет по следующим признакам: «теплое — холодное»: *Родина, мне кажется, —*

это большой очаг; Отчизна — слово далекое, холодное; «большое — маленькое»: Отчизна — это что-то большое, а Родина — маленькое, близкое, родное, свое; «повседневное — официозное, высокое»: Высокпарные слова «Отечество», «Отчизна»; «Отечество» — это более высокое, а «Родина» — привычное, мы в обиходе используем; «индивидуальное, личное, субъективное — общее, государственное, политическое»: «Отечество» для меня более политического характера — вот государство, скажем так. «Родина» — это мое личное, а «Отечество» — это слово государственное; противопоставление с опорой на внутреннюю форму: Подберите однокоренные слова к слову «Родина» — родной, родимая, родня, род; «Отчизна» — это от слова «отец»; «Отечество» — подразумевается: там, где рождены твои отцы и деды.

В метаязыковой ряд, обсуждающий единицы именования родной страны и личностное отношение к ним, можно отнести контексты, которые в форме коммуникативного рефлексива оспаривают уместность и точность современного употребления местоимения «эта» в словосочетании «эта страна»: *Мы решили опубликовать авторов самых разных политических убеждений, лишь бы они относились к России не как к «этой», а как к «своей родной» стране* (Русский Восток, 1996, № 19); *Мне кажется, что с того момента, когда человек начинает называть свою Родину «эта страна» вместо «моя страна», он становится к ней во враждебно-безразличную позицию. Если вы скажете про себя о ней отчужденно, например, «в этой стране всегда было так» — и вас не покоробит, вам не станет не по себе, то вы уже американизированы, т. е. вы стали на «этой территории» вечным жидом и, следовательно, перестали быть русским* (Русский порядок, 1995, № 1—2); *Российское телевидение насаждает порнографию в своей стране. В своей? Там обычно говорят: «в этой». Может быть, когда «эту» страну вытравят, нам в той стране места уже не найдется* (В. Распутин, Русь державная, 1995, № 2); *Выльем за то, чтобы сказать, что мы живем в нашей стране, а не в этой стране* (ОРТ, Человек и закон, новогоднее поздравление авторов программы, 06.12.98).

В данных рефлексивах мы наблюдаем подмену социальных конвенций в разграничении «личного» и «неличного». Категория «личного» предполагает идентификацию говорящего с субъектом своего восприятия и своих эмоций. Одним из важнейших аспектов «я» является понятие «мое». Из приведенных контекстов сле-

дует, что речевые действия другого субъекта по отношению к стране как к категории не личного, а общественного порядка, воспринимаются авторами рефлексивов абсурдными и чуждыми в силу их собственной экспансии личного на категорию общественного социального контекста. В рамках рефлексивов идет столкновение различного понимания границ социального континуума.

В сложной природе многоплановых идентификаций на первый план выступает проблема описания, осознания «себя» и «других» как носителей этнонациональной общности, имеющих общий национальный характер. Национальный характер, т. е. представление народа о самом себе, существует «в виде стандартных для людей, принадлежащих одной культуре, реакций на привычные ситуации» [Уфимцева, 1999, 26]. Путем самоосмысления, самопознания народ «формирует себя самого и в этом смысле — свое будущее» [Касьянова, 1994, 8]. Этнические представления о себе и других имеют стереотипный, обязательный характер, регулируют не только собственно этнические, но и другие системы взаимодействия. Этническая идентификация предполагает связь с корневой базой — историческим прошлым. На важность национальных корней в жизни человека указывали многие русские философы начала XX века [см., например: Бердяев, 1990; Ильин, 1993; Трубецкой, 1995]. Благодаря их работам сформировалось твердое убеждение, что долгом каждого этноса должно быть самопознание. Именно результатами такого самопознания являются представления о русском национальном характере, которые мы находим в работах Н. Бердяева [1918; 1952], В. Розанова [1990], М. Волошина [1990], Л. Гумилева [1990] и др. Эту традицию продолжают не только современные философы и историки [см.: Сикевич, 1996; Судьба России..., 1998; Русская национальная идея..., 1997], но и филологи: Д. С. Лихачев [1990], К. Касьянова [1994], И. А. Стернин [2000], Уфимцева [1995, 2000] и др.

Культурно-историческая преемственность — величина динамическая, «она может меняться от факторов престижности, опасности, смены гражданства и т. п.» [Буряковская, 2000, 5]. Этнические стереотипы, касающиеся русского этноса, россиян и самой России, представленные в современных массовых изданиях разных уровней, могут рассматриваться как автостереотипы, поскольку пишутся от имени русских или россиян и объединяются идеей «мы».

Наши наблюдения позволяют утверждать, что автостереотипы-образы редко присутствуют в виде рефлексивов по поводу слова. Форма подачи автостереотипов — чаще всего развернутые аналитические статьи или интервью с известными представителями русской интеллигенции. Типичное для современных СМИ ерничество предполагает юмористическую форму автостереотипного описания (см., например, ряд интервью с известным сатириком М. Задорновым). Выделяются противоположные тенденции, наметившиеся в этническом автопортрете. С одной стороны, «этнический плебеизм», «этнонигилизм», выражающиеся в своеобразном охаивании собственной этничности, что еще более усиливается на фоне отсутствия национальных успехов [см.: Малькова, 2002, 297—298]: *Нынешнюю Россию, преступную, коррумпированную, откровенно безнравственную, с недееспособной и услужливой чужим интересам властью, распродающую себя направо и налево за гроши и себя убивающую — такую Россию боятся сейчас во всем мире* (Русь державная, 1997, № 12); *Никто не знает, что такое русская цивилизация — то ли отрезанная голова у седла опричника, то ли позолоченный купол очередной, никому не нужной церкви, то ли загибающийся у тюремной парашаи Мандельштам, то ли оперетта Никиты Михалкова с градоначальниками, фейерверками и блинами* (АИФ, 2002, июнь); *Странное название — Россия, /Будто не было другого слова.../ Это ж надо было так красиво /Называть страну, где так хреново!* (С. Гальперин, МК-Урал, 2001, февр.); *Давеча генеральный прокурор Устинов утверждал: за последние триста лет российский народ не стал менее вороватым. Вообще-то это мягко сказано. Надо честно признать, что по части воровства наш народ добился результатов выдающихся. На данной стадии нашего с вами развития слово «вороватый» уже не подходит. Вороватый — это когда колосок с поля, когда ведро угля из вагона или охапку белья с веревки. С этим у нас действительно все нормально, как и триста лет назад. А вот умение воровать миллионы и миллиарды, и не рублей, а долларов, и при этом не забиваться в угол, как тварь дрожащая, а оставаться на виду, цвести и пахнуть — это явление своего названия пока не имеет. И мир изумленно косит глазом в сторону России, пугаясь нового проявления могучего таланта ее народа* (МК-Урал, 2001, февр.); *Слухи об уме русского человека сильно преувеличены. Ум у него специфический. Стоя на грани бедности, голодный и оборванный, он*

может часами рассуждать о бедственном положении негров в Америке (АИФ, 2000, июнь); Мы такие бедные потому, что дураем, что мы такие умные. Мы сделали собственную лень предметом гордости (Там же); Меня за то ругают: ты народ не любишь. Да, во многих его ипостасях народ наш я не люблю сейчас, на старости лет. К концу тысячелетия мы подходим в очень плохом состоянии, и прежде всего нравственном и духовном. Я прежде всего не патриот тому, когда он, народ, навалется в грязи, ленивый, опившийся плохой водки, а ему говорят... (В. Астафьев, 1998, февр.).

С другой стороны, намечается тенденция самоутверждения «русскости» как некоей спасительной гавани после периода замешательств и кризиса идентификации. В условиях доминирующей негативной составляющей востребованным оказывается «позитив», т. е. «набор признаков, годящихся для опорной конструкции» [Левада, 1996, 33]. Наступило время резкой постперестроечной критики, люди ищут положительные черты в русском национальном характере. По результатам социологических опросов русские за период с 1989 по 1999 год стали в собственном массовом воображении значительно более энергичными, гостеприимными, открытыми, простыми и даже более трудолюбивыми, реже бичуют себя за непрактичность и безответственность. На одном уровне на протяжении десятилетия сохраняется лишь показатель лени как национальной особенности [см.: Там же, 33]. Травматический опыт прошлого трансформируется в парадоксальную форму национальной гордости своим терпением или страданием. Рефлексивные высказывания документируют положительные чувства по отношению к русскому человеку: *Раньше за границей говорили: «Вон идут русские». Значит, чем-то мы отличались. Отсутствием прагматичности, хорошим разгильдяйством, чувствами (Известия, 1995, окт); Преклоняю свою седую голову перед мужественными людьми, кто верит в Россию, в ее мужественный, одаренный, терпеливый народ (Российская газета, 1998, янв.); Молодые русские люди — у них неукротимая энергия, они веселы, активны, не меркантильны, им хорошо вместе. Они свободны от наследства «проклятого советского прошлого», как кто-то сказал: первое непорочное поколение. Это те, кто реально может что-то сделать, кого можно научать и кто может научиться (Огонек, 1994, дек.); «Новый человек» в России — энергичный, предприимчивый, сумевший уверенно перестроиться в*

русле времени. Его девиз — смелость, трезвость и честность. А еще — доброта. Он знает цену себе, способен быть самокритичным. Человек действия и результата (Семья, 1994, июль); *Лицо поколения — энергичность, предприимчивость, самостоятельность, свобода* (Известия, 1995, окт.); *Я считаю себя «старым новым русским». Ведь занимаюсь я старым делом, но в новых условиях. Я вижу, как работают предприниматели, которые чего-то достигли, — минимум 12 часов в день. Уровень ответственности огромный. Они оказывают огромную, благотворительную помощь населению* (Труд, 1995, июнь); *И русский человек, и русский бизнесмен отличаются от западного, потому как иного быть не может. Только русский способен проявлять чудеса деловитости днем, а потом за один вечер спустить все с трудом заработанное да еще и в долгах оказаться. И работает наш человек споро, и гуляет от всей души.* «Новых русских» не бывает, потому что человек наш не меняется в зависимости от времени и конъюнктуры. Русские — это мы (Огонек, июль, 1996); *У нас нет и не было своих Макиавелли, мы не умеем плести долгие кружева интриг, это не наш генотип. Мы открытые люди* (КП, 2002, апр.); *Те, кто обогатился дуриком, либо уехали на Канары, либо разорились. А те, у кого оказался врожденный талант, продолжают уже не воровать, а развивать производство* (Там же, март); *Население росло еще и потому, что Русь всегда знала баню, а Европа дважды изгоняла, католическая церковь ее запрещала, как разносчик эпидемий и разврата. Так и жили европейцы, не моясь, до XIX века* (Там же); *Остается только суд. Но при этом раскрывается наше российское нежелание сутяжничать* (МК-Урал, 1998, апр.).

Недостатки русского национального характера рассматриваются сквозь призму доброжелательности, восхищенного удивления: *Вот она, наша русская ментальность! Вот она, загадочная русская душа! 199 человек не поленились и позвонили в редакцию «МК», чтобы высказать свою поддержку американскому президенту, попавшему в неловкое положение из-за секс-откровений бывшей сотрудницы Белого дома. При этом «наймитку капитала» Монике Левински, а заодно и другую бывшую якобы подружку Клинтона Полу Джонс заклеями позором так, что мало не покажется! Президент Клинтон благодаря своему богатырскому здоровью стал чуть ли не русским национальным героем. Держись, Билл! Россия с тобой! Руки прочь от зиппера Клинтона!* (МК-Урал, 1998, февр.).

Рефлексия обыденного сознания является благодатной почвой для создания мифологемы русской духовности и пренебрежения материальными благами русского народа, легенды о русском терпении или особом миролюбии русских, постоянно оказывающихся жертвой агрессии со стороны других. О сформированности русского комплекса «жертвы» говорил В. Астафьев: *Народу говорят: «Вот ты, народ, страдаешь, вот в канаве валяешься, бедный, тебя туда толкнул Ельцин. Ты раньше в канаве не валялся, ты раньше на производстве у станка стоял по 8 часов и сейчас бы стоял, зарплату бы вовремя получал. А сейчас, гляди-ка, что с тобой происходит. Тебя толкнули в канаву. Это американцы помогли!» Глупости!* (АИФ, 1998, февр.).

Подобное, по Л. Гудкову [1999], сознание (комплекс) жертвы возникает как реакция на напряжение в современной общественной системе, являющей собой зону ценностной неопределенности, на дефицит национального самоуважения, на разорванную коллективную идентичность, представляющих в совокупности комплекс национально-государственной идентификации.

Комплекс национально-государственной идентификации — это система взаимосвязанных ценностей и установок, которые разделяются всеми, независимо от социально-статусной и политической принадлежности. Этот комплекс поддерживается как внутренними («своими»), так и внешними («чужими») факторами. В современной ситуации слабости внутренних связей — общности жизни, хозяйства, своей истории и традиционных символов — возрастает роль внешнего самоутверждения [см.: Левада, 2000, 14]. Усиление, активизация национального комплекса приводит общество к инкарнации внешнего врага. Это могут быть и террористы, и Запад, и американцы, и НАТО, и кавказцы, и прочие иноподданы. Образ врага как один из атрибутов политической мифологии активно используется для национального самоопределения, чтобы носителем вины непременно оказывался кто-то чужой. Чем сильнее выраженность комплекса жертвы, «тем выше уровень ксенофобии и выраженной националистической риторики» [Гудков, 1999, 57]. Выявление «чужого» в период тотальной неопределенности «способствует сплочению вокруг «антивражеской» идеи — спасительного круга униженных и оскорбленных» [Korzeniewska-Berczynska, 2001, 36].

Образы врагов. Образу врага свойственно меняться. Метаязыковой дискурс современной России при всей пестроте политического лика позволяет выделить внешних и внутренних врагов россиян.

— Оппозиционно настроенная часть российского общества, кроме внешних врагов, общих для всех, выделяет врагов внутренних — тех, кто повинен в бедствиях и страданиях русского народа: *Однако теперь не очень понятно, что для нас означает слово «народ»? Нет сейчас у нас в России единого народа. «Народ», который мы на сегодняшний день имеем, делится на патриотов России (истинный народ без кавычек), **ее врагов** и равнодушное, неопределившееся население (которого большинство). Народ русский в полном смысле этого слова — скит, околдованный или, говоря современным языком, зомбированный, облученный **коммуно-демократическими средствами масс-медиа** (Россиянин, 1995, № 6); *Возможно, кого-то покоробит слово «инородцы», употребленное автором. Речь идет о действительно инородном теле — **сатанинской секте, захватившей в 1917 году власть в России** (Русский вестник, 1992, май); *Понаблюдайте, как обливаются все эти ярмольники и хазановы и прочие **шуты режима**, когда произносят слово «доллар» (Наше отечество, 1993, сент.).* Таким образом, внутренними врагами становятся власть, Горбачев, Ельцин, мафия, олигархи, демократы и пр., т. е. все, кто виновен в распаде СССР, в обнищании России. В данном случае срабатывает психологический механизм потерпевших поражение — парадокс приписывания вины окружению.**

В противопоставленную пару к концепту «русский» оппозиция выстраивает врагов, которые могут не делиться по национальному признаку: *Дожить до светлых времен, когда очистится Русь Великая и Святая от всякого **чужебесия и хлама, от кавказского бандита и международного спекулянта, от номенклатурного перевертыша и предателя-министра, когда мы заживем вольготно и весело на нашей Земле Русской** (Русский Восток, 1996, № 16),* либо выделяет традиционного еще для советского времени врага в лице еврея (советский антисемитизм сочетал номенклатурную неприязнь к евреям и антиинтеллигентскую предубежденность, поскольку евреи воспринимались как высокостатусная и образованная группа): *На русском языке плохой человек — это жид. Я и говорил «жиды», т. е. плохие люди (А. Макашов, устное выступление в*

Костроме, 20.03.99); *Делом растления молодежи, т. е. сексуализацией, руководят люди нерусские, от А. Асмолова до Б. Шапиро. Это люди, образно говоря, антирусского менталитета* (Русский вестник, 1997, № 13—14); *Пиши баклановы, рыбаковы, гроссманы, бродские... на своем языке, нам бы от этого не было убытка, но их еврейская мысль получает русское выражение и таким образом пролазит в наш русский обиход. Опасность в том, что евреи, перенимая наш язык, влагают в него свой антирусский дух, вытесняют наши духовные ценности, наши русские идеалы* (Там же, 1996, № 18—20); *Надо озвучить все псевдорусское, называющее себя русским, и сказать просто, что великий Бродский — еврей, а не великий русский поэт, что великая Плисецкая — еврейка, Пугачева с Леонтьевым и Кобзоном — еврей, а никакие не русские* (Накануне, 1992, март). Политически-оппозиционная активность, проявляющая себя в этнической предубежденности, может быть названа активностью расистской направленности [см.: Буряковская, 2000, 20]. Если мы обратимся к нерасчлененному на политические лагеря рефлексивному дискурсу, то четко прослеживается формирование антикавказской ксенофобии, с которой может соперничать лишь тревожное отношение ко всякого рода фашистским проявлениям внутри страны: *Теперь боюсь антилиц кавказской национальности. Боюсь фашистов, какими бы доводами они ни прикрывались. Я не так уж боялся антисемитизма* (АИФ, 2000, май). Хотя в России есть прочный иммунитет против фашизма, но в ситуации неоправдавшихся ожиданий в обществе активизируется идея национал-большевизма, которая особенно остро переживается массовым сознанием: *Фашизм — бесспорное обозначение абсолютного зла; В сегодняшней жизни страшное слово «фашист» воспринимается адекватно к самой сути, неизменным тошнотворным запахом крови; В народе нет более ругательного слова, чем «фашист»; Слово «фашист» — в широком смысле худший из людей — оставалось в русском языке на всем протяжении ушедшего столетия; Общество негативно реагировало на слово «фашизм», на военизированную форму РНЕ, напоминающую одеяния членов бригады СС, на их символы* (электронные СМИ).

Тревожный эмоциональный фон отмечается у рефлексивов по поводу нового концепта «скинхед»: *Слово «скинхед» ассоциируется с неонацистом или фашистом; Между словами «скинхед» и «нацист» прочно укоренился знак равенства; Скинхеды — активные участники агрессивных молодых националистских группировок; слово «скин-*

хед» происходит от английского сочетания «голова + кожа»: участники организации бреют голову наголо и заявляют, что борются с евреями (электронные СМИ). Демократически настроенная часть общества бьет тревогу по поводу официального утверждения новой национал-державной партии России (ОРП, Времена; НТВ, Свобода слова, 2002, окт.).

На передний план в современной России выдвигается все же антикавказский синдром. Антисемитизм как традиционная для русских установка оттесняется на периферию. Появление неприязни к жителям Кавказа имеет несколько причин. Безусловно, основной причиной являются античеченские настроения, реакция на войну в Чечне. Кроме того, еще в советское время сложился отрицательный стереотип людей с Кавказа, работающих на рынке и торгующих фруктами и цветами. Массовая неприязнь была ответом «на энергичное вторжение культурно чужих в те сферы, которые подлежали особым ограничениям и запретам со стороны властей, — базарная торговля, посредничество, цеховой бизнес» [Гудков, 1999, 58].

У приезжих с Кавказа отсутствовал привычный для русских комплекс жертвы: они не скрывали своего успеха, благополучия, активности. Они выбирали дело, с которым они лучше всего могли справиться, которое им было по душе. Так, азербайджанцы торгуют овощами и фруктами, армяне открывают коммерческие лавки и пункты автосервиса, грузины продают машины. В массовом сознании существует этнический стереотип, согласно которому именно инородцы заметно влияют на криминогенную обстановку, несмотря на уверения органов МВД, указывающих на интернациональность преступных группировок.

Глухое чувство собственной ущемленности было благодатной почвой для рождения нового концепта «лицо кавказской национальности». К его появлению относятся с осуждением, как к неудачному канцеляризму, который, обезличивая национальную принадлежность, настраивает людей на негативное отношение к выходцам с Кавказа. В печати мы встречаем попытки объяснить появление новой номинации: *Мы часто пишем о правонарушениях, совершаемых русскими, украинцами... Но когда речь заходит о выходцах с Кавказа, очень трудно определить — кто он: осетин, грузин, армянин или абхазец. К сожалению, когда совершается преступление, у нас имеется только описание преступника. И мы, ра-*

ботая над материалами, осторожно указываем: «лица кавказской национальности с такими-то приметами». А когда правонарушение совершают русские, мы пишем: «лица славянского типа» (МК-Урал, 2001, дек.).

Обсуждение концепта с канцелярско-уголовным уклоном происходит чаще всего в той аудитории, где собеседниками оказываются эти самые «лица» — грузины, армяне, азербайджанцы, которые являются известными и уважаемыми людьми в России, и отнесение их к категории преступных «лиц» воспринимается особенно остро: *Мне глубоко неприятно произносить «лицо кавказской национальности» (ОРТ, Тема, 22.10.98); Нормальные человеческие лица превратились в оскорбительную советскую кличку — лица кавказской национальности (Лит. газета, 1994, май); — Как вы относитесь в понятие «лицо кавказской национальности»? — Я уже говорил: когда есть лицо, это хорошо (А. Разбаш — Р. Абдулатипову, ОРТ, Час пик, 13.05.98); — Испытывали ли Вы на себе термин «лицо кавказской национальности»? — Я никогда себя не ощущал лицом кавказской национальности (А. Разбаш — Р. Балаяну, ОРТ, Час пик, 12.05.98); — Армен Борисович, вы вообще встречались с таким выражением — «лицо кавказской национальности»? — Конечно. Но как к нему можно серьезно относиться? — В какой степени сильна ваша связь с армянской культурой? — Я все-таки причисляю себя к культуре русской (беседа корреспондента с А. Джигарханяном, АИФ, 1996, март).*

Военные действия в Чечне породили несколько номинаций для обозначения врага на чеченской войне: *боевики, бандиты, «чехи», «духи», зеленые волки, дудаевские волки, гантемировцы, басаевцы, радуевцы, масхадовцы* и др. Фобия к чеченцам относится не столько к народу, сколько к воюющей стороне в конфликте.

Восприятие чеченских боевиков в контексте международного терроризма активизировало рефлексивы с номинацией «террорист»: *Сепаратистов в Чечне погибли десятки тысяч, а в глазах многих россиян слово «чеченец» стало синонимом слов «террорист» и «преступник»; В каждой стране словом «террорист» называют человека определенной национальности; Слово «чеченец» уже стало синонимом слова «террорист» и намертво связано со словом «уничтожать» (электронные СМИ).*

— Политико-экономический кризис в России вылился в привычную форму неприязни к Западу. Отношение россиян к Западу

ду включает не только актуальный опыт. Это культурный феномен, в основе которого лежат исторически сложившиеся архетипы национального сознания. Отношение российского общества к Западу амбивалентно, складывается под влиянием многих противоречивых факторов. В массовом сознании Запад имеет множество образов. С одной стороны, Запад выступает союзником, партнером, носителем определенных ценностей, культурных норм, источником новых стандартов. С другой стороны, Запад воспринимается как враг, угрожающий независимости России, одной из наиболее популярных фобий массового сознания является страх перед засильем иностранного капитала, ведущего к разграблению богатств России.

В рефлексивах, отражающих свое отношение к Западу, обычно Запад идентифицируется с Америкой. Противоречивость отношения к Америке покажем на ряде типичных контекстов. С одной стороны: *заветное слово «Америка»; ласкающее наш слух слово «Америка»; звучное, легкокрылое слово «Америка»; сладкое слово «Америка»; волшебные слова «Америка» и «Соединенные Штаты»; для него Америка и демократия — синонимы; слово «Америка» имеет завораживающий оттенок; Америка, на которую все молятся; Слово «независимость» ассоциируется со словом «Америка».* С другой стороны: *Америка — это грязный Гарри и мировой жандарм в одном лице; Америка ведет себя (после устранения своего конкурента — СССР), как лиса, забравшаяся в курятник; меня бесит от слова «Америка»; при слове «Америка» они просто жаждут схватиться за пистолет; я слово «Америка» произносил и произношу без романтического придыхания; каждый раз, когда я слышу слово «Америка», волосы у меня на затылке встают дыбом и я готов драться; Он знает, что на словах Запад за демократию и право, а на деле — это хищник, проводящий грязную империалистическую политику.*

Отношение к Западу в современных условиях носит динамический характер [см. об этом: Лапкин, Пантин, 2001]. В 1980-е годы политический и экономический курс реформирования страны ориентировался на западный опыт и западную модель развития. Общественные настроения, связанные с Западом, носили восторженный и во многом некритический характер. Но стремление к скорейшему приобщению к благам западного общества осталось нереализованным.

В 1990-е годы наступило массовое разочарование во вчерашней массовой эйфории, произошла переоценка Запада: *Сейчас идет период «отрезвления», огульное возбуждение пополам с восхищением на слово «Америка» прошло* (Известия, 1994, окт.); *Слово «Америка» уже успело потерять большую часть своей магии и превратиться в обозначение вполне реальной страны* (АИФ, 1995, янв.). На это повлияли многие факторы, в частности «последствия гайдаровских реформ, уход с политической и социальной авансены интеллигенции» [Дубин, 2000, 25].

Как пишет Дж. Боффа, «есть много иррационального в этой реакции людей, чувствующих себя обманутыми и оскорбленными. Но известно, сколь много могут значить коллективные настроения, даже если они неблагоприятны. Действительно, Запад несет немалую долю исторической ответственности за нынешнее положение дел в России. Но верно и то, что после развала СССР.. основные державы мира стремились к утверждению в России стабильности, даже если бы она строилась на неоавторитарных тенденциях в ущерб демократическим идеалам» [Боффа, 1996, 280—281].

Активизация противопоставления Россия — Запад создала условия для усиления самозамыкания, для выдвигания идеологемы «особого пути» России, восходящей к российским евразийцам, почвенникам и славянофилам XIX века. В общественном сознании стала артикулироваться идея принадлежности России к Востоку. Но этот восточный разворот происходит на фоне массовой ксенофобии по отношению к исламскому миру, к народам Северного Кавказа, дискриминационного отношения к мигрантам из Китая и Вьетнама: *Я употребил слово «Восток» вместо слова «враги» не случайно* (КП, 2001, окт.).

Активизация территориального компонента в понятии *Восток* осложняется идеологической наполненностью этого концепта. Дело в том, что концепты «Запад» и «Восток» по вине двух противопоставленных государственно-идеологических систем в мировом массовом сознании получили имплицитный оценочный компонент. Возникли определенные стереотипы восприятия Запада и Востока. Восток ассоциировался с советским государством, которое характеризовалось духовным и физическим насилием, внешней монументальностью и всеобщей отсталостью, выдаваемой за прогресс.

Эти черты контрастировали с культурой Запада, что привело к тому, что Запад воспринимается как синоним культуры, свободы, добра, порядочности, а Восток — синоним отсталости, тупого авторитаризма, всюду присутствующего бессмыслия, зла. Скрытое ощущение западного превосходства и восточной неполноценности в трансформированном виде присутствует и в русском массовом сознании: *Советское слово «Восток»; Слово «Восток» имеет скрытый подтекст чего-то уничтожительно-негативного, а Запад — чего-то позитивного; Долгое время слова Восток — Запад воспринимались как оппозиция; Слова «Восток» и «восточный» часто употребляются как синонимы слов «Россия» и «русский»; Читатель воспринял бы слова «Запад» и «Восток» как аллегорию идеологической войны (электронные СМИ).*

Появление идеи «особого пути» России является своеобразным механизмом защиты от чувства собственной «ненадежности», податливости по отношению к «отрицательному воздействию» Запада, от чувства «опоздавших», для которых западный образец недостижим [Дубин, 1999]. Все это создает неопределенность в нынешнем состоянии массового сознания России.

С падением социализма распалось биполярное деление мира. Чтобы человечество осознавало мир мультикультурным и мульти-полярным, должна произойти идеологическая нейтрализация этих концептов. Мир должен основываться на равноправии разных регионов. Но эта идея пока живет в сослагательном наклонении. Достоинство идеологемы «особого пути» видится в том, что она предполагает сосуществование различных, а иногда и полярных точек зрения: наряду с радикальным западничеством допустима умеренная позиция, сочетающая западные модели общественного устройства с традиционно русскими и советскими. Амбивалентность современного общественного сознания убедительно показала акция «Русские рейтинги», которую провела газета «Московский комсомолец» в конце 2000 года, на рубеже столетий. Главная цель акции — понять для себя, чем был для нас XX век. Один из вопросов, задаваемых читателям, — сформулировать национальную идею XX века. Вот результаты первых четырех мест в десятке самых популярных ответов: 1. *Курсом реформ — к капитализму — 23,6 %;* 2. *Социализм с человеческим лицом — 22,3 %;* 3. *Самодержавие.*

Православие. Народность — 9,95 %; 4. *Бей чужих, спасай Россию!* — 8,9 %.

Абсолютизация «своего», русского приводит к отверганию всего иноязычного, отсюда современный метаязыковой дискурс включает отрицательные рефлексивы в адрес иноязычных слов. Отношение к чужому, заимствованному слову зависит от многих этно- и социолингвистических факторов, которые сопровождают функционирование «чужих» слов в речи [см. об этом: Крысин, 1996, 142—161; Костомаров, 1999, 110—144]. Анализ дихотомии (о слове) *родное* (свое) — *иностранное* (чужое) в современной речи показывает постоянную оценочность этого противопоставления. Характер оценки «чужого» слова зависит

1) от временного среза: толерантное отношение к заимствованному слову в годы перестройки — сдержанно-критическое — расцвет русской американомании (1990-е), которая проявляется в установке на некую ассимиляцию с американской культурой, ср.: *Долго спорили, нужно ли внедрять чужое и малопонятное слово «фермер». Не лучше ли привычное — крестьянин. Спросили деревенский народ. И они все хором: только фермер! Это свободный человек* (Словарь перестройки, 1992); *Новые, незнакомые, а потому заманчивые слова — конвертируемость, конвергентность, плюрализм, конверсия, инвестиция, ротация* (Там же); *Я сам — фермер (слова лучше не нашли)* (Отечество, 1992, дек.); *Я не хочу, чтобы везде слышалось «вау» и «о'кей». Учительница русского языка однажды знает что сказала? «Сейчас мы тебя всем классом отхепибёздим»* (АИФ, 2002, март); *В 1992 году повышение цен назвали не «повышением». Даже не «освобождением». Назвали «либерализацией». А что? Звучит красиво, по-иностранному. Ничего не говорит ни уму ни сердцу. И далекое, как Америка* (Там же, июнь, 98); Предложение В. Жириновского: *вместо иностранного слова «президент» ввести «Верховный правитель России»* (ОРТ, Время, 10.09.02);

2) от политических взглядов на происходящие изменения: симпатизирующие Западу и принимающие западные ценности — негативно относящиеся к Западу, считающие, что Запад разрушает русские традиции: *Он любит поиграть иностранными словами, в письма ненавязчиво их вставлять* (МК-Урал, 1998, сент.); *Сверхмодная американская подпитка из иностранных слов в рекламных текстах очень нравится молодым* (КП, 1999, янв.);

Collaboration... Я очень люблю это буржуазное слово. Уж не знаю, чем оно мне нравится, наверное, все-таки не фонетическими особенностями, а значением, смыслом (Там же, 2000, май); ...Посткоммунистическое и постперестроечное время. Не люблю я эти «пост» — добавки, коверкающие наш язык, они ассоциируются у меня с постами, на которых ведется сторожевая служба на отнятой у нас территории (Русь державная, 1997, № 12); Космополиты, невежды и чужеземцы по дурости и по злому умыслу засоряют великий русский язык такими ничемными и бессмысленными словечками, как «хобби», «консенсус», «импичмент» (Истоки, 1992, № 6).

Самый экспрессивный запал оппозиционных оценочных контекстов направлен на телевидение, где проявление западничества как главного корня зла для русского выражено в максимальной степени: *Антирусское телевидение с его нахальными русскоязычными ведущими, с его глумлением над русским мужиком, над русским языком и здравым смыслом; Нерусские дикторы и телеведущие, говорящие с акцентом, картаво, гнусаво и шепеляво; Дикторы машут ручкой и нагло говорят «пока», как будто все зрители их собутыльники; Они злоупотребляют иностранными словами и коверкают русский язык.*

Агрессивна характеристика телепередач российского телевидения: *Антирусская передача «Графоман»; созданная для подкормки русскоязычного телевидения премия с нерусским названием ТЭФИ; Передача «Подробности», где подробно лгут на Россию; Передачи «Тема», «Час пик», «Колесо истории» и разные «Клубы», в которых можно безнаказанно, под видом дискуссии оскорблять русского человека; Это похабные шуточки «Времечка» с его клеветой на все истинно русское; Это и советские русофобские фильмы и западные фильмы с ненавистью к русским, таковы же фильмы и новых нерусских режиссеров; Русский! Выключи телевизор!*

Но выделение только бинарной оппозиции западников — антизападников представляется грубым инструментом, не позволяющим выразить разнообразную палитру взглядов россиян на заимствованное слово. Общественное мнение дифференцированное. Оно представляется как континуум, на одном конце которого находится прагматическое осознание полезности и целесообразности использования заимствования, которое становится элементом собственной культуры, на другом конце — ощу-

щение чуждости заимствования, являющегося заменой собственной ценности. Своеобразное ощущение заимствованного слова, по мнению И. Жельвиса [1990, 44], восходит к боязни всего чужого как следствию определенных первобытных ощущений. С явлением заимствования взаимодействуют прагматические категории оценки, эмоциональности, экспрессивности. Чужое всегда воспринимается как угроза своему. Эта оценочная имплицитность восприятия заимствованного слова находит выражение в контекстах в защиту родного языка как фактора национальной общности, как формы «защитного национализма» [Дробижева, 1998, 49]: *Помните, большевики раньше говорили «квасной патриот»? Я теперь с гордостью могу сказать, да, я — квасной патриот, потому что квас лучше и здоровее множества других напитков. Я могу сказать, что я — пельменный патриот, потому что пельмени лучше гамбургеров. Эти слова мы употребляли в уничтожительном смысле, а сейчас надо менять язык* (Русь державная, 1997, № 9); *Весь этот «новояз»: брифинги, лизинги, холдинги, ар-мреслинги, усечения типа Влад, Стас в официальной речи, отбрасывание отчеств на американский манер даже в именах первых лиц государства — все это ведет к утрате своего языка, культуры и национального самосознания. Борьба с американизмами становится государственной задачей выживания русской цивилизации* (Русский вестник, 1996, № 18—20); *Иностранные слова уродуют родной язык мыслей* (КП, 2000, май).

Личностная идентификация современного российского человека. Наряду с глобальными идентификациями (идеологическими, гражданскими, этническими), в современной России возрастает значимость более конкретных, индивидуальных — специфически-объективных (*беженец, безработный, бомж*) и субъективных личностно-ролевых (*работяга, труженик, творец, обыватель, патриот* и т. д.) идентификаций. Этнопсихологи и этносоциологи отмечают общую тенденцию изменения ценностей в модернизирующихся обществах «от коллективизма к индивидуализму, означающих снижение влияния группового членства на жизнь индивида и усиления влияния его индивидуальных целей и потребностей» [Лебедева, 2002, 15].

Внутренняя психологическая и когнитивная работа, связанная с преодолением «обезличения», присущего для советской системы,

где множество «я» всегда сливалось в коллективное «мы», заставляет решать проблему поиска наиболее адекватной самоидентификации. Этот процесс идет в направлении большого разнообразия, освоения новых ценностных установок, принятия амбивалентности, большей артикулированности оценок. В категорию «личностного статуса» входит сам субъект с его ценностными предпочтениями.

Социальная и индивидуальная идентичность тесно связаны между собой. «Каждый человек периодически оказывается перед проблемой: включиться в новую социальную ситуацию и при этом “не потерять” себя, свою личностную целостность и стабильность. Возможен и другой вариант: осознать и изменить свое Я под влиянием новых реалий, которые исходят из социальных, экономических, нравственных перемен жизни» [Иванова, 2002, 136]. Любая конкретная личность совмещает в себе две грани: человека частного и человека социального [см. об этом: Солганик, 2000, 13—15]. В поисках человеком смысла своего бытия в новой социальной реальности обе грани личности являются ведущими и определяющими, наделяя личностным значением социальные категории. Мы субъективны и в своем субъективном свободны, но не свободны от того, что нам диктуют культура, менталитет народа и конкретная эпоха.

Две ипостаси самоконцепции очень ярко проявляются в современной русской речи. Возможность артикуляции личностного осознания социальных категорий — это черта современного языкового существования. Продуктивное производство рефлексивов с вербально выраженными полярными мнениями и оценкой *я люблю (мне нравится) это слово — я не люблю (мне не нравится) это слово* подтверждает признаки оздоровительных процессов, происходящих в современном российском сознании.

Индивидуальность осознания содержания концепта особенно ярко проявляется при личной интерпретации ключевых, культурно значимых концептов, обладающих абстрактной семантикой, либо при освоении новых смыслов концептов, актуализированных в новой социальной реальности. Именно на этих участках когнитивной деятельности проявляет себя личностный критерий концептуального напряжения. При этом постоянная работа «по согласованию мнений» [см.: Касьянова, 1994, 323] организует вокруг

себя неформальные отношения, свободно возникающие социальные структуры.

Обратимся к первой группе концептуальных рефлексивов, обсуждающих личностный смысл обобщенных концептов.

В переломные периоды истории человек всегда обращается к осмыслению понятий, имеющих вневременной характер: *смысл жизни, счастье, любовь, успех, слава, судьба, доброта, справедливость, терпимость, совесть, душа, милосердие, жизнь* и др. (таков перечень самых обсуждаемых концептов по данным нашего корпуса метаязыковых высказываний). Особенностью индивидуального осмысления абстрактных понятий является наполнение концепта личностным смыслом. Личностными могут быть когнитивные слои с чувственно-наглядной конкретностью, индивидуальные образы-представления: *Каково же было удивление жильцов, когда в требованиях к всемирному Гражданству они увидели себя. Требование было незатейливым — жить по совести. Что в переводе на язык шестнадцатизэтажного дома означало сажать деревья и мыть лесенки в подъезде* (МК-Урал, 1998, дек.); *И тогда я понял, что значит слово «титан». Ростропович — последний титан нашего века. Он титан в трех лицах — и в музыке, и в риторике, и в застолье — это я видел своими глазами. И потому тройне жаль, что мы не попали сегодня в Милан и не выпили с ним. Ты бы услышал великие байки великого человека!* (АИФ, 1999, нояб.); *На подводных атомоходах типа «Курска» 9-й — самый тесный отсек. Тот самый, в котором собрались 23 (или больше?) уцелевших моряка. Лучше бы им погибнуть сразу, как поначалу утверждали адмиралы, когда стало понятно, что людей уже не спасти. Но они еще жили. Какое страшное в данном случае слово «жизнь»! Мертвая лодка, мертвое море над головой, никаких шансов на спасение, а они все еще живут в своей братской могиле — заживо погребенные. День, два, три?.. Кто-то в отчаянии пытался бить кувалдой в толстые стальные стены субмарины, взывая к миру с криком: «Спасите наши души!»; кто-то, расходуя последние крохи сил, пытался сорвать разбитыми в кровь пальцами замки на крышке заклинившего спасательного люка. Многие же просто не могли двигаться и медленно прощались с жизнью* (МК-Урал, 2001, окт.); *Судьба — это река жизни. У каждой реки есть темный и светлый берег. Я могу пристать к тому или другому*

берегу. Это осознанное право выбора — как жить, во имя чего жить (Там же, 1999, февр.).

Специфика абстрактного концепта такова, что он позволяет на уровне индивидуального осмысления содержания конкретизировать отвлеченные когнитивные признаки в виде интерпретационного поля утверждений, вытекающих из менталитета конкретной личности. Эта интерпретативная часть наполняет более конкретным смыслом абстрактную идею. Находясь на периферии концепта, интерпретационное поле абстрактного концепта, содержащее результаты умозаключений различных людей, создает наполнение конкретикой отвлеченной идеи. И эта периферийная часть становится в определенные моменты актуализированно базовой. Периферия концептуального поля, интерпретационная часть, представляет собой материал для размышления, для развития абстрактного концепта. Рассмотрим в качестве иллюстрации интерпретационную часть концепта «счастье», представленную в виде ответных рефлексивных высказываний, полученных на вопрос «Что такое для вас слово *счастье*?» Она может быть распределена на несколько смысловых зон:

1. Осознание возрастного понимания счастья: *Помните, Пушкин сказал: «Нет счастья, есть покой и воля». Я вас разочаровала? Понимание спокойствия приходит позже, конечно, — в молодости хочется страстей безумных... А счастливым можно быть в любое время — в несчастной любви, в счастливой и даже вовсе вне состояния любви, просто мы не умеем быть счастливыми. Не понимаем, что достаточно быть способным радоваться любимой работе, весне, новому солнечному дню — и ты счастлив! У Ахматовой есть такие строки: «Я научилась просто жить...» Я тоже научилась. Для меня счастье — когда удается что-то открыть, украсить душу чем-то добрым, победить свои грехи и свою самость* (МК-Урал, 2002, июнь);

2. Суждения о национальном характере концепта: *Слово «счастье» — опасное слово. Помню свои беседы с Тарковским в Америке. Мы говорили о том, что слово «счастье» в разных языках имеет разное значение. Например, у воздушной компании «Олимпик» есть лозунг «Все здесь счастливы». Андрей спросил: «Как можно говорить, что счастлива вдова, летящая этим самолетом: счастье по-английски значит, что кофе хороший, кресло удобно и температура приятна... Оно слишком связано с рекламой. Для славянина счастье —*

эйфория, или покой, или только надежда, тогда и страдая можно быть счастливым человеком (АИФ, 2000, авг.).

3. Привязка счастья (чувства полного удовлетворения) к индивидуальным конкретным ценностям: *Я счастлива, ведь я умею любить...* (Там же, 2002, апр.); *Счастье — это моменты, связанные с моим мужем, матерью, дочерью, моими внуками... Людьми, которых я люблю и которые мне платят тем же* (АИФ, 2002, май); *Счастье — это когда здоровы родные и наша семья в полном порядке; Счастье — это двести километров в час по прямой (во всех под-кожных смыслах); Счастье — это любить и быть любимым, дружить и быть дружимым* (Телемир, 2002, окт.).

Последняя смысловая зона представляет тот исследовательский материал, который позволяет выделить ментальные особенности национального характера.

Изменение своего «я» под влиянием социальных условий — еще один важный аспект самоидентификации российского гражданина в современных условиях. Изменение ценностных установок общества происходит прежде всего на уровне изменения ценностной картины мира индивида. С распадом советской системы человек, освобожденный от старых политических и идеологических облачений, остался связанным традициями и стереотипами советского и досоветского происхождения и был вынужден в какой-то мере самостоятельно ориентироваться в изменившихся обстоятельствах, определять свое отношение к ряду ключевых концептов, круто изменивших свой оценочный статус.

Проследим происходящие на наших глазах изменения в русском языковом сознании по отношению к концепту «богатство» и его материальному эквиваленту — концепту «деньги». Амбивалентное отношение к названным концептам в современном российском сознании свидетельствует о личностном осознании актуализированных понятий.

Феномен богатства в его философско-экономическом смысле всегда осознавался в тесной связи общественно-экономического бытия и ценностно-целевого отношения человека к формам обладания и способам обретения материальных ценностей [см. об этом: Ветошкин, Стожко, 2001, 276]. Многоплановость понятия предполагала невозможность осмысления концепта только в пределах экономического измерения. Философская эволюция пред-

ставлений о богатстве осмысляет субстанцию богатства не только в предметно-вещном наполнении (обладание большим имуществом, деньгами), но и духовно-нравственном состоянии (содержащий в себе много ценных качеств). Сошлемся на известное высказывание Сократа при виде коллекции дорогих вещей: «Сколько, оказывается, в мире вещей, в которых я абсолютно не нуждаюсь».

Исторически сформировалась идеологическая антиномия рынка, выстроенного на законах купли и продажи в денежном измерении, и приоритета духовно-ценностного отношения к жизни, пренебрежения к предметно-вещному миру богатства. Метафизическая раздвоенность концепта *богатство* нашла свое отражение в русском самосознании. Исследователи русского национального характера отмечают типичное отношение русских к богатству: «Есть у нашего народа черта, которая ставит в тупик многих экономистов и социологов — дух нестяжательства, выражаемый в отсутствии стремления к материальному богатству, накопительству» [Платонов, 1991, 316]. Другой духовной идеей русских стала совместная работа. Личное богатство — это собственность, только общее богатство — достояние. Оно достойно человека. Человек, создающий богатство для всех, — достойный человек. К основным ценностям русского этноса относят слабую ориентированность на материальные блага [см.: Касьянова, 1994, 271], честную бедность как нравственное начало, которое противопоставлялась нечестному богатству [см.: Сикевич, 1996, 102], представление об аморальности богатства. «К примеру, о разбогатевшем человеке в США американцы думают — «умный, смог заработать и разбогатеть», в России же часто думают — «жулик, нечестно разбогател» [Стернин, 2000в, 109].

Сложившиеся архетипы национального отношения к богатству закрепились в советской действительности. Советское государство с общепринятым пайком распределительной системы принудительно поддерживало отказ от проявления честолюбия, соревновательности, парализовало достигательный комплекс мотивации успеха. Одновременно эти структуры представлений формировали негативную солидарность, которая проявлялась в зависти к богатым, в сопротивлении любым стимулам, направленным на интенсивность достижений. Анализ результатов мас-

совых ассоциативных экспериментов показал, что современных русских характеризует так называемое «неэкономическое мышление» [Уфимцева, 2000, 149]. Ассоциативное поле стимула *деньги* показывает, что *деньги* — *зло, грязь, дрянь, мусор*, с одной стороны, и *золото, счастье, жизнь, власть и свобода, радость*, с другой. Из 537 слов-реакций на стимул *деньги* только 9 реакций связаны с понятием «работа». Наиболее типичное действие, совершаемое русскими с *деньгами*, — это *тратить* (259), *платить* (149), *получать* (109). В качестве реакции на слово *вор деньги* встречаются 5 раз, а на слово *рабочий* — только один раз [см.: Там же, 149].

Современная российская действительность, повернувшаяся к миру западных ценностей, потребовала существенной перестройки прагматических компонентов анализируемых концептов. В обществе возрастает роль ценностей западноевропейского типа — работы, успеха, карьеры, богатства, прибыли. Прививается приверженность к индивидуальной собственности.

В условиях перестройки мировоззренческих ценностей особенно значимым становится мнение человека с высоким личностным статусом, обычно хорошего профессионала. Доминирующей тенденцией остаются ориентации на личностный статус в выборе референтных личностей. Поэтому в процессе ориентации в новых социальных условиях мы прислушиваемся к мнению авторитетных людей.

Личностные структуры существуют параллельно с социальными группами. «Такая установка понятна для человека, живущего в нашей культуре: даже в формальных структурах мы ищем не правило, а человека» [Климова, 2002, 92]. К личностным структурам относится и мир рядовых граждан, близких по общности интересов людей: друзей, коллег, соседей, тех, кто рядом с нами, тех, кого мы понимаем [см.: Там же, 86—87].

В подходе к новым ценностям людей с личностным статусом можно разбить на несколько групп. Следующая за новой идеологией, примыкающая к ней часть общества — это тип *активных личностей*, логично мыслящих, обладающих высоким интеллектуальным статусом, с постоянным стремлением адаптироваться к изменениям в обществе. Кроме этого типа социокультурного менталитета, в российском обществе выделяются *игроки*, которые видят кризис современного общества в

утрате духовно-нравственных начал и ратуют за возвращение к традиционным духовным и моральным ценностям. Третий социокультурный тип — **м а т е р и а л и с т ы**, главная цель которых выжить с помощью государства и системы социального обеспечения. Каждый социокультурный тип дает личностную интерпретацию анализируемым концептам.

Материалисты и ригористы стремятся к сохранению узально сложившегося смысла концептов. Приведем типичное рефлексивное высказывание, демонстрирующее традиционное осмысление материалистом богатства и денег: *Мне 55 лет, и я ощущаю себя человеком застоя, испытываю настоящую ностальгию по дефициту. С жиру беситься не надо было! Получил по два талона на сахар, масло, макароны — и не надо биться над вопросом: «Что же приготовить сегодня на ужин?». Было у всех по 120 рублей, и ясно — на что потратить. А теперь смотришь, девчонка лет 18 — за рулем какой-нибудь иномарки. Понятное дело, не сама накопила. У нее с малолетства извращенное понятие, что такое деньги. Быстрые, легкие, грязные деньги. Появилась возможность иметь их — и страна полетела в тартарары. За границей давно уверены, что у нас преступники все — от президента до владельца коммерческой палатки. Нам это надо? Мне — нет. Мне — хлеб за 20 копеек, зарплату 120 рублей и чтобы спать спокойно (АИФ, 2000, июнь).*

Ригористическое начало есть во многих рассуждениях современников, принявших современные «правила игры»: *Делать деньги и одновременно обладать душой невозможно. Я — русский человек, я люблю Россию. Страна пребывает в трагическом состоянии. У нас нищая нация. Кучка богатых — это лишь пыль. Я прекрасно отношусь к деньгам, но нельзя заниматься только деньгами, это не по-русски (Пороховщиков, ОРТ, Час пик, 15.01.97); Русскому человеку должно чего-то не хватать. Деньги — это не по-русски. Деньги — не главное. Положительная оценка дается человеку, когда говорят: человек не хотел на этом заработать, но у него получилось (В. Сюткин, ОРТ, Час пик, 17.12.96); Опять-таки для человека, прожившего при Сталине, не совсем понятно, что такое деньги. И как их можно делать, кроме как заработать (А. Битов, АИФ, 1999, окт); Деньги стали реальным наркотиком новой России. Многочисленные убийства, которые не раскрывались, семьи, которые распались, друзья, которые нанимали киллеров, чтобы убрать дру*

друга, — все это совершалось ради денег (В. Тодоровский, АИФ, 2002, май).

Переоценка концептов в сознании активистов, людей «с базовым доверием к миру», носит направленный характер: происходит актуализация признаков, не свойственных национальному мировосприятию:

— гедонистическое отношение к обеспеченной жизни: *Если ты один раз попробуешь мясо настоящего краба, ты никогда не сможешь есть крабовые палочки. Почувствовав вкус к той жизни, которую могут обеспечить вам деньги, вы уже никогда не будете способны вернуться на ее нижние ступени* (П. Дашкова, АИФ, 2001, окт.);

— редукция идеологического компонента в структуре концепта: *Деньги в сознании русского человека — это зло, но при этом зло вождеденное; сознавая, что мы вождедеем дурного, мы стыдимся, убеждаем себя и других, что вовсе мы этих денег не хотим, что это просто так, деваться некуда, а так-то мы ни-ни. Очевидно, что это нездорово. Ведь деньги сами по себе не плохи и не хороши, они всего лишь общее мерило. Мне кажется, что все это прекрасно понимают про себя, просто говорить вслух добрые слова «про это», особенно в литературе, разучились* (Т. Толстая, АИФ, 2002, янв.);

— формирование достижительных мотиваций делового успеха: *Сдается мне, что пора перестать ненавидеть благополучных людей и начать стремиться самим ими стать. Иначе получается, как в том старом анекдоте: «Петербург, 1917-й. Пожилая внучка одного из декабристов посылает горничную узнать, что за шум. «Революция, барыня!» — «Как замечательно! Мой дед отдал свою жизнь за революцию. Чего они хотят?» — «Чтобы не было богатых!» — «Как странно! А мой дед хотел, чтобы не было бедных...»* (МК-Урал, 1999, июнь); *Каждый человек должен заработать на достойную старость. Надо рассчитывать на себя* (Т. Полякова, НТВ, Принцип домино, 06.10.02);

— деньги — мерило полезных дел: *Деньги — это инструментальный осуществления мечты. После осуществления «главной» мечты — съездить в Турцию — задумываешься, что бы сделать полезное. Чем больше чувствуешь эту жизнь, тем больше хочется осуществить какой-нибудь хороший проект* (М. Гананольский, НТВ, Принцип домино, 06.10.02); *Я наконец-то разобралась с этим понятием —*

«деньги». Как ни тухло это звучит, деньги — эквивалент товаров и услуг. К ним никогда нельзя относиться серьезно. Я нашла им правильное применение — вкладываю их в новые работы (Земфира, Телемир, 2002, апр.)

— деньги — синоним счастья: Люди, которые имеют деньги, — счастливы. Я не верю в счастье без денег. Для каждого возраста есть разная потребность в деньгах (Т. Полякова, НТВ, Принцип домино, 06.10.02);

— деньги — эквивалент духовных ценностей; здоровья: Раньше говорили: здоровье за деньги не купишь. А сегодня понимаешь, что и здоровье можно купить за деньги. Кто-то деньги тратит на собственное здоровье. Вкладывает их в экологически чистую пищу, целебные грязи, минеральные воды (Л. Лузина, НТВ, Принцип домино, 06.10.02); свободы, уверенности: Деньги — это большие возможности. Деньги — это свобода. Они нужны для того, чтобы чувствовать себя уверенно. Чтобы с официантами разговаривать, как с официантами, а не благодетелями, а с таксистами — как с таксистами, а не с «шефами». Чтобы можно было сказать, устало вздохнув: «Не в деньгах счастье» (Т. Полякова, НТВ, Принцип домино, 06.10.02); таланта: Почему первая книга рассказов о деньгах и русских предпринимателях называется «Талан»? Это старинное слово тюркского происхождения, означающее «удачу, судьбу, барыш, прибыль», мало кому известно в наши дни и мало кем употребляется правильно. В дореволюционной литературе слово «бесталаный» означало «невезучий», в XX веке стало употребляться как синоним слова «неталантливый». Между тем «талант», то есть «одаренность», происходит от греческого слова, обозначающего меру веса (видимо, серебра), то есть деньги. Можно сказать, что талант — это капитал, а талан — доход, талант — основа, а талан — счастливое везение. Зарыв талант, не получишь талана (Т. Толстая, АИФ, 2002, янв.).

Личностное интерпретационное поле концептов *богатство* и *деньги* динамично. Столкновение противоречивых тенденций в рамках одного концепта, нарушение общепринятых табу на значимость богатства и денег в структуре национальных ценностей влияет на нравственный климат общества. Сложившаяся ситуация мотивирует активистов выработать комплекс идей, уравновешивающих аксиологические веса. В структуру концепта вво-

дятся положительные ценностные категории, сформированные западным типом экономического мышления [об анализе образа денег в языковом сознании англичан см.: Уфимцева, 2000, 149—150]. На вопрос телеведущих Т. Поляковой: *Какую цену Вы готовы заплатить за деньги?* — писательница отвечает: *Я не хочу платить ни семьей, ни друзьями. Не хочется подличать, не хочется прогибаться. Хочу зарабатывать с достоинством, честно;* «...Сейчас мы начинаем подходить к тому моменту, когда в России тема богатства и бедности перестает быть иглой, на которой сидит общество и вокруг которой все крутится. Лет десять назад каждый мальчик сказал бы, что хочет быть бизнесменом или бандитом (что, в принципе, воспринималось как одно и то же). Сегодня каждый мальчик понимает, что бандитом быть плохо, что это непрестижно, опасно и общество их отторгает, а для того, **чтобы стать банкиром, надо очень долго и серьезно учиться. Что надо начинать с нуля и серьезно работать**» (В. Тодоровский, АИФ, 2002, май). В мировоззрении индивида устанавливается иерархия личностных ценностей, в которой богатство не всегда занимает высшую ступеньку. Приоритетной ценностной установкой считается любимое дело, не приносящее пока в современном мире достаточное денежное обеспечение: *Я мог бы быть богатым человеком — богатым в самом серьезном смысле этого слова. Но я сделал свой выбор и ничуть об этом не жалею* (К. Райкин, АИФ, 2002, июль); *Почему я должен производить впечатление богача? Я же не бизнесмен. А обо мне нужно судить не по квартире или машине, а по фильмам, которые я снимаю или продюсирую. Кино не является сегодня местом, где можно легко и быстро разбогатеть. Деньги в кино не являются выражением успеха. Людям надо заново внедрять в сознание мысль, что русское кино — это что-то такое, за что стоит заплатить деньги* (В. Тодоровский, АИФ, 2002, май).

ВЫВОДЫ

Подведем итоги нашим наблюдениям. Инновационная деятельность современного российского общества сопровождается интеллектуальной поддержкой либеральной части общества, выраженной в стремлении личностного осмысления актуальных для новей-

шего времени концептов, которое получает свою метаязыковую вербализацию.

В ходе наблюдений было выделено три зоны концептуального напряжения при освоении новых смыслов обыденным сознанием: зона ликвидации лакунарности, зона формирования новых концептов, зона актуализации концептов, наполняемых новыми смыслами. В последней зоне смысловое наполнение может носить характер смысловой деривации, смысловой модификации, реструктуризации смысловой структуры, стихийного смыслового дрейфа и ресемантизации концепта.

Современные россияне переживают потерю тождественности в результате отречения от советского прошлого. Потребности социальной идентификации личности в новой реальности обусловили концептуальное напряжение, вызванное ксеноразличительным и личностным критериями. Современное языковое сознание постсоветского человека амбивалентно, потому что в нем синхронно отражается весь спектр происходящих политических событий, получающих вербальное отражение в массово-непрофессиональном толковании. Особенно значимой становится этническая принадлежность человека как реакция на нестабильность современного общества. Распространенность разнообразных этнически выраженных фобий создает реальный, хотя и пассивный потенциал межнациональной отчужденности, что фиксируется в метаязыковом дискурсе. Негативное противостояние «чужому», «иному» возникает при неясной выраженности позитивных факторов «своего». Поиски позитивного начала реализуются в ностальгии по прошлому.

Адаптация к новой реальности протекает неравномерно. Мировоззренческая неоднородность породила еще одно расслоение общества — социально-идеологическое. В период агрессивного проявления рефлексивной деятельности оппозиционной части общества важной становится **пр о б л е м а т о л е р а н т н о с т и**, предполагающая формирование конструктивного диалога, направленного на постижение образа мысли оппонента, принятия его таким, какой он есть.

Национальное разномыслие, вызывающее концептуальное напряжение, может проявляться не только на уровне социально-речевой, но и на уровне личностно-речевой ориентации. Социальные процессы, происходящие в современной России, от-

ражаются в когнитивной деятельности индивида, либо приводя к кризису традиционных программ деятельности человека, к утрате ориентиров относительно иерархии ценностей, либо способствуя обретению нового социального «я». Рефлективы отражают динамический процесс адаптации индивида к новой действительности в виде неосознанной тенденции и внутренней готовности к новому, частично вербализуемой в метаязыковой деятельности.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Яркой приметой современного русского языкового существования, протекающего на фоне глубоких изменений в социально-экономической жизни страны, стала обостренная рефлексия говорящих, которая, в частности, проявляется в свободном выражении своей оценочной позиции в форме метаязыкового высказывания, или р е ф л е к с и в а.

Метаязыковое сознание, являясь одним из компонентов языкового сознания, представляет собой сложное многоуровневое образование, связанное как с концептуальным миром человека, так и с его поверхностной, «овеществленной» языковой структурой.

Изучение феномена метаязыкового комментирования как экспликатора когнитивных и коммуникативных процессов, протекающих в речемыслительной деятельности индивида, позволило сформулировать факторы, влияющие на вербализацию скрытой работы «языка мыслей».

Предложенная нами типология критериев коммуникативного и концептуального напряжения является интерпретационной схемой для понимания природы гетерогенного корпуса метаязыковых высказываний, средством типологического описания материала и последующего сравнения с аналогичными конструкциями. Данная аналитическая схема основана на выявлении условий артикуляции метаязыковой деятельности, протекающей обычно на бессознательном уровне.

В основе базовой функции метаязыкового сознания лежит механизм языкового контроля, обеспечивающий автоматизм мыслительной и речевой деятельности коммуникантов в случае соблюдения нормы и включение сознательных усилий в случае нормативных нарушений и напряжений. Коммуникативное и когнитивное напряжения, возникающие в речемыслительной деятельности, вызывают метаязыковую вербализацию. Рефлексивы как единицы вербализованного метаязыкового дискурса являют-

ся маркерами толерантного когнитивно-речевого взаимодействия. Рефлексивные метасензоры проявляются обычно в виде проективной реакции, предупреждающей сбой в речемыслительной деятельности.

Спецификой метаязыковых знаний является их одновременная принадлежность к языковым и когнитивным знаниям индивида. Поэтому нами выделено два функциональных типа рефлексивов: 1) рефлексивы, реагирующие на коммуникативное напряжение и осуществляющие контроль на речепорождающем уровне; 2) рефлексивы как реакция на концептуальное напряжение, возникающие на уровне превербального этапа формирования речевого высказывания. Схема имеет измерение в глубину: на поверхностном уровне мы встречаемся с коммуникативными рефлексивами, на глубинном — с концептуальными.

Напряжение, возникающее в речемыслительной деятельности индивида, возникает по причине нарушения автоматизма этой деятельности. Сигналом к растормаживанию автоматизма речи является отступление от стандарта, от соответствия норме. Движущей силой вербализации метаязыкового сознания являются ненормативные факты языка. Для типологического описания ненормативных когнитивно-речевых зон, получающих метаязыковой комментарий, использовались критерии напряжения, выделенные нами на основании факторов, которые создают коммуникативное и когнитивное напряжения в речемыслительной деятельности. Нами выделено четыре основных критерия речевого напряжения: динамический, стилистический, деривационный и личностный. Отступлением от нормы, обеспечивающей автоматизм речевой деятельности, является все новое, стилистически маркированное, сложное, отмеченное индивидуальным речевым творчеством. По набору признаков напряжения все объекты метаязыковой рефлексии могут быть разбиты на 8 классов нормативности. Эти классы имеют градуированный характер, и можно говорить о разных степенях напряжения или нормативности.

Критерии коммуникативного напряжения коррелируют с концептуальными. В когнитивной деятельности очаги концептуального напряжения обуславливаются динамическим, деривационным, ксеноразличительным (социальным) и личностным критериями.

Проведенные наблюдения позволяют сделать вывод о многоплановой структуре концептуальных рефлексивов. Поскольку концептуальный контроль в метаязыковом высказывании осуществляется через слово в речи, в речевой деятельности концептуальный рефлексив выступает в форме коммуникативного. Таким образом, мы можем говорить о двоякой природе коммуникативного рефлексива: он может являться формой выражения концептуального рефлексива и выражением содержания коммуникативного напряжения.

Анализ корпуса коммуникативных рефлексивов позволил очертить метаязыковое дискурсивное пространство, связанное с сознательным поиском путей самовыражения, охарактеризовать ненормативные участки языковой системы, вызывающие очаги напряжения в речевой деятельности. Метаязыковые высказывания с завидным постоянством реагируют на языковые факты, связанные с динамическими процессами словарного состава, позволяют выделить ядерные зоны обыденного знания о динамике языковых единиц, фиксируют стадии жизни слова в языке: 1) этап вхождения слова в язык; 2) этап узуализации лексемы, протекающий через последовательные стадии усвоения значения слова, активного функционирования в роли модной единицы, укоренения в языке, возможной пассивизации.

Коммуникативные рефлексивы реагируют на динамику стилистической нормы в языке, фиксируют тенденции развития стилистических норм и обеспечивают сознательно-культурную оценку нормативно-стилистических изменений.

Анализ коммуникативных рефлексивов, связанных с комментированием ненормативных зон, обусловленных деривационным критерием напряжения, позволил сделать вывод о том, что для говорящего сложные, мотивированные лексические единицы либо вызывают коммуникативные трудности, либо являются дополнительной опорой для формирования смысла высказывания.

Вербализация в рефлексиве поиска и обсуждения точного слова позволяет говорить о лексической семантике как диалектическом единстве общесистемного значения и личностного смысла, в виде которого оно хранится в сознании говорящего.

Исследование зон коммуникативного напряжения через метаязыковой комментарий дает возможность полнее представить про-

цесс речепорождения, подчеркнуть универсальный характер зон коммуникативного напряжения.

Метаязыковое сознание причастно к концептуальному мирозиданию средствами языка. Когнитивная метаязыковая деятельность — это комплекс вербально реализованных когнитивных структур обработки информации и ее оценки. Концептуальные рефлексивы отражают многоаспектные связи человека с миром, реагируют на очаги концептуального напряжения, связанные с мыслительной деятельностью человека. Динамическое развитие современного когнитивного сознания во многом спровоцировано радикальными экономическими, политическими и социальными преобразованиями в России. Анализ концептуальных рефлексивов позволил сделать вывод о том, что обновление концептуальной картины мира носит особый характер в рамках нестабильного общества. Это проявляется, с одной стороны, в кардинальной перестройке базовых концептов, составляющих мировоззренческую основу человека; с другой стороны, в амбивалентности массового сознания. Неустойчивость актуализированных концептуальных структур, сужение базовых концептуальных слоев при увеличении амбивалентного интерпретационного поля концепта выражается в нескольких типах смысловых преобразований, рассмотренных в аспекте первичности и обновления концептосферы современной языковой личности (смысловой деривации, смысловой модификации, реструктуризации смысловой структуры, стихийном смысловом дрейфе, ресемантизации смысловой структуры).

Главные когнитивные процессы, протекающие на уровне мировоззренческих установок, обусловлены ксеноразличительным (социальным) критерием концептуального напряжения и связаны с проблемами национальной и социальной идентификации человека в постсоветском пространстве. Нестабильность современного общества, потеря советской тождественности обостряют рефлексивную деятельность человека в поисках государственной и этнической идентичности, способствуют формированию различных фобий, снижают уровень языковой лояльности к чужому слову.

Социально-идеологическое расслоение общества является причиной агрессивного климата современной эпохи, проявления гиперидентичности как кризисной формы этнического самосознания. Совместное сосуществование разнополярных мировоззренческих установок составляет цельность русского массового

сознания в переходный период. В этом видится толерантность русского характера. Рефлексивные колебания очерчивают области амбивалентной ментальности — концепты политической, экономической, социальной сферы. Людям, чья социализация произошла в рамках прежней общественной системы, невозможно в короткие сроки кардинальным образом изменить мировоззренческие установки.

Возникшая плюралистичность мнений создает психологическое состояние растерянности постсоветского человека, которое на уровне метаязыковых высказываний выражается в негативной оценочной настроенности к власти, стилям руководства, лидерам политических партий. Неудачи экономического реформирования способствуют формированию катастрофического мышления, являются причиной формирования страха. Р е ф л е к с и в ы в ы п о л н я ю т р о л ь д о к у м е н т и р о в а н н о й ф о р м ы э м о ц и о н а л ь н ы х с о с т о я н и й э п о х и и с в и д е т е л ь с т в у ю т о н а л и ч и и а к с и о с ф е р ы о б ы д е н н о г о с о з н а н и я . Н а л и ч н о с т н о м к о г н и т и в н о м у р о в н е э т и п р о ц е с с ы п р о я в л я ю т с я в в и д е а к т и в н о й а д а п т а ц и о н н о й д е я т е л ь н о с т и к и з м е н и в ш и м с я у с л о в и я м ж и з н и и в р и г о р и с т и ч е с к и х у с t a н o в k a x л ю д е й , и с п ы т ы в а ю щ и х с o c и a л ь н о е o t c y ж д e н и e .

Концептуальные рефлексивы в современной речи выступают как чуткие индикаторы социальных процессов, происходящих в современной России.

СПИСОК ЦИТИРУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Абрамова Н. Т. Являются ли несловесные акты мышлением? // Вопросы философии. 2001. № 6. С. 68—82.

Аврорин В. А. Проблемы изучения функциональной стороны языка (к вопросу о предмете социолингвистики). Л., 1975.

Акофф Р., Эмери Ф. О целеустремленных системах. М., 1974.

Алефиренко Н. Ф. Методологические проблемы теории взаимодействия сознания, значения и смысла // Языковая личность: проблемы значения и смысла. Волгоград, 1994. С. 3—13.

Андреева Г. М. Социальная психология: Учебник для высших учебных заведений. М., 1998.

Андреева Г. М. Психология социального познания. М., 2000.

Аннушкин В. И. Русские учения о речи (история, теория и общественно-языковая практика) // Речевое общение: Специализир. вестн. Вып. 3 (11). Красноярск, 2000. С. 8—16.

Аносова Л. Р. Сознание. Осознавание. Язык // Языковое сознание: Тезисы IX Всесоюзн. симпозиума по психолингвистике и теории коммуникации М., 1988. С. 14—15.

Апресян Ю. Д. Интегральное описание языка и толковый словарь // Вопросы языкознания. 1986. № 2. С. 57—70.

Апресян А. Д. Современность классики // Вопросы языкознания. 1995. № 1. С. 34—36.

Апресян Р. Г., Гусейнов А. А. Демократия и гражданство // Вопросы философии. 1996. № 7. С. 3—16.

Апресян Ю. Д. Дейксис в лексике и грамматике и наивная модель мира (1986) // Апресян Ю. Д. Избр. тр. Т. 2. Интегральное описание языка и системная лексикография. М., 1995. С. 629—650.

Апресян Ю. Д. Коннотации как часть прагматики слова // Там же. С. 156—177.

Апресян Ю. Д. Лексическая семантика: Синонимические средства языка. М., 1974.

Апресян Ю. Д. и др. Лингвистическое обеспечение в системе автоматического перевода третьего поколения. М., 1978.

Апресян Ю. Д. Прагматическая информация для толкового словаря // Прагматика и проблемы интенциональности М., 1988. С. 7—44.

Аринин А. Н. Права и свободы человека и эффективное развитие России // Общественные науки и современность. 2002. № 1. С. 68—79.

Арнольд И. В. Стилистика декодирования. Л., 1974.

Арнольд И. В. Стилистика современного английского языка. Л., 1981.

Арнольд И. В. Эмоциональный, экспрессивный, оценочный и функционально-стилистический компоненты лексического значения // XXII Герценовские чтения. Иностранные языки. Л., 1970.

Арутюнова Н. Д. Наивные размышления о наивной картине языка [Введение] // Язык о языке. М., 2000а. С. 7—22.

Арутюнова Н. Д. Показатели чужой речи *де, дескать, мол*: К проблеме интерпретации речеповеденческих актов // Язык о языке. М., 2000б. С. 437—449.

Арутюнова Н. Д. «Полагать» и «видеть»: К проблеме смешанных пропозициональных установок // Логический анализ языка: Проблемы интенциональных и прагматических контекстов. М., 1989. С. 7—30.

Арутюнова Н. Д. Аномалии и язык: (К проблеме языковой «картины мира») // Вопросы языкознания. 1987. № 3. С. 3—19.

Арутюнова Н. Д. Вторичные истинностные оценки: *правильно, верно* // Логический анализ языка: Ментальные действия. М., 1993. С. 67—78.

Арутюнова Н. Д. Типы языковых значений: Оценка. Событие. Факт. М., 1988.

Арутюнова Н. Д. Фактор адресата // Изв. АН СССР. Сер. лит. и яз. Т. 40, № 4. 1984. С. 356—367.

Арутюнова Н. Д. Язык и мир человека. М., 1998.

Арутюнова Н. Д., Падучева Е. В. Истоки, проблемы и категории прагматики // Новое в зарубежной лингвистике. М., 1985. Вып. 16. С. 3—42.

Асмолов А. Г. Толерантность: от утопии — к реальности // На пути к толерантному сознанию. М., 2000. С. 5—7.

Асе Е. Разве мода безответственна?: Круглый стол // Художественный журнал. 1997. № 18. С. 22.

Атватер И. Я Вас слушаю... : Советы руководителю, как правильно слушать собеседника. 2-е изд. М., 1988.

Ахутина Т. В. Порождение речи: нейролингвистический анализ синтаксиса. М., 1989.

Бабушкин А. П. Типы концептов в лексико-фразеологической семантике языка. Воронеж, 1996.

Базылев В. Н. Мифологема скуки в русской культуре // RES LIGUIS-TICA: Сб. ст.: К 60-летию профессора В. П. Нерознака. М., 2000. С. 130—147.

Балли Ш. Французская стилистика. М., 1961.

Банкевич Л. В. Тестирование лексики иностранного языка. М., 1981.

Баранникова Л. И. Проблемы социальной лингвистики в развитии советского языкознания // Язык и общество. Вып. 2. Саратов. 1970. С. 3—18.

Баранов А. Г. Функционально-прагматическая концепция текста. Ростов н/Д, 1993.

Барт Р. Дендизм и мода // Художественный журнал. 1997. № 18.

Барт Р. Избранные работы: Семиотика. Поэтика. М., 1994.

Бахтин М. М. Проблемы поэтики Достоевского. М., 1963.

Беликов В. И., Крысин Л. П. Социоллингвистика. М., 2001.

Белл Р. Социоллингвистика: Цели, методы и проблемы. М., 1980.

Белобородое А. А. Языковое сознание: сущность и статус // Современная наука и закономерности ее развития. Вып. 4. Томск, 1987. С. 131—147.

Бельчиков Ю. А. К истории слов *интеллигенция, интеллигент* // Филологический сборник: К 100-летию со дня рождения академика В. В. Виноградова. М., 1995. С. 62—69.

Белянин В. Русская языковая личность в постсоветский период // Теория и практика русистики в мировом контексте: Тезисы Международ. конф., посв. 30-летию МАПРЯЛ. М., 1997. С. 20—21.

- Бенвенист Э.* Общая лингвистика. М., 1974.
- Бердяев Н. А.* Истоки и смысл русского коммунизма. М., 1990.
- Бердяев Н. А.* Национальность и человечество // Судьба России. М., 1918. С. 93—101.
- Бердяев Н. А.* Экзистенциальная диалектика Божественного и человеческого. Париж, 1952.
- Березин Ф. М., Головин Б. М.* Общее языкознание. М., 1979.
- Березович Е. Л.* Русская топонимия в этнолингвистическом аспекте: Автореф. дис. ... докт. филол. наук. Екатеринбург, 1999.
- Берестнев Г. И.* Иконичность добра и зла // Вопросы языкознания. 1999. №4. С. 99—113.
- Берестнев Г. И.* Самосознание личности в аспекте языка // Вопросы языкознания. 2001. № 1. С. 60—84.
- Бернштейн Н. А.* Очерки по физиологии движений и физиологии активности. М., 1966.
- Бессознательное. Т. 4. Тбилиси, 1985. С. 462.
- Бессознательное. Т. 3. Тбилиси, 1978. С. 797.
- Блинова О. И.* Введение в современную региональную лексикологию. Томск, 1973.
- Блинова О. И.* Носители диалекта — о своем диалекте: (Об одном из источников лексикологического исследования) // Сибирские русские говоры. Томск, 1984. С. 3—15.
- Блинова О. И.* Языковое сознание и вопросы теории мотивации // Язык и личность. М., 1989. С. 122—126.
- Бляхер Е. Д., Волинская Л. М.* Соотношение общей картины мира и картины мира частных наук // Научная картина мира: Логико-гносеологический аспект. Киев, 1983. С. 43—51.
- Богданов К. А.* Прецедентные тексты и социальные роли: инновации и маргиналии современной фольклористики // Русский текст. 2001. № 6. С. 39—58.
- Богин Г. И.* Модель языковой личности в ее отношении к разновидностям текстов: Автореф. дис. ... докт. филол. наук. Л., 1984.
- Богин Г. И.* Единство коммуникации вербальной и музыкальной с коммуникацией схем и парадигм чистого мышления // Межкультурные коммуникации. Челябинск, 2002. С. 16—26.

Богин Г. И. Рефлексия и интерпретация: принцип потенциальной понятности всякого текста // Вопросы стилистики. Вып. 27. Человек и текст. Саратов, 1998. С. 62—68.

Богин Г. И. Типология понимания текста. Калинин, 1989.

Богин Г. И. Уровни и компоненты речевой способности человека. Калинин, 1975.

Богуславский В. М. Человек в зеркале русской культуры, литературы и языка. М., 1994.

Богуславский И. М. Семантика частицы *только* // Семиотика и информатика. М., 1980. Вып. 14. С. 134—158.

Бодрийяр Ж. Символический обмен и смерть. М., 2000.

Бодуэн де Куртенэ И. А. «Блатная музыка» В. Ф. Трахтенберга // Избр. работы по общ. языкознанию. Т. 2. М., 1963. С. 161—163.

Бодуэн де Куртенэ И. А. Избранные труды по общему языкознанию. М., 1963.

Божович Л. И. Развитие языковой компетенции школьников: проблемы и подходы // Вопросы психологии. 1997. № 1. С. 33—44.

Бондалетов В. Д. Социальная лингвистика. М., 1987.

Борисова И. Н. Замысел непринужденного разговорного диалога: миф или реальность? // Культурно-речевая ситуация в современной России: Вопросы теории и образовательных технологий. Екатеринбург, 2000. С. 25—27.

Борисова И. Н. Русский разговорный диалог: структура и динамика. Екатеринбург, 2001.

Борцев В. Б. Естественный язык — наивная математика для описания наивной картины мира // Московский лингвистический альманах. Вып. 1. Спорное в лингвистике. М., 1996. С. 203—225.

Боффа Джузеппе. От СССР к России: История неоконченного кризиса, 1964—1994. М, 1996.

Брагина А. А. Мир реальный — мир виртуальный в мире слов // Словарь и культура русской речи: К 100-летию со дня рождения С. И. Ожегова. М., 2001. С. 44—58.

Брайт У. Параметры социолингвистики [Введение] // Новое в лингвистике. Вып. 7. Социолингвистика. М., 1975. С. 34—42.

Бреслав Г. Э. Цветопсихология и цветолечение для всех. СПб., 2000.

Брим Р., Косова Л. Феномен В. Путина: морфология и семантика массовой популярности // Мониторинг общественного мнения: Экономические и социальные перемены. 2000. № 3. С. 18—22.

Брутян Г. А. Языковая картина мира и ее роль в познании // Методологические проблемы анализа языка. Ереван, 1976. С. 57—64.

Будагов Р. А. Введение в науку о языке. М., 1965.

Будагов Р. А. Борьба идей и направлений в языкознании нашего времени. М., 1978.

Будагов Р. А. Что такое развитие и совершенствование языка? М., 1977.

Булатова Л. Н. и др. Диапазон дарования: К 80-летию М. В. Панова // Вопросы языкознания. 2001. № 1. С. 3—13.

Булыгина Т. В., Шмелев А. Д. Языковая концептуализация мира (на материале русской грамматики). М., 1997.

Булыгина Т. В., Крылов С. А. Система языковая // Лингвистический энциклопедический словарь. М., 1990. С. 452—454.

Булыгина Т. В., Шмелев А. Д. «Стихийная лингвистика» (folk linguistics) // Русский язык сегодня. 1. М., 2000. С. 9—18.

Булыгина Т. В., Шмелев А. Д. Folk linguistics // Русский язык в его функционировании: Тез. докл. Междунар. конф.: III Шмелевские чтения, 22—24 февраля 1998 г. М., 1998. С. 13—15.

Булыгина Т. В., Шмелев А. Д. Концепт долга в поле должествования // Логический анализ языка: Культурные концепты. М., 1991. С. 14—30.

Булыгина Т. В., Шмелев А. Д. Человек о языке (метаязыковая рефлексия в нелингвистических текстах) // Логический анализ языка: Образ человека в культуре и языке. М., 1999. С. 146—161.

Бурукина О. А. Культура русской речевой коммуникации на современном этапе // Культурно-речевая ситуация в современной России: вопросы теории и образовательных технологий. Екатеринбург, 2000. С. 32—34.

Буряковская В. А. Признак этничности в семантике языка (на материале русского и английского языков): Автореф. дис. ... канд. филол. наук. Волгоград, 2000.

Варбот Ж. Ж. Диахронический аспект проблемы языковой картины мира // Русский язык: исторические судьбы и современность: Труды и материалы Междунар. конгресса, Москва, МГУ, 13–16 марта 2001 г. М., 2001. С. 40.

Варбот Ж. Ж. Табу // Русский язык: Энциклопедия. М., 1979. С. 345–346.

Вартанова Е. Л. Европейские неравенства эпохи Интернета // Вестн. МГУ. Сер. 10, Журналистика. 2001. № 6. С. 14–23.

Варфоломеев С. А. Квантовая психология конфликта // Социальный конфликт: Науч.-практ. журнал. 2002. № 1 (35). С. 46–67.

Васильев А. Д. Введение в историческую лексикологию русского языка. Красноярск, 1997.

Васильев А. Д. Рефлексивы в телевизионном дискурсе // Речевое общение: Специализир. вестн. Вып. 3 (11). Красноярск, 2000. С. 28–36.

Васильев А. Д. Слово в эфире: Очерки новейшего словоупотребления в российском телевидении. Красноярск, 2000.

Васильев Л. М. Коннотативный компонент языкового значения // Русское слово в языке, тексте и культурной среде. Екатеринбург, 1997. С. 35–40.

Васильев Л. М. Методы современной лингвистики. Уфа, 1997.

Васильева Е. В. Отражение взаимоотношений индивида и группы в русской языковой картине мира // Вестн. МГУ. Сер. 9, Филология. 2001. № 4. С. 82–93.

Введенская Л. А., Колесников Н. П. Народная этимология и смежные явления // Новое в лексике русского языка. Куйбышев, 1983. С. 65–80.

Вежбицка А. Восприятие: семантика абстрактного словаря // Новое в зарубежной лингвистике. Вып. 18. М., 1986. С. 336–369.

Вежбицка А. [Введение из книги «Семантические примитивы»] // Семиотика / Под ред. Ю. С. Степанова. М., 1983. С. 225–252.

Вежбицка А. Метатекст в тексте // Новое в зарубежной лингвистике. Вып. 8. Лингвистика текста. М., 1978. С. 402–424.

Вежбицка А. Семантические примитивы // Семантика. М., 1983.

Вежбицкая А. Понимание культур через посредство ключевых слов. М., 2001.

Величковский Б. М. Современная когнитивная психология. М., 1982.

Вепрева И. Т. Метаязыковая ориентация языковой личности в условиях языковой перестройки // Активные языковые процессы конца XX века: Тез. докл. Междунар. конф.: IV Шмелевские чтения, Москва, 23—25 февр. 2000 г. М., 2000а. С. 26—28.

Вепрева И. Т. Судьба слова в метаязыковом отражении // Вестн. Омск, ун-та. Вып. 2 (16). Омск, 2000б. С. 95—98.

Вепрева И. Т. Рефлексия как аксиологическая основа формирования стилистической нормы // Культурно-речевая ситуация в современной России. Екатеринбург, 2000в. С. 42—57.

Вепрева И. Т. Рефлексивы и их функционально-системная организация // Русский язык в контексте культуры. Екатеринбург, 1999. С. 194—203.

Вепрева И. Т. Тексты-рефлексивы как источник информации об изменениях в русской языковой картине мира // Русский язык в его функционировании: Тез. докл. Междунар. конф.: III Шмелевские чтения, Москва, 22—24 февр. 1998 г. М., 1998. С. 16—18.

Вепрева И. Т. Эксплицированное отношение к слову в современной речи // Русское слово в языке, тексте и культурной среде. Екатеринбург, 1997. С. 88—96.

Верещагин Е. М., Костомаров В. Г. В поисках новых путей развития лингвострановедения: концепция рече-поведенческих тактик. М., 1999.

Верещагин Е. М., Костомаров В. Г. Язык и культура. М., 1983.

Ветошкин А. П., Стожко К. П. Философия экономики. Екатеринбург, 2001.

Виндлак С. Проблема эвфемизма на фоне теории языкового поля // Этимология 1965. М., 1967. С. 267—285.

Виноград Т., Флорес Ф. О понимании компьютеров и познания // Язык и интеллект. М., 1996. С. 185—229.

Виноградов В. В. К теории построения поэтического языка: Учение о системах речи литературных произведений // Поэтика: Сб. ст.: Временник отдела словесных искусств. Л., 1927. Т. 3. С. 5—24.

Виноградов В. В. О категории модальности и модальных словах в русском языке: Тр. Ин-та рус. яз. АН СССР. 1950. Т. 2. С. 38—79.

Виноградов В. В. О художественной прозе. М.; Л., 1930.

Виноградов В. В. О языке художественной литературы. М., 1965.

Виноградов В. В. Очерки по истории русского литературного языка XVII — XIX вв. М., 1938.

Виноградов В. В. Проблемы культуры речи и некоторые задачи русского языкознания // Вопросы языкознания. 1964. № 3. С. 3—18.

Виноградов В. В. Слово и значение как предмет историко-лексикологического исследования // Вопросы языкознания. 1995. № 1. С. 5—36.

Виноградов В. В. Язык Пушкина: Пушкин и история русского литературного языка. М.; Л., 1935.

Винокур Г. О. Заметки по русскому словообразованию // Винокур Г. О. Избр. работы по рус. яз. М., 1959. С. 419—442.

Винокур Т. В. Речевой портрет современного человека // Человек в системе наук. М., 1989. С. 361—370.

Винокур Т. Г. Говорящий и слушающий: Варианты речевого поведения. М., 1993.

Винокур Т. Г. К характеристике говорящего: Интенция и реакция // Язык и личность. М., 1989. С. 11—23.

Винокур Т. Г. О социологическом аспекте функционально-стилистических исследований // Всесоюз. конф. по теорет. вопросам языкознания: Тез. докл. на секц. заседаниях. М., 1974.

Винокур Т. Г. Употребление лица как основной предмет стилистики // Стилистика русского языка: Жанрово-коммуникативный аспект стилистики текста. М., 1987. С. 5—39.

Витгенштейн Л. Философские исследования // Новое в зарубежной лингвистике. Вып. 16. М., 1985. С. 79—128.

Водак Р. Язык. Дискурс. Политика: Пер. с англ. и нем. Волгоград, 1997.

Водолагин А. А. Интернет-СМИ как арена политической борьбы // Общественные науки и современность. 2002. № 1. С. 49—67.

Волков В. В. Деадъективное словообразование в русском языке. Ужгород, 1993.

- Волкова И.* Слово Путина: Что показал психолингвистический анализ устных выступлений и. о. президента России // Эксперт. 2000. № 6 (219).
- Волошин М.* Россия распятая // Юность. 1990. № 10. С. 24—31.
- Волошинов В. Н.* Марксизм и философия языка. Л., 1929.
- Вольф Е. М.* Функциональная семантика. Описание эмоциональных состояний: [Гл. из кн.] // Функциональная семантика: Оценка, экспрессивность, модальность: In memoriam Е. М. Вольф. М., 1996. С. 137—167.
- Вольф Е. М.* Функциональная семантика оценки. М., 1985.
- Вольф Е. М.* Эмоциональные состояния и их представление в языке // Логический анализ языка: проблемы интенциональных и прагматических контекстов. М., 1989. С. 55—77.
- Вопросы стилистики. Вып. 28: Антропоцентрические исследования. Саратов, 1999.
- Воркачев С. Г.* Лингвокультурология, языковая личность, концепт: становление антропоцентрической парадигмы в языкознании // Филологические науки. 2001а. № 1. С. 64—71.
- Воркачев С. Г.* Концепт счастья: понятийный и образный компоненты // ИАН СЛЯ. 2001б. Т. 60, № 6. С. 47—58.
- Воркачев С. Г.* Зависть и ревность: К семантическому представлению моральных чувств в естественном языке // Изв. РАН. Сер. лит. и яз. 1998. Т. 57, № 3. С. 39—45.
- Воркачев С. Г.* Концепт счастья: понятийный и образный компоненты // Там же. 2001. Т. 60, № 6. С. 47—58.
- Воробьев В. В.* Лингвокультурология: Теория и методы. М., 1997.
- Воробьева О. И.* Политический язык: семантика, таксономия, функции: Автореф. дис. ... докт. филол. наук. М., 2000.
- Ворожбитова А. А.* «Официальный советский язык» периода Великой Отечественной войны: лингвориторическая интерпретация // Теоретическая и прикладная лингвистика. Вып. 2. Язык и социальная среда. Воронеж, 2000. С. 21—42.
- Воронцова В. Л.* Активные процессы в области ударения // Русский язык конца XX столетия (1985—1995). М., 1996. С. 305—325.
- Выготский Л. С.* Мышление и речь // Выготский Л. С. Собр. соч.: В 6 т. Т. 2. М., 1982. С. 5—361.

- Выжлецов Г. П.* Аксиология культуры. СПб., 1996.
- Высочина О. В.* Понимание значения иноязычного слова (психолингвистическое исследование): Автореф. дис. ... канд. филол. наук. Воронеж, 2001.
- Гадамер Х.-Г.* Истина и метод. М., 1988.
- Гак В. Г.* Онтологические и прагматические классы в тексте // Язык как коммуникативная деятельность человека. М., 1988. С. 46—57.
- Гак В. Г.* Новое в русской лексике; Словарные материалы-78 // Вопросы языкознания. 1982. № 3. С. 122—127.
- Гак В. Г.* О модально-эмоциональной рамке предложения // Новые явления и тенденции во французском языке. М., 1984. С. 169—174.
- Гак В. Г.* О современной французской неологии // Новые слова и словари новых слов. Л., 1978. С. 37—52.
- Гак В. Г.* Речевые рефлексии с речевыми словами // Логический анализ языка: Язык речевых действий. М., 1994. С. 6—10.
- Гак В. Г.* Синтаксис эмоции и оценок // Функциональная семантика: Оценка, экспрессивность, модальность: In memoriam Е. М. Вольф. М., 1996. С. 20—31.
- Гак В. Г.* Языковые преобразования. М., 1998.
- Гальперин И. Р.* Текст как объект лингвистического исследования. М., 1981.
- Гаспаров Б. М.* Язык, память, образ: Лингвистика языкового существования. М., 1996.
- Герасимов В. И., Петров В. В.* На пути к когнитивной модели языка // Новое в зарубежной лингвистике. Вып. 23. Когнитивные аспекты языка. М., 1988. С. 5—11.
- Гиндин С. И.* Советская лингвистика текста: Некоторые проблемы и результаты (1948—1975) // Изв. АН СССР. Сер. лит. и яз. 1977. Т. 36, № 4. С. 348—361.
- Глебкин В. В.* Толерантность и проблема понимания: Программа спецкурса // На пути к толерантному сознанию. М., 2000. С. 11—13.
- Гловинская М. Я.* Активные процессы в грамматике [Гл. 6] // Русский язык конца XX столетия (1985 — 1995). М., 1996. С. 237—304.

Гловинская М. Я. Просто оговорки или тенденция к аналитизму? // *Язык: изменчивость и постоянство*. М., 1998. С. 304—316.

Говердовский В. И. История понятия коннотации // *Филол. науки*. 1979. № 2. С. 83—86.

Говердовский Н. В. Идеологическая коннотация, речевая практика и лексикография // *Язык и общество: Отражение социальных процессов в лексике*. Саратов, 1986. С. 58—69.

Голев Н. Д. Антиномии русской орфографии. Барнаул, 1997.

Голев Н. Д. Динамический аспект лексической мотивации. Томск, 1989.

Голев Н. Д. Некоторые аспекты детерминации содержания языковых единиц // *Детерминационный аспект функционирования значимых единиц языка: языковые и неязыковые факторы*. Барнаул, 1993. С. 14—28.

Голев Н. Д. Юридизация естественного языка как юрислингвистическая проблема // *Юрислингвистика-2: Русский язык в его естественном и юридическом бытии*. Барнаул, 2000. С. 9—45.

Головин Б. Н. Введение в языкознание. М., 1973.

Гольдин В. Е., Сиротинина О. Б. Внутринациональные речевые культуры и их взаимодействие // *Вопросы стилистики*. Вып. 25. Проблемы культуры речи. Саратов, 1993. С. 9—19.

Горбачев М. С. Перестройка и новое мышление для нашей страны и для всего мира. М., 1988.

Гордон Л., Клопов Э. Динамика условий и уровня жизни населения (разнонаправленные тенденции 90-х годов) // *Мониторинг общественного мнения: Экономические и социальные перемены*. 2000. № 5. С. 25—34.

Гореликов Л. А., Лисицына Т. А. Русский путь: Опыт этнолингвистической философии. Ч. 1. В. Новгород, 1999.

Горелов И. Н., Седов К. Ф. Основы психолингвистики. М., 1998.

Горохова С. И. Психолингвистические особенности механизма порождения речи по данным речевых ошибок: Автореф. дис. ... канд. филол. наук. М., 1986.

Гофман А. Б. Мода и люди. М., 2000.

Грамматика современного русского литературного языка. М., 1970.

Граудина Л. К. О современной концепции отечественной риторики и культуре речи // Культура русской речи и эффективность общения. М., 1996. С. 152—176.

Граудина Л. К. ЭВМ и культура речи: итоги и перспективное планирование // Культура русской речи и эффективность общения. М., 1996. С. 397—414.

Графова Т. А. Смысловая структура эмотивных предикатов // Человеческий фактор в языке: языковые механизмы экспрессивности. М., 1991. С. 67—98.

Губогло М. Н., Кожин А. А. Роль языка средств массовой информации в системе этногосударственных отношений // Русский язык в эфире: проблемы и пути их решения: Материалы круглого стола, Москва, 14 ноября 2000 г. М., 2001. С. 33—38.

Гудков Л. Комплекс «жертвы»: Особенности массового восприятия россиянами себя как этнонациональной общности // Мониторинг общественного мнения: Экономические и социальные перемены. 1999а. № 3. С. 47—60.

Гудков Л. Страх как рамка понимания происходящего // Там же. 1999б. № 6. С. 46—53.

Гумбольдт В. фон. Лаций и Эллада (фрагмент) // Гумбольдт В. Избр. тр. по языкознанию. М., 1984. С. 303—306.

Гумбольдт В. фон. Избранные труды по языкознанию. М., 1984.

Гумбольдт В. фон. Язык и философия культуры. М., 1985.

Гумилев Л. Н. Этногенез и биосфера Земли. Л., 1990.

Гусейнов Г. Ч. Ложь как состояние сознания // Вопросы философии. 1989. № 11. С. 64—76.

Данилевская Н. В. Научная картина мира и ее отражение в тексте // Язык. Человек. Картина мира: Материалы Всерос. науч. конф. Ч. 1. Омск, 2000. С. 39—41.

Данилов С. Ю. Речевой жанр *проработки* в тоталитарной культуре: Автореф. дис. ... канд. филол. наук. Екатеринбург, 2001.

Делинская В. Динамика отношения к В. Путину за последний год // Мониторинг общественного мнения: Экономические и социальные перемены. 2001. № 2. С. 16—23.

Дементьев В. В., Седов К. Ф. Социопрагматический аспект теории

речевых жанров. Саратов, 1998.

Демьянков В. З. Конвенции, правила и стратегии общения (интерпретирующий подход к аргументации) // Изв. АН СССР. Сер. лит. и яз. 1982. № 4. С. 327—337.

Демьянков В. З. Ошибки продуцирования и понимания (интерпретирующий подход) // Речевые приемы и ошибки: типология, деривация и функционирование. М., 1989. С. 22—34.

Демьянков В. З. Понимание как интерпретирующая деятельность // Вопросы языкознания. 1983. № 6. С. 58—67.

Демьянков В. З. Прагматические основы интерпретации высказывания // Изв. АН СССР. Сер. лит. и яз. 1981. Т. 40, № 4. С. 368—377.

Демьянков В. З. Функционализм в зарубежной лингвистике конца XX века // Дискурс, речь, речевая деятельность. М., 2000. С. 26—136.

Дешериев Ю. Д. Социальная лингвистика. М., 1977.

Дзялошинский И. Культура, журналистика, толерантность: (О роли СМИ в формировании в российском обществе атмосферы толерантности и мультикультурализма) / Независимый ин-т коммуникативистики // Пресса, государство, культура: мультикультурализм как новая философия взаимодействия: Материалы науч.-практ. конф. Москва, 11—12 февр. 2002 г. М., 2002. С. 1—12.

Джигенский Г. Г. «Запад» в российском общественном сознании // Общественные науки и современность. 2000. № 5. С. 5—19.

Джигенский Г. Г. Социально-политическая психология. М., 1996.

Джигенский Г. Г. Что мы знаем о демократии и гражданском обществе? // Pro et contra. 1997. Т. 2, № 4. С. 5—21.

Дорошевский В. Элементы лексикологии и семиотики. М., 1973.

Дробижева Л. М. Идеология и идеологи этнического ренессанса в условиях формирования гражданского общества [Гл. 6] // Дробижева Л. М. и др. Демократизация и образы национализма в Российской Федерации 90-х годов. М., 1996а. С. 250—295.

Дробижева Л. М. [Предисловие] // Говорит элита Республик Российской Федерации: Сто десять интервью Леокадии Дробижевой с политиками, бизнесменами, учеными, деятелями культуры, религии, лидерами оппозиционных движений. М., 1996б. С. 3—7.

Дробижева Л. М. Теоретические вопросы этничности [Гл. 2]; Этническое самосознание: идеология и поведение [Гл. 9] // Арутюнян Ю. В., Дробижева Л. М., Сусоколов А. А. Этносоциология. М., 1998.

Дубин Б. Зеркало и рамка: национально-политические мифы в коллективном воображении сегодняшней России // Знание — сила. 1999. № 9—10. С. 51—62.

Дубин Б. Жизнь по привычке: быть пожилым в России 90-х годов // Мониторинг общественного мнения: Экономические и социальные перемены. 1999. № 6. С. 18—27.

Дубин Б. Запад, граница, особый путь: символика «другого» в политической мифологии современной России // Там же. 2000. № 6. С. 25—34.

Дуличенко А. В. От агрессии слов к ономастическому перевороту: (Заметки о русском языке перестроенного времени) // Russian Linguistics. 1993. [Вып.] 16. С. 211—224.

Дуличенко А. Д. Русский язык конца XX столетия. Munchen. 1994.

Евстигнеев Л. П., Евстигнеев Р. Н. Рыночная трансформация России: нетрадиционный взгляд // Общественные науки и современность. 2002. № 1. С. 5—16.

Евтушенко О. В. Картина мира: от хаоса к космосу // Русский язык: исторические судьбы и современность: Труды и материалы Междунар. конгресса, Москва, МГУ, 13—16 марта 2001 г. М., 2001. С. 70.

Ейгер Г. В. Механизм контроля языковой правильности высказывания: Автореф. дис. ... докт. филол. наук. М., 1989.

Ейгер Г. В. Механизмы контроля языковой правильности высказывания. Харьков, 1990.

Ейгер Е. В. Языковое сознание и механизм контроля языковой правильности высказывания // Языковое сознание: Тезисы IX Всесоюз. совещания по психологии и коммуникации. М., 1988. С. 59—60.

Ерахтин А. В. Диалектика становления мышления и сознания. Свердловск, 1988.

Ермакова О. П. Новые слова русского языка (в аспекте фразеологической семантики) // Русистика. 1989. № 1. С. 51—57.

Ермакова О. П. Семантические процессы в лексике // Русский язык конца XX столетия. М., 1996. С. 32—66.

Ермоленко С. С. Язык тоталитаризма и тоталитаризм языка // Мова тоталитарного суспільства. Киев, 1995. С. 7—15.

Жанры речи — 2. Саратов, 1999.

Жанры речи. Саратов, 1997.

Жельвис В. И. Поле брани: Сквернословие как социальная проблема в языках и культурах мира. М., 1991.

Жельвис В. И. Инвектива в парадигме средств фатического общения // Жанры речи. Саратов, 1997. С. 137—143.

Жельвис В. И. Эмотивный аспект речи. Психолингвистическая интерпретация речевого воздействия: Учебное пособие. Ярославль, 1990.

Жельвис В. И. Инвектива в политической речи // Русский язык в контексте культуры. Екатеринбург, 1999. С. 114—151.

Жинкин Н. И. Механизмы речи. М., 1958.

Жинкин Н. И. О кодовых переходах во внутренней речи // Язык — речь — творчество: (Избр. тр.). М., 1998. С. 146—162.

Жинкин Н. И. Речь как проводник информации. М., 1982.

Жирмунский В. М. Марксизм и социальная лингвистика // Вопросы социальной лингвистики. Л., 1969. С. 5—25.

Жоль К. К. Язык как практическое сознание: (Философский анализ). Киев, 1990.

Журавлев А. Ф. Лексико-семантическое моделирование системы славянского языкового родства. М., 1994.

Журавлев В. К. Внешние и внутренние факторы языковой эволюции. М., 1982.

Заботкина В. И. Когнитивный аспект прагматики нового слова в высказывании // Высказывание как объект лингвистической семантики и теории коммуникации: Тезисы докл. республ. науч. конф. Ч. 2. Семантика слова в содержательной структуре высказывания, высказывание и текст. Омск, 1992. С. 3—4.

Заботкина В. И. Основные параметры прагматики нового слова (по материалам современного английского языка) // Проблемы семантики и прагматики. Калининград, 1996. С. 83—91.

Завальников В. П. К вопросу об экстралингвистических детерминантах языковой картины мира: обобщение известного // Язык. Человек. Картина мира: Материалы Всерос. науч. конф. Ч. 1, Омск, 2000. С. 4—5.

Заварзина Г. А. Семантические изменения общественно-политической лексики русского языка в 80—90-е годы XX века: (По материалам словарей и газетной публицистики): Автореф. дис. ... канд. филол. наук. Воронеж, 1998.

Залевская А. А. Введение в психолингвистику. М., 1999.

Залевская А. А. Индивидуальное знание: специфика и принципы функционирования. Тверь, 1992.

Залевская А. А. О комплексном подходе к исследованию закономерностей функционирования языкового механизма человека // Психолингвистические исследования в области лексики и фонетики. Калинин, 1981. С. 28—44.

Залевская А. А. Понимание текста: психолингвистический подход. Калинин, 1988.

Залевская А. А. Психолингвистика: пути, итоги, перспективы // Вопросы языкознания. 1998. № 6. С. 81—94.

Залевская А. А. Психолингвистические проблемы семантики слова. Калинин, 1982.

Залевская А. А. Слово в лексиконе человека: Психолингвистические исследование. Воронеж, 1990.

Залевская А. А. Специфика единиц и механизмов индивидуально-го лексикона // Психолингвистические исследования значения слова и понимания текста. Калинин, 1988. С. 5—15.

Залевская А. А. Значение слова и возможности его описания // Языковое сознание: формирование и функционирование. М., 1998б. С. 35—54.

Зализняк, Анна А. Семантическая деривация в синхронии и диахронии: проект «Каталога семантических переходов» // Вопросы языкознания. 2001. № 2. С. 13—25.

Зарубина Н. Д. Текст: лингвистический и методический аспекты. М., 1981.

Заславская Т. И. О социальном механизме посткоммунистических

преобразований в России // Социологические исследования. Социс. 2002. № 8 (220). С. 3—16.

Заславская Т. И. Социальная структура современного российского общества // Общественные науки и современность. 1997. № 2. С. 5—23.

Засурский Я. Н. Круглый стол «Русский язык в эфире: проблемы и пути их решения» (хроника заседания) // Русский язык в эфире: проблемы и пути их решения: Материалы круглого стола, Москва, 14 ноября 2000 г. М., 2001а. С. 8.

Засурский Я. Н. Десять лет свободы печати в России // Вестн. МГУ. Сер. 10, Журналистика. 2001б. № 1. С. 10—16.

Захарова Е. П. Коммуникативная категория чуждости и ее роль в организации речевого общения // Вопросы стилистики. Вып. 27. Саратов, 1998. С. 87—94.

Здравомыслов А. Национальное самосознание россиян // Мониторинг общественного мнения: Экономические и социальные перемены. 2002. № 2. С. 48—54.

Зеленин А. В. Интеллигент и интеллигенция в русской эмигрантской публицистике // Современное русское общественное сознание в зеркале вербализации. Красноярск, 1999. С. 26—36.

Земская Е. А. Словообразование как деятельность. М., 1992.

Земская Е. А. [Введение] // Русский язык конца XX столетия (1985—1995). М., 1996. С. 9—31.

Земская Е. А. Активные процессы современного словопроизводства [Гл. 3] // Русский язык конца XX столетия (1985—1995). М., 1996. С. 90—141.

Земская Е. А. Лингвистическая мозаика. Особенности функционирования русского языка последних десятилетий XX века // STUDIA SLA-VICA FINLANDENSIA: Оценка в современном русском языке: Сб. статей. Т. 14. Helsinki, 1997. С. 199—215.

Земская Е. А. Активные процессы в русском языке последнего десятилетия 20-го века // Die sprachliche Situation in der Slavia zehn Jahre nach der Wende. 2000. С. 31—48.

Земская Е. А., Ермакова О. П., Розина Р. И. Слова, с которыми мы все встречались: Толковый словарь русского общего жаргона. М., 1999.

Земская Е. А., Китайгородская М. А., Розанова Н. Н. Особенности мужской и женской речи // Русский язык в его функционировании: Коммуникативно-прагматический аспект. М., 1993. С. 90—136.

Земская Е. А., Китайгородская М. В., Ширяев Е. Н. Русская разговорная речь: Общие вопросы. Словообразование. Синтаксис. М., 1980.

Земская Е. А., Крысин Л. П. Московская школа функциональной социолингвистики: Итоги и перспективы исследований. М., 1998.

Зимняя И. А. Психология обучения неродному языку. М., 1989.

Золотова Г. А. Грамматика как наука о человеке // Русский язык в научном освещении. 2001. № 1. С. 107—113.

Золотова Г. А. Коммуникативные аспекты русского синтаксиса. М., 1982.

Золотова Г. А., Ониненко Н. К., Сидорова М. Ю. Коммуникативная грамматика русского языка. М., 1998.

Иванов Вяч. Вс. Языкознание // Лингвистический энциклопедический словарь. М., 1990. С. 618—622.

Иванова Н. Н. Исследование социальной идентичности у студентов педагогических вузов // Идентичность и толерантность. М., 2002. С. 134—151.

Изотов А. И. Функционально-семантическая категория побуждения как фрагмент русской и чешской языковых картин мира // Русский язык: исторические судьбы и современность: Труды и материалы Междунар. конгресса, Москва, МГУ, 13—16 марта 2001 г. М., 2001. С. 73.

Ильин И. А. Путь духовного обновления // Путь к очевидности. М., 1993. С. 134—289.

Ильина Н. Е. Рост аналитизма в морфологии // Русский язык конца XX столетия (1985—1995). М., 1996. С. 326—344.

Имедадзе Н. В. Бессознательное в стратегии овладения языком // Бессознательное: Природа. Функционирование. Методы исследования. Т. 3. Тбилиси, 1978. С. 220—228.

Имедадзе Н. В. Экспериментально-психологическое исследование овладения и владения вторым языком. Тбилиси, 1978.

Интеллигенция и проблемы формирования гражданского общества

в России: Тез. докл. Всерос. конф., 14—15 апреля 2000 г. Екатеринбург, 2000.

Иссерс О. С. Коммуникативные стратегии и тактики русской речи. Омск, 1999.

Историческая память: преемственность и трансформации («круглый стол») // Социологические исследования. Социс. 2002. № 8 (220). С. 76—84.

Итоги и перспективы современной российской революции: (Круглый стол ученых) // Общественные науки и современность. 2002. № 2. С. 5—27.

Кёстер-Тома З. Некоторые размышления по поводу состояния современного русского языка // Русистика. 1998. № 1—2. С. 7—15.

Какорина Е. В. Стилистический облик оппозиционной прессы // Русский язык конца XX столетия (1985—1995). М., 1996. С. 409—426.

Калишкина Г. В. Формы субъективной оценки имен в аспекте теории мотивации: Автореф. дис. ... канд. филол. наук, Томск, 1990.

Капанадзе Л. А. Развитие речевых жанров в русском языке [Гл. 2] // Русский язык. Орпе. 1997. С. 45—60.

Капанадзе Л. А. Способы выражения оценки в устной речи // Разновидности городской устной речи. М., 1988. С. 151—156.

Карасик В. И. Язык социального статуса. М., 1992.

Караулов Ю. Н. Основные характеристики языковой способности // Лексика, грамматика, текст в свете антропологической лингвистики: Тезисы докл. и сообщ. Междунар. науч. конф., 12—14 мая 1995 г. Екатеринбург, 1995. С. 8—9.

Караулов Ю. Н. Культура речи и языковая критика // Русский язык в эфире: проблемы и пути их решения: Материалы круглого стола, Москва, 14 ноября 2000 г. М, 2001. С. 44—50.

Караулов Ю. Н. О состоянии русского языка современности: (Доклад на конференции «Русский язык и современность: Проблемы и перспективы развития русистики» и материалы почтовой дискуссии) // АН СССР, Ин-т рус. яз. М., 1991.

Караулов Ю. Н. Русская языковая личность и задачи ее изучения: [Предисловие] // Язык и личность. М., 1989. С. 3—8.

- Караулов Ю. Н.* Русский язык и языковая личность. М., 1987.
- Караулов Ю. Н.* Языковое время и языковое пространство (о понятии хроноглоссы) // Вестн. МГУ. Сер. 10, Филология. 1970. № 1. С. 61—73.
- Кармин А. С.* Интуиция и бессознательное // Бессознательное: Природа. Функции. Методы исследования. Т. 3. Тбилиси, 1978. С. 90—97.
- Карцевский С. И.* Язык, война и революция // Из литературного наследия. М., 2000. С. 215—218.
- Касевич В. Б.* Язык и знание // Язык и структура знания. М., 1990. С. 12—25.
- Касьянова К.* О русском национальном характере. М., 1994.
- Кацнельсон С. Д.* Речемыслительные процессы // Вопросы языкознания. 1984. № 4. С. 3—12.
- Качанов Ю.* Начало социологии. М., 2000.
- Кашников Б.* Демократия как возможная судьба России // Общественные науки и современность. 1996. № 2. С. 35—44.
- Килошенко М.* Психология моды. СПб., 2001.
- Ким И. Е.* Модус-диктумная кореферентность и ее выражение в современном русском языке: Автореф. дис. ... канд. филол. наук. Екатеринбург, 1995.
- Китайгородская М. В.* Современная экономическая терминология: (Состав. Устройство. Функционирование) // Русский язык конца XX века (1985 — 1995) / Отв. ред. Е. А. Земская. М, 1996. С. 163—235.
- Китайгородская М. В., Розанова Н. Н.* Речь москвичей: Коммуникативно-культурологический аспект. М., 1999.
- Клименко Л. П.* Системный подход как один из принципов историко-лингвистических исследований // Соотношение синхронии и диахронии в языковой эволюции. Тез. докл. Всесоюзн. конф. М.; Ужгород, 1991. С. 105—106.
- Климов Г. А.* Синхронное и диахроническое описание языков [Гл. 2] // Общее языкознание: Методы лингвистических исследований. М., 1973. С. 107—119.
- Климова С. Г.* Критерии определения групп «мы» и «они» // Социологические исследования. Социс. 2002. № 6 (218). С. 83—95.

Клобукова Л. П. Лингвометодические основы обучения иностранных студентов-нефилологов гуманитарных факультетов речевому общению на профессиональные темы: Автореф. дис. ... докт. пед. наук. М., 1995.

Кобозева И. М. Лингвистическая семантика. М., 2000.

Кобозева И. М., Лауфер Н. И. Интерпретирующие речевые акты // Логический анализ языка. Язык речевых действий. М., 1994. С. 63—71.

Коган Л., Чернявская Г. Интеллигенция. Екатеринбург, 1996.

Коготкова Т. С. Русская диалектная лексикология: Состояние и перспективы. М., 1979.

Кожневска-Берчиньска И. Функции советских стереотипов в современном публицистическом тексте: Проблемы восприятия и перевода // *Slowo. Tekst. Czas. Szczecin*, 1996. С. 179—184.

Козлова Л. А. Информационно-аналитические еженедельники как новая типологическая группа журнальной периодики постсоветской России // *Вестн. МГУ. Сер. 10. Журналистика*. 2000. № 6. С. 3—13.

Козлова Т. В. «Новые русские»: понятие и дискурс // *Фразеология в контексте культуры*. М., 1999. С. 97—107.

Колесов В. В. «Жизнь происходит от слова...». СПб., 1999.

Колесов В. В. Русская речь: Вчера. Сегодня. Завтра. СПб., 1998.

Колесов В. В. Язык, стиль, норма // *Русский язык в эфире: проблемы и пути их решения: Материалы круглого стола, Москва, 14 ноября 2000 г.* М., 2001. С. 51—56.

Колосов А. В. Родина — Отчизна — Отечество: К вопросу о тестировании понятий // *Поле мнений. Фонд «Общественное мнение»: Дайджест результатов исследований. Вып. 07.* М., 2001. С. 48—54.

Колшанский Г. В. Объективная картина мира в познании и языке. М., 1990.

Комиссаров В. Н. Слово о переводе. М., 1973.

Комлев Н. Г. Иностранное слово в деловой речи. М., 1992а.

Комлев Н. Г. Слово в речи. Денотативные аспекты. М., 1992б.

Комлев Н. Г. Слово, денотация и картина мира // *Вопросы филологии*. 1981. № 11. С. 25—37.

Копова Т. А. К вопросу о прагматике лингвистического исследования // Филол. науки. 1981. № 5. С. 74—77.

Кон И. С. Введение в сексологию. М., 1988.

Контрастивное описание русского и немецкого языков. Воронеж, 1994.

Контрастивные исследования лексики и фразеологии русского языка. Воронеж, 1996.

Коньков В. И. Являются ли СМИ могильщиками русского языка? // Мир русского слова. 2001. № 3. С. 44—46.

Копочева В. В. Оценка названия // Детерминационный аспект функционирования значимых единиц языка: языковые и неязыковые факторы. Барнаул, 1993. С. 88—95.

Кормилицына М. А. Антропоцентризм разговорного текста // Вопросы стилистики. Вып. 27. Саратов, 1998. С. 80—86.

Кормилицына М. А. Усиление личностного начала в русской речи последних лет // Активные языковые процессы конца XX века: Тез. докл. Междунар. конф.: IV Шмелевские чтения, 23—25 февр. 2000 г. М., 2000а. С. 89—91.

Кормилицына М. А. Рефлексивы в речевой коммуникации // Проблемы речевой коммуникации, Саратов, 2000б. С. 20—24.

Кормилицына М. А., Ерастова И. А. Коммуникативно-прагматические функции средств речевой рефлексии в общении // Предложение и слово: Парадигматический, текстовый и коммуникативный аспекты. Саратов, 2000. С. 252—257.

Корнилов О. А. «Языковые модели мира» как отражение национальных менталитетов (национальная специфика на трех семантических уровнях: на уровне значения, обозначения и смысла) // Россия и Запад: диалог культур: Тез. конф. М., 1994. С. 81—83.

Корнилов О. А. Об отражении языковых картин мира в двуязычном словаре // Язык и мир его носителя: Материалы Междунар. конф. МААЛ-95. М., 1995. С. 205—208.

Корнилов О. А. Языковые картины мира как производные национальных менталитетов М., 1999.

Коротеева О. В. Учебная дефиниция как речевое действие // Языковая личность: проблемы креативной семантики. Волгоград, 2000. С. 143—150.

Косиков Г. Идеология. Коннотация. Текст // Ролан Барт. S/Z. М., 2001. С. 8—30.

Костомаров В. Г. Языковой вкус эпохи: Из наблюдений над речевой практикой масс-медиа. СПб., 1999.

Костомаров В. Г., Бурвикова Н. Д. Современный русский язык и культурная память // Этнокультурная специфика речевой деятельности. М., 2000. С. 23—36.

Костомаров В. Г., Бурвикова Н. Д. Старые мехи и молодое вино: Из наблюдений над русским словоупотреблением конца XX века. СПб., 2001.

Костомаров В. Г., Шварцкопф Б. С. Об изучении отношения говорящих к языку // Вопросы культуры речи. М., 1966. № 7. С. 23—36.

Котелова Н. З. Первый опыт лексикографического описания русских неологизмов // Новые слова и словари новых слов. Л., 1978. С. 5—26.

Котурова М. Н. Многоаспектность явлений стереотипности в научных текстах // Текст: стереотип и творчество. Пермь, 1998. С. 5—30.

Кохтев Н. Н. Ассоциации в рекламе // Русская речь. 1991а. № 3. С. 68—71.

Кохтев Н. Н. Психология восприятия и композиция рекламы // Русская речь. 1991б. № 4. С. 68—72.

Кохтев Н. Н. Десять эффектов рекламы // Русская речь. 1991в. № 6. С. 59—64.

Кочеткова Т. В. Эвфемизмы в речи носителей элитарной речевой культуры // Вопросы стилистики. Вып. 27. Саратов, 1998. С. 168—178.

Кочеткова Т. В., Богданова В. А. Взаимодействие этических и коммуникативных норм // Хорошая речь. Саратов, 2001. С. 197—211.

Кошарная С. А. В зеркале лексикона: введение в лингвокультурологию. Белгород, 1999.

Кравченко А. В. К проблеме наблюдателя как системообразующего фактора в языке // Изв. РАН. Сер. лит. и яз. 1993. Т. 52, № 3. С. 45—56.

Кравченко А. В. Когнитивная лингвистика и новая эпистемология: (К вопросу об идеальном проекте языкознания) // Изв. РАН. Сер. лит. и яз. 2001. Т. 60, № 5. С. 3—13.

- Красиков В. И.* Этюды самосознания. Кемерово, 2000.
- Красиков Ю. В.* Алгоритмы порождения речи. Орджоникидзе, 1990.
- Красиков Ю. В.* Некоторые аспекты психолингвистической детерминации речевых отклонений // Речевые приемы и ошибки: типология, деривация и функционирование. М., 1989. С. 35—43.
- Красиков Ю. В.* Теория речевых ошибок. М., 1980.
- Краснухин К. Г.* Введение в историческую лингвистику // Проблемы лингвистической прогностики. Вып. 1. Воронеж, 2000. С. 146—152.
- Красных В. В.* Виртуальная реальность или реальная виртуальность: (Человек. Сознание. Коммуникация). М., 1998.
- Красных В. В.* Этнопсихолингвистика и лингвокультурология: Курс лекций. М., 2002.
- Кретов А. А.* Контурь лингвистической прогностики // Проблемы лингвистической прогностики. Вып. 1. Воронеж, 2000. С. 3—8.
- Кривоносов А. Д.* PR-текст в системе публичных коммуникаций. СПб., 2001.
- Кривоносов А. Т.* Мышление без языка? // Вопросы языкознания. 1992. № 2. С. 69—83.
- Кронгауз М. А.* Бессилие языка в эпоху зрелого социализма // Знак: Сб. ст. по лингвистике, семиотике и поэтике памяти А. Н. Журицкого. М., 1994. С. 233—244.
- Крысин Л. П.* Социоллингвистические аспекты изучения современного русского языка. М., 1989.
- Крысин Л. П.* Эвфемистические способы выражения в современном русском языке // Русский язык в школе. 1994. № 5. С. 76—82.
- Крысин Л. П.* Эвфемизмы в современной русской речи // Русский язык конца XX столетия (1985—1995). М., 1996.
- Крысин Л. П.* Иноязычное слово в роли эвфемизма // Русский язык в школе. 1998. № 2.
- Крысин Л. П.* Вместо введения: Речевое общение в лингвистически и социально неоднородной среде // Речевое общение в условиях языковой неоднородности. М., 2000а. С. 3—12.
- Крысин Л. П.* И. А. Бодуэн де Куртенэ и отечественная социолин-

гвистика // И. А. Бодуэн де Куртенэ: Ученый. Учитель. Личность. Красноярск, 2000б. С. 105—109.

Крысин Л. П. Социолингвистическая интерпретация речевых «неправильностей» // Культурно-речевая ситуация в современной России: вопросы теории и образовательных технологий. Екатеринбург, 2000в. С. 105—107.

Крысин Л. П. Популяризация лингвистических знаний в средствах массовой информации // Русский язык в эфире: проблемы и пути их решения: Материалы круглого стола, Москва, 14 ноября 2000 г. М., 2001а. С. 57—61.

Крысин Л. П. Эвфемизация речи как один из путей к коммуникативной толерантности // Лингвокультурологические проблемы толерантности: Тез. докл. Междунар. конф., Екатеринбург, 24—26 окт. 2001 г. Екатеринбург, 2001б. С. 229—232.

Крысин Л. П. Современный русский интеллигент: попытка речевого портрета // Русский язык в научном освещении. 2001в. № 1. С. 90—106.

Крыштановская О. А. Трансформация бизнес-элиты России, 1998—2002 // Социологические исследования. Социс. 2002. № 8 (220). С. 17—28.

Крючкова Т. Б. Особенности формирования и развития общественно-политической лексики и терминологии. М., 1989.

КСКТ — Краткий словарь когнитивных терминов / *Кубрякова Е. С., Демьянков В. З., Панкрац Ю. Г. и др.* М., 1996.

Кубрякова Е. С. Номинативный аспект речевой деятельности. М., 1986.

Кубрякова Е. С. О понятиях синхронии и диахронии // Вопр. языкознания. 1968. № 3. С. 112—123.

Кубрякова Е. С. Об одном фрагменте концептуального анализа слова «память» // Логический анализ языка: Культурные концепты. М., 1991. С. 85—91.

Кубрякова Е. С. Смена парадигм знания в лингвистике XX века // Лингвистика на исходе XX века: итоги и перспективы: Тез. Междунар. конф. Ч. 1. М., 1995а. С. 278—280.

Кубрякова Е. С. Эволюция лингвистических идей во второй поло-

вине XX века (опыт парадигмального анализа) // Язык и наука конца 20 века. М., 19956. С. 144—238.

Кубрякова Е. С. Словообразование и другие сферы языковой системы в структуре номинативного акта // Словообразование в его отношениях к другим сферам языка: Materialien der 3. Konferenz der Kommission für slawische Wortbildung beim Internationalen Slawistenkomitee, Innsbruck, 28.9—1.10. 1999; Игорю Степановичу Улуханову к 65-летию со дня рождения. Innsbruck, 2000. С. 13—26.

Кузнецов А. М. Когнитология, «антропоцентризм», «языковая картина мира» и проблемы исследования лексической семантики // Этнокультурная специфика речевой деятельности. М., 2000. С. 8—22.

Кузнецова Э. В. Лексикология русского языка. М., 1989.

Кузьмина Т. А. Философия и обыденное сознание // Философия и ценностные формы сознания. М., 1978. С. 191—243.

Кузьмина Н. А. Интертекст и его роль в процессах эволюции поэтического языка. Екатеринбург; Омск, 1999.

Культурно-речевая ситуация в современной России / Под ред. Н. А. Купиной. Екатеринбург, 2000.

Культурология. XX век: Словарь. СПб., 1997.

Купина Н. А. Смысл художественного текста и аспекты лингво-смыслового анализа. Красноярск, 1983.

Купина Н. А. Тоталитарный язык: Словарь речевых действий. Екатеринбург; Пермь, 1995.

Купина Н. А. Идеологическое состояние лексики русского языка // Русское слово в языке, тексте и культурной среде. Екатеринбург, 1997. С. 134—145.

Купина Н. Языковое сопротивление в контексте тоталитарной культуры. Екатеринбург, 1999.

Купина Н. А. Языковое строительство: от системы идеологем к системе культурем // Русский язык сегодня. М., 2000. С. 182—189.

Купина Н. А. Идеологические стереотипы и факторы дестеротипизации // Стереотипность и творчество в тексте. Пермь, 2002. С. 15—30.

Купина Н. А., Битенская Г. В. Сверхтекст и его разновидности // Человек — текст — культура. Екатеринбург, 1994. С. 214—233.

Кухаренко В. А. Интерпретация текста. Л., 1979.

Лабов У. Исследование языка в его социальном контексте // Новое в лингвистике. Вып. 7. Социолингвистика. М., 1975а. С. 96—181.

Лабов У. О механизме языковых изменений // Новое в лингвистике. Вып. 7. Социолингвистика. М., 1975б. С. 199—228.

Лазуткина Е. М. К проблеме описания прагматических механизмов языковой системы // Филол. науки. 1994. № 5—6. С. 56—66.

Лакофф Дж., Джонсон М. Метафоры, которыми мы живем // Язык и моделирование социального взаимодействия. М., 1987. С. 126—172.

Лалаянц И. Э., Милованова Л. С. Новейшие исследования механизмов языковой функции мозга // Вопросы языкознания. 1992. № 2. С. 112—122.

Ланкин В., Пантин В. Образы Запада в сознании постсоветского человека // Мировая экономика и международные отношения. 2001. № 7. С. 68—83.

Ларин Б. А. Об эвфемизмах // Ларин Б. А. История русского языка и общее языкознание: Избр. работы. М., 1977. С. 101—114.

Ласорса-Сьедина К. Активные процессы в лексической семантике русского языка конца XX столетия // Активные языковые процессы конца XX века: Тез. докл. Междунар. конф.: IV Шмелевские чтения, 23—25 февр. 2000 г. М., 2000. С. 105—107.

Лебедева Л. Б. Бессознательное в языковом стиле // Логический анализ языка: Образ человека в культуре и языке. М., 1999. С. 135—145.

Лебедева Н. Б. О метаязыковом сознании юристов и предмете юрислингвистики (к постановке проблемы) // Юрислингвистика-2: Русский язык в его естественном и юридическом бытии. Барнаул, 2000. С. 56—71.

Лебедева Н. М. Социальная идентичность на постсоветском пространстве: от поисков самоуважения к поискам смысла // Психологический журнал. 1999. Т. 20, № 3. С. 48—58.

Лебедева Н. М. Социальная психология этнических миграций. М., 1993.

Лебедева Н. М. Теоретико-методологические основы исследования этнической идентичности и толерантности в поликультурных регионах России и СНГ // Идентичность и толерантность. М., 2002. С. 10—34.

Лебедева С. В. Психолингвистический подход к проблеме близости значения слов // Семантика слова и текста: психолингвистические исследования. Тверь, 1998. С. 128—131.

Лебедева С. В. Психолингвистическое исследование близости значения слова в индивидуальном сознании: Автореф. дис. ... канд. филол. наук. Саратов, 1991.

Левада Ю. «Человек приспособленный» // Мониторинг общественного мнения: Экономические и социальные перемены. 1999а. № 5. С. 7—17.

Левада Ю. А. Десять лет перемен в сознании человека // Общественные науки и современность. 1999б. № 5. С. 28—44.

Левада Ю. Проблема эмоционального баланса общества // Мониторинг общественного мнения: Экономические и социальные перемены. 2000а. № 2. С. 7—16.

Левада Ю. Общественное мнение на переломе эпох: ожидания, опасения, рамки. К социологии политического перехода // Мониторинг общественного мнения: Экономические и социальные перемены. 2000б. № 3. С. 7—18.

Левада Ю. «Человек ограниченный»: уровни и рамки притязаний // Мониторинг общественного мнения: Экономические и социальные перемены. 2000в. № 4. С. 7—13.

Левада Ю. А. Homo Post-Soveticus // Общественные науки и современность. 2000. № 6. С. 5—24.

Левада Ю. Координаты человека: К итогам изучения «человека советского» // Мониторинг общественного мнения: Экономические и социальные перемены. 2001. № 1. С. 7—15.

Левашов Е. А. Словари новых слов: (Краткий обзор) // Новые слова и словари новых слов. Л., 1978. С. 27—36.

Леей В. Охота за мыслью. М., 1967.

Левин Ю. И. Семиотика советских лозунгов // Избр. тр.: Поэтика. Семиотика. М., 1998. С. 542—558.

Левина Р. Е. Неосознаваемые процессы формирования «чувства языка» // Бессознательное: Природа. Функционирование. Методы исследования. Т. 3. Тбилиси, 1978. С. 249—254.

Левинтова Е. Политический дискурс в постсоветской России (1992—2001 гг.) // Мониторинг общественного мнения: Экономические и социальные перемены. 2002. № 2. С. 16—26.

Левинтова Е. Н. О трех возможных подходах к языку в его соотношенности со временем // Соотношение синхронии и диахронии в языковой эволюции: Тез. докл. Всесоюзн. науч. конф. М.; Ужгород, 1991. С. 12—13.

Левонтина И. Б. Понятие *слова* в современном русском языке // Язык о языке. М., 2000. С. 290—302.

Лексико-семантические группы русских глаголов: Учебный словарь-справочник. Свердловск, 1988.

Леонтьев А. А. Слово в речевой деятельности: Некоторые проблемы общей теории речевой деятельности М., 1965.

Леонтьев А. А. Психологические единицы и порождение речевого высказывания. М., 1969а. С. 267.

Леонтьев А. А. Язык, речь, речевая деятельность. М., 1969б.

Леонтьев А. А. Основы психолингвистики. М., 1997.

Леонтьев А. Н. Проблемы развития психики. М., 1965.

Леонтьев А. Н. Проблемы развития психики. 3-е изд. М., 1972.

Леонтьев А. Н. Деятельность. Сознание. Личность. М., 1975.

Лефевр В. А. От психофизики к моделированию души // Вопросы философии. 1990. № 7. С. 25—31.

Лилова А. Введение в общую теорию перевода. М., 1985.

Лингвистическая ретроспектива, современность и перспектива города и деревни: Материалы междунар. науч. совещания, 18—19 ноября 1997 г. Пермь, 1999.

Лингвокультурологические проблемы толерантности: Тез. докл. Междунар. конф., Екатеринбург, 24—26 окт. 2001 г. Екатеринбург, 2001.

Лихачев Д. С. Концептосфера русского языка // Изв. РАН. Сер. лит. и яз. 1993. Т. 52, № 1. С. 3—9.

Лихачев Д. С. О национальном характере русских // Вопросы философии. 1990. № 4. С. 3—6.

- Логический анализ языка: Культурные концепты. М., 1991.
- Логический анализ языка: Модели действия. М., 1992.
- Логический анализ языка: Образ человека в культуре и языке. М., 1999.
- Ломко Я. А.* Русский язык в телерадиоэфире // Русский язык в эфире: проблемы и пути их решения: Материалы круглого стола, Москва, 14 ноября 2000 г. М., 2001. С. 62—67.
- Лосев А. Ф.* Знак. Символ. Миф. М., 1982.
- Лосев А. Ф.* Миф — развернутое магическое имя // Символ. № 28 (декабрь). Париж, 1992.
- Лотман Ю. М.* Текст в тексте // Труды по знаковым системам. Тарту, 1981. Вып. 14. С. 3—18.
- Лукьянова Н. А.* Экспрессивная лексика разговорного употребления (проблемы семантики). Новосибирск, 1986.
- Лурия А. Р.* Язык и сознание. М., 1998.
- ЛЭС — Лингвистический энциклопедический словарь / Гл. ред. В. Н. Ярцева, М., 1990.
- Лютикова В. Д.* Языковая личность и идиолект. Тюмень, 1999.
- Ляпон М. В.* Оценочная ситуация и словесное моделирование // Язык и личность. М., 1989. С. 24—34.
- Ляпон М. В.* Модальность // Лингвистический энциклопедический словарь. М., 1990. С. 303—304.
- Ляпон М. В.* «Грамматика самооценки» // Русский язык: Проблемы грамматической семантики и оценочные факторы в языке. М., 1992. С. 75—89.
- Ляпон М. В.* Языковая личность: поиск доминанты // Язык — система. Язык — текст. Язык — способность. М., 1995. С. 260—276.
- Ляпон М. В.* Картина мира: языковое видение интроверта // Русский язык в его функционировании: Тез. докл. Междунар. конф.: III Шмелевские чтения, 22—24 февраля 1998 г. М., 1998. С. 66—68.
- Ляпон М. В.* Картина мира: языковое видение интроверта // Русский язык сегодня. М., 2000. С. 199—207.
- Ляпон М. В.* Отношение к стереотипу и речевой портрет автора // Словарь и культура русской речи: К 100-летию со дня рождения С. И. Ожегова. М., 2001. С. 259—269.

Майданова Л. М. Структура и композиция газетного текста. Средства выразительного письма. Красноярск, 1987.

Майсак Т. А., Татевосов С. Г. Пространство говорящего, или Чего нельзя сказать о себе самом // Вопросы языкознания. 2000. № 5. С. 68—80.

Макаров М. Л. Интерпретативный анализ дискурса в малой группе. Тверь, 1998.

Малеева М. С. Лексическая и синтаксическая объективация знания в словообразовательном контексте. Воронеж, 1983.

Малькова В. К. Особенности стереотипизации этносов в российской прессе: Проблемы национального достоинства и толерантности // Идентичность и толерантность. М., 2002. С. 285—304.

Маркарян Э. Б. Философско-методологические проблемы анализа языка науки. Ереван, 1987.

Маркелова Т. В. Семантика и прагматика средств выражения оценки в русском языке // Филологические науки. 1995. № 3. С. 67—79.

Маркелова Т. В. Семантика оценки и средства ее выражения в русском языке: Автореф. дис. ... докт. филол. наук. М., 1996.

Маркелова Т. В. Функционально-семантическое поле оценки в русском языке // Вестн. МГУ. Сер. 9, Филология. 1994. № 4. С. 12—19.

Мартыанова И. А. Киновек русского текста: парадокс литературной кинематографичности. СПб., 2001.

Марутана У. Биология познания // Язык и интеллект. М., 1996. С. 95—142.

Маслова В. А. Параметры экспрессивности текста // Человеческий фактор в языке: языковые механизмы экспрессивности. М., 1991. С. 179—205.

Матвеева С. Я., Шляпентох В. Э. Страхи в России в прошлом и настоящем. Новосибирск, 2000.

Матвеева Т. В. Лексическая экспрессивность в языке: Учебное пособие по спецкурсу. Свердловск, 1986.

Матвеева Т. В. Нормы речевого общения как личностные права и обязанности // Юрислингвистика-2: Русский язык в его естественном и юридическом бытии. Барнаул, 2000. С. 46—55.

Медведева И. Л. Опора на внутреннюю форму слова при овладении иностранным языком // Слово и текст в психолингвистическом аспекте. Тверь, 1992. С. 73—80.

Меликишвили И. Г. Линейность языкового знака с точки зрения фонологических закономерностей: (К целостной и телеологической интерпретации языкового знака) // Вопросы языкознания. 2001. № 3. С. 50—57.

Мельчук И. А. Опыт теории лингвистических моделей «Смысл — Текст». М., 1974. С. 52—140.

Мечковская Н. Б. Социальная лингвистика. М., 1994.

Миллер Дж. А. Психолингвисты // Теория речевой деятельности. Проблемы психолингвистики. М., 1968. С. 245—266.

Минеева С. А. Подходы к пониманию риторической культуры современного человека // Риторическая культура в современном обществе. М., 2000. С. 26—27.

Минский М. Остроумие и логика когнитивного бессознательного // Новое в зарубежной лингвистике. Вып. 23. Когнитивные аспекты языка. М., 1988. С. 281—309.

Мионов Д. А. Почему не удалась «перестройка»? (Экономика глазами политолога) // Судьба России: Исторический опыт XX столетия: Тез. Третьей Всерос. конф. (Екатеринбург, 22—23 мая 1998 г.). Ч. 2. Екатеринбург, 1998. С. 292—294.

Мионова Н. И. Языковая картина личности как зеркало мотивов и потребностей // Русский язык: исторические судьбы и современность: Труды и материалы Междунар. конгресса, Москва, МГУ, 13—16 марта 2001 г. М., 2001. С. 76.

Михайлова О. А. Жизнь чужого слова в живой речи горожан // Русская разговорная речь как явление городской культуры. Екатеринбург, 1996. С. 153—167.

Михайлова О. А. Ограничения в лексической семантике: Семасиологический и лингвокультурный аспекты. Екатеринбург, 1998.

Михайлова Т. В., Михайлов А. В. Средства вербальной поддержки континуальности общества: древнерусский пример // Проблемы исторического языкознания и ментальности. Современное русское общественное сознание в зеркале вербализации. Вып. 3. Красноярск, 1999. С. 36—58.

Михальская А. К. Русский Сократ: Лекции по сравнительно-исторической риторике: Учеб. пособие для студентов гуманитарных факультетов. М., 1996.

Михальченко В. Ю. Российская социальная лингвистика: прошлое, настоящее, будущее // Вопросы филологии. 1999. № 1. С. 22—28.

Мода: за и против / Общ. ред. и сост. В. И. Толстых. М., 1973.

Мокиенко В. М. Доминанты языковой смуты постсоветского периода // Русистика. № 1—2. Берлин, 1998. С. 37—56.

Морковкин В. В. Антропоцентрический versus-лингвоцентрический подход к лексикографированию // Национальная специфика языка и ее отражение в нормативном словаре. М., 1988. С. 131—136.

Морковкин В. В., Морковкина А. В. Русские агнонимы (слова, которые мы знаем). М., 1997.

Морковкин В. В., Морковкина А. В. Язык, мышление и сознание et vice versa // Русский язык за рубежом. 1994. № 1. С. 63—70.

Морозова И. Слагая слоганы. М., 2001.

Москальская О. И. Грамматика текста. М., 1981

Москвин В. П. Способы эвфемистической зашифровки в современном русском языке // Языковая личность: социолингвистические и эмотивные аспекты. Волгоград; Саратов, 1998. С. 160—168.

Москвин В. П. Эвфемизмы в лексической системе современного русского языка. Волгоград, 1999.

Москвин В. П. Эвфемизмы: системные связи, функции и способы образования // Вопросы языкознания. 2001. № 3. С. 58—70.

Москович В. А. Статистика и семантика. М., 1969.

Мурзин Л. Н. Норма, речевой прием и ошибка с динамической точки зрения // Речевые приемы и ошибки: типология, деривация и функционирование. М., 1989. С. 5—13.

Мурзин Л. Н. О суггестивно-магической функции языка // Фатическое поле языка: Памяти профессора Л. Н. Мурзина. Пермь, 1998а. С. 108—112.

Мурзин Л. Н. Полевая структура языка // Фатическое поле языка: Памяти профессора Л. Н. Мурзина. Пермь, 1998б. С. 9—14.

Мустайоки А. Аспектуальность в теории функционального син-

таксиса // Die grammatischen Korrelationen. Graz: GraLiS — 1999. С. 229—244.

Налимов В. В. На грани третьего тысячелетия: что осмыслили мы, приближаясь к XXI веку: (Философское эссе). М., 1994.

Нахратова С. Ю. Проблема понимания: психолингвистический аспект // Структуры языкового сознания. М., 1990. С. 5—17.

Невойт В. И. Фитонимы в русской языковой картине мира // Русский язык: исторические судьбы и современность: Труды и материалы Международ. конгресса, Москва, МГУ, 13—16 марта 2001 г. М., 2001. С. 77.

Нещименко Г. П. «Устнизация» современной публичной вербальной коммуникации и ее влияние на динамику языковой культуры // Активные языковые процессы конца XX века: Тез. докл. Междунар. конф.: IV Шмелевские чтения, Москва, 23—25 февраля 2000 г. М., 2000. С. 117—122.

Никитин М. В. Основы лингвистической теории значения. М., 1988.

Никитина С. Е. Устная народная культура и языковое сознание. М., 1993.

Никитина С. Е. Языковое сознание и самосознание личности в народной культуре // Язык и личность. М., 1989. С. 34—40.

Николаева Т. М. Язык об языке: Сб. ст. // Вопросы языкознания. 2001. № 2. С. 140—145.

Николаева Т. М. «Социолингвистический портрет» и методы его описания // Русский язык и современность: Проблемы и перспективы развития русистики: Докл. Всесоюз. науч. конф. Ч. 2. М., 1991. С. 73—75.

Николаева Т. М. Лингвистика текста: Современное состояние и перспективы // Новое в зарубежной лингвистике. Вып. 8. М., 1978. С. 5—42.

Николина Н. А. О лексикализации аффиксов в современном русском языке // Язык: изменчивость и постоянство. М., 1998. С. 320—328.

Никольский Л. Б. Синхронная социолингвистика. М., 1976.

Новое в русской лексике. Словарные материалы — 77 / Под ред. Н. З. Котеловой. М., 1980.

Новое в русской лексике. Словарные материалы — 78 / Под ред. Н. З. Котеловой. М., 1981.

Новое в русской лексике. Словарные материалы — 79 / Под ред. Н. З. Котеловой. М., 1982.

Новое в русской лексике. Словарные материалы — 80 / Под ред. Н. З. Котеловой. М., 1984.

Новое в русской лексике. Словарные материалы — 81 / Под ред. Н. З. Котеловой. М., 1986а.

Новое в русской лексике. Словарные материалы — 82 / Под ред. Н. З. Котеловой. М., 1986б.

Новые слова и значения (по материалам прессы и литературы 60-х годов) / Под ред. Н. З. Котеловой и Ю. С. Сорокина. М., 1971.

Новые слова и значения: Словарь-справочник по материалам прессы и литературы 70-х годов / Под ред. Н. З. Котеловой. М., 1984.

Норман Б. Ю. К типологии речевых ошибок (на синтаксическом материале) // Речевые приемы и ошибки: типология, деривация и функционирование. М, 1989. С. 14—22.

Норман Б. Ю. Грамматика говорящего. СПб., 1994.

Норман Б. Ю. К семантической эволюции некоторых русских слов (об идеологическом компоненте значения) // Мова тоталитарного суспільства. Киев, 1995. С. 37—43.

Норман Б. Ю. Основы языкознания. Минск, 1996.

Норман Б. Ю. О креативной функции языка (на материале славянских языков) // Русское слово в языке, тексте и культурной среде. Екатеринбург, 1997. С. 165—174.

Норман Б. Ю. Грамматические инновации в русском языке, связанные с социальными процессами // Русистика. 1998. № 1—2. С. 57—68.

Норман Б. Ю. К понятию внутренней формы // Ветроградт многоцветный: Festschrift für Helmut Jachnow. München, 1999. С. 209—218.

Общее языкознание. Формы существования, функции, история языка. М., 1970.

Овчаренко В. И. Осознание бессознательного // Вопросы философии. 2000. № 10. С. 33—36.

Овшинева Н. Л. Стереотипы сознания мира как составляющие образа мира // Языковая семантика и образ мира: Тез. Междунар. науч. конф., посвященной 200-летию университета. Кн. 1. Казань, 1997. С. 16—18.

Огурцов А. П. Трудности анализа ментальности // Душков Б. А. Психосоциология менталитета и нооменталитета: Учеб. пособие для вузов. Екатеринбург, 2002. С. 378—384 [Приложение].

Орлов А. С. и др. История России с древнейших времен до наших дней. М., 2000.

Орлова Л. В. Азбука моды. М., 1989.

Осинов Б. И. Речевое мошенничество — вид уголовного преступления? // Юрислингвистика-2: Русский язык в его естественном и юридическом бытии. Барнаул, 2000. С. 207—212.

Отражение русской языковой картины мира в лексике и грамматике: Межвуз. науч. сб. Новосибирск, 1999.

Павиленис Р. И. Проблема смысла: Современный логико-философский анализ языка. М., 1983.

Падучева Е. В. К структуре семантического поля «восприятие»: (На материале глаголов восприятия в русском языке) // Вопросы языкознания. 2001. № 4. С. 23—44.

Панасюк А. Ю. А что у него в подсознании?: Двенадцать уроков по психотехнологии проникновения в подсознание собеседника. М., 1999.

Панов М. В. Из наблюдений над стилем сегодняшней периодики // Язык современной публицистики. М., 1988. С. 4—27.

Панов М. В. История русского литературного произношения XVIII—XX вв. М., 1990.

Панова Л. Г. Русская наивная космология // Русский язык: исторические судьбы и современность: Труды и материалы Международного конгресса, Москва, МГУ, 13—16 марта 2001 г. М., 2001. С. 78—79.

Парыгин Б. Д. Основы социально-психологической теории. М., 1971 (гл. 7). С. 219—300.

Пассов Е. И. Основы коммуникативной методики обучения иноязычному общению. М., 1989.

Пеньковский А. Б. Радость и удовольствие в представлении русского языка // Логический анализ языка: Культурные концепты. М., 1991. С. 148—150.

Пересыпкина О. Н. Мотивационные ассоциации лексических еди-

ниц русского языка (лексикографический и теоретический аспекты): Автореф. дис. ... канд. филол. наук. Барнаул, 1998.

Петренко В. Ф. Основы психосемантики. Смоленск, 1997.

Петренко В. Ф. Психосемантический аспект массовых коммуникаций // Язык средств массовой информации как объект междисциплинарного исследования: Тез. докл. Междунар. науч. конф., Москва, МГУ, 25–27 октября 2001 г. М., 2001. С. 44–47.

Петрищева Е. Ф. Стилистически окрашенная лексика русского языка. М., 1984.

Петров В. В. Язык и логическая теория в поисках новой парадигмы // Вопросы языкознания. 1988. № 2. С. 39–48.

Петров-Стромский В. Ф. Три эстетики европейского искусства. Проблема эстетического // Вопросы философии. 2000. № 10. С. 155–170.

Пиотровская Л. А. Эмотивные высказывания в современном русском языке. СПб., 1993.

Пиотровская Л. А. Лингвистическая природа эмотивных высказываний: Дис. ... докт. филол. наук. СПб., 1995.

Пищальникова В. А. Концептуальная система индивида как поле интерпретации смысла художественного текста // Язык. Человек. Картина мира: Материалы Всерос. науч. конф. Ч. 1. Омск, 2000. С. 45–50.

Платонов О. А. Русский труд. М., 1991.

Пойменова А. А. Лексическая ошибка в свете стратегий преодоления коммуникативных затруднений при пользовании иностранным языком: Автореф. дис. ... канд. филол. наук. Тверь, 1999.

Пойменова А. А. Лексические ошибки и некоторые пути их исследования // Психолингвистические исследования слова и текста. Тверь, 1997. С. 44–53.

Пойменова А. А. Психолингвистические механизмы лексических ошибок // Семантика слова и текста: психолингвистические исследования. Тверь, 1998. С. 84–89.

Поливанов Е. Д. Русский язык сегодняшнего дня // Литература и марксизм. Кн. 4. М., 1928. С. 167–180.

Политическая энциклопедия. Т. 1. М., 1999.

Полухина В. Портрет поэта в его интерьере // Иосиф Бродский: Большая книга интервью. М., 2000. С. 675—685.

Попков В. Д. Основные принципы функционирования демократического общества и социальный конфликт // Социальный конфликт. 2000. № 2 (26). С. 55—61.

Попова З. Д., Стернин И. А. Очерки по когнитивной лингвистике. Воронеж, 2001.

Портнов А. Н. Язык, мышление, сознание: Психолингвистические аспекты. Иваново, 1988.

Поспелова А. Г., Петрова Е. С. Метаязыковой микродиалог в контексте дискурса // Вопросы английской контекстологии. Вып. 4. СПб., 1996. С. 123—128.

Потебня А. А. Мысль и язык // Звегинцев В. А. История языкознания XIX и XX веков в очерках и извлечениях. Ч. 1. М., 1960. С. 117—122.

Потебня А. А. Мысль и язык // Потебня А. А. Эстетика и поэтика. М., 1976. С. 35—220.

Потебня А. А. Слово и миф. М., 1989.

Потто В. А. Кавказская война // Кавказский край. Ставрополь, 1994.

Почепцов О. Г. Языковая ментальность: способ представления мира // Вопросы языкознания. 1990. № 6. С. 111—122.

Прангишвили А. С., Бассин Ф. В., Шошин Б. П. Существует ли дилемма «бессознательное или установка»? // Вопросы психологии. 1984. № 6. С. 95—101.

Прокуровская Н. А. Город в зеркале своего языка. Ижевск, 1996.

Пронин Е. И. Психологические проблемы современной журналистики // Вестн. МГУ. Сер. 10, Журналистика. 2001. № 3. С. 50—59.

Пронина Е. Е. «Живой текст»: четыре стиливых признака net-мышления // Вестн. МГУ. Сер. 10, Журналистика. 2001. № 6. С. 74—80.

Прохоров Ю. Е. Национальные социокультурные стереотипы речевого общения и их роль в обучении русскому языку иностранцев. М., 1997.

Пузырев А. В. Языковая личность в плане субстратного подхода //

Языковое сознание: формирование и функционирование. М., 1998. С. 23—29.

Радченко О. А. Лингвофилософские опыты В. фон Гумбольдта и постгумбольдтианство // Вопросы языкознания. 2001. № 3. С. 96—125.

Разновидности городской устной речи. М., 1988.

Рамишвили Г. В. К вопросу о неосознанной активности языка // Бессознательное: Природа. Функционирование. Методы исследования. Т. 3. Тбилиси, 1978. С. 199—201.

Рафикова П. В. Влияние внутреннего контекста на понимание слова и текста: обзор моделей понимания // Семантика слова и текста: психолингвистические исследования. Тверь, 1998. С. 50—83.

Рогожникова Т. М. Психолингвистические проблемы функционирования полисемантического слова: Автореф. дис. ... докт. филол. наук, Уфа, 2000.

Рождественский Ю. В. Лекции по общему языкознанию. М., 2000.

Розанов В. В. Черты характера Древней Руси // Религия и культура. М., 1990. Т. 1. С. 17—326.

Розен Е. В. Новые слова и устойчивые словосочетания в немецком языке. М., 1991.

Розеншток-Хюссе О. Речь и действительность. М., 1994.

Роль человеческого фактора в языке: Язык и картина мира / Б. А. Серебренников, Е. С. Кубрякова, В. И. Поставалова и др. М., 1988.

Романенко А. П. Советская словесная культура: образ ратора. Саратов, 2000.

Романенко А. П. Советская словесная культура: образ ратора: Дис. ... докт. филол. наук. Саратов, 2001.

Романович Н. А. Демократические ценности и свобода «порусски» // Социологические исследования. Социс. 2002. № 8 (220). С. 35—39.

Российская интеллигенция: критика исторического опыта: Тез. докл. Всерос. конф. с междунар. участием, посвящен. 80-летию сборника «Смена вех», 1—2 июня 2001 г. Екатеринбург, 2001.

Ростова А. П. Метатекст как форма экспликации метаязыкового сознания (на материале русских говоров Сибири). Томск, 2000.

Рубакин П. А. Психология читателя и книги: Краткое введение в библиологическую психологию. М., 1977.

Руденкин В. Н. Гражданское общество в России: История и современность. Екатеринбург, 2002.

Руденко В. Н. Мертвые термины: язык периода «застоя» как средство идеологической техники и социальной терапии // Социемы. 1995. № 4. Екатеринбург, 1995. С. 20—34.

Руденский Е. В. Социальная психология. Новосибирск, 1996.

Рудник-Карват З. О функциях уменьшительных и увеличительных существительных в тексте // Лики языка. М., 1998. С. 315—326.

Рудницкая Е. Л. Локальные и нелокальные рефлексивы в корейском языке с типологической точки зрения — формальное или прагматическое описание // Вопросы языкознания. 2001. № 3. С. 83—95.

Русская национальная идея: духовное наследие и современность: Сб. ст. Екатеринбург, 1997.

Русская разговорная речь как явление городской культуры. Екатеринбург, 1999.

Русская разговорная речь / Отв. ред. Е. А. Земская. М., 1973.

Русская разговорная речь: Тексты / Ред. Е. А. Земская, Л. А. Капандзе. М., 1978.

Русская разговорная речь. Фонетика. Морфология. Лексика. Жест / Отв. ред. Е. А. Земская. М., 1983.

Русский язык в его функционировании: Коммуникативно-прагматический аспект. М., 1993.

Русский язык в контексте культуры / Под ред. Н. А. Купиной. Екатеринбург, 1999.

Русский язык конца XX века (1985—1995) / Отв. ред. Е. А. Земская. М., 1996.

Руткевич М. Какие же классы теперь существуют в нашей стране? // Российский обозреватель. 1996. № 4. С. 65—72.

Рыбаков С. В. Миф «деидеологизации» // Русская национальная идея: духовное наследие и современность. Екатеринбург, 1997. С. 238—242.

Рябцева П. К. Коммуникативный модус и метаречь // Логический анализ языка: Язык речевых действий. М., 1994. С. 82—92.

РЯ и СО — Русский язык и советское общество / Под ред. М. В. Панова. М., 1968. Кн. 1—4.

Савицкий Н. П. Позитивное и негативное отражение общества в языке // Словарь. Грамматика. Текст. М., 1996. С. 155—159.

Сазонова Т. Ю. Опора на формальные элементы при идентификации нового слова // Слово и текст: Актуальные проблемы психолингвистики. Тверь, 1994. С. 65—70.

Сальмон Л. Наименее советский город в России: хронотоп довластовских рассказов // Звезда. 2000. № 8. С. 151—155.

Сальников Н. М. Новое в лексике современного русского языка // Zielsprache Russisch. Munchen. 1992. С. 95—97.

Сандомирская И. И. Книга о Родине: Опыт анализа дискурсивных практик. Wien, 2001.

Сафонова Ю. А. Новые русские: (Заметки об одном новом фразеологизме) // Русистика. 1998. № 1—2. С. 99—118.

Сахарный Л. В. К основаниям теории текстов-примитивов // Деривация и семантика: слово — предложение — текст. Пермь, 1986. С. 89—98.

Сахарный Л. В. Введение в психолингвистику. М., 1989.

Свободное слово: Интеллектуальная хроника десятилетия, 1985—1995. М., 1996.

Седакова И. А. Лучшее для лучших!: Система оценок в современной российской рекламе // STUDIA SLAVICA FINLANDENSIA: Оценка в современном русском языке: Сб. ст. Т. 14. Helsinki, 1997. С. 156—165.

Седов К. Ф. «Новояз» и речевая культура личности (становление языковой личности) // Вопросы стилистики. Вып. 25. Проблемы культуры речи. Саратов, 1993. С. 29—35.

Седов К. Ф. О жанровой природе дискурсивного мышления языковой личности // Жанры речи — 2. Саратов, 1999. С. 13—26.

Седов К. Ф. Структура устного дискурса и становление языковой личности: Грамматический и прагмалингвистический аспекты. Саратов, 1998.

Сенько Е. В. Экспрессивность новизны как особый вид экспрессивной семантики // Проблемы экспрессивной стилистики. Ростов, 1987. С. 137—141.

- Сепир Э.* Избранные труды по языкознанию и культурологии. М., 1993.
- Сергеев В.* Не вполне расшаренная реальность // Компьютерра. 1999. 13 июля. № 27—28. С. 22—30.
- Серебрянников Б. А.* Номинация и проблема выбора // Языковая номинация (общие вопросы). М., 1977. С. 147—187.
- Серебрянников Б. А.* О материалистическом подходе к языкознанию. М., 1983.
- Серебрянников Б. А.* Об относительной самостоятельности развития системы языка. М., 1967.
- Серебрянников Б. А.* Роль человеческого фактора в языке: Язык и мышление. М., 1988.
- Сидоров Е. В.* Проблемы речевой системности. М., 1987.
- Сидорова Л. Н.* К определению понятия «интерпретация» // Структуры языкового сознания. М., 1990. С. 18—38.
- Сикевич З. В.* Национальное самосознание русских. М., 1996.
- Сиротинина О. Б.* Современный публицистический стиль русского языка // Русистика. 1999. № 1—2. С. 5—17.
- Скат Т. Н.* Метакоммуникация в диалоге: Теоретический аспект // Структуры языкового сознания. М., 1990. С. 146—158.
- Скляревская Г. Н.* Реальный и ирреальный мир толкового словаря (к вопросу о прагматическом компоненте слова) // Scando-Slavica. 1993. Т. 39. С. 166—178.
- Скляревская Г. Н.* Прагматика и лексикография // Язык — система. Язык — текст. Язык — способность. М., 1995. С. 63—71.
- Скляревская Г. Н.* Русский язык конца XX века: версия лексикографического описания // Словарь. Грамматика. Текст. М., 1996. С. 463—473.
- Скляревская Г. Н.* Категория оценки: основные понятия, термины, функции (на материале русского языка) // STUDIA SLAVICA FINLANDENSIA: Оценка в современном русском языке: Сб. ст. Т. 14. Helsinki, 1997. С. 166—184.
- Скляревская Г. Н.* Слово в меняющемся мире: Русский язык начала XXI столетия: состояние, проблемы, перспективы // Исследования по славянским языкам: Корейская ассоциация славистов. № 6. Сеул, 2001. С. 177—202.

Сковородников А. П. Вопросы экологии русского языка. Красноярск, 1993.

Сковородников А. П. О соотношении процессов экспрессивизации и вульгаризации русской публичной речи конца XX века // Активные языковые процессы конца XX века: Тез. докл. Междунар. конф.: IV Шмелевские чтения, Москва, 23—25 февраля 2000 г. М., 2000. С. 155—156.

Сливницкий Ю. О. Механизм текущего контроля в структуре исполнительного действия: Автореф. дис. ... канд. психол. наук. М., 1983.

Словарь перестройки / Максимов В. И. и др. СПб., 1992.

Словарь русского языка: В 4 т. М., 1981—1984.

Согрин В. Политическая история современной России, 1985—1994: От Горбачева до Ельцина. М., 1994.

Соколов А. Н. Внутренняя речь и мышление. М., 1968.

Сокулер З. А. Проблема образования знания: Гносеологические концепции Л. Витгенштейна и К. Поппера. М., 1988.

Солганик Г. Я. Синтаксическая стилистика. М., 1973.

Солганик Г. Я. Автор как стилеобразующая категория публицистического текста // Вестн. МГУ. Сер. 10, Журналистика. 2001. № 3. С. 74—83.

Солганик Г. Я. К проблеме типологии речи // Вопросы языкознания. 1981. № 1. С. 70—79.

Солдатова Г. У. Этническая идентичность и этнополитическая мобилизация [Гл. 7] // Дробижева Л. М. и др. Демократизация и образы национализма в Российской Федерации 90-х годов. М., 1996. С. 296—366.

Солнцев В. М. Языкознание на пороге XXI века // Вопросы филологии. 1999. № 1. С. 5—15.

Сорокин Ю. А. Взаимодействие реципиента и текста: Теория и прагматика // Функционирование текста в лингвокультурной общности. М., 1978. С. 67—101.

Сорокин Ю. А. Психолингвистические аспекты изучения текста. М., 1985.

Сорокин Ю. А. Смысловое восприятие текста и библиопсихология // Сорокин Ю. А., Тарасов Е. Ф., Шахнарович А. М. Теорети-

ческие и прикладные проблемы речевого общения. М., 1979. С. 234—287.

Сорокин Ю. А., Тарасов Е. Ф., Шахнарович А. М. Теоретические и прикладные проблемы речевого общения. М., 1979.

Сорокин Ю. А., Узилевский Г. Я. Взаимосвязь языкового и метаязыкового сознания и интеллекта в деятельности переводчика // Языковое сознание: Тезисы IX Всесоюз. симпозиума по психолингвистике и теории коммуникации. М., 1988. С. 166—167.

Сорокин Ю. А., Ярославцева Е. И. Тексты на ИЯ и ПЯ с точки зрения меры близости текстов // Общение. Текст. Высказывание. М., 1989. С. 118—122.

Соссюр Ф. де. Заметки по общей лингвистике. М., 1990.

Соссюр Ф. Курс общей лингвистики // Труды по языкознанию. М., 1977.

Социальная лингвистика в Российской Федерации (1992 — 1998): Сб. М., 1998.

СОШ — *Ожегов С. И., Шведова Н. Ю.* Толковый словарь русского языка. М., 1999.

Степанов Ю. С. В поисках прагматики: (Проблема субъекта) // Изв. АН СССР. Сер. лит. и яз. 1981. Т. 40, № 4. С. 325—332.

Степанов Ю. С. Имена, предикаты, предложения: (Семиологическая грамматика). М., 1981.

Степанов Ю. С. Константы: Словарь русской культуры. М., 1997.

Степанов Ю. С. Константы: Словарь русской культуры. 2-е изд., испр. и доп. М., 2001.

Степанов Ю. С. Эмиль Бенвенист и лингвистика на пути преобразований [Вступ. ст.] // Бенвенист Э. Общая лингвистика. М., 1974. С. 9—16.

Стернин И. А. О трех видах экспрессивного слова // Структура лингвостилистики и ее основные категории. Пермь, 1983. С. 123—127.

Стернин И. А. Лексическое значение слова в речи. Воронеж, 1985.

Стернин И. А. Общественные процессы и развитие современного русского языка. Очерк изменений в русском языке конца XX века. Воронеж; Пермь, 1998.

Стернин И. А. Социальные факторы и развитие современного русского языка // Теоретическая и прикладная лингвистика. Вып. 2. Язык и социальная среда. Воронеж, 2000а. С. 4—16.

Стернин И. А. Что происходит с русским языком?: Очерк изменений в русском языке конца XX века. Туапсе, 2000б.

Стернин И. А. Коммуникативное поведение в структуре национальной культуры // Этнокультурная специфика языкового сознания. М., 2000в. С. 97—112.

Стернин И. А., Быкова Г. В. Концепты и лакуны // Языковое сознание: формирование и функционирование. М., 1998. С. 55—67.

Судьба России: исторический опыт XX века: Тезисы Третьей Всероссий. конф.: В 2 ч. Екатеринбург, 1998.

Тарасов Е. Ф. Введение // Язык и сознание: парадоксальная рациональность. М., 1993. С. 6—15.

Текст: стереотип и творчество. Пермь, 1998.

Телия В. Н. Экспрессивность как проявление субъективного фактора в языке и ее прагматическая организация // Человеческий фактор в языке: языковые механизмы экспрессивности. М., 1991а. С. 5—35.

Телия В. Н. Механизмы экспрессивной окраски языковых единиц // Человеческий фактор в языке: языковые механизмы экспрессивности. М., 1991б. С. 36—66.

Телия В. Н. Коннотативный аспект семантики номинативных единиц. М., 1986.

Телия В. Н. Русская фразеология: Семантический, прагматический и лингвокультурологический аспекты. М., 1996.

Теоретическая и прикладная лингвистика: Межвуз. сб. науч. тр. Вып. 2. Язык и социальная среда. Воронеж, 2000.

Теоретические проблемы социальной лингвистики. М., 1981.

Титкова О. И. К терминологическому обозначению высокочастотной лексики // Терминоведение. 1998а. № 1—3. С. 148—150.

Титкова О. И. Тенденции развития модных слов в лексиконе современного немецкого языка (70—90-е гг.) // Терминоведение. 1998б. № 1—3. С. 150—157.

Тогоева С. И. Новое слово: лингвистический и психологические

подходы // Проблемы семантики: психолингвистические исследования. Тверь, 1991.

Тогоева С. И. Факторы, влияющие на процесс идентификации значения нового слова // Слово и текст: Актуальные проблемы психолингвистики. Тверь, 1994. С. 59—64.

Толковый словарь русского языка конца XX века: Языковые изменения / Под ред. Г. Н. Склярёвской. СПб., 1998.

Толкунова Е. Г. Семантическое описание современных русских рекламных текстов (суггестологический аспект): Автореф. дис. ... канд. филол. наук. Барнаул, 1998.

Толстой Н. И. Язык и культура: (Некоторые проблемы славянской этнолингвистики) // Русский язык и современность: Проблемы и перспективы развития русистики: Доклады Всесоюз. науч. конф., Москва, 20—23 мая 1991 г. Ч. 1. М., 1991. С. 5—22.

Травин Д. Десятилетие российского рынка: от кризиса к кризису // Pro et contra. 1999. Т. 4, № 2. Преобразования в России: итоги десятилетия. С. 46—62.

Трипольская Т. А. Эмотивно-оценочная лексика в антропологическом аспекте: Автореф. дис. ... докт. филол. наук. СПб., 1999.

Трубачев О. Н. Славянская филология и сравнительность: От съезда к съезду // Вопросы языкознания. 1998. № 3. С. 3—25.

Трубачев О. Н. Этногенез и культура древнейших славян. Лингвистические исследования. М., 1991.

Трубецкой Н. С. История. Культура. Язык. М., 1995.

ТСУ — Толковый словарь русского языка: В 4 т. / Под ред. проф. Д. Н. Ушакова. М., 1940.

Тувльviste Т. О развитии метаязыковых способностей у детей // Язык и структура знаний. М., 1990. С. 113—121.

Тувльviste Т. О структуре и функциях метаязыкового сознания // Языковое сознание: Тезисы IX Всесоюз. симпозиума по психолингвистике и теории коммуникации. М., 1988. С. 179—180.

Турунен Н. Метатекст как глобальная система и вопросы конструирования текста в пособиях по развитию речи // Стереотипность и творчество в тексте. Пермь, 1999. С. 310—319.

Узнадзе Д. Н. Установка у человека // Психология личности. Т. 2. Хрестоматия. Самара, 1999. С. 245—298.

Улуханов И. С. Единицы словообразовательной системы русского языка и их лексическая реализация. М., 1996.

Урысон Е. В. Душа, сердце и ум в языковой картине мира // Путь: Междунар. филос. журнал. 1994. № 6. С. 219—231.

Устимова О. В. Социально-политические ориентации российских журналистов (по материалам экспертного опроса) // Вестн. МГУ. Сер. 10, Журналистика. 2000а. № 4. С. 15—28.

Устимова О. В. Социально-политические ориентации российских журналистов (по материалам экспертного опроса) // Вестн. МГУ. Сер. 10, Журналистика. 2000б. № 5. С. 24—45.

Устимова О. В. Пресса о «новых русских» и «новых бедных» в составе средних слоев // Вестн. МГУ. Сер. 10, Журналистика. 1996. № 1. С. 14—23.

Уфимцева А. А. Лексическая номинация [Гл. 1] // Языковая номинация. Общие вопросы. М., 1977. С. 7—98.

Уфимцева Н. В. Менталитет, образ себя и языковое сознание русских // Национально-культурный компонент в тексте и языке: Материалы II Междунар. науч. конф., Минск, 7—9 апреля 1999 г.: В 3 ч. Ч. 1. Минск, 1999. С. 26—27.

Уфимцева Н. В. Русские глазами русских // Язык — система. Язык — текст. Язык — способность. М., 1995. С. 242—249.

Уфимцева Н. В. Русские: Опыт еще одного самопознания // Этнокультурная специфика языкового сознания. М., 2000. С. 139—162.

Уфимцева Н. В. Языковое сознание: структура и содержание: (Обзор) // РЖ. Социальные и гуманитарные науки. Отечественная и зарубежная литература. 2. 1997. Сер. 6, Языкознание. С. 21—37.

Федоров А. В. Основы общей теории перевода. М., 1968.

Федосюк М. Ю. Молодежное аргю в романе Энтони Бёрджеса «Заводной апельсин» // Язык: изменчивость и постоянство. М., 1998. С. 337—347.

Федосюк М. Ю. Нерешенные вопросы теории речевых жанров // Вопросы языкознания. 1997. № 5. С. 102—120.

Федосюк М. Ю. Современный русский анекдот с позиций совре-

менной лингвистики // И. А. Бодуэн де Куртенэ: Ученый. Учитель. Личность. Красноярск, 2000. С. 260—269.

Феллер М. Д. Коммуникативный акт как единство синхронии и диахронии // Соотношение синхронии и диахронии в языковой эволюции: Тез. Всесоюз. науч. конф. М.; Ужгород, 1991. С. 24—25.

Ферм Л. Особенности развития русской лексики в новейший период (на материале газет). Uppsala, 1994.

Фишман Р. Б. Мода как социальное явление: Автореф. дис. ... канд. филос. наук. Свердловск, 1990.

Фомина З. Е. Слова-хронофакты в языке политических текстов // Язык и эмоции. Волгоград, 1995. С. 207—215.

Фомичева И. Д. Газета как общенациональная коммуникация (Коммуникативный кризис в России) // Вестн. МГУ. Сер. 10, Журналистика. 2001. № 1. С. 23—30.

Формановская Н. А. Высказывания и дискурс как основные единицы общения // Русский язык: исторические судьбы и современность: Труды и материалы Междунар. конгресса, Москва, МГУ, 13—16 марта 2001 г. М., 2001. С. 18—19.

Фрейд З. Избранное. Кн. 1. М., 1990.

Фрумкина Р. М. Есть ли у современной лингвистики своя эпистемология? // Язык и наука конца 20 века. М., 1995. С. 83—108.

Фрумкина Р. М. Идеи и идеологемы в лингвистике // Язык и структура знания. М., 1990. С. 177—190.

Фрумкина Р. М. [Предисловие] // Психолингвистика. М., 1984. С. 3—14.

Фрумкина Р. М. Проблема «язык и мышление» в свете ценностных ориентаций // Язык и когнитивная деятельность. М., 1989. С. 59—71.

Фрумкина Р. М. Психолингвистика. М., 2001.

Фрумкина Р. М. и др. Представление знаний как проблема // Вопросы языкознания. 1990. № 6. С. 85—101.

Хайдеггер М. Время и бытие: Статьи и выступления. М., 1993.

Хлебда В. Шесть соображений по вопросу о языковом самосознании // Русистика. СПб, 1999. С. 62—67.

Холличер В. Природа в научной картине мира. М., 1966.

Холличер В. Человек в научной картине мира. М., 1971.

Хотинец В. Ю. О возможности отражения в этнических стереотипах типичных черт этнического характера // Идентичность и толерантность. М., 2002. С. 266—284.

Цоллер В. Н. Семантико-стилистические инновации в языке газеты новейшего времени (социолингвистический аспект) // Язык и культура: Тезисы Второй Междунар. конф. Ч. 1. Киев, 1993. С. 72—74.

Чейф У. Л. Память и вербализация прошлого опыта // Текст: аспекты изучения семантики, прагматики и поэтики. М., 2001. С. 3—41.

Человеческий фактор в языке: Язык и порождение речи / Под ред. Е. С. Кубряковой. М, 1991.

Чемоданов Н. С. Проблемы социальной лингвистики в современном языкознании // Новое в лингвистике. Вып. 7. Социолингвистика. М., 1975. С. 5—33.

Чепкина Э. В. Русский журналистский дискурс: текстопорождающие практики и коды (1995—2000). Екатеринбург, 2000.

Чередниченко Т. Россия 1990-х в слоганах, рейтингах, имиджах // Актуальный лексикон истории культуры. М, 1999а.

Чередниченко Т. Радость (?) выбора (?) // Новый мир. 1999б. № 1. С. 125—136.

Черемисина Н. В. Семантические принципы в диахронии языка и в динамике текста (к проблеме взаимоотношения языка и мышления) // Вопросы исторической семантики русского языка. Калининград, 1989. С. 9—18.

Чернейко Л. О. Лингвофилософский анализ абстрактного имени. М, 1998.

Чернейко Л. О. Оценка в знаке и знак в оценке // Филологические науки. 1990. № 2. С. 72—82.

Чернейко Л. О. Порождение и восприятие межличностных оценок // Филологические науки. 1996. № 6. С. 42—53.

Черненко А. А. Релятивность семантической нормы: антиномия произвольности и конвенциональности // Русистика. Вып. 1. Киев, 2001. С. 26—30.

Черняк В. Д. Агнонимы в речевом портрете современной языковой личности // Культурно-речевая ситуация в современной России:

вопросы теории и образовательных технологий: Тез. докл. Всерос. науч.-метод. конф. Екатеринбург, 2000. С. 187—189.

Чечня: война и мир. М., 2000.

Чудинов А. П. Типология варьирования глагольной семантики. Свердловск, 1988.

Чурилов И. И. Философский диспут с обыденным сознанием в афоризмах: Афоризмы новой школы. Пермь, 2000.

Шабурова О. Ностальгия: через прошлое к будущему // Социемы. 1996. Вып. 5. Екатеринбург, 1996. С. 42—54.

Шаймиев В. А. Композиционно-синтаксические аспекты функционирования метатекста в тексте (на материале лингвистических текстов) // Русский текст: Российско-американский журнал по русской филологии. № 4. СПб.; Лоуренс; Дэрэм (США), 1996. С. 80—91.

Шаймиев В. А. Об иллокутивных функциях метатекста, или Перечитывая А. Вежбицку...: (На материале лингвистических текстов) // Русистика. СПб, 1999. С. 68—76.

Шалина И. В. Взаимодействие речевых культур в диалогическом общении: аксиологический взгляд: Автореф. дис. ... канд. филол. наук. Екатеринбург, 1998.

Шаманский Д. Пустота (снова о Викторе Пелевине) // Мир русского слова. 2001. № 3. С. 59—65.

Шапошников В. Русская речь 1990-х: Современная Россия в языковом отображении. М., 1998.

Шаумян К. С. Структурная лингвистика. М., 1965.

Шахнарович А. М. Языковая личность и языковая способность // Язык — система. Язык — текст. Язык — способность. М., 1995. С. 213—224.

Шаховский В. И. Категоризация эмоций в лексико-семантической системе языка. Воронеж, 1987.

Шаховский В. И. Типы значений эмотивной лексики // Вопросы языкознания. 1994. № 1. С. 20—26.

Шаховский В. И. Эмотивный компонент — значения и методы его описания. Волгоград, 1983.

Шаховский В. И. Эмотиология в свете когнитивной парадигмы

языкознания // К юбилею ученого: Сб. науч. тр., посвященный юбилею докт. филол. наук Е. С. Кубряковой. М., 1997. С. 130—135.

Шаховский В. И. Эмоции в структуре сознания и языка личности // Языковое сознание: Тезисы IX Всесоюз. симпозиума по психолингвистике и теории коммуникации. М., 1988. С. 194—195.

Шаховский В. И., Сорокин Ю. А., Томашева И. В. Текст и его когнитивно-эмотивные метаморфозы: (Межкультурное понимание и лингвозекология). Волгоград, 1998.

Шварцкопф Б. С. Изучение оценок речи как метод исследования в области культуры речи [Гл. 16] // Культура русской речи и эффективность общения. М., 1996. С. 415—424.

Шварцкопф Б. С. Оценки говорящими фактов речи: Автореф. дис. ... канд. филол. наук. М., 1971.

Шварцкопф Б. С. Оценки речи как объект лексикографирования // Словарные категории. М., 1988. С. 182—186.

Шварцкопф Б. С. Проблема индивидуальных и общественно-групповых оценок речи // Актуальные проблемы культуры речи. М., 1970. С. 277—304.

Швейцер А. Д. Современная социоллингвистика: Теория, проблемы, методы. М., 1976.

Швейцер А. Д. Социальная дифференциация английского языка в США. М., 1983.

Шейгал Е. И. Семиотика политического дискурса. М.; Волгоград, 2000.

Шерозия А. Е. К проблеме сознания и бессознательного психического // Бессознательное, 1969—1973. Т. 2. Тбилиси, 1973.

Широканов Д. И. Ситуация современного мышления: В тисках стереотипов [Гл. 1] // Стереотипы и динамика мышления. Минск, 1993. С. 8—54.

Ширяев Е. Н. К вопросу о культурно-речевых оценках // Культурно-речевая ситуация в современной России: вопросы теории и образовательных технологий. Екатеринбург, 2000. С. 197—199.

Шмелев А. Д. Именование и автономность имени // Словарь. Грамматика. Текст. М., 1996. С. 171—179.

Шмелев А. Д. Русская языковая модель мира: Материалы к словарю. М., 2002.

Шмелев Д. Н. Проблемы семантического анализа лексики. М., 1973.

Шмелев Д. Н. Эвфемизм // Русский язык: Энциклопедия. М., 1979. С. 402.

Шмелева Т. В. Ключевые слова текущего момента // Collegium. 1993. № 1. С. 33—41.

Шмелева Т. В. Текст сквозь призму метафоры тканья // Вопросы стилистики. Вып. 27. Человек и текст. Саратов, 1998. С. 68—74.

Шмелева Т. В. Языковая рефлексия // Теоретические и прикладные аспекты речевого общения. Вып. 1 (8). Красноярск, 1999. С. 108—110.

Шунейко А. А. Оценки речи и речь оценок (на материале творчества Венедикта Ерофеева) // Словарь и культура русской речи: К 100-летию со дня рождения С. И. Ожегова. М., 2001. С. 382—392.

Щерба Л. В. Опыт общей теории лексикографии // Щерба Л. В. Избр. работы по языкознанию и фонетике. Т. 1. Л., 1958.

Щерба Л. В. Языковая система и речевая деятельность. Л., 1974.

Эйтчисон Д. Лингвистическое отражение любви, гнева и страха: цепи, сети или контейнеры? // Язык и эмоции. Волгоград, 1995. С. 76—91.

Экономика — язык — культура: Круглый стол ученых // Ответственные науки и современность. 2000. № 6. С. 35—47.

Элькина З. Б. Мода и ее социальная роль: Автореф. дис. ... канд. филос. наук. Л., 1974.

Энштейн М. Н. Идеология и язык: (Построение модели и осмысление дискурса) // Вопросы языкознания. 1991. № 6. С. 19—33.

Этнопсихологический словарь / Под ред. В. Г. Крысько. М., 1999.

Юнг К. Г. Психологические типы. М., 1997.

Ядов В. А. О диспозиционной регуляции социального поведения личности // Методологические проблемы социальной психологии. М., 1975. С. 89—105.

Язык и личность. М., 1989.

Язык и сознание: парадоксальная рациональность. М., 1993.

Язык о языке: Сб. статей / Под общ. рук. и ред. Н. Д. Арутюновой. М., 2000.

- Язык, сознание, коммуникация. Вып. 8. М., 1999.
- Языковое сознание: Тезисы IX Всесоюзного симпозиума по психолингвистике и теории коммуникации, Москва, 30 мая — 2 июня 1988 г. М., 1988.
- Якобсон Р. Лингвистика и поэтика // Структурализм: «за» и «против». М., 1975. С. 193—230.
- Якобсон Р. О. К языковедческой проблематике сознания и бессознательности // Бессознательное: Природа. Функционирование. Методы исследования. Т. 3. Тбилиси, 1978. С. 156—167.
- Яковлева Е. С. О понятии «культурная память» в применении к семантике слова // Вопросы языкознания. 1998. № 3. С. 43—73.
- Яковлева Е. С. Фрагменты русской языковой картины мира: Модели пространства, времени, восприятия. М., 1994.
- Яхнов Х. Социолингвистика в России (90-е годы) // Русистика. 1998. № 1—2. С. 17—26.
- Яценко Л. В. Картина мира как универсальное средство регуляции // Научная картина мира как компонент современного мировоззрения. М.; Обнинск, 1983.
- Aitchison J.* Words in the mind: An introduction to the mental lexicon. 2-nd ed. Oxford, 1994.
- Albert E. M.* «Rhetoric», «logic» and «poetics» in Burundi: Culture patterns of speech behaviour // Amer. Anthropologist. Menasha, 1964. Vol. 66, nr. 6. P. 35—54.
- Bauman R.* Quaker folk-linguistics and folklore // Folklore: Performance and communication. Paris, 1975. P. 255—263.
- Brauwer D. et al.* Speech differences between women and men: on the wrong track? // Language in Society. 1978. Nr. 8.
- Bricher V. R.* The ethnographic context of some traditional Mayan speech genres // Explorations in the ethnography of speaking. Cambridge, 1974. P. 368—388.
- Clark E. V.* Awareness of language: some evidence from what children say and do // Sinclair. 1978. P. 17—43.
- Faltz Leonard M.* Reflexivisation. N.-Y., 1985.
- Fox J. J.* Our ancestors spoke in pairs: Rotinese views of language,

dialect and Code // Explorations the ethnography of speaking. Cambridge, 1974. P. 65—85.

Givon Talmy. Syntax: A functional-Typological Introduction. Amsterdam, 1990.

Haudressi Dola. Как отразились события последних лет на словарном составе современного русского языка // La revue russe. Paris, 1993. 4. P. 31—48.

Hertzler J. Sociology of language. N.-Y., 1965.

Hoeningwald H. M. A proposal for the study of folk linguistics // Sociolinguistics: Proc. of the UCLA socioling. conf., 1964. Paris, 1966. P. 16—21.

Jackson J. Language identity of the Colombian Vaupes Indians // Explorations in the ethnography of speaking. Cambridge, 1974. P. 50—64.

Karmiloff-Smith A. From meta-processes to conscious access: evidence from children's metalinguistic and repair data // Cognition. 1986. Nr. 23. P. 95—147.

Keenan E. Norm-makers, norm-breakers: Uses of speech by men and women in a Malagasy community // Explorations in the ethnography of speaking. Cambridge, 1974. P. 125—143.

Korzeniewska-Berczynska J. Obraz czlowieka w kontinuum publicystyki. Образ человека в континууме публицистики. Olszyn, 2001.

Lakoff R. Language and women's place // Language in Society. 1973. Nr. 1.

Language in culture and society: A reader in linguistics and anthropology / Ed. by D. Hymes. N.-Y., 1964.

Laver John D. M. The detection and correction of slips of the tongue // Speech errors as linguistic evidence / Ed. by V. A. Frimkin. Mouton, 1973. P. 132—153.

Levelt W. J. M. Speaking: From intention to articulation. Cambridge, 1993.

Marshall J. C., Morton J. On the mechanics of Emma // Sinclair. 1978. P. 225—239.

Morris Ch. Signs, language and behavior. N.-Y., 1947.

Moscovici S. The Phenomena of Social Representation // Social Representations. Cambridge, 1984. P. 3—69.

Mugdan J. Jan Baudouin de Courtenay (1845—1929) — Leben und Werk. Munchen, 1984.

Scribner S., Gole M. Literacy without schooling: testing for intellectual effects // Harvard Educational Review. 1978. Vol. 48. P. 448—461.

Slobin D. I. A case study of early language awareness // Sinclair. 1978. P. 45—64.

Smith Ph. M. Sexual markers in speech // Social markers in speech / Ed. by K. R. Sherer and H. Giles. Cambridge, 1979.

Stross B. Speaking of speaking: Jenejapa tzeltal metalinguistics // Explorations in the ethnography of speaking. Cambridge, 1974. P. 213—239.

Wierzbicka A. A Semantic Basis for Linguistic Typology // От описания к объяснению / Под ред. Е. В. Рахилиной и Я. Г. Тестельца. М., 1999.

Советы и замечания по книге просьба направлять автору:

E-mail: irina_vpreva@mail.ru



Программа «Межрегиональные исследования в общественных науках» была инициирована Министерством образования и науки РФ, «ИНО-Центром (Информация. Наука. Образование)» и Институтом имени Кеннана Центра Вудро Вильсона при поддержке Корпорации Карнеги в Нью-Йорке (США) и Фонда Джона Д. и Кэтрин Т. Маркатуров (США) в 2000 г.

Целью Программы является расширение сферы научных исследований в области общественных и гуманитарных наук, повышение качества фундаментальных и прикладных исследований, развитие уже существующих научных школ и содействие становлению новых научных коллективов в области общественных и гуманитарных наук, обеспечение более тесного взаимодействия российских ученых с их коллегами за рубежом и в странах СНГ.

Центральным элементом Программы являются девять Межрегиональных институтов общественных наук (МИОН), действующих на базе — Воронежского, Дальневосточного, Иркутского, Калининградского, Новгородского, Ростовского, Саратовского, Томского и Уральского государственных университетов. «ИНО-Центр (Информация. Наука. Образование)» осуществляет координацию и комплексную поддержку деятельности Межрегиональных институтов общественных наук.

Кроме того, Программа ежегодно проводит общероссийские конкурсы на соискание индивидуальных и коллективных грантов в области общественных и гуманитарных наук. Гранты предоставляются российским ученым на научные исследования и поддержку академической мобильности.

Наряду с индивидуальными грантами большое значение придается созданию в рамках Программы дополнительных возможностей для профессионального развития грантополучателей Программы: проводятся российские и международные конференции, семинары, круглые столы; организуются международные научно-исследовательские проекты и стажировки; большое внимание уделяется изданию и распространению результатов научно-исследовательских работ грантополучателей; создаются условия для участия грантополучателей в проектах других доноров и партнерских организаций.

Адрес: 107078, г. Москва, Почтамт, а/я 231

Электронная почта: info@ino-center.ru,

Адрес в Интернете: www.ino-center.ru, www.iriss.ru

Министерство образования и науки Российской Федерации является федеральным органом исполнительной власти, проводящим государственную политику в сфере образования, научной, научно-технической и инновационной деятельности, развития федеральных центров науки и высоких технологий, государственных научных центров и наукоградов, интеллектуальной собственности, а также в сфере молодежной политики, воспитания, опеки, попечительства, социальной поддержки и социальной защиты обучающихся и воспитанников образовательных учреждений.

Министерство образования и науки Российской Федерации осуществляет координацию и контроль деятельности находящихся в его ведении Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам, Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки, Федерального агентства по науке и инновациям и Федерального агентства по образованию.

Министерство образования и науки Российской Федерации осуществляет свою деятельность во взаимодействии с другими федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления, общественными объединениями и иными организациями.

АНО «ИНО-Центр (Информация. Наука. Образование)» – российская благотворительная организация, созданная с целью содействия развитию общественных и гуманитарных наук в России; развития творческой активности и научного потенциала российского общества.

Основными видами деятельности являются: поддержка и организация научных исследований в области политологии, социологии, отечественной истории, экономики, права; разработка и организация научно-образовательных программ, нацеленных на возрождение лучших традиций российской науки и образования, основанных на прогрессивных общечеловеческих ценностях; содействие внедрению современных технологий в исследовательскую работу и высшее образование в сфере гуманитарных и общественных наук; содействие институциональному развитию научных и образовательных институтов в России; поддержка развития межрегионального и международного научного сотрудничества.

Институт имени Кеннана был основан по инициативе Джорджа Ф. Кеннана, Джеймса Билдингтона, и Фредерика Старра как подразделение Международного научного центра имени Вудро Вильсона, являющегося официальным памятником 28-му президенту США. Кеннан, Биллингтон и Старр относятся к числу ведущих американских исследователей российской жизни и научной мысли. Созданному институту они решили присвоить имя Джорджа Кеннана Старшего, известного американского журналиста и путешественника XIX века, который благодаря своим стараниям и книгам о России сыграл

важную роль в развитии лучшего понимания американцами этой страны. Следуя традициям, институт способствует углублению и обогащению американского представления о России и других странах бывшего СССР. Как и другие программы Центра Вудро Вильсона, он ценит свою независимость от мира политики и стремится распространять знания, не отдавая предпочтения какой-либо политической позиции и взглядам.

Корпорация Карнеги в Нью-Йорке (США) основана Эндрю Карнеги в 1911 г. в целях поддержки «развития и распространения знаний и понимания». Деятельность Корпорации Карнеги как благотворительного фонда строится в соответствии со взглядами Эндрю Карнеги на филантропию, которая, по его словам, должна «творить реальное и прочное добро в этом мире».

Приоритетными направлениями деятельности Корпорации Карнеги являются: образование, обеспечение международной безопасности и разоружения, международное развитие, укрепление демократии.

Программы и направления, составляющие ныне содержание работы Корпорации, формировались постепенно, адаптируясь к меняющимся обстоятельствам. Принятые на сегодня программы согласуются как с исторической миссией, так и наследием Корпорации Карнеги, обеспечивая преемственность в ее работе.

В XXI столетии Корпорация Карнеги ставит перед собой сложную задачу продолжения содействия развитию мирового сообщества.

Фонд Джона Д. и Кэтрин Т. МакАртуров (США) — частная благотворительная организация, основанная в 1978 г. Штаб-квартира Фонда находится в г. Чикаго (США). С осени 1992 г. Фонд имеет представительство в Москве и осуществляет программу финансовой поддержки проектов в России и других независимых государствах, возникших на территории бывшего СССР.

Фонд оказывает содействие группам и частным лицам, стремящимся добиться устойчивых улучшений в условиях жизни людей. Фонд стремится способствовать развитию здоровых личностей и эффективных сообществ; поддержанию мира между государствами и народами и внутри них самих; осуществлению ответственного выбора в области репродукции человека; а также сохранению глобальной экосистемы, способной к поддержанию здоровых человеческих обществ. Фонд реализует эти задачи путем поддержки исследований, разработок в сфере формирования политики, деятельности по распространению результатов, просвещения и профессиональной подготовки, и практической деятельности.

Научное издание

Вепрева Ирина Трофимовна

**ЯЗЫКОВАЯ РЕФЛЕКСИЯ
В ПОСТСОВЕТСКУЮ ЭПОХУ**

Художественное оформление серии А. Л. Бондаренко

Редактор и корректор *Р. Н. Кислых*
Младший редактор *Н. Пастухова*
Художественный редактор *Л. Чернова*
Технический редактор *Н. Ремизова*
Компьютерная верстка *О. Тарвид*
Корректоры *Н. Боброва, Л. Пруткова*

Подписано в печать 30.08.05.
Формат 60×90^{1/16}. Гарнитура «Ньютон».
Печать офсетная. Уч.-изд. л. 24.
Тираж 1000 экз. Изд. № 05-7529. Заказ № 756.

Издательство «ОЛМА-ПРЕСС»
129075, Москва, Звездный бульвар, 23
«ОЛМА-ПРЕСС» входит в группу компаний
ЗАО «ОЛМА МЕДИА ГРУПП»

Отпечатано с готовых диапозитивов
в полиграфической фирме «КРАСНЫЙ ПРОЛЕТАРИЙ»
127473, Москва, Краснопролетарская, 16

